Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах



Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
Том второй

Машины и волки

Роман

Повести
Рассказы



ТЕРРА–КНИЖНЫЙ КЛУБ
москва
2003

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
П32

Оформление художника
В. ОРЛОВСКОГО

Составитель
К. АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК

Пильняк Б.
П32 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: Машины и волки: Роман; Повести; Рассказы / Состав., коммент. К. Анроникашвили-Пильняк. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2003. — 528 с.

ISBN 5-275-00774-4 (т. 2)
ISBN 5-275-00727-2

Борис Андреевич Пильняк (1894—1938) – известный русский писатель 20-30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все, восстановленные от купюр и искажений, произведения автора.

Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Машины и волки», повести и рассказы.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 5-275-00774-4 (Т. 2)
ISBN 5-275-00727-2

Машины и волки

Книга о Коломенских землях, о волчьей сыти и машинах, о черном хлебе, о Рязани-яблоке, о России, о Расее, Руси, Москве и революции, о людях, коммунистах и знахарях, о статистике Иване Александровиче Непомнящем, о многом прочем, написанная 1923 и 24-м годами

Роман

ПРЕДИСЛОВИЕ

В среднем человек живет шестьдесят лет, т. е. столько-то (60 на 360) дней, т. е. столько-то (60×360×24) часов, т. е. столько-то минут — т. е. столько-то — а именно 60×360×24×60×60=1 892 160 000 секунд, т. е. меньше двух миллиардов, меньше чем у каждого россиянина в конце 1923 г. было рублей на папиросы.— Так колоссально — такими колоссальными понятиями жила тогда Россия: и так ничтожна — в этой колоссальности — казалась человеческая жизнь. Да. Но в этой колоссальности жить, все же, только для человека.

В Англии, в Барри-Док, в августе 1923 г., я говорил с русским матросом Кузьмичевым, с коммунистом, который не был в России в годы Великой нашей революции. Не глядя мне в глаза, так, как говорят о самом сокровенном и самом прекрасном, он сказал, спрашивая:

— А, чай, очень хорошо было в России, в 20-м году, когда вы там жили без денег,— чай, очень хорошо... И были такие продкомы, куда каждый сносил свои единицы труда и брал оттуда все, что нужно, по этим единицам...

Я ответил:

— Да, было очень хорошо.

Иначе я не мог ответить, ибо я не смел оскорбить человека и не хотел быть против человечества и человеческой истории, — да Кузьмичев и не поверил бы мне, если бы я сказал иначе. — Барри-Док — это место

на берегу океана, где ковши из гранита забирают океанские корабли вместе с океанской водой, и эти корабли грузятся углем — электрическими кранами — так, что вагоны поездов белками прыгают над кораблями по кранам, и откусываются эти вагоны от цепи поездов, чтобы взлетать в воздух с ловкостью фокусника. Каменноугольная пыль садится на корабли в Барри-Док больше чем на сантиметр в сутки; солнце стоит в пыли медной сковородой, и на него можно смотреть простым глазом; в пять часов — тысячью шланг — смывается эта пыль: эллипсами идет фантастический дождь,— солнце, которое уходит за океан, дробится миллионами радуг.— Вечером тогда я думал о том, что несчастье человеку, если он знает больше, чем умеет: иногда это бывает ростом; но, если это не рост, тогда — погибель.

Не мне судить о моих достоинствах. Но о недостатках своих я имею право говорить. Мои вещи живут со мной так несуразно, что, когда я начинаю писать новую вещь, старые я беру материалом, гублю их, чтоб сделать новое лучше; мне гораздо дороже моих вещей то, что я хочу сейчас сказать, и я жертвую старым трудом, если он идет мне в помощь. Не важно, что я (и мы) сделал,— важно, что я (и мы) сделаем, подсчитывать нас еще рано; соборность нашего труда необходима (и была, и есть, и будет), я вышел из Белого и Бунина, многие многое делают лучше меня, и я считаю себя вправе брать это лучшее или такое, что я могу сделать лучше. Мне не очень важно, что останется от меня,— но нам выпало делать русскую литературу соборно, и это большой долг.

«Цели», по-прежнему, необходимы,— надо, чтобы они «целили», со всяческими ударениями, и на *е*, и над *и*. И с каждым днем мне все яснее, что мое писательство мне совсем не к тому, чтобы славиться, почеститься, сладко жить,— писательство — невеселое дело и — почти мышечный труд.

ВСТУПЛЕНИЕ

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

Лес, перелески, болота, поля, тихое небо — проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Топят болотные топи в сестрах-лихорадках. Ползут, вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо идти, хочет пройти попрямее, — свернет, проплутает, вернется на прежнее место... Две колеи, подорожники, тропка, — а кругом, кроме неба, — или ржи, или снег, или лес, — проселок без начала, без конца, без края. А идут по проселкам с негромкими песнями: — иному те песни — тоска, как проселок, — Россия родилась в них, с ними, от них. — Эти пути по проселкам были и есть. Вся Россия в проселках, в полях, перелесках, болотах, лесах. — Но были и эти иные, кои стосковались идти по болотным тропам, коим вздумалось Русь поднять на дыбы, пройти по болотам, шляхи поставить линейкой, оковаться гранитом, железом и сталью, прокляв заклятую избяную Русь — и пошли... Иной раз проселки сходятся в шлях, — и по шляхам, по «шашам», по «чугункам» — с проселков — пришел, пошел по шашам, давно народом восславленный, — б у н т, народная вольница, чтоб разгромить «чугунки» и «шляхи», и — чтоб разбиться о бетон и железо, о сталь городов, чтоб снова исчезнуть в проселках — как, навсегда ли? Какая иная — и сильная — сила восстала на шляхах из городов? —

— Ш а - ш а! — —

По незнанью — называют мужики автомобиль: фуруфузом...

Не именами красить повести, — пусть «заправдашная ложь» — — Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В Рязани на Астраханской улице, в Коломне на Астраханской улице — у гостиниц Гавриловых-Громовых сорок лет назад заколотили окна, когда съела старый тракт Астраханский — Казанка. В Коломне — от заставы с орлами до заставы со звездами — две с половиной версты — к о л о м е н с к а я в е р с т а: лихи были ямщики! Тракт даже не в ветлах, и не Аст-

раханский, в сущности, а на все Поволжье махнул и полег. От Рязани до Коломны — на Москву — тракт полег по Поочью. Много страшных лет было в России: лето тысяча девятьсот двадцать первое было — страшное лето. От Рязани до Коломны тракт полег по лесам Чернореченским, по Зарайским болотам, — и в сером дыму был тракт от трав-брусник и лесов, в лесных пожарах сгоравших. От тракта вправо свернуть — в деревню зарайскую, у Христа за раем, за пазухой — деревня Чертаново будет, — и нет деревни Чертановой: выгорел торф под деревней, в землю провалилась деревня, к черту, как Нижегородской губернии город Китеж, к черту-с. Дым черный над Черноречьем. — Тракт даже не в ветлах и не Астраханский: в проводах по столбам Третий Интернационал гремел, Коминтерн, в июле, — если вперед смотреть, в даль верст: в голубой дали верст черный возникнет заводский дым — Коломзавода, Гомзы, стали и бетона. И туда смотреть — с автомобиля, — не Астраханские, рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт кроят в Москву в народные комиссариаты, на коллегии, избегая поездов в холере.

— Тра-трак-трак-тра! — автомобилья поступь. —

— От тракта вправо свернуть — зарайские земли, у Христа за раем — горы по Поочью и луга, как степи — Белоомутские луга, Дединовские луга — влево свернул Погост Расчислав — Расчиславские Горки... Трещать трактом мотору, ломать версты, ломаться мостами, — травить версты двоим шоферам, Пугину — что ли, и Шуринову, повстречать мотору заблудлую овцу: глупая овца, бежит напрямик, не сворачивает, — затравить мотором овцу, подшибить, кинуть в кузов, в Рязани делить краденое по-братски пополам и съесть с удовольствием. — — Шуринов на праздник домой приходил в Расчиславские Горки, хозяйственный мужик; жена после чая в клеть повела, отдохнуть.

— Как дела?

— Аномнись зато лиходеи какие-то овцу украли. —

— ?! — —

— (рассказ писать можно, как товарищ Шуринов у товарища Пугина в городе Рязани вторую половину овцы, свою собственную, назад требовал.) — —

— Тра-трак-трак-тра, — фуруфузья поступь.

— Третьим Интернационалом провода трубили по тракту — в Рязань.

— Третьим Интернационалом — в исполкомах — не застращаешь ребят.

...Телега на двух колесах называется — б е д а...

...А ходят путинами нашими — с песнями тихими, как наши путины, — иному те песни — тоска, живем мы и жили от них, через них, ими. Большак с Поволжья — шаша — небо, лес, перелески, поля, зной и пыль: пыль похожа на *ш*, зной же — как *ж*. Там, в хлебородных, в Самарской, в Саратовской, весной в тот год перекопали озимые, и сгорели яровые так, что картошка в земле з а п е к л а с ь. Не беда, коль во ржи лебеда, полбеды, коль ни ржи, ни лебеды, а — беда, коли нет конятника. Июль юдоль нашу — славянскую, избяных обозов юдоль — вскрыл: конятник, которого не едят лошади, древесная кора, гончарная глина стоили в тот год денег, потому что их ели люди, и Волга высохла в тот год так, что вброд ее переходили под Саратовом у Зеленого Острова. Избяные обозы по большакам — наше юдольное: солнце вставало в тот год в дыму и в дыму ложилось, был зной как *ж*, грозились крестьяне в неистовстве небесам господом-богом и кулаками, трясли иконами и жгли ведьм. И пошли избяные обозы по большакам: беда на двух колесах в пыли, над бедой шалашик, сзади плетенка с гусем, в оглоблях пара кляч, в шалашике скарб и детишки, — и скоро им появилось нарицательное — р у с с к и е ц ы г а н е: ехали — к у д а г л а з а г л я д я т от голода, от смерти, ибо там, на Поволжьи, в Самарской, Саратовской, в Астраханской — был голод, ели землю. Ходят путинами нашими с песнями, как наши путины. В Черноречьи горели леса, валились к черту деревни, как Китежи, — ехали — куда глядят глаза. Бедяные обозы докатились к июлю в тот год до зарайских — за раем у Христа — земель!..

Пыль — как *ш* — на шаше...

— Тра-трак-трак-тра, — автомобилья поступь.

— Третьим Интернационалом провода трубили по тракту — в Рязань.

— Рязанские земли, зарайские (у Христа за раем) сыты были: прожрали те зимы картошкой!

Голод. — Не большакам рассказывать о голоде, нужде и зное: они расскажут. Там, в «хлебородной», в каком-нибудь Курдюме, Нурлате или в Курячьих каких-нибудь Кучках — все погорело, дотла, — ни людям, ни скотине нечего есть, картошка в земле запеклась, май прошел июлем, хлеба два пуда — лошадь, а домов полсела — пуд. Мужику нашему как дикарь, — сла-вя-ни-ну! — решаться, решиться, решить; — не впервой, чай, ходить по земле, кочевать, бегать. Решать день, решать два, всю жизнь гнувшему спину — без дела ходить, трогать землю — и рукой, и мыском лаптя (горячо босому ходить по земле!), в небо смотреть, в степи смотреть, в избе часами сидеть перед миской с коровьим навозом (ели и такое), в закром, ясный как лысина, ходить на авось, — и решиться, решить.

— Надоть... ехать... жена, — жене впервые сказать: ж е н а, а не Дунька, не сука, без зуботычины.

Сволакивать в беду все имущество — два одевала, перину, икону, топор, гуся, ребятишек, — в день перерезать, продать, променять — корову, теленка, овцу: — день работать, шею ломать, как всегда, как всю жизнь. А к вечеру (обязательно к вечеру выехать надо!), когда все уже горой на беде, на улице, и лошади склонили головы пред долгой путиной, а ворота настежь, — зайти п о с л е д н и й р а з в избу, взглянуть, как десятки лет, в красный угол — в пустой угол, ибо даже цари, генералы и дезертиры свернуты в трубку в беде, — не перекреститься даже, ибо пуст угол, — в армяке, в шапке, с рукавицами, — хлопнуть в раздумьи кнутовищем себя по колену (кнут ведь вместо овса!), ткнуть кнутовищем — в раздумьи — в таракана у печки, вздохнуть — и выйти шумно из избы, дверь оставив разинутой настежь.

— Ну, что же, трогай, жена! — а самому идти рядом, пешком, тысячи верст, — до могилы.

И — сначала ночные проселки, а потом большаки, — куда глаза глядят, без начала, без края... Не большакам рассказывать о голоде, нужде, зное, как *ж,* и пыли, как *ш,* шаша... Тысячи верст: не впервые тысячам им растворяться в тысячах верст, в голоде, в холоде, в темных делах, — ибо: кто приютит их и где? — Шаша!

...Большак Астраханский лежит — как все русские большаки. Небо, да пыль, да истома. Да деревни, да села. Да мосты. Да холмы, да речуги, да курганы. Если

свернуть вправо — нету деревни Чертановой, если свернуть влево — Расчиславские Горки, сзади — Рязань, впереди — Москва, впереди — Коломзавод, заводский черный дым, — и туда смотреть — с автомобиля: рязанский исполком и штабы армий на автомобилях тракт кроят в Москву в народные комиссариаты...

И — ночь. —

Земля была камнем, вся в дыму, горели Чернореченские леса, не было отдыха даже в ночах, солнце вставало и садилось змием, огненным проклятьем, и сухие, жухлые восходы были мутны и пыльны, как стекла в пересыльной рязанской тюрьме. — Грузовик старый — фуруфуз — травил тракт, как свинья с бегемота — в истерике, — подмазанная под хвостом скипидаром, — обгонял, шарахал р у с с к и х ц ы г а н — в комиссариаты, в коллегии, ночью, жухлым июлем, — чтоб где-то у мостика в бревна мостика всадить колеса, чтоб видеть вдали зарево Коломзавода, а здесь у моста, в канаве — увидеть беду, пепел костра у беды, мужиков у костра, гидру ребячьих голов в одевале. Мужики любили, когда грузовик застревал на мостах: — предгубком писал тогда записки в губисполком, и «губы» возрождали мост в сутки, а иначе он гнил бы годами. А у задней грядки грузовика сидел человек, конденсированная воля, коммунист, весь в заводской копоти революции, весь для того, чтобы мир построить линейкой и сталью. — Это он до крови у губ кричал Коминтерном по проводам — старым трактом — в Рязань, — это он устал от бессонниц и здесь у канавки, на мосту перед рассветом встретил — без митинга, тихо — р у с с к и х ц ы г а н и холерных на скарбе, у повозки бедой называемой: — рассветами, пусть жухлыми, как окно в пересыльной рязанской тюрьме, надо думать и говорить тихо и верно... (А шофера — керосин продавали!..)

— Это откуда же вы?

— Из Симбирской губернии. Голод там, недостача. Лошадь, к примеру, два пуда зерном стоит, — нету травы...

— Та-ак... А куда же?

— Сами не знаем. Куда бог, к примеру, пошлет. Это какие, зато, будут места?

— Та-ак… Места эти будут рязанские, Зарайский уезд… Та-ак…

Что сказать, — что сказать на рассвете, когда там над Окой, над Белоомутом солнце встает, когда мир притихнул пред новым днем и росный рассвет пробирает лопатки холодком — ?.. там — впереди — черная сталь Коломзавода, заводов, машин, городов, — проклятие хлебу! —

— …а шофера — керосин продавали. Америка строила «Уайт», чтоб ходить «Уайту» на бензине, Рязань пустила «Уайт» керосином, — а когда раздобылась Рязань бензином, шофера заявили, что «Уайт» отучился ходить на бензине, ибо: на бензин не давали картошки. — Велика мать-Россия, черт бы ее побрал! Шаша! — Как рассказать — всегдашний, единственный — мой и его — сон, — сон, где снится, что солнце плавится в домне — недаром около домен пахнет серою, — что хлеб строят заводами, — и тогда во сне возникают — до боли четкие формы и формулы — завода, геометрически-правильные формы завода: — прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, — ночь, — только две краски — красная и белая, — ночь, и на небе круги огней; их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы стали треугольниками к кранам, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, — и там, на заводах: — пролетарий, геометрически-правильный и огромный, как формула!.. — …а шофера — керосин продавали и жарили здесь, у моста, на рассвете, картошку на сале бараньем, к жизни приладившись, — и был тихий рассвет. Подошел мужичонко, шапку снял, поклонился, по-рабьи сказал:

— Места эти, значит, зарайские… На чаек с вашей милости не будет? — Мы так примерили, что вашу машину мы можем вытащить из моста на шашу, значит…

…Если свернуть от шоссе, проехать полем, перебраться вброд через Черную речку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраги, пересечь село, потомиться в суходолах, снова лесом трястись по корягам, там на пароме — как триста лет назад — переплыть через Оку, проехать лугами по ивовым рощам, — то — там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой

мураве — приедешь в Каданок, в Каданецкие болота. Здесь нету дорог. Здесь кричат дикие утки. Здесь пахнет тиной, торфом, болотным газом. Здесь живет тринадцать сестер-трясовиц-лихорадок. Здесь на песчаных островках буйно растут сосны, — у трясин тесно сошлись ольшаники, землю заткал вереск, — и по ночам, когда бродят тринадцать сестер-лихорадок, на болотцах, по воде бегают бесшумны, нежгущие, зеленые болотные огни, страшные огни, и тогда воздух пахнет серой, и безумеют в крике утки. Здесь нет ни троп, ни дорог, — здесь бродят волки, охотники да беспутники. Здесь можно завязнуть в трясине...

ОТРЫВОК О МУЖИКАХ, ИЗ ГЛАВЫ «О ПРЕДПОСЫЛКАХ К ПОВЕСТИ»[1]

Мужики.

До легенд о Смутном времени и после дней времени действия этой повести надо рассказывать о мужиках, об исторической — земного шара — этой легенде без истории, где во время действия повести, как и триста лет назад, пахали сохой, бороной боронили, а по веснам подвязывали за брюхо к потолку скотину, чтобы стояла, а жили на полатях, под полатями храня от холодов телят, и жили в жильях — даже не от каменного, но от деревянного века, и ставили свои жилья, как кочевники на ночь ставят обозы. Жили ничего не зная, — знали: —

— ...январь — году начало, зиме середка, — трещи, трещи, минули водокрещи, — дуй-не-дуй — не к рождеству, а к великодню. А все же: Афанасий да Кирилла забирают за рыло; Аксинья — полузимница-полухлебница, какова Аксинья, такова и весна; февраль — бокогрей, на сретение зима с летом встретилась; в апреле земля преет, теплом веет, апрель дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит, что будет; весенняя пора — поел да и со двора, прилетел кулик из заморья, принес весну из неволья. Ай, май, месяц май! — в мае дождь — будет

---

[1] Отрывок написан по данным статистика Ивана Александровича Непомнящего. *(Примеч. автора.)*

рожь, май холодный — год хлебородный... Вечерняя заря позорилась ало — к ветрам... —

— ...больше ничего не знали, — родились, рождали, жили и умирали. Мужики били друг друга, баб, детей и скотину, — бабы били друг друга, детей, скотину — и мужиков, когда те напивались водки, таскали их тогда за бороды по сеням. Парни глушили девок, — «мимо гороха да мимо девки так не пройдешь»; девки защекотывали до смерти парней и клали им снег в штаны. Мужики платили подати, изредка мужиков и парней ловили, сдавали в солдаты, тогда они шли воевать, фельдфебеля бились над ними:

— Да што ты — русский, што ли? —

— Нет, мы зарайскии...

и фельдфебеля никаких «исторических предпосылок» дать не могли мужикам — исторической российской предпосылке

. . . .

...И —

опять мужики — —

...знали: —

— июль, август, сентябрь — ваторга, да после будет — мятовка. Холоден сентябрь, да сыт: сиверко, да сытно. Август — собериха, в августе серпы греют, вода холодит. Авось — вся надежда наша, авось, небось, да третий как-нибудь, — на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни лягает, — русак на авось и взрос, — авось и рыбака толкает под бока, — авось велико слово — авось дурак, да дурь-то его умная, — авось небосю — брат родной . . . .

. . . .

...И еще без чисел и сроков, как в начале, как в конце — «историческая российская предпосылка»:

...авось небосю — брат родной, и одиннадцатая заповедь (только для России) — не зевай! На бога надейся, но сам не плошай, — трудом праведным не наживешь палат каменных, — не пойманный — не вор, и вещь в России имеет два назначения — одно по ее смыслу и второе: быть украденной, и стыд не дым — глаза не выест, грех в орех — а зернышко в рот, и брань на вороту не виснет, и с поклонов шея не болит. — А если попался: была бы спина — будет вина,

от сумы да от тюрьмы не отрекайся, ибо кто богу не грешен, царю не виноват? Бог дал, бог и взял, — будь взяхой — будь и дахой, много взяхарей, мало дахарей, и скажи мне, гадина, сколько тебе дадено? ибо: закон что дышло, — куда повернул, туда и вышло. А дома: люби жену как душу, тряси ее как грушу: — пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет, курица не птица — баба не человек; — баба с возу — кобыле легче, — собака умней бабы — на хозяина не лает; не тужи по бабе — бог девку даст, — мужик напьется — с барином дерется, проспится — свиньи боится, без вина правды не скажешь, и веселие Руси — пити... — — историческая российская предпосылка, без чисел и сроков, в конце и начале, от дворян и попов — до мужиков, на десять человек — один: либо дурак, либо вор, каждый жулик, все матершинники. На коломенских землях можно было купить и продать: честь, совесть, мужчину, женщину, корову, собаку, место, право, девичество. На коломенских землях можно было замордовать, заушить: честь, совесть, ребенка, старика, право, любовь. На коломенских землях пили все: и водку, и денатурат, и политуру, и бензин, и человечью кровь. На коломенских землях матерщинили: во все, — в бога, в душу, в совесть, в печенку, селезенку, ствол, в богомать и мать просто, длинно, как коломенская верста. На коломенских землях молились: трем богам (отцу, сыну и духу), черту, сорока великомученикам, десятку богоматерей, пудовым и семиточным свечам, начальству, деньгам, ведьмам, водяным, недостойным бабенкам, пьяным заборам. Вор, дурак просто и Иванушка-дурачок, хам, холуй, смердяков, гоголевец, щедриновец, островский — и с ними юродивые-Христа-ради, Алеши Карамазовы, Иулиании Лазаревы, Серафимы Саровские — жили вместе, в тесноте, смраде, пьянстве, верили богу, черту, начальству, сглазу, четырем ветрам, левой своей ноге, — и о них сказано Некрасовым, о коломенских землях:

Там он и молится, там он и верит,
Там он и мочится, там он и с...

Вот примерная биография каждого. — Родился или под тулупом в деревне («одевал» в обиходе у мужиков не полагалось), или под тряпкой из ситцевых лоскутьев (одевало), или в родильном отделении земской больни-

цы, где в коридоре дренькал на балалайке дворник. Мать встала после родов на третий день и кормила грудью (да жеваной баранкой в праздник) два года, чтоб не заботиться о пище и чтоб самой не забеременеть вторым, избави бог (примета есть: коль кормишь грудью, не засеешься). Недели через три после рожденья он получил первый подзатыльник, а потом к годам семи познал все виды порока и истязаний, и кнутом, и ухватом, и поленом, и ночи на морозе, и без хлеба сутки, и носом в собственный помет (за битого — двух небитых дают). Иной раз, лет с семи, его ведут в училище, но часто и в подпаски, и в мальчики в трактир, иль караулить кур и младших братьев, — он учится всю жизнь пословицей: — весь век учись, а дураком умрешь. Годам к пятнадцати он в совершенстве научился, где надо, шапку снять и поклониться в пояс. Годам к семнадцати пьяной бабе он отдал девственность (тогда, той ночью их было пятеро у ней), и пел под тальянку и под водку той ночью — тоской б земь — о том, что:

Я у тяти пятая, у мила десятая, —
Ничего нас так не губит, как любовь проклятая! —

и если тогда, той ночью б земь, порыться у него за ребрами, где, по его понятиям, находится его душа (ребра той ночью были здорово помяты приятелями), то там найдешь и мелкое воровствишко, и предательство, и трусливый страшок перед миром и его злой непонятностью, и верное уже знание, что на земле надо голову к земле держать и помнить, что самое верное, если «моя хата с краю, — ничего не знаю», и этакую добродушную русскую, ленивую жестокость — посмотреть, что будет с кошкой, если ее повесить за хвост на дерево?.. К девятнадцати годам он женился, тогда начинается жизнь, надо работать изо всех жил, чтобы скотину можно было великим постом держать, подвязывая к потолку веревкой, чтобы прокормить ребят, чтоб платить подати, — надо было работать и кланяться — всем и на всех, шапки можно было не иметь, ибо всем надо было — пред всеми — шапку ломать. В праздники — пироги, водка да битая жена, да песня б земь, — а в понедельник — тяжелый день — похмелье, когда лучше го-

лову в петлю (и статистикой[1] установлено было, что убивали больше всего в праздники, а вешались — по понедельникам). Так шло двадцать пять лет, подрастали сыновья (и били иной раз отцов и матерей за битое свое детство), — и приходила смерть. Хоронили на кладбище и ставили деревянный крест с надписью:

«под сим камнѣм похоронено тѣло...» и пр.

— если это было на сельском кладбище, новой весной в марте, когда выгоняют скот со дворов, телка, почесываясь о крест, уже подгнивший, валила его, и он валялся года два, — в городе же крест спокойно воровал кладбищенский сторож на топливо, — и еще через год даже сын не поминал и не помнил уже отчества отца, — но верно можно было сказать, что этот дважды был избит до полусмерти и в вечное упокоение ушел со сломанным ребром, что сам он — другому — сломал скулу, что трижды он был обманут так, что все надо было начинать вновь, однажды горел, однажды сидел в тюрьме за недоимки, дважды хворал или тифом, или холерой, или оспой, или скарлатиной, всегда чесоткой, селами сифилисом, был в больнице и, выздоровев, страдал не от той болезни, которой хворал, а от пролежней. И еще можно сказать, что у каждого была своя чудь: один любил ловить птиц, другой гонял голубей, третий ложкарничал из любви к ложкам, четвертый, десятый, сотый (сотый любил сына пороть по субботам, сто первый переселился в баню, поняв, что весь мир от черта, чтоб в бане оного черта изучить), — о четвертом, о десятом, о сотом можно было сказать и подумать, что он потерял — в нем погиб — неплохой человеческий «талант»... Таланты в землях коломенских были к тому, чтоб гибнуть!..

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕПОМНЯЩИЙ, СТАТИСТИК, ИЗ ГЛАВЫ «СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ И АВТОРОВ ПОВЕСТИ» (ГЕРОЕВ, ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ И ПЛОХИХ, ОБЫВАТЕЛЕЙ И ПР.)

Принцип расположения персонажей повести: принципов и систем может быть длинный ряд: не случайно эти

[1] В частности, Иваном Александровичем Непомнящим.

слова — «принцип», «система» — не русского корня. — Можно расположить героев и персонажей по принципу «вступления в действие повести»; можно расположить по алфавиту; можно распределить их — в эти рубежные годы России — по годам их смерти, — это вскрыло бы один из корней — не слова, а повести; не плохо было бы раскинуть героев по принципу классовых и групповых признаков, социальной лестницей; получилось бы страшно, если б персонажи были расположены по принципу «куска хлеба» и права на него в эти метельные годы; — принцип алфавитности и «вступления в действо» — явно устарел. Принцип смерти, а стало быть и рождения (моральных и физических), уравненный «куском хлеба», распятый на социальной — парадной — лестнице, — более правилен. И все же в идущей за сим повести твердого принципа расположения героев — нет, ввиду технических трудностей. Принцип «единства места действия» и ассоциации параллелей и антитез неминуемо будет играть роль хорошего режиссера.

Иван Александрович Непомнящий, статистик. Главный герой повести. Место жительства, и старчества, и смерти — город Коломна, в Гончарах. За всю жизнь (после окончания университета) выезжал из Коломны только дважды — за мукой — в Нурлат, в Казанскую, и в Кустаревку, в Тамбовскую, — это было в голод, в 1919 и 1920 годы, когда люди в Коломне ели овес и конятник, лошадиный корм. Чтобы дать характеристику Ивана Александровича, надо описать его вещи, — сам же он — маленький, сухенький, говорить ему шепотом, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем; — у Ивана Александровича — очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед, волосы черные ершиком, борода не уродилась, — усики на бледной губе — очень тонкие, очень юркие, заменили глаза, вместо глаз рассказывали, как настроен, что думает, над чем смеется Иван Александрович. — И вот дом: — в доме лежанка в кафелях с ягнятками и в кораблях, у

лежанки лампадка (чтоб закуривать от нее, не вставая, самокрутные папиросы толщиною в палец, — никак не для бога, — ибо за всю жизнь Иван Александрович ни разу не был у бога, и не мог научиться, пальцы не слушались, скручивать папиросы; — и кстати, о руках: руки у Ивана Александровича были лягушечьи —) — у лежанки лампадка, на лежанке — книжка (очередная), лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка и — Иван Александрович Непомнящий, в шали и в валенках, за книжкой; у лежанки — по времени — или только лампадка (тогда очки над лампадкой), или лампа горит (тогда Иван Александрович пишет «Статистику»), или день, очень светло от окошек, и окошки, тоже по времени, — или в зелени летнего садика, или в инейных хвощах на стеклах (тогда очень тепло на лежанке); и кроме лежанки в комнате — книги, только русские книги (ни одного чужого языка Иван Александрович не знал), странные книги — старинные книги: одна стена — осьмнадцатый наш век, другая — первая четверть девятнадцатого, в ящиках и на полочках — рукописные книги; книги теперешние — в других комнатах, в коридоре, в сарае, на чердаке, кипами, пачками, связками, за нумерами и в пыли; — теми, теперешними книгами заведывала Марья Ивановна, тоже статистик, жена, мать и кормилица Ивана Александровича, у нее хранился и список этих книг, и в комнате ее, куда никто не допускался, хранилась и двуспальная кровать (Марья Ивановна была на двадцать лет моложе Ивана Александровича, и была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщина, — но была она покойна и румяна, как всячески сытая женщина). Перед домом Ивана Александровича дорожку всегда расчищала Марья Ивановна, — но Иван Александрович не любил выходить из дома. Все книги, что были у него, Иван Александрович — знал, — Иван Александрович не любил — ни траву, ни поле, ни солнце; он говорил — со своей лежанки, глаза за очками, только по усикам узнаешь, шутит ли, насмехается ль? — говорил шепотом, и все, кто приходили, тоже шептали, — только Марья Ивановна спокойным басом спрашивала, на вы, — что хочет Иван Александрович — чаю ли покушать, картошки ль? — и где он ляжет сегодня на ночь, то есть где поставить на ночь лампадку, кувшин с ключе-

вою водою и не охладить ли двуспальное логово? — Перед лежанкой, собственно, под оконцами (ибо комната была малюсенькой, не любил Иван Александрович пространства), стоял стол — рабочий стол — Ивана Александровича; он был завален табаком, недогоревшими его самокрутками, пылью (Марья Ивановна — чистота — не допускалась сюда), лоскутками бумаги; здесь стояли в баночках всех цветов чернила, лежала навсегда раскрытая готовальня, лежала «Книга Живота моего, Непомнящего», лежала бумага всех сортов, покоились пятна всех цветов чернил, и от пирожков, и от кругов от чашки, и от дыма, — и отсюда возникали — аккуратности поразительнейшей и чистоты — диаграммы всяческих красок и размеров и всяческие статистические таблицы. — — Ни годы, ни революция не изменили у Ивана Ивановича его манеры жить и думать.

Иван Александрович Непомнящий — во время действия повести — не умер, проздравствовал точно таким же, каким был до повести. И не он, в сущности, герой повести, а его «Книга Живота моего, Непомнящего», его записи и статистические выкладки[1]. Персонально он

---

[1] Вот примерные записи «Книги Живота моего»:

РСФСР.
КОМЯЧЕЙКА
РКП
при Коммуне
в С. Расчислово
«КРЕСТЬЯНИН».

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товарищи в Уездкоме. Мы как коммунисты женившисья в дореволюционный периюд на представительницах контрреволюции Авдотье Семеновне Мериновой с детьми и Арине Ивановне Мериновой с детьми, как мы теперь братья один Председатель а другой Секретарь Коммуны КРЕСТЬЯНИН. Просим онулировать наших жен Авдотью Семеновну и Арину Ивановну; и детей. Как рожденных в дореволюционный периюд.

Члены Партии Р.К.П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ липат меринов.

Секретарь логин меринов.

тыща девятьсот двадцать первого года.

не участвовал в повести, но многие хотели бы его придушить, даже своими руками, — если было бы за что его придушить, — но он ничего не делал, и его не за что было душить. Он со всем был согласен и всему подчинялся — и *ничего* не делал, кроме статистических своих таблиц. — —

Иван Александрович — является: одним из авторов этой книги, и в дальнейшем будут указаны главы, написанные под руководством Ивана Александровича. На лежанке Ивана Александровича — пересидели и поседели — очень многие.

В доме Старковых до революции жил акцизный чиновник Керкович, брат члена суда, он ушел на войну еще в четырнадцатом году. На днях он приехал, в чине инспектора рабкрина, забрать свои вещи, — и выяснилось, что еще в восемнадцатом году, когда национализировали дом, были забраны его вещи, как бесхозяйные. Инспектор рабкрина в архивах коммунхоза разыскал списки и стал собирать свои вещи: оказалось, что шубу уисполком передал доктору Осколкову; — доктора Осколкова пригласили в уисполком и предложили сдать шубу в двадцать четыре часа. Инспектор Керкович нашел и свои ковры, ковры были с фигурами людей, испанцев, больших размеров, и в клубе комсомола инспектор рабкрина нашел половины ковров с ногами, — половины же ковров с головами были найдены на квартире военкома.

РАЗДЕЛ КНИГИ, ВНЕ ПЛАНА ПОВЕСТВОВАНИЯ

Выехать маем из Москвы — —

в Москве уже заасфальтился воздух, опустошилась белесыми сумерками соль московских домов и вечеров, — глыбы домов лезут на глыбы домов, Кремль ушел в сказки, опросторились площади, в домах — неизвестно — зажигать ли или не зажигать электричество в десятом часу? — и на зубах скрипит пыль от ненужного дня, и мимозы у Арбатских ворот — мертвецами. Рассветы — с пятого дома Моссовета, в Гнездниковском, — идут во втором часу, и в пыли после ночи тогда так четки заводские трубы окраин, трубы, которым указано дымить, и ломается солнце горбами крыш. Тогда надо думать: — где с е р д ц е Москвы? в Кремле ли? — вон там, под кремлевскими стенами, где в туманы уходит река Москва? там ли, где трубы трубят дымом? в Зарядье ли? — или в Трубниковском переулке, на Арбате? — —

Вот еще описание Москвы, другое, нужное повести:

В дни «Гадибука»: — был московский — арбатский — вечер, с первым октябрьским снежком, с тишиной в темных переулочках, когда каждый — первый, второй, десятый — кто был московским студентом, должен вспомнить о первом курсе, а не о революции, и о муфте в снегу соседки курсистки (в революцию муфты у женщин в России исчезли, потому что женщины помужали), — в такой вечер каждый близорукий должен вспомнить о своей близорукости, ибо фонари на углах мажутся снежинками со стекол очков. Тогда — тебе — надо понять, что ты никому не нужен и нет у тебя дома.

Днем была — дневная Москва, — днем устраивалась зима, чтобы первой зимой прожить после революции; потому что часто тогда думалось, что зори революции отошли. Днем шел тихий — арбатский — снежок, морозило, и снег сразу укутал шум, до весенних первых рам. Вечером надо зажечь лампаду у стола и — книгами — уплыть в воспоминание, в осознанье, в счеты с прошлым, — и в сумерки за окном трещали чечетки, прилетевшие со снегом с Воробьевых Гор и со Звенигорода. Но днем в лавках торговали — мясом, вином, виноградом, икрой, как в Европе в тот год и как десять лет назад в этой же Москве, — по-старому, — и приказчики говорили, убеждая покупателя: — «Помилуйте-с, старое-с!» — и пол был посыпан опилками. Надо было подумать, что Россия с Памира сошла, о хлебе из овсяных опилок забыто, у Елисеева есть семга, французские сливы и французское шампанское, — а у зеркального окна — девушка, не проститутка, еще в башмаках до колен и в каракулевом пальто, она кончила гимназию, была на первом курсе, — молит, чтоб ее купили, потому что она сокращена. Старая Москва — стариком, связкой книг, плешью — свернула с Тверской к Никитскому бульвару, ее обогнал лихач в котелке, — от Пресни шли фаланги комсомольцев. Снег падал тихий, мертвенный, все упокаивал и закутывал...

...не узнать, где сердце Москвы, сердце России! — И надо искать его там же, где твое сердце: где твое сердце?.. Рассветы — мучительны, и зловещи в рассветах гудки автомобилей. Там, дома, в коридоре спит человек, на полу: этого человека — убить бы! убить, кровь его выпить... И там, дальше, в комнате спит женщина, Милица, за которую жизнь отдать — не много. И там, в комнате, серый рассвет, книги и тленный запах комнатной ночи. —

Выехать маем из Москвы — —

поезд ушел в вечер, и в Люберцах первый проныл комар, а потом от лощин, от болотцев пошел туман, водяные выставили бороды, и около поезда, справа, слева — один, десяток, сотня — защелкали, засвистали в тумане соловьи, и в Раменском — такие огромные связки черемухи продают мальчишки! — Поезд идет в туман, оплели поезд туманы, — надо стоять у окна, и бодрым холодком садится на руки и на лицо роса, и на

руке раздулось место от первого укуса комара. В вагоне мрак, махорка — и незачем смотреть в вагон. Коломна проплыла в тумане башнями и стариной, — Коломзавод — налево — стал белыми огнями, трубами и трубной гарью, и над Коломзаводом — от огней — небо было черным — —

...Коломзавод — завод, в дыму, копоти, масле, стали, железе — Коломзавод. Коломенская верста — от заставы с орлами до заставы со звездами — две с половиной версты, широко жили, гнали с Астрахани, с Волги — оптом, гуртами — скотину, пшеницы, ржи, с окских барж перегруживали под Коломной (Коломна лежит на трех реках: на Оке, на Москве и Коломенке, три реки здесь вместе сливаются) — перегружали под Коломной с окских барж пуды и тюки на москворецкие, на Бобреневских лугах отгуливали скот; кичились пословицей: — «Коломна-городок — Москвы уголок», — памятовали, как императрицу Екатерину верстой обманули (тогда и о версте в езде пословицу сложили, памятуя распутство царицыно), довольны были, когда император Николай I, ночь не спав от клопов, утром хмуро спросил:

— Чем занимаетесь?

Лосев ответил:

— Гуртами, царь-батюшка, скотом... — и император изрек, хлеб-соль принимая:

— То-то сами и есть, как скоты!.. — знали, что у вдов купеческих-коломенских свой промысел был — на всю поволжскую Россию: в Симбирске, Самаре, Пензе, Царицыне, Вольске — держать публичные дома, собирать и рассовывать по ним коломенских и иных девок, а деток своих дома учить благонравию, мальчиков — в гимназии, а девочек: дома. Город доминами белыми подпер к Москве-реке, жил крупичато в Запрудах, в Кремле, в Гончарах, щеголял пред Рязанью. Очень все интересовались узнать — откуда пошло слово К о л о м н а? — объясняли, что от прилагательного колымный — обильный, широкий, сытный; от римских патрициев Колонна, ушедших в Скифию и поселившихся

здесь (это толкование отразилось и в гербе коломенском, где на синем поле три звезды и колонна); от существительного каменоломня (недаром сами коломенцы рязанским наречием называют Коломну — Коломня); но толковали и так, будто Сергий Радонежский, проходя по Коломне строить Голутвин монастырь, попросил попить, а ему ответили колом по шее, и он объяснял потом:

— Я водицы попросил, а они колом мя — —

Голутвин монастырь, на стрелке, где сливаются Ока и Москва, был заложен, правда, Сергием Радонежским, и там хранится его посошок, — и Коломна жила за пятью монастырями, в двадцати семи церквах, колымная, как коломенская пастила — сладкая. По Коломне проходил старый тракт Астраханский.

И съела Коломну, как старый тракт, — Казанка, разорила купцов, — а Коломзавод выпил последнюю коломенскую силу. В шестидесятых годах, в эмансипацию, в эпоху романтического материализма или материалистического романтизма (что — то же) — в весенние дни на Коломну наехали инженеры, мерили, планировали, ездили к просто-Ростиславским в Расчиславы горы, — потом ушли дальше, за Оку, к Рязани. А за ними понаехали другие инженеры, и навалила шаромыжная гольтепа: — стали строить мосты через Москву и Оку, копать насыпи, прокладывать рельсы, жечь ночами костры, петь ночами песни, пугать жителей, воровать по деревням в погребушках молоко и сметану, цены ломать на базарах, гоняться за девками (отбивая доход у коломенских вдов), — своими костями бутить насыпи, крестами смертей метить путины рельсов, орать на получках о недоданных пятаках... Потом и они ушли, оставив за собой тоску ночей, темных дел, ночного раздолья, буя, горя и радостей. Коломна одевалась в белое и красное, мужчины в рубахи до колен, женщины в сарафаны, — гольтепа была в черном, измазанная маслом и землей; Коломна была дебелой — эти

сохли на насыпях и руки их тянулись до колен, отмотанные заступами; Коломна пела песни сквозь сон, жирные, как клопы, — эти пели так, что каждый раз надо было бросать шапку ó земь. Они ушли, за ними потянулись четыре полосы рельсов, два моста через реки, кресты под насыпями, черные пепелища костров — и —

— и у Голутвина монастыря, у села Боброва — кузня, где собирались и сваривались мосты. Эта кузня и выросла в Коломзавод. Эта кузня — для Коломзавода — сохранила от шаромыжников — песни ó земь, скрежет железа, темные рассветы, костры, гудки, черные куртки в масле и копоти, руки до колен (которыми все возьмешь, и нет страшного — взять), иссохшие спины, неурочные огни в ночах, неурочные толпы неурочных людей. Эта кузня придавила монастырь к реке, заглушила его, заушила. Эта кузня потянула дома, перестроила их из камня в дерево, из Запрудья, из Гончаров — на Новую Стройку, в Митяево, к Боброву. Город запер ворота, — по шпалам, в вагонах потянулись в Москву — скотина, пшеницы, ржи, соль, гуртами, оптами, — тракт Астраханский замолк, зарос подорожником, подорожник порос и на коломенских улицах, дома олишаились мхом, купец позабыл про «Москвы уголок», стал «вдовствовать» с вдовами вместе... Завод стал мощный, один из великанов в России, вырос сталью, железом и камнем, огородился на сотню десятин заборами, — математическая формула, — трубы подперли небо, задымили в небо, динамо-машины кинули свет в ночи светлее солнца, сталь заскрежетала железом, завыли гудки, — завод стал — сталелитейный, машиностроительный. — Там, за заводской стеной — дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак, электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка, мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, — горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка, — и при машине, за машиной, под машиной — рабочий, — машина в масле, машина — сталь, машина неумолима,

— дым, копоть, огонь, — лязг, визг, вой и скрип железа... (— Здесь прошло детство Росчиславских. —)

А Щурово, за Окою, над Окою на горе, — полустанок, — встретил тишиной, безлюдьем, опять черемухой; за рельсами во мраке позвякивал бубенчик под дугой, — и мрак вдруг оказался совсем не темным — зеленоватым, зыбким, пропахнувшим черемуховой сырью, туманом; и мрак встретил роем сотни комаров, захлебывающимися соловьями... И тогда нет сил, чтобы не вспомнилось, как навсегда, — Марья-табунщица... — — свернуть с шоссе, пойти в туман, пробраться полем, пробраться сначала через черный осиновый лес; затем через красный сосновый, — снова выбраться к Оке, на горы, в соловьиный и совиный крик... — там на горе жил лесник и колдун, у которого зимы зимовала Марья-знахарка-табунщица. Там за рекою в лесах и туманах залегла Бюрлюковская пустынь...

...Выехать маем из Москвы — —

иногда надо человеку выехать из самого себя, — и, если сердце Москвы надо искать там же, где твое, — над иной раз выехать из сердца Москвы...

Росчиславских было — три брата и две сестры, одна из них — хромая.

Отец Росчиславских, Георгий Юрьевич, был инженером путейцем, в молодости на изысканиях много исходил он по юго-востоку России. Потом он председательствовал в Зарайской Земской управе и жил у себя в усадьбе на Росчисловых горах. Умер он в 1905 году — и жена, сложив астролябии и теодолиты в его кабинете, стала править домом. До самого конца земства жена, приезжая с Росчисловых гор в город, проезжала в управу, сейчас же с воза проходила в мужскую уборную и говорила басом сторожу Николаю, чтоб не пускал пока туда никого (— Слушау, барыня!). Говорила она всему уезду «ты», и председателю в том числе, и ночевала однажды в кабинете у председателя по такому поводу: председатель не уплачивал за лесной постав для школы, — Росчилавская расшумелась, ногою топнула, сказала:

— Пока не уплатишь, батюшка мой, никуда не уйду отсюда.

Председатель позвонил, вошел Николай. Председатель сказал:

— Внесешь сюда кровать. Барыня ночевать здесь будет.

— Слушау-с, барин.

Росчиславская здесь и ночевала.

Петлю на Росчиславских накинула Мериниха, мать Мериновых, когда стрелял из-за девки Дмитрий, младший сын, в Григория Меринова — оставила усадьбу тогда Мериниха на десяти десятинах. Это и облегчило перенести революцию. Революция началась с того, что отобрали восемь лошадей и тринадцать коров, а в каретном сарае устроили театр и пожарное депо, поставили две бочки. Мать из усадьбы уехать не пожелала, отказалась, потому что ничего с Росчисловых гор понять не могла, — а за усадьбу держалась, как домовая кошка, хоть и гнали все, кому не лень. Мать по-прежнему ездила в земскую управу, где был совет, сначала проходила в уборную, а потом плакалась басом всем, кому придется, и добилась — по дурости, — что ей с дочерьми позволили остаться на земле. Театр из сарая переселился в залу, хоть здесь было и теснее. Кроме театра вселились с села два большевика-молодожена, с молодухами, — большевики от женитьбы не вшивели. Потом театр упразднили и сделали школу, старухе приказали учить ребят. На помещичьей земле Мериновы образовали коммуну; кроме Росчиславских, остальными членами были крестьяне, своего хозяйства не бросавшие. Обрабатывали остатками помещичьего инвентаря, выхлопотали назад пять лошадей и пять коров. Мать и старшая дочь Росчиславские были сторожихами: ночью, когда сторожила дочь, воры ее изнасиловали. Потом коммуна развалилась. Мать умéрла от бесчестья.

Братья Росчиславские — два старших инженера — и Дмитрий — юрист — ушли из дома. Дмитрий ушел последним, тогда его, как волка, улюлюкали в Бирючем Буераке мальчишки — а-ря-ря-ря-ря! — и вернулся он единственный, когда умерла мать и развалилась коммуна «Крестьянин»: пришел на Расчиславы горы со-

всем не шумный, как раньше, постаревший, осунувшийся... — —

— — А о Расчисловых горах поют девки:

Как Расчиславские горки —
Странные делишки...
Все помещики — Егорки,
Последни портчишки!..

Если от шляха свернуть влево — нет деревни Чертановой, провалилась она под землю, земля под ней — торф — выгорела в лесном пожаре, — проехать полем, перебраться вброд через реку, пробраться сначала через черный осиновый лес, затем через красный сосновый, обогнуть овраг, пересечь село Секирино, потомиться по суходолам, — приедешь к Оке, к древнему городу Ростиславлю, ныне — Погосту Расчиславу, Расчиславовым горам и борам. На север от Расчислава по Оке, в лесах, сохранилась Введенская — Введенье Божьей Матери — пустошь (впрочем, около Коломзавода торчит Голутвин монастырь, а в Рязани и Коломне — их штук пятнадцать) — —

Нету города Ростиславля, и есть Погост Расчислав. В тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году на Погосте сгорела церковь, тогда подрядчик перехитрил церковного старосту (или оба сжульничали мужичьими пятаками?), — съели церковь, выстроили из известняка плохую — Богу — кордегардию. И все же на церкви надпись: о том, что церковь эта поставлена на месте, где был некогда город Ростиславль, построенный князем рязанским Ярославом в 1153 году, одновременно с городом Зарайском, для сына Ростислава, коий и правил здесь. Есть и предание, как погиб город: — в Смутное время, изгнанные московскими воеводами из Коломны, Иван Заруцкий с Мариною Мнишек и с сыном Ивашкой-воренком подступили к городу Ростиславлю, переправились через Оку — вон там, пониже (так и зовется с тех пор это место — Пристан), — спалили, разграбили, расчистили город дотла (так и зовется с тех пор город — не город Ростиславль, — а — Погост Расчислав). Иван Заруцкий от Расчислава хотел идти на Зарайск, но про то пронюхали мужики (так и зовется село Про-

нюхово), — князь зарайский вышел навстречу, дал сражение, победил Ивана, — дрались тогда на секирах — так и осталась деревня Секирина! — а Иван убежал Астраханским трактом на Астрахань, с Мариною Мнишек и сыном Ивашкой-воренком. — Вот и все о городе. В рязанских «Епархиальных ведомостях» писалось еще, что в городе Ростиславле собирались князья — тульские, рязанские, суздальские, — чтоб ходить бить мещеру и мурому... И еще. Годах в семидесятых, или раньше, или позже, помещица Ростиславская выгнала с погоста попа, задумала устроить монастырь, набрала девиц, заштатного попа выписала, черная была, как галка, и горячая, как головня, дымилась монашеской страстью, посылала сыновьям-конногвардейцам в Петербург по пяти тысяч, епископ рязанский Мелети собутыльничал с ней, бумаги у нее были царские, сыновья приехали на весну — всех скитниц взбаламутили. Скит приезжал закрывать рязанский губернатор. Вот и все. С испокона веков Расчиславы горы принадлежали Ростиславским, а потом — о Расчиславых горах пели девки:

Как Расчисловские Горки,
Странные делишки!
Все помещики Егорки,
Последни портчишки!..

Топографией и странными помещичьими делами, вроде того, как овес сеять под озимые, на Расчиславых горах черт ногу сломал: на каждом бугре по усадьбе — шесть усадеб — и три крестьянских общества, по семи изб каждое, — и всему свое название: — то Конев Бор, то Ратмиро, то Бирючий Буерак (за Бирючим Буераком — глухое место — была коммуна «Крестьянин»). А помещики на самом деле были все Георгии да Юрии, — то Юрий Георгиевич, то Георгий Юрьевич, то Георгий Георгиевич, то опять Георгий Юрьевич, — и только земский начальник Комынин был попросту Ягором Ягоровичем Комыниным. Частушку же только девки пели так, парни — девкам — пели иначе: —

Как Расчиславские горки
Странные делишки,

Все помещики Егорки,
Сохнут по... — э! —

Там, за оврагами, за Расчиславскими горами — Ока, луга, поемы, дали. На Расчиславых горах каждую весну цветут яблони, в старых садах, и будут цвести пока есть земля, — сады в белом яблоневом цвету под луной кажутся костяными, неподвижными, — трудно тогда спать в смене багряниц востока и запада, в соловьином пеньи, и всю ночь в оврагах тогда кричат лягушки... Древний город Ростиславль, брат Зарайску, погиб в Смутное время и — —

Братья Росчиславские — два старших брата — ушли из дома и домой не вернулись —

СМЕРТЬ ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА РОСЧИСЛАВСКОГО СТАРШЕГО

Справка из колонии психически больных № 3.
РСФСР
ГУБЗДРАВОТДЕЛ С.Р. и Кр. Деп. КОЛОНИЯ психически больных.
Мая 2-го 1923 г.

СПРАВКА

Гр. Юр. Георг. Росчиславский, сын дворянина, находясь в Колонии на излечении, был убит товарищами-больными в состоянии запальчивости и массового психоза.

Дежурный Лекпом — подпись

(Печать)

«Брат! Брат!.. ты слышишь, какая тишина?.. я себя чувствую волком, волком!..

(В тысяча девятьсот семнадцатом году, в декабре, когда не рассеялся еще дым октября, когда дым только густел, чтоб взорваться потом осьнадцатым годом — когда первые эшелоны пошли с мешочниками, развозя бегущую с нарочей армию, в ураганном смерче матерщины — —

на одной станции подходил к вагону мужичок, говорил таинственно:

— Товарищи, — спиртику не надоть ли? — спиртовой завод мы тут поделили, пришлось на душу по два ведра — —

на другой станции баба подходила с корзинкой, говорила бойко:

— Браток, сахару надо?! — графской завод мы тут поделили: по пять пудов на душу... — —

на третьей станции делили на душу — свечной завод — кожевенный — степь, ночь, декабрь — —

— в городах на заводах, в столицах ковалась тогда романтика пролетарской машинной революции, которая должна уничтожать землю, а над селами и весями, над Россией шел мужичий бунт, как пугачевский, чуждый и враждебный городам и заводам. Тогда поднимался занавес русских трагедий, Октябрь отгремел пушками по Кремлю не случайно. Тогда вся Россия пошла на шпалы, ибо рельсы из стали, и надо было знать секрет, чтоб влезть в поезд — в сплошную теплушку: тогда брат брату держал у сердца топор, но надо было артелиться и ушкуйничать, и надо было артелью в пятнадцать человек лезть кулачным боем в первую попавшуюся теплушку, через головы, спины, шеи, ноги, в драке насмерть, ибо место для тебя было то, с которого скинул ты чужого. И вот, была декабрьская ночь во льдах. Поезд шел в степь. Каждый, кто ехал, ехал за хлебом, и ехал тогда первый раз, — поезд шел в степь, на диких степных станциях растеривая тех, кто, не желая умирать с голоду, брал быка за рога — просто, через все преграды к жизни, вез себе хлеба. Теплушки были набиты человеческим мясом до крыш, это мясо было злобно и голодно, злобно молчало, когда шумел поезд, и оно рычало в бога и в печень, когда поезд стоял: оно ехало из городов.

И ночью поезд выкинул на дикую станцию полсотни людей. Луна уже сошла с неба, ночь помутнела перед рассветом, была черна, кололась во льдах, на востоке едва-едва зеленело. За станцией был поселок, у станционной коновязи

стояли возы, лошади мирно жевали, на возах валялись люди. Скоро узналось, что поселок переполнен ушкуйниками, — поселок не спал, рассовал людей по печам, по полатям, под нары, — а на улице то тут, то там вспыхивали огоньки спичек и папирос, и было очень тихо, потому что все шептались, как перед разбоем. — Приехавшие: — одни решали идти в трактир попить чаю и забиться на часок поспать куда-нибудь под стол или за стойку, другие — сейчас же идти по селам за хлебом; узнали, что ближайшее село в трех верстах. Несколько человек пошло к околице, —

— и когда они подошли к последней избе, где метели надули сугробы и откуда открывалась черная пасть пустого поля, — их остановила старуха.

— В Пронюхово идете? — спросила она.

— Туда, а — что?

— Не ходите. Меня тута Совет приставил — упреждать. Волки очень развелись. На людей бросаются. Вчера ночью московского задрали, за мукой приезжал. А нынче с вечеру — корову задрали. Погнали корову к колодцу поить, — как отбилась, никто не видел, — только слышут, ревет корова, как свинья, за задами, — побежали мужики, видят — шагов сорок — корова, а вокруг ней семь волков, — один волк тянет к себе корову за хвост, потом бросил сразу, корова упала, второй волк тогда корову за шею. — Когда подбежали мужики, полбока волки уже съели. — Не ходите!..

Восток бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приявший романтику городской, машинной, рабочей революции, — *и эта весть о волках, это холодное пустое поле впереди, страшащее волчьим разгулом, безмолвием снегов, навсегда остались у него — одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.*

С тех пор прошло пять лет. И новые пришли декабри — великих российских распутий.

Те дни в России многим казалось, что исконными, российскими, еще от Петра Первого, дыбами, на огромные дыбы поднята Россия, и из 23-го, положим, октября 1917-го года, в 28-е октября перескочить надо по отвесу более отвесному, чем тысяча верст российских проселков — тоже ставшая дыбом. —)

Но и волки могут страдать... Я прожил эти годы волком, ничего, кроме страданий, они мне не дали. Я просыпался каждое утро с ощущением, что я на станции, уехал и застрял в пути, — но я — волк — и каждое утро я бежал от себя, к волкам же в дебри... Я все думаю — какая же игра стоит свечей? — и какие же свечи стоят — вот этой игры, что разыграл я, человек, мужчина, инженер, прочее... У меня есть одно — моя жизнь, больше я ничего не знаю, и о ней речь. Трудно быть куром во щах. У меня есть навязчивые картины памяти. Вот несколько из них. Сначала две аналогичные... Это было в девятьсот девятнадцатом году в Коломне, когда я еще не знал Милицы. Была зима такая, как у самоедов, мы спали в шубах и валенках, забыли о белье, вечера коротали с лампадами, и у каждого в комнате стояла железка, как на кубрике у матросов в каботажных кораблях: это потому, что мы шли на дыбах все в России, в российской равнине, поставив равнину в отвес, чтобы срываться... Днем я распоряжался столбами и растягивал проволоку, чтобы проводить электричество гражданам, — и работа была на каждый день, хотя проволоки у нас и не было: то тут, то там срезывали ночами проволоку, и тогда я знал, что завтра придет гражданин, поплачется, принесет должные за проводку мешки с мукою, поплачется и скажет, что «проволочишка у него, слава богу, нашлась, сохранилась от старых времен...» — потом, через неделю гражданин прибегал и уже не плакался, а орал, что «сволочи, воры, грабители» у гражданина срезали проволоку. Я знал, что назавтра придет новый гражданин. А у лампочек в общественных местах были надписи, вроде такой: «Гражданин! не трудись воровать! — лампочка припаяна!..» — Но я отвлекся. Коротко. В Коломне тогда формировался кавалерийский дивизион, шинелей для красноармейцев не было, и им из старых запасов выдали парадную гусарскую форму, красные штаны и вся-

чески расшитые мундиры, — им было, должно быть, очень холодно, но иносторонним зато красиво было смотреть на них. Я был в компании командиров. Однажды мы запили и играли в карты, три дня подряд. Днем, все же, я ходил развешивать перепереворованную проволоку. И вот, день на третий, днем, проходя мимо, я зашел на минуту выпить водки от холода. Все было открыто, командиры жили в большом реквизированном доме, я прошел ряд пустых комнат и вышел в зал. И я увидел: как все спали. Четверо заснули за столом, один с зажатыми в руке картами и с закинутой другой рукой, чтобы кинуть карту и бить ей, — один спал стоя, прислонившись к печи. Махорочный дым улегся, в окно шел солнечный свет, очень яркий, и в комнате было безмолвно. Мне стало страшно, мне стало очень страшно. Тогда я побежал от них, каждая пустая комната давила новым страхом, и я бежал все скорее, — потом, уже на дворе, где столпились кавалеристы, я стал — непонятно почему — за собачью конуру и стоял там с добрый час, и я знаю, если бы тогда кто-нибудь побежал мимо меня, я бросился бы на него!.. Это один эпизод, мне ничего не стоит призвать его, и тогда я, как наяву, вижу все подробности, и свисший ус командира дивизиона — по службе и на войне, а в жизни и до войны — опереточного актера, — но этот эпизод приходит мне в память, ясный, как галлюцинация, и помимо моей воли тогда мне хочется лезть под кровать и кусаться, и выть волком. Кругом нас, вчера, сегодня, тут, там, — такая страшная революция, — ты слышишь, к а к а я т и ш и н а?..[1] Но ведь мне все же жить, — и в сентябре бывают золотые дни... Но вот — другой эпизод. Это в

[1] Эти подчеркнутые слова — «какая тишина» — необходимо сопоставить с отрывком из письма Андрея Кузьмича Лебедухи, рабочего Коломзавода,— письма, написанного сейчас же по приезде Лебедухи из ссылки в 1917 году:

«...сейчас утро, воскресенье, и меня разбудил колокольный звон, к обедне, что ли. Я приехал вчера, и мне рассказывали: — «в городе в пожарном депо лежит убитый «бандит-большевик» Гришка Шпак, народу его показывают за два рубля с каждого, при нем лежат его два нагана и топор, — весной убили Митьку Громова, Шпакова коллегу, так того показывали бесплатно, — а третий их компаньон ищи ходить». Вчера бродил по Коломне, тишь глубокая, тиши-

детстве, я был гимназистом, в Ростиславле на Рождестве к отцу собирались соседи-помещики, и они все ночи играли в большой шлем. Женщины и дети спали, за картами, обалдев, уже безмолвно, сидели только мужчины. Помню, глубоко ночью мне понадобилось встать. Вы, оба брата меньшие, спали, — было темно, и за окном, в двух аршинах от стекла, черпал ночь ковш Большой Медведицы. Дом замер в тепле, в просторном дыхании здоровых людей, в тех хороших запахах, которые несут деревенские святки в доме прадедов. Я по коврику и потом по коридору прошел в залу, на сундучке спала няня. Двери в кабинет отца были открыты, и оттуда шел свет. Я подошел к двери и увидел, — вот это тоже всегда стоит перед моими глазами: на ломберном столе горели три свечи, четвертая потухла, и за столом сидели четверо, за картами, — отец поднял карту и задумался над ней, его партнер зажал сигару в углу рта и прищурился, выжидая, — двое остальных мне не запомнились, но они были неподвижны, — а по комнате ходил синими туманами табачный дым. Отец резким движением открыл карту, кинул ее на стол и сказал: — «Пикендрясы!» — Вот и все! Я проплакал всю ту ночь до рассвета. У Гоголя в «Мертвых душах» есть это слово — «пикендрясы» — и я прочитал «Мертвые души» только до этого слова, — не мог дальше. Ни разу в жизни не произнес вслух я этого слова, — «пикендрясы», — и больше всего в мире я чту память отца — за это слово — «пикендрясы», потому что любовь есть огромная боль, и боль — есть любовь.

на вековая, безмолвие, а Кремль, как гнилой рот зубами, полон соборами и церквенками. Завод молчит, заводов у нас нет, у нас только боговы церквенки, и вот сейчас они звонят.

«Вы простите, что так начинаю я письмо: знаю, у всех, кто любит Россию, болью большой она, — у нас колокольни вместо заводов,— Бог, черт бы его побрал, не берет их на небо, они колоколят, как при царе Горохе. От этой тишины, что кругом, страшно, к черту, надо, надо, чтоб Россия шумела машиной. И — нам не сидеть, сложа руки. Обыватель идет, ползет, испугался, распоясался хамом. Утром вышел на задворки и сразу попал в места, где скошенная рожь торчит, как торчала она при царе Алексее, триста лет назад, культура здесь не ночевала, здесь пахнет дичью и слезами. В поле единственное культурное начинание — коровьи кучи, удобрение, помощь мужику...»

«Брат! Брат мой!.. И еще об одном я хочу рассказать. Помнишь, студентами, в Москве у Елисеева мы покупали гранаты, мы срывали красную кожу, и там внутри были красные, ничем не связанные с мякотью, холодящие и кисло-сладкие зерна. Как это передать? — Много раз, с Милицей, вдвоем, когда она лежала в кресле, а я стоял около и смотрел на нее, мне начинало казаться, я явственно видел, что, как в гранатах зерна, два ее карие глаза ничем не связаны с ее телом, что тело — это гранатовая оболочка чего-то странного, неизвестного, что выглядывает наружу парою этих глаз и хорошо укрылось, вопреки всяческим анатомиям, там, внутри тела. То, лежащее внутри и выглядывающее глазами, сделано совсем не из костей и не из мяса, оно растет, должно быть, как коралловый риф и чертовы пальцы (помнишь, мы над Окой собирали чертовы пальцы? их цвет, как глаза Милицы, как кожа на переплетах старых книг). И много раз мне приходилось насильно прятать свои руки за спину, потому что, как кожу граната, мне хотелось, возможности не было не сделать этого, — отковырнуть кожу между глаз Милицы, чтобы посмотреть, какими рифами срослись внутри глаза... Брат, брат мой!..»

(Это письмо Юрия Георгиевича Росчиславского (и письмо, ниженаписанное) пришло к брату инженеру Андрею в Коломну на завод в дни и при обстоятельствах, описанных в повести на страницах 100-х.)

Москва. Трубниковский переулок. Года — девятьсот восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Зима. —

Где сердце Москвы? и не там ли, где твое сердце?.. Маями пустынно в Москве, белые сумерки ворошат душу. Раньше сотни лет подряд, декабрями в переулках, в Москве кричали торговцы:

— Ря-азань! Ря-аазааань яблакооо! — —

Слова, автору, мне — как монета нумизмату. Рязань — яблоко! — в декабрях, когда дни коротки и каждый день — как белый дом в переулочке, с печным огнем и длинным вечером у книг, — приносили антоновские яблоки, промороженные до костей и морозя-

щие до лопаток, — в яблоках тонкими иглами сверкали льдинки, яблоки казались гнилыми — и пахнули таким старым и крепким вином! — Там, в декабрях, далеко от лета и яблоки в декабре казались гнилыми — их страшно было коснуться! — и яблоки пахли древним вином. — — Эти яблоки, как дома в переулках, белые дома с колонками, ушли в отошедшую сотню лет, в декабри, в закоулки старых российских зим.

А июнем — —

московский Кремль — сед, во мхах. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто там заспал на Спас-башне?!

Чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое, — в лето, как каменные бабы из курганов, — над Москвою белесые ночи в июне и декреты спутали время на два часа, — чтобы пропустить в Кремль белесой ночью, из Кутафьи-башни звонят в комендатуру. Кремль стоит седой, в ночной, как мхи, белесой мути стоят солдаты — в шлемах и в рубахах, похожих ночью на кольчуги. Из комендатуры точно спрашивают об имени и мандатах, и тогда пропускает стража в шлемах — по Троицкому мосту — в Троицкие ворота — в Кремль. Пушки во мхах мути, стоят как столетье, — Дворцовая улица пустынна.

Из древнего дворца, с террасы, откуда Иван Грозный бросал котят за Кремлевскую стену, — вся Москва у ног. Сердце Ивана Грозного было, должно быть, как поджаренная жаба. Внизу по стене за зубцами ходит часовой. Замоскворечье легло блюдцем — тем, с которого купцы пьют чай. Арбата нет, Румянцевский музей заменил горизонт, чертит небо осьмнадцатым веком. Лоб Лубянского холма стал товарищем. И огни, огни, огни. И белесое небо во мхах. И вся Москва в дыму, ибо — кругом горят леса. Это стою там, где стоял Грозный — я, писатель, — и рядом со мной стоит человек, писатель, большевик, имя которого в революционном синодике поставлено в первом десятке. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву — но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке с расстегнутым воротом, сутулясь. Там — Москва, Рязань, Подмосковье, Поочье, Поволжье — Россия. Здесь — совнарком, власть октябрьских воль, — и — тоже — Россия... Кремль — сед!

В комнате, где, должно быть, молился Иван Грозный, — стол, диван, стул, шкаф с книгами — и больше ничего. А за окнами конюшни и башни. В этой комнате — мне спать. Мы говорим. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!

Человеку — стать в рост каменной бабы, чтоб не увидать в пути от груди к шее рытвин и пор — чтоб увидать, как художнику, прекрасную красоту. Надо ли целовать ее колена? — Над Москвой, над Россией, над миром — революция, прекрасная воля. — Какой черт, вопреки черта и Бога, махнул Земным Шаром в межпланетную Этну? — Что такое мистика? — если зондом хирурга покопошить в язве Успенья-на-могильцах, что застроили купцы язвами небоскребов, — что такое мистика?! — Мхи на каменной груди бабы... Встать в рост каменной бабы — с зондом хирурга, — а ведь этим бабам молились вотичи!..

— Что же — каменная баба — Россия?

— Нет.

— Девятьсот двадцать первый?

— Нет.

— Планета?

— Да.

Но человек устал и так много в нем человеческой нежности.

— Надо спать.

— Спите, голубчик!

Кремль — сед. Соборы в Кремле стоят музеями. Автомобиль раскроил в тумане Кремль к Спасским воротам. И под звон часов — я думаю, думаю.

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!

— Я! Я! Я! Я! Я! — отвечают часы пять, и — рассвет, красное полымя, заря с зарей близки...

А другим утром он, в первом десятке синодика революции, ранним утром разбудил шелестом бумаг, — нарком, — машина двинута, — машина в каменную бабу октябрьских воль. С террасы же — дневная, рабочая, небоскребная Москва, без хлеба и с конятником.

В комендатуре солдаты в шлемах и в рубашках, как кольчуги. Дворцовая улица, Троицкие ворота, Троицкий мост, Кутафья башня и — Москва:

— И-и-и! А-а-а! Э-э-э! Ира, селедки, холера! — работная, деловая, небоскребная, — если повторять много раз — небоскреб — похабное слово!.. — —

— Дым, лесные пожары, людские пожары в России, болотные лихорадки, метели, — анофелес лихорадок, метелей, пожаров — одолел человека: вся Россия в сыпном тифе, и человечки в нем — язвинки, а Украина спорила с Поволжьем, Донщина с Литвою — как рука у горячечного с сердцем и колено с плечом. — Это — девятьсот девятнадцатый год.

Москва, Трубниковский. Зима. — Где сердце Москвы? — Милица!

В коридоре неделю назад расплеснулась вода и так и замерзла, и каждый раз, падая, надо подумать, что надо об этом запомнить, чтобы следующий раз не поскользнуться — и нет возможности запомнить все. Холод идет с пальцев, и пальцы давно запухли от холода, красные, как морковины. По стенам по-прежнему книги в строгих шкафах, первые прижизненные издания Пушкина, Данте, изданный сто лет назад, Шекспир, переведенный при Екатерине, французская геральдика и: бумага наркома в первом шкафу о том, что библиотеку нельзя реквизировать, — на стенах строгие портреты, на полках старый фарфор, из угла чертом усмехается бронзовый китайский бог и около него десяток стеклянных боженят, и на полу ковры. И на столе — из Персии, вышитая, строгая скатерть: и на скатерти в тарелке севрского фарфора — две картофелины; в киргизской чашке — соль. И стыдно сказать: были нелады с желудком, доктор прописал касторку, и касторка не подействовала, потому что обезжиренный организм впитал ее — как жир, а не как лекарство!.. И вот, как комната, как книги, как ледяной росплеск воды в коридоре (холод идет с пальцев) — женщина в этих комнатах, как росплеск воды. Имя ей — Милица. Юрий Георгиевич Росчиславский понял, что тело ее — только футляр для прекрасных глаз. — Есть такие в России

люди, как и во всем свете, должно быть, или они родились не вовремя, или время для них не существует: у Милицы с детства были книги, и для жизни был — водитель и друг — поэт Леопарди, — и, как книги, надо не спешить, медленно двигаться, думать, знать, уметь быть в итальянском ренессансе и в эпохе российского Александра Первого, как вот в этой комнате, — не заметив и не желая знать, что эпоху делали десятки людей, когда миллионы безэпоховствовали и молчали. Но: каждый человек прав иметь свой мир, — и: не счастье ль, ежели свой мир — есть?.. — и каждая книга знаема каждой страницей. Тогда, всю жизнь, муж, писатель, приходил к сумеркам с кипкою книг, — и вдвоем рассматривали Дельвиговские «Северные Цветы» с пометами — тушью — рукою Дельвига... Трубниковский занесло снегами, лишь посреди вилась тропинка, зима ломилась с восемнадцатого в девятнадцатый год, Москва затихла в морозе, безмолвствовали даже очереди сплетен у промерзших магазинов, за промерзшей — кормовою — свеклой.

Муж умер сразу. Утром он ушел на службу, как ходили все тогда, потому что все служили тогда революции. Он возвратился ломовою лошадью, как ходили тогда все: на горбу принес мешок с овсом, под мышками портфель, два полена и доску из забора, — а за пазухой был том некрасовского «Современника», надписанный Некрасовым для Достоевского. — Каких свечей стоит человеческая жизнь? — За окном были синие сумерки, и там промаршировал отряд красноармейцев, в лаптях, кто в шинелях, кто в полушубках, с австрийскими винтовками, — уходил, должно быть, бить кого-нибудь из белых генералов. Электричества не было, и зажгли две свечи, чтобы просмотреть «Современник». Муж встал, вышел, поскользнулся о росплеск воды и — никогда больше не встал. Муж был строен и строг, и мир за ним — мир Леопарди — был, как из светелки. Трубниковский занесло снегом, муж три дня лежал на столе на строгой — из Персии — скатерти, — лошадей тогда не было в Москве и мужа — Милица — повезла — в Донской — на салазках.

...Человеческая любовь, человеческая нежность и внимательность, человеческая благодарность — приходят иной раз очень жестоко, и жестоко надо расплачи-

ваться за них, — и томик Леопарди падает из рук!.. «В мае рассветы мучительны. Там, дома, в коридоре, где был росплеск воды, спит человек на полу: — убить бы, убить бы память о нем!..»

Трубниковский занесло снегом. Ничего не надо. Ничего не понятно. Росплески воды растут и растут, уже нельзя ходить коридором, и пальцы на руках — уже не морковины, посинели, как мороженое мясо. Мир, вот тот, что шеренгами рабочих идет бить белых генералов, тот, что идет с красными знаменами на Красную площадь, мимо, по Поварской, босой по морозу, что кидает, мечет — Россию, Россией — тот, что пушками бил по Кремлю — непонятен, чужой, никогда не понять!.. Ничего не надо — ничего нет. Была всегда она, Милица, строгой, прямой, целомудренной, — и тело раздвоилось, отделилось от глаз: глаза жили сами собой и замерли — там, в дореволюции. А тело испугалось холодного голода, картошки, которую достают где-то там в очередях у площадей, за которой ездят на крышах поездов в свисте ветра, метелей и винтовочных пуль, как за сказочной живой водой — из сказочного царства мертвой воды... и кто-то там командовал:

— Россия, рысью! Россия, влево! карьером, Россия!.. —

Тогда по дороге на кладбище в Донской монастырь, когда глаза застелились только слезами, ничего не видели, — подошел, прибился человек, человечек, помогал везти гроб, номерок привешивал на могиле, — и обратно вез салазки, и говорил не мешкая:

— Я и вас, и мужа вашего давно знаю.

И когда салазки скелетом прогремели по лестнице и по льдам коридора, когда комната с книгами встретила мертвью, в коридоре человечек сказал:

— Я давно вас знаю. Я все для вас сделаю! Я завтра приду вам помочь.

Был он ласков, как теленок, предан, бесшумен, молчалив; носил он латышскую фамилию, такую, которая никогда никому в мире не понадобится, как и он сам, приехавший издалека учиться где-то в студии, чтобы никогда не стать артистом, но быть неизвестно к чему живущим человеком с паспортом актера. Он пришел и завтра и послезавтра, и остался на кухне. В каждом человеке есть, пока он жив, человеческая, физическая

теплота; а он ходил и ездил куда-то там, в этот страшный мир, покоряющий миры — январями — босячеством, — за картошкой и хлебом; где-то ночами разбойничал у заборов, как все разбойничали, растаскивая заборы на топливо, — и ночами же тогда, среди книг, сдвинув ковер, растапливал железку, такую, какие ставят на кубриках морских кораблей в дни полярных плаваний; электричество не горело, и красные отсветы от железки бегали по книгам, по фарфору, — к дивану, где лежала она, Милица... В каждом человеке, пока он жив, есть его, человеческая теплота, как и у щенка, — и как в морозы, как зверям, не греть людям друг друга этим своим теплом? — Ее глаз, глаз Милицы, этот человек не увидел, да и не мог увидать, — и она ни разу не взглянула ими на этого человека — так — во весь рост, оком, которое, как заметил Юрий Росчиславский, уходит внутрь и там живет странными рифами, быть может, из окаменелостей книг, чтоб не видеть жизни. Глаза остались не при чем. Милица жила строгою жизнью и любила до Юрия Росчиславского только однажды: своего мужа, — и была она чиста. Но о росплесках в коридоре нельзя было помнить каждый раз, чтобы не падать поскользнувшись, — ничего нет, ничего не осталось, и мир кругом шел в непонятность, в ненужность, люди оволчились и стали друг другу зверьем, человек был страшен. — А вот этот, нежный, как звереныш-щенок (хорошо ведь щенка приласкать, — пусть пригреет, пригреется!), был тут, молчал, со всем соглашался, куда-то там ходил и ездил за картошкой, и здесь у дивана — отсюда прогонял холод, сразбоив гдето заборину. И потом вот здесь у железки, как щенок у тепла, засыпал, ковер под себя подостлав... Глаза умерли, а тело — испугалось, должно быть, и — вот этой щенячьей теплоты — телу без глаз не хотеть — возможности не было... Такие полярные стали в коридоре морозы и трещал дом ночами, потому что разламывали ночами дворы. Ей, Милице, было все все равно. У дивана горела железка, против железки на корточках сидел этот: и половину комнаты съела тень от железки, и половину комнаты съела тень от этого, — кроме него и железки ничего не было в мире. Тогда он встал, чтобы отгородить свет книгам, — Милица не увидела книг,

освобожденных им, — он подошел к ней, к Милице, и опустил свои руки на ее плечи: он, этот человек, фамилия которого никогда никому не понадобится, который давал ей, Милице, картошку, — он не заговорил о своей любви, потому что она была ясна, — он просто, как щенок, в эту полярную ночь залез, чтобы согреться, под ее, Милицыны, шубы. Глаза были мертвы — и не видели, что теперь только половина комнаты в тени от железки, та, что к окнам, а книги — и Леопарди! — светятся черствыми корками, и чертом усмехается из угла китайский бронзовый бог. Этот, без фамилии, любил по-настоящему и настоящее понимая так, как умел понимать: не кинуть же в него и в нее камнем и — истинно: любовь человеческая, нежность и внимательность человеческие, благодарность — приходят иной раз очень жестоко и жестоко надо расплачиваться за них!..

Утро пришло тогда семейной постелью, ледники света были ярки, и заблестели в красном солнце черт и черствые корки книг. И тогда необходимо было взглянуть и увидеть — г л а з а м и: у в и д е т ь!.. Как каждому, человеку дано право — жить и видеть по-своему, и по-своему, до гроба, любить. — Этот, возникший, потому что ничего не нужно, говорил о том, что коровы («коровы? коровы? — ах, да, — млекопитающиеся, кажется, четвероногие?..») — что коровы стоят столько-то, только вон ту полку книг, где Леопарди, и будет свое молоко («ах, да, — коровы дают молоко!..»), — надо соль привозить, а не хлеб, — десять пудов, — на соль можно все получить!.. Этот оказался не тот, что вырос из книг и врос в книги, — и не те, что, полмира зазастив железкой, Россией командовали влево. — Десять пудов соли — и будет и масло, и сало, и свое молоко. — «С голода мы не умрем, я не допущу, чтобы ты голодала!..» Этого черта продать (ну его, страшно от него ночью!), эти вот книги продать, — это оставим себе, — «там остался от вашего (когда о муже, тогда: в а ш е г о) — от вашего мужа пиджак, можно его мне?..» — «Я пойду сейчас на Сухаревку!..» — «На углу мальчишка продает конину, — можно обменять?..» — —

Глаз Милицы он не увидел — не увидал никогда. А Милице стало понятно, что остались только глаза, — тело отдано за тепло, — тело — тоже как вещь, которую

беречь не стоит: ничего нет, ничего не надо, все равно... И только одно, всей оставшейся силой, всеми памятями, всеми глазами (что ледником сохранились от прежних времен, от прежних эпох, как мамонты в полярностях подлинных):

— «только книги оставьте, память оставьте, — оставьте глаза!»

И надо было, необходимо было, чтоб сплошная была полярность, чтоб все замерзло: и так и было, и веснами и в июле был полярный декабрь... Пусть последнее останется — глаза; тело — это еще не все, тело должно есть, хотя б ржаную кашу. А этот человек был предан, — этот человек любил и делал так, как понимал, и он таскал домой — и маслице, и кашку, и конинку — хотя корову так и не купил, оставив корову как «венец мечтанья».

...Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь. Он пришел в девятьсот двадцать втором году, когда революция уходила в легенды. Маленькие трагедии — тому, кто трагедийствует — бывают иной раз больше мира: и всегда особенно страшны — пред лицом жизни и трагедии в смерть — трагедии те, где мелочь, бессилье, безденежье, комнаты, вещи — сильней человека. — В Москве не все уже дома можно было оттопить после ледников, переулки стояли, чтоб вымирать, — и тогда декретами стали все собираться в дома, где зимами можно было, уделив каждому, кто трудится, шестнадцать квадратных аршин, топиться на этих аршинах: — шестнадцать квадратных аршин российской разрухи много внесли достоевщины, когда в комнате было дважды-шестнадцать квадратных аршин, когда муж расходился с женой и им некуда было выехать, и они оставались вместе, а муж женился на новой жене, и втроем они жили на соседских шестнадцати квадратных аршинах... — Тот, безыменный, с коровьим венцом, отдал, конечно, свои шестнадцать аршин в копилку комнаты с книгами. — Юрий Росчиславский пришел, чтоб увидеть глаза Милицы, чтобы глазами, как гротом, спуститься в солнечный холод Леопарди и чтоб разбирать почерк Федора Достоевского на книжке «Времени», подаренной Некрасову, — чтоб спуститься в холодок таких слов и мыслей — там за этими днями, ибо

мир не только этими днями закутан. Юрий Росчиславский пришел весной, хотя это был сентябрь: и Милица встретила его тем «бабьим летом» любви, когда первая паутинка морщинок у глаз греет солнцем, любовью более благостной, обреченной и прекрасной, чем солнечный холод Леопарди. — Каждый щенок прав жить и кусаться (когда ему больно) по-своему, — и за человеческую нежность, благодарность и внимательность: очень жестоко надо расплачиваться человеку! — тот, мечтавший спастись коровой, начал кусаться по-своему, — и в какую-то больницу его отвезли потому, что он выпил стакан нашатырного спирта; но он остался жив, и его привезли на шестнадцать его квадратных аршин, — и с шестнадцати этих аршин он уйти никуда не захотел. В любовь, благостную, как первые паутинки, как холодок бабьего лета, в последнюю и единственную, как последняя любовь — полетели с шестнадцати квадратных аршин:

— «проститутка»,

— «содержанка»,

— «по моей площади всяких хахалей прошу не водить»,

— «мешают спать»,

и:

— «прости»,

— «не уходи»,

— «пожалей»,

— когда жили только одни глаза и ничего, кроме глаз и июля, не было...

Из колонии психически больных Юрий Росчиславский прислал брату письмо, вот оно:

«Брат! Брат!.. я утверждаю: счастья на земле много, вот оно, всюду, кругом, — и я счастлив теперь, потому что я — волк. Мы, волки, счастливы потому, что у нас нет никаких начальств. Я грызу врагов и грызусь за друзей!.. И чем меньше обременяет государственность — тем лучшая государственность. Все эти годы каждый из нас был государственником, все вершили судьбы России: а я не был им, и Вагнер, Шекспир и Рафаэль остались для меня на прежнем своем месте, как и Россия

осталась на прежнем месте, — только вот люди, которые меня окружают на нашей даче (они — люди, а не — волки!), очень странны и мне надоедают: один пишет сам себе на все ордера, проснется утром, пишет на стене — «Мандат» или «ордер» — «дан сей гражданину Мыльникову на право встать» — и только тогда встает, потом пишет мандат — «дан сей на право умыться» — и моется; другой ворует у всех хлеб, прячет его за пазуху, под кровать — и не ест, умирает и умрет с голода; третий — интеллигент — налетит, перстом в грудь — «именем Советской Республики вы арестованы» — и сейчас же сам лезет под кровать к сухарям, — а потом вылезет и разговаривает со мной о волках и об англичанах, я ему подробно рассказывал «Путешествие Гулливера» Свифта и «Утопию» Томаса Мора; и так двадцать человек, кроме меня. Иногда вся эта компания бунтуется, неизвестно почему, и однажды даже сломали решетку в окне. Однажды я одному — он пишет проект, отказывает человеку в его индивидуальной жизни, может доказать революционность или контрреволюционность солнца и утверждает, что Россия началась 25 октября 1917 года, — однажды я ему хотел перегрызть горло, но мне не удалось. Все это пишу я тебе, брат, не потому, что меня все это сколько-нибудь волнует, — я — волк, и мне одинаково неприятно иметь дело с людьми (потому что они могут меня подстрелить), — в лучшем случае безразлично, потому что на выборы и на подкарауливание в очереди паспорта я трачу неделю в году: это я пишу тебе потому лишь, что ты до сих пор остался человеком. Мне жаль тебя, брат, потому что ты человек!.. А мне теперь все равно — у нас в лесу всем свободно, нет никаких шестнадцати квадратных аршин... Я скрывал от тебя, открою тебе: я жил в Расчиславовом лесу за Окой у Бюрлюковской пустыни, меня поймали люди и посадили сюда, хорошо, что не убили!.. Я жду момента, — о! у меня секрет, — ты знаешь пословицу о нас, о том, что, сколько волка ни корми... — в нашем доме в Расчиславовых горах прибита вывеска — «Коммуна Крестьянин», — я бегал туда воровать кур: я тебе никогда не рассказывал, на святках, мальчиком, раз ночью мне понадобилось встать с постельки, горшочек забыли поставить, я пошел через весь дом, у папы двери были открыты, и он сказал — «пикендрясы!» — Я проплакал всю ту ночь до рассвета:

никогда не читай Гоголя! Впрочем, на нашем дому уже нет вывески «Коммуна Крестьянин»... — Вот почему я стал волком. Переходи, брат, к нам...»

Выехать маем из Москвы — —

в вечер, в поле, в туманы, в соловьиный крик, сладостен тогда даже первый укус комара, — а кукушки поистине отсчитывают годы счастий! — — О Милициной кровной сестре, о Елене Осколковой — потом, дальше, хоть все — июлем — одно к одному...

В колонии для психиатрических больных или, попросту, на сумасшедшей даче, было сто тринадцать больных, был, конечно, медицинский персонал, сторожей было четыре человека. Точно установить причины драки между сумасшедшими возможности не было. Вечером был обход врача. Двери заперли на ночь. В коридоре остались сторож и сиделка, сторож вскоре заснул, сиделка вышла на крыльцо, к ней пришел знакомый (была майская ночь, и в ночи не переставала кричать кукушка, садилась роса). Когда сиделка вернулась, в палате № 3 был уже крик, сумасшедшие в своих халатах стояли между кроватей и орали все вместе; тогда из угла, сняв с себя все, на четвереньках пополз Росчиславский, он бросился на спящего с ближайшей кровати и стал грызть его горло. Сиделка побежала за сторожем. Сторож схватил палку, соседняя сиделка побежала за фельдшером и врачом (врач ушел в село на практику), — когда они вернулись, сумасшедшие гуськом гонялись друг за другом, — Росчиславский вышиб раму с решеткой, разбил стекла и бросился в окно. Остальные бросились за ним. В это время было уже ясно, что все гонятся за Росчиславским. Дача была на горе, на берегу Оки. Росчиславский побежал к обрыву, — и на несколько минут была надежда, что он будет спасен: он прыгнул с обрыва и затаился, вернувшись шаг назад, под кустом. Сторожа с палками стояли в стороне, боялись подойти. Все гуськом прыгали через Росчиславского и бежали дальше к реке и в туман. Но, когда

прыгал последний, Росчиславский — на четвереньках — бросился на него, укусил его за ногу. Тот завизжал — и через несколько моментов Росчиславского уже не было в живых под навалившейся на него кучей сумасшедших... —

— Выехать маем из Москвы: — в вечер, в поля, в туманы, в березовую горечь, в счастье отсчетов кукушки, — счастье тогда даже первый укус комара! — —

Два других брата Росчиславских, Андрей и Дмитрий: о них дальше, потом, как есть о них уже теперь, сейчас — —

Идет и проходит май.

Идет и проходит июнь.

Идет и проходит август.

О ВОЛКАХ, ИЗ ГЛАВЫ «О ВОЛЧЬЕЙ СЫТИ»

...Были: октябрь, чернотроп и первая пороша, леса днем, деревни ночами, волки, — были: — волки!.. Уже неделю они бродили по лесам, эти семеро, по пустошам, около Андрюшевского оврага. Сначала были дожди, потом на ночь грянул мороз, и наутро, перед рассветом, упал снег; в этот день первой пороши они убили пять волков, настигнув стаю по следам. Стая все время уходила от них. Это был угол, где сходятся три губернии — Московская, Рязанская и Тульская.

Время проходило так: к полночи они приезжали, на телегах, в отрепьи, с ружьями, запутанные во флажки, с котомками, забрызганные грязью до глаз, — они приезжали в деревню, где поблизости были волки. Все сразу они лезли в первую попавшуюся избу, начальник отряда требовал самовар, соломы, председателя. Шумно и устало пили чай; расстилали на полу солому; опалевшему председателю, прибежавшему с печки, приказывали к утру собрать полсотни кричан, загонщиков, мужиков и баб в трудовой повинности, сажали его вместе

пить чай, чай с ситным и вареной колбасой. Потом чистили ружья, просматривали патроны, располагали их в патронташах по порядку калибров картечи, — десятки раз перепросматривали ружья друг друга — «Три кольца» Зауэра, Бельгийцев, Гейма, Штуцера. Семью мужика, того, у кого остановились, загоняли на полати, в угол, — и шумно ложились спать на соломе, не раздеваясь, вместе с ошалевшим поросенком, в анекдотах и песнях, пугая храпом тараканов, под головы подсовывая сапоги и все, что попадется...

Леса стояли бесшумны, безмолвны, осыпавшиеся, поредевшие, в серости, в дожде. Листья в лесах шумели едва-едва, и, если долго стоять и прислушиваться к лесному шуму, — не зазвенит в ушах, потому-то идут неуловимые шорохи, тишина, замирание, и только под ногами двигает листья лесная мышь, да очень далеко пиньпинькнула синичка; у Андрюшевского оврага, на болотинах, в сосновом лесу и ольшаных перелесках, в березовых клинках росла высокая трава, — и слышно было, как осыпается она, звенит. К сумеркам лес темнел, стихал совсем, замирал, в перелесках возникал серый туман, дождь моросил туманом, невесельем. И в сумерки, в те минуты, когда село солнце, настал мрак, и лишь едва остались тени от неокончательно погибшего солнца, когда даже мыши стихли, — обкладчик-псковович Тимофей подвывал волков: в лес они приходили втроем, он был с ножом, те двое с ружьями; те двое, инженер Росчиславский и второй, оставались под деревьями, Тимофей шел на поляну; трое они шли безмолвно, меняясь знаками; на поляне Тимофей вставал на корточки, подпирал шею руками, зажимал особенно глотку и — начинал выть, как воют волки. — Он выл — тоскливо, страшно, длинно, монотонно, как воют матерые; он выл — отрывисто, визгливо, взлаивая по-собачьи, как воют переярки; он домовито выл, степенно-злобно, как воют самки: — и в лесной тишине ему откликались волки, — тем, стоящим на изготовке под деревьями, было страшно, и Тимофей во мраке уже казался не человеком, полуволком. Когда Тимофей выл матерым, отзывались матерые, злобно; когда Тимофей выл самкой, матерые откликались ласково, и злобно — самки. Лес был безмолвен, и только этот вой на версты щемил лесную тишину: сиротством, страхом, нехорошо... В лесу

на новой поляне валялась падаль, лошадиная стерва — привада: волк ночью пойдет грызть ее, трепать, играть с костями, учить щенят, — наутро волки будут здесь... Тимофей похож на получеловека-полуволка, — вот он выполз из мрака, нежданно — сразу встал с четверенек, погладил бороду, сказал:

— Семь волков. Сука, матерой, два переярка, три щенка. Идемте.

И он пошел вперед, походкой, точно косят две косы, старик восьмидесяти лет, всю жизнь проживший, как и его отец, с волками, научившийся с волками говорить на волчьем их языке, сам похожий на волка, молчаливый, навсегда лесной. Те двое, что стояли под соснами на изготовку, — потому что матерые иной раз бросаются на подвывалу, когда он воет матерым, учуяв в нем соперника на волчьи святки, — шли сзади, поспешали, и им страшен был Тимоха, вот этот, что сейчас при них припал к лесным, к волчиным тайнам, и молчит о них, как о пустяках, — вот о том, что здесь в каких-то саженях бродит стая волков, придет на падаль у Мистрюкова пруда, будет там играть волчьей своей, недоброй человеку игрой. Тимофей неожиданно говорит:

— Иной раз по осени ищешь волков, по всем приметам, тут им держаться, тут и лаз ихний, — и набредешь на логово: — такой дух у волков отвратительный, не могу сказать, а знаю, — попади мне в руки тогда волк — пустыми руками задушу его, глотку перегрызу, такая ненависть к духу ихнему, не могу сказать!..

На телеге Тимофею первое место, охотники едут шарашить деревню, — Тимофей, сухонький старикашка, лезет на печку, где потеплей, долго разминает руками пальцы на ногах, самогона выпивает полстакана и спит, посапывая древним старикашкой, с открытым ртом, откуда торчат странно-белые и большие зубы. Охотники спорят, матершинят, делят колбасу, торгуются о качестве махорки — без него. Начальник отряда, рябой кожевник Иван Васильевич, и Тимофей уходят в лес задолго до рассвета, — и место сбора егерей и кричан — у Мистрюкова пруда на стреме...

И в час рассвета, в мутный, нехороший час, как сто лет назад, охотник Степан, в помощь сельскому председателю, дубасит в сельский сполох, зовет деревню на сход. Степан сплошь в кожах, и язык у него кожаный,

чтобы пускать кожанейшие слова. Сполох бьет судорожно, испуганно. Мужики, бабы, подростки бегут к колодцу рысцой, на ходу напяливая тулупы, в валенках — пятки наружу — по грязи. Председатель стоит недоумело, молча. Степан молчит. Мужики недоумевают, смотрят в стороны и вниз. Тогда Степан орет на версту:

— Товарищи крестьяне! Вам рассказывать нечего, какое бедствие для вас волки! Они... иху в селезенку мать, можно сказать, ваше бедствие!

— Это — что и говорить, — говорит недоверчиво старик с пакляной бородой и с посошком в руках.

— И вот, товарищи крестьяне, отряд по истреблению хищников приехал истребить ваших волков! От вас, товарищи, требуется, чтобы вы отделили от себя пятьдесят кричан, то есть загонщиков, загонять в загон волков!

— Это — что и говорить, — говорит бодрее старикашка.

— А какая плата? — На чаек надоть! — говорит со страшком кто-то сзади.

— Ттоварриищщи! — орет Степан. — Наша республика бедна, — никакой платы, — это для вашей же, мать вашу... в гроб, пользы, едрить-твою корень! Вот мандат от исполкома, кто не подчинится, того в клоповник, к матери в... — для вашей же пользы!.. Прошу не возражать, вопрос ясен! Считайте с каждого двора!.. Начи... —

— Это — что и говорить, — говорит бодро мужичонко. — Он для нашей пользы, — волк у меня летось теленка задрал, что и говорить, и мы без мандата, своей охоткой...

— Начинаю! — кричит Степан. — Товарищ председатель, — перепишите всех, кто отказывается идти!.. Живо!..

— Мы без мандатов, — говорит мужичонко; он вышел вперед, поднял свой посошок. — Что и говорить, мы своей охоткой... для нашей пользы, значит...

Било было прибито у колодца. Кругом стояли избы, нищие как с испокон веков, в соломенных шалях крыш, в трахоме оконцев, мигавших коптилками в этот рассветный час. У колодца торчал журавль, болталась бадья. Дорога в колеях по колено упиралась в забор,

там росла рябина, — там шел скат под гору, к оврагу, и там был конец свету рассветного часа. Невесело было. Моросил дождь — на благо озимым, на грех лаптям... В избе, где ночевали охотники, солому сдвинули в угол, на столе кипел самовар, делили колбасу, над помойником по очереди мылись, просматривали ружья, совсем запугали поросенка и хозяйку. Потом изба набухла загонщиками, им раздавали трещотки, давали советы, приказы, наказы, раздавали флажки. Степан отвешивал бабе-хозяйке мяса, сала и гречи — на щи и кашу к обеду после охоты. Еще, в сотый раз, за чаем, наспех, перечитывались из тощей книжечки охотничьих правил правила облавной охоты: — «с номера без команды начальника не сходить, ружье заряжать только на номере, охотничья этика не позволяет...» —

Потом запрягали лошадей, садились свеся ноги, с ружьями без чехлов и меж колен, дулами вверх, ехали, окруженные кричанами, — и вскоре егерь Павел запевал разбойничью какую-нибудь песню, разгульную и щемящую. Тогда подхватывали все, пели, пока не подъезжали к Андрюшевскому лесу.

У Мистрюкова пруда ждали Иван Васильевич и Тимофей. Тимофей уходил к загонщикам. Здесь все молчали, были деловиты. Каждому по очереди Иван Васильевич говорил обещающе, самое главное, — шепотом:

— Волки здесь, никуда не ушли.

Потом всем:

— Закуривайте, ребята, последний разок, — и пойдем на номера...

Кричаны ушли с Тимофеем, потащили за собой флажки, ушли вереницей, безмолвно, в лес, — лес сокрыл их своей тишиной. Егерей осталось только семь, тех, что неделей бродили, таскались за волками. Они были деловиты и неспокойны, они спешили докурить свои собачьи ножки, их бессонные лица были решительны. Лес — осиновые заросли, березовый клин — безмолвствовал, серел в дожде, сырость съедала шорох шагов. Иван Васильевич первый бросил папиросу. Тогда пошли: бесшумно, почти на цыпочках, гуськом, с ружьями в руках, — каждый школьником ждал пальца Ивана Васильевича, как он укажет:

— Здесь, вот под этим кустом и стой!..

На номере — над тобой сосны, перед тобой дорога, полянка, заросли, трава по колено, лес, — здесь волчий лаз: — зарядить ружье, загородиться хвоей, стать неподвижно, ни кашлять, ни курить, ни двинуться поспешно. Надо стать, застыть, — и — тишина. Соседних егерей не видно, лес — сер, безмолвен, небо в клочьях облаков, — с сосен капает, под ногами шелестит лесная мышь. Душу, волю, все — собрать в комок, съежить кулаком: — убить!.. Пять, пятнадцать, двадцать пять минут безмолвия, — душа лесная так, как было здесь столетьем. И тогда вдали — выстрел, — а за ним — трещотки, крики, ать-ать-ать-ать-ать, аля-ля-ля-ля-ля, оть-оть-оть! — лес вскрикнул эхом, гудом, помножил голоса и шум трещоток, сто сорок леших побежало без оглядки, полетели птицы, поскакали зайцы, — зайцев бить нельзя, — охотники — егеря — одним комком, крепко сжато цевье и пальцы на гашетках. Прошла лиса, еще промчали зайцы, — и вот, на правом фланге, дуплетом — ба-бах! ба-бах!.. — Это значит: — волк! Это значит: — смерть! Это значит: — убивать! Вот эта неделя бессонниц, беспутств, разбойничьих песен, телег по ночам — для этой минуты, для самого тайного. Лес — сдвинулся, двинулся, куда-то пошел, лесная душа, лешие. И волки — и есть эта лесная, лешачья душа. И есть в мире — гашетка, мушка и волк, и волчья смерть. Ать-ать-ать, а-ря-ря-ря, а-ля-ля-ля, оть-оть-оть! — кричит лес.

И тогда выходит волк — прекрасный, красавец волк. Голова его вскинута гордо. Он идет крупным шагом, он стелет полено. В серых зарослях, откуда он возник, он кажется огненным, куском огня, он стремителен и верен в своих движениях, красная шерсть стала на спине. Тогда — стремительно: — мушка, ствол, глаз, волчья голова, дым на момент, выстрела не слышно, — и видно, как волк прижал уши, как — на одиннадцать человечьих шагов — волк прыгнул в сторону, и волк галопит... Убита ли душа лесная? — с засады сойти нельзя, нельзя кричать, — лишь еще раз поспешно перезарядить ружье. Но волк все время перед глазами, каждый его шаг, каждое движение, куском огня, куском лесной стихии, той, что — —

Потом по лесу тянет запах пороха, кричаны здесь, облава кончена, охотники идут с засады на засаду: —

«Стрелял? убил? ушел?» — «Дай закурить!» — «Где моя шапка?» — Вот из кустов кричаны тащат волка, — и: *страшно смотреть на мужиков, потому что каждый, каждый — бородатые, солдатски-бритые, старики и молодые, мужики и бабы, в овчинах, в валенках, в лаптях, босые, земляные жители, скалясь, как вот этот убитый волк, бессмысленно, жестоко, мстя за все свои беды, — бьют этого мертвого волка, швыркают ногами по носу, в бока, под хвост, плюют на него, — «ууу, паадаль, у, стерва, ууу, жрец, ууу, гаад!..» У мертвого волка течет кровь изо рта. Толпа мужиков, овчины, мужичий дух, оскаленные зубы, поднятые кулаки, жестокие глаза.*

И Степану надо орать:

— Ну, ну, — отходи, разойдись! —

чтобы толпа не разорвала волка в клочья. Мужики отходят злобно.

— Он съел мою овцу! —

— Он задрал мою телушку! —

— Он утащил моего ягненка! —

Лес темнеет октябрьскими сумерками. Лес гудит человеческими словами, пахнет порохом, зайцы давно уже за много верст, и только птицы осторожно возвращаются на прежние места. У Мистрюкова оврага охотников дожидаются лошади, — егеря валят на них волка, садятся по бокам, ноги к колесам, ружья меж колен, едут по грязям. Тогда егерь Павел запевает разбойничью песню, удалую, бесшабашную, страшную, и остальные егеря подхватывают ее остервенело, простуженными глотками. Лес откликается эхом, — этот поокский лес, где хаживали еще и мещера, и мурома, и татары, и царские стрельцы, поди, много слыхали таких песен! В деревне уже трахомятся глаза изб, сиротит в ветре и дожде журавль колодца, рябина запеклась в черную кровь. — Баба сварила щей и каши, — охотники лезут в спорах и крике за стол, — Иван Васильевич режет на столе мясо, руками сваливает его в миску, командует, — «ешь с мясом!» — и охотники, деревянными ложками, неся их до рта на краюхе хлеба, поспешно едят. Потом одни ложатся на солому отдохнуть, другие играют в козла, все поют песни, спорят о ружьях, о промазах, о том, кто как «резнул» и «ахнул», — так до полночи, когда придет Тимофей и скажет, где он подвыл других

волков. Тогда запрягают обалдевших лошадей, взятых по наряду, валят на них котомки и ружья, валятся сами — и едут в ночи, с песнями, гиком, воем, матершиной, сказками, прибаутками, — до новой ночной избы, до новой остановки, в новые грязи...

Иногда волки уходят, след их теряется, — тогда охотники гоняются за ними — по лесам, по болотам, по грязям — сутками, проходят и проезжают десятки верст, по всему уезду, балдеют, растериваются, на ноги ставят всех лесных сторожей и объездчиков. Степан без толка собирает сходы, костит мать, Богомать и Бога, грозит тигулевкой. У всех охотников тогда одинаковая от переутомления походка, точно ноги на шарнирах, у всех заплыли в бессоннице глаза и осипли глотки, ржавеют ружья, сыреет махорка. Так было в дни до пороши. Прихватил морозец, телеги тряслись по кочкам, как горох в молотилке. Охотники разбились на три отряда, рыскали пешком, отсылая подводы без толку за десятки верст. Дождь перестал, день прошел в ясности и солнце, с полночи повалил снег, опять потеплело и начало развозить. Тимофей ходил один, в лесах и спал и ел, — и он набрел на волков у Кобяковских выселок, у патриарховой пустоши. Поблизости здесь была Бюрлюковская пустынь — Тимофей пришел туда в полночь, долго стучал по окнам своим смитом каких-то лошадиных размеров, — и этим смитом древний старичишко, теперь подлинно похожий на волка, послал монашек по соседним селам, а оттуда хоть к черту, но чтоб были к рассвету здесь егеря...

— «В революцию русскую — в белую метель — и не белую, собственно, а серую, как солдатская шинель, — вмешалась, вплелась черная рука рабочего — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, скроенных из стали, как мышцы, — эта рука, как машина, — взяла Россию и метелицу российскую под микитки: никто в России не понял романтики этой руки, — никто не понял, что она должна была быть враждебной — врагом на смерть — церквам, монастырям, обителям, погостам и пустыням — не только русским, но всего мира; что это она должна была — во имя романтики, как машина, —

нормализовать, механизировать, ровнять, учитывать, как учтена, нормализована, механизована машина, сменившая солнце электричеством, что это она в каждый дом внесла романтику быта заводской мастерской и рабочей казармы, с их полумраком, с их пылью, с их теснотой, с их расчетами и сором бумажным в углу, на полу, и на столе под селедкой. Это — рабочий. Тогда казалось, что над Россией из метели восстала — бескровная черная машина, рычаг которой в московском Кремле, Россия была лишь желтой картой великой европейско-российской равнины, бескровной картой — в карточках, картах, плакатах, словах, в заградительных отрядах, в тысяче мандатов на выезд, в нормализационной карточке на табак, в человечьих лицах, пожелтевших, как табачные карточки». —

«Некогда Россия — столетьями — прожеванная аржаным — шла культурою монастырей, от монастырей, монастырями, где разбойник и Бог рядом. Так создавались Владимирская, Суздальская, Московская Руси. На столетья — в веках — застряли иконостасы, ризы, рясы, монастыри, погосты, обители, пустыни, — дьяконы, попы, архиепископы, монахи, монахини, старцы. В монастырях, в городах за спасами, в церквах за папертями, в притворах, в алтарях — иконами, паникадилами, антиминсами, ковриками, по которым нельзя ходить, невидимо — ютился дух великого Бога, правившего человечьими душами две тысячи лет, — рождением, моралью, зачатием и смертью, и тем, что будет после смерти. В церквах пахло ладаном, тем, которым пахнет на улицах, когда несут покойников. При нем, при Боге, были служки, которые носили костюмы ассирийцев: они мало что знали, они богослужили, но они чуяли, что у Бога нет крови, хоть и разводят кровь вином, и что Бог уходит в вещь в себе, — они же протирали лики икон и ощущали себя — мастерами у Бога, у них было много свободного времени. — Человечество, жившее в двадцатые годы двадцатого столетия, было свидетелем величайшего события — того, как

умирала христианская религия. — Но — исторический факт — в шестнадцатом веке в России, в семнадцатом — монастыри были рассадниками и государственности русской, и культуры. И другой исторический факт — в революцию русскую тысяча девятьсот семнадцатого — двадцать второго годов — лучшими самогонщиками в России было духовенство».

Монастырь лежал в лесу, у соснового бора, на берегу озера, — на болотах, на торфяниках, в ольшаниках, в лесах — под немудрым поокским небом. Монастырь был белостенным. По осеням, когда умирали киноварью осины, а воздух, как стекло, — цвели кругом на бугорках татарские серьги. Неподалеку, в семи верстах, шел Астраханский тракт — старая окаянная путина, по которой столетьем колодничали. И есть легенда о возникновении монастыря. Монастырь возник при царе Алексее Тишайшем. Смута тогда отходила, и засел здесь на острове среди озера разбойник атаман — Бюрлюк, вора Тушинского военачальник, грабил, с Божьей помощью, Астраханку: знал дороги, тропинки лесные, вешками да нарезями путины метил, — заманит, засвищет. И на Владимирском тракте однажды, кроме купцов, изловил Бюрлюк двух афонских монахов с афонской иконой. Монахов этих убили, перед смертью монахи молились — не о себе, но о погибшей душе Бюрлюка, о спасении его перед Господом, — о них же скажут Богу дела их. Монахов этих убили, но икона их осталась, и вскоре потом Бюрлюк перелил пушки на колокола, в месте разбойничьем стал монастырь. Легенд таких много на Руси, где разбойник и Бог — рядом.

Но монастырь стал почему-то женским, хоть и сохранил имя Бюрлюка — Бюрлюковская женская обитель. И идут декабри, в ночах, в снегах, в метелях. В новую российскую метель — Бюрлюкова обитель погибла, забыта: за монастырскими стенами военное кладбище — склад авиослома, ненужный уже и революции, при нем шесть красноармейцев, комиссар и воен-

спец. — Монашки живут на скотном дворе, без церкви, роются в поле по веснам, зимами что-то ткут и доят советских коров.

Охотники разбились на три отряда. Ту порошную ночь егеря Степан и Павел провели у монашек... — Ночь. Падает снег первой пороши. Под монастырской стеной идет проселок, сворачивает к монастырским воротам, к арткладбищу, идет мимо скотного двора, через гостиные стройки, начало и конец его затерялись в лесу. Ночь темна, холодна, шипят сосны, шарит ветер. В малом гостином доме из нижнего этажа, из угольных окон идет красный свет (там живут, под надзором арткладбища, анархисты, высланные революцией из столиц)... Тарахтит телега, едут двое, ноги на отвода, меж колен ружья, — проезжают на скотный двор, тихо стучат в окна, и слышен тихий разговор, и лесной шум, и скрип шагов. И мутный свет возникает вскоре в другом конце малого гостиного дома, во втором этаже. И опять тишина, стелется снег в тишину, и шумят лишь необыкшие к снегам сосны. Новый возникает огонек — у монахинь на скотном дворе, вспыхнул — потухнул, вспыхнул опять, — и вот перебежала по снегу на дворе из тени в тень — бесшумная и черная монахиня, и скрипнула калитка. Гостиный дом построен так, как строятся хорошие казармы и конские конюшни: продолговатой коробкой, с коридором посреди, с двумя выходами в концах коридора и со стойлами номеров направо и налево. Степан и Павел глотками отогревают номер, гремят подсумками и ружьями.

Монашенка растапливает печурку. Они, Степан и Павел, бодры, стаскивают армяки, распоясывают куртки. Мрак лезет в окна. Монашенка зажигает лампу.

— Ф-фу, холодно! Хо, фа! — самоваришко нам, да погонки бы, — говорит Степан. — Ха, фа! И печку теплее. Сырость.

— В одной горнице спать будете, или как? — спрашивает монашенка, улыбается, — она стоит прямо, против огня, черное монашье платье обтянуло грудь, на свету зубы, глаза, лоб, — и Степан видит, что лицо монашенки, молодой еще, красиво и хищно, — она смотрит на Степана покойно, еще больше хочет выпрямиться, откинув спину и голову назад, белые зубы светят из-за губ.

И Степан говорит:

— Как ты прикажешь, матушка, без дураков, — в двух, и подружку зови. Попогонки достанешь? А поужинаем вместе. Тебя как зовут?

— Сестра Ольга. А ты, батюшка, ведь офицер Герц? А он — комиссар Латрыгин? — Попогонки достану, спосылаю к попу на село. Я пойду, самовар поставлю. За печуркой посмотрите, чтобы теплее. Пришлю сестру Анфису. Только — чтоб потише, — чтоб никто не слышал.

Степан Герц греется у печки, — ф-фу, ха, фа! — монастырский гостиный номер невелик, у изразцовой печки — печурка, за печуркой деревянная кровать, постель под одеялом, шитым из лоскутьев, на столе под лампой — белая скатертка.

— И придут? — спрашивает Павел.

— Придут, — отвечает Степан.

Приходит другая монашенка, сестра Анфиса, белая и плотнотелая, — ни Степан, ни Павел не замечают, что она в черном галочьем платье, — и Степан, и Павел сразу представляют, что тело ее — не то чтоб было полно, но деревянно, крепко сшито, как у калужских копорщиц. Сестра Анфиса смеется добродушно и чуть смущенно.

— Печурку надо в другой горнице растапливать, кто со мной? — спрашивает она и фыркает.

— Иди ты, Павел, — говорит нехотя Степан.

Через полчаса в горнице тепло, парно, со стен и окон течет сырость, окна плотно занавешены, на столе, под лампой, шипит самовар, на тарелках разложены — яйца, масло, соль, черный хлеб. Герц вынул из сумки баночку с сахаром, на окне у стола стоят две бутылки самогона, у стола — две монашенки и двое мужчин, самогон разливает сестра Ольга, чай — сестра Анфиса. Лампа — чуть коптит, или так кажется от пара. Печурка, железная, на четырех ножках — полыхает, жужжит, — вот-вот соскочит с места и завертится юлой по полу от жара. И сестра Ольга говорит строго:

— Скорей ужинайте, а то нам половина двенадцатого на молитву, часы стоять.

Но до полночи еще долго. — И через час — прощаются: сестра Анфиса и Павел уходят в соседнюю горницу. Сестра Ольга стоит среди комнаты, Степан — у стола, опершись на него, — спиной к нему — руками.

Ольга прислушивается к тишине дома, подходит к печурке, заглядывает в нее, подходит к кровати, откидывает одеяло, медленно идет к столу, протягивает руку привернуть лампу, — и, приворачивая, другой рукой охватывает шею Степана, загораясь, сгорая, — губами, зубами вливает в себя губы Степана — —

— Я тебя знаю, Герц. —

У полночи — мужчины спят, обессиленные. Сестра Ольга встает с постели. Привернутая лампа начадила, печь потухла. Ольга в белой рубашке, надевает чулки, башмаки с ушками, рясу, шубейку, черна, как галка. Она раздувает огонь в печурке, припускает свету в лампе. —

Над землей — снега. Эти часы насыпали снег и на сосны, и смолкли сосны, тишина. За навесом, на скотном сарае, за калиточкой для навоза на огороды, к лесу, — стоит баня. Тут темно. По двору, из углов идут черные тени монахинь — через навозную калиточку, в заполночь, к бане. В бане, где был полок, весь угол в образах, мигают — не светят, не освещают лампады, собирается десятка полтора черных женщин, согбенных, и молодых, и старых. И старуха запевает — старческим дребезгом вместо голоса — некий тропарь, который человеку со стороны показался бы диким, страшным и нелепым. И сестра Ольга подхватывает истерически мотив, и падает на пол, стукаясь лбом по доскам пола. В бане полумрак. В бане жарко натоплено. В бане черные женщины, и черные тени от черных женщин — овцами — бегают по стенам и потолку. В бане замурованы окна. — И мотивы тропарей все страшнее, все страстнее, все жутче. — Так идут часы. — Женщины поют истерически, в бане — —

— — А за третьими петухами, когда недолго до рассвета, но ночь темна, черна, мутна, — сестра Ольга вновь идет в гостиный дом, во второй этаж. Степан спит. Ольга бросает на пол шубейку, в черной рясе наклоняется к лицу Степана, долго смотрит в лицо, — она, изогнувшаяся на кровати, похожа на черную кошку — или на ведьму? — которая хочет выпить всю силу и всю кровь. Степан не знает — —

— Ты коммунист, Герц? — —

— — Герц не знает... Герц просыпается от удушья. Свет от чадящей лампы полумраком, — и над Герцем склонилось лицо, глаза широко раскрыты, безумны, и белым рядом из-за крас-

ных губ блестят зубы. И Герцу вспоминается что-то смутное, уже очень далекое, сокрытое за метелями, за голодами, за скитаниями, — где-то там в октябре в Москве, и Герцу душно. — — Сестра Ольга охватывает его шею, черная в черном, точно хочет задушить — —

...К рассвету, когда пришел Тимофей, пришла метель.

Тимофей, пришед в монастырь, долго стучал своим смитом в свет оконца анархистов. Анархисты — интеллигенты — которых сослала революция, — трое, старик с бородой Толстого, и муж с женой, оба стриженые и в пенсне, — жили в двух комнатах. У них не было печки, где можно было бы поспать, — и Тимофей лег отдохнуть под обеденным столом. К рассвету поднялась метель. Степан уехал в метель за кричанами. Рассвет пришел метелью, зимой, — и к рассвету в комнате анархистов собрались все охотники, чуем учуяв Тимоху, и сюда же пригнал Степан загонщиков, отослав троих по дороге — в волость в холодную. Комнаты анархистов, потому что лежачих в России всегда бьют, выли ведьмой, забились снегом, людьми, махоркой, матерщиной, — женщина в пенсне ставила бесконечный самовар, мужчину в пенсне послали на село за самогоном, ситным, мясом. Степан, не спавший как следует ночи, пригнав загонщиков, залезал — вздремнуть минуту — в кровать старика, в сапогах под простыню. — И охота была легкой: волки вышли все, и всех их убили, пять волков. С прежними, убитых волков стало тринадцать. Охотники стреляли все, нельзя было разобрать, кто убил и кто пуделял, все спорили; Иван Васильевич побил Степана, ударил дважды по лицу, — поэтому они возвращались друзьями. Охота кончилась. Охотники ввалились вместе с волками. —

На столовом столе охотники разложили волка, определяли по направлению выстрела, кто убил, — и старик с бородою Толстого кричал на женщину в пенсне, чтоб она пошла и сказала, что здесь живет толстовец, враг убийства, что он болен, хочет жить, просит быть потише и к нему не шляться, — Степан послал женщину куда не гоняют телят.

Охота окончилась, у охотников началось пьянство, волки валялись на дворе, двор был глухо заперт. Сосны выли недобро в метели, а метель усиливалась. Охотники пили и пели разбойничьи песни. Тимофей, старикашка, подвывала, пскович, который на биваках всегда спал и был всегда незаметен, всегда молчал, теперь тоже пил и пел. Потом он здесь в доме, посреди комнаты и охотников, показывал, как надо подвывать волков, — здесь в комнате он становился на четвереньки, зажимал себе горло и выл как воют волки, — *в комнате выл волк, — нехорошо, страшно...* Анархисты ушли из дома, прогуляться. Они вышли в лес, стояли в метели, слушали, как воет метель. Потом молча они пошли назад. Когда они входили на двор, они оба стали, испуганные: — *на дворе выл волк, страшно, зловеще, тоскливо и победно одновременно. Потом они увидели челека на четвереньках, этот человек полз к мертвому волку, он опрокинул волка на спину, и стал своими зубами грызть волчью шею.* У дверей в избу на крылечке стал мочиться другой человек, и по голосу узнался Степан, — он сказал:

— Брось, Тимош, — не томись!..

В доме визжала гармоника, тучами ходила махорка, Степан плясал русскую. Иван Васильевич спал среди пола, Павел все запевал о том, как с Нижня-Новгорода собирался стружок. *И посреди комнаты сидела — ко всем передом — бабища, госпожа земля, с такими всяческими качествами и буераками, что в ней можно было найти «попову собаку», ее окружности так степенно рассеялись по всей избе сразу, — и это из-под нее торчали, из-под всяческих ее правд и прелестей — и новогородский Павел, и кожаный Степан, и кожевник Васильич, и волчарь Тимоха, и изба, ибо бабища и над избой села. Лицо бабищи Марьи было здесь, в избе, оно было очень довольно, дремучее, в лишаях бородавок, в склизлых морщинах, вспотело от самогона, губа на губу, глаза закрыты в спокойствии, из носа и изо рта сопли и слюни. И пахнула бабища всем, что стащили на себя охотники за неделю лесов и мужичьих изб...*

...Наутро охотники ехали домой, на телегах среди зимы. И теперь это были совершенно обыкновенные люди: — кожевник Иванов, народный судья Герц, аптекарь-хохол Лашевич, комиссар Латрыгин, инженер Росчиславский, часовых дел мастер Пантюхов. Тимофей, древний дед, спал, свалившись на волков. И не это

важно, что эти люди стали самыми простыми людьми, которые завтра станут за свои дела и на улице в городе будут кланяться друг другу по чину и званию, — а важно то, *как деревни встречают волков.* Охотники проезжали многие деревни, — каждая русская деревня всегда смотрит на проезжего сотней голодных глаз, затаенно и остро. — Теперь же *каждая деревня всей своей нищетой, всем своим людом от мала до стара сбегалась посмотреть на волков и послать волкам — кто как может — свое проклятье — мертвым, бессильным, бесстрашным волкам. Здесь была вся русская деревенская злоба, нищета и тупость, — и надо было защищать волков — мертвых волков — от пинков, от плевков, от дрекольев, от оскаленных зубов, от ненавидящих глаз, — ненавидящих уже не человеческой, а звериной, страшной ненавистью.* И аптекарю, и инженеру, и часовых дел мастеру — им всем было страшно этой мужичьей ненависти, скотской ненависти, трусливой, беспощадной, и они были на стороне — если так может быть — мертвых волков.

И был уже настоящий зимний день в бескрайнем сиротстве наших полей.

«КОММУНА КРЕСТЬЯНИН», ИЗ ГЛАВЫ «СКЛАД БЮРО ПОХОРОННЫХ ПРОЦЕССИЙ»

О Расчисловых горках поют девки[1]:

Как Расчисловские горки —
Странные делишки...
Все помещики — Егорки,
Последни портичишки... э!

---

[1] Впрочем, частушек очень много, бабье творчество, ибо — «твой милой в красноармейцах, мой у Балаховича, — твой повешен, мой расстрелян, — наша доля вдовичья». Бытописателю их не обойти. «Охохонюшки-хо-хой, ходит барин за сохой, в три ручья он слезы льет, нашей кровушки не пьет». — «Раньше нашего брата не пущали в ворота, — теперь в парадную зовут, последни юбки отдают». — «По деревне слух идет — вшей забрали на учет, чтобы вшей пересчитать, стали баб учить читать». — Подлинно: — «Наживу себе беду, в сортир без пропуска пойду, — я бы рада пропуск взять — нету денег взятку дать!..» — Частушки — девичье творчество, гуляночное. Бытописателю не выкинуть слова из песни. В парнях большой недочет.

...и каждую весну цветут на Расчисловых горах яблони, и будут цвести, пока есть земля: сады в белом яблоневом цвету кажутся костяными, неподвижными. А осенью польют дожди, придут Покров и Казанская, мужики подберутся после лета, спрячутся по избам на зиму, падут белы снеги, — и сады станут вновь костяными, в заморозках: и будут падать белы снеги, пока есть земля! — Там, за оврагом, за Расчисловыми горами — Ока, луга — Дединовские, Любыцкие, Ловецкие, Белоомутские луга: раньше тысячи людей кормились десятками тысяч десятин, поставляя на всю Россию миллионы пудов сена, — теперь на лугах гибнут сена — пыреи, дятельники, осенцы, горошники, кашку — заглушил дуролом осот...

Поет девка:

— Я у тяти пятая,
У мила десятая, —
Ничего нас так не губит,
Как любовь проклятая!..

Поет парень:

— Ноне легкая женитьба,
Со советскиим листом...
Называли это ране:
«Под ракитовым кустом!»... э!

Вселяясь в Бирючий буерак, в усадьбу Росчиславских, коммуна «Крестьянин» приняла инвентарь — по описи, и Сидор Меринов, завхоз, мусоля чернильный карандаш, писал на каждом стуле — *стул,* и на каждом столе — *стол,* — чтобы было точно, и только тогда расписался в описи, в знак приема столов и стульев. Помещица Росчиславская была принята в члены коммуны, объявила себя коммунисткой, ей с дочерьми отвели для жилья оранжерею, но старуха вскоре померла от перепугу. В сущности, описи не требовалось делать: в доме и на чердаках валялось много и неописанной рухляди. Старик Росчиславский, путейский инженер, исходил в свое время на изысканиях пол-России, и в главном доме, нежилом, в комнате за его кабинетом кучей свалены были астролябии и теодолиты: Мериновы без описи отвинтили сферические стекла и, по весне,

когда стало пригревать солнце, закуривали этими стеклышками, чтобы экономить спички, — и даже в людской избе положили на окно большое стекло, для всех. Из Мериновых в коммуну пошли только три брата, младший, Григорий, остался на селе с матерью. —

В тот год была бесснежная зима, и весна пришла ранняя, в ветрах. Мериновы прожили зиму скучно, в безделье, — у Липата, председателя, сошли с рук мозоли, — зиму прожили в теплом дому, ели и спали, часто выходили за варок, к проселку, и стояли там часами, глядя в снежные пустые поля. Мериновы на деревне имели одну душу, жили в одной избе, Липат и Логин подростками ушли в город, служили в дворниках, — Липат еще тогда выбился в люди: устроился к рязанской купчихе в любовники и как раз с тех пор стал сохнуть со спины и с заду, всегда ходил в валенках, ездил к докторам и бабкам лечиться от срамной и всем говорил, что у него не то грызь, не то учин... И тогда же, с города, Мериновы отвыкли от мужичьей работы, — знал ее только старший — Сидор, привыкший всю жизнь гнуть спину, — сначала он в коммуне отъедался, потом затомился в безделье; — и это он писал на столах — стол и навертел сферических стекол. Он же и заведывал ночной продажей в город, за соль, спирт, мануфактуру и спички — хлеба и баранины. Мужики на коммуну смотрели косо, злобно, недоверчиво, сторонились коммуны.

В черновике Акта по осмотру коммуны КРЕСТЬЯНИН рукою Ивана Терентьева было записано:

«Читальной нет, книг много, но про них не все знают. Книги нашлись в главном доме, в ящиках, пересыпанные листовым табаком, «чтобы не ели мыши», как объяснил завхоз. Книги очень ценны, много на иностранных языках. — —
В коммуне есть не знающие, члены ли они коммуны (слесарь и мальчик подпасок), — общих собраний не припомнят. — Крестьяне, входящие в коммуну, берут с собой и крестьянские свои наделы, избы же на поселке сдают внаймы.

Баба:

— Да, што уж, родимый, погорели мы, дотла погорели, совсем обеспечили, вот и пошли в камуню. Исть, ведь, надоть.

Другая:

— Нищая я, касатик, спаси их Хресте за кусочек хлебца старушке. Полы я за то мою и коров дою... Нешто от хорошей жисти пойдешь на этакое озорство?

В коммуне только четыре семьи: три брата Мериновы и их двоюродный брат, — остальные бобыли.

КОММУНА		ДЕРЕВНЯ
Десятин пахоти	200.	... 72.
» » озимых засеяно	24.	... 20. (больше не позволяло место).
Людей	31.	... 75.
Лошадей	14.	... 11.
Коров	13.	... 12.
Свиней	8.	... — —
Домов	3.	... 18.
Едят с мясом		... конский щавель.
Сеялки, веялки, плуги.		... сохи, бороны.

Культурного сельского хозяина нет ни тут, ни там. Деревня сдавала по разверстке: зерно, масло, мясо, яйца, шерсть, картошку. Коммуна ничего не сдавала.

(Протокол сохранен Иваном Александровичем Непомнящим.)

Шла весна, как испокон веков, хлеб у мужиков подобрался, стали заваривать мякину, подвешивали коров, мужики подтягивали гашники, — коммуна была сыта, аптекарь из города — за картошку — привозил спирт, тогда Мериновы запирались у себя в доме, к ночи, пили спирт и орали песни. Великим постом пришел из Зарайска приказ — убрать из коммуны иконы. Иконы вынесли на чердак в главном доме, и к богу тогда отнеслись безразлично, Сидор же Меринов снял и спрятал в землю с икон ризы.

В ту весну дули ветры, — весенние ветры ворошат души русских, как птичьи души, весенние ветры манят бродить, к перелетам. Мериновы не сидели дома, — в доме было жарко, парно и кисло пахло от добротной жизни, — ходили по усадьбе, выходили на проселок, часами сидели в кухне на конике, выткнув тряпки из рам, к солнцу, — за бездельем не успевали все время приготовиться к летним работам. И на пятой неделе, когда повалился снег и пошли долгие дни в ручьях и грачином крике, — всполошились: два брата Мериновы, Логин и Липат, — прогнали жен с семьями, старший вселил в избу на селе, второй пустил по миру, — и оба

стали искать себе новых баб. По округе невест не нашлось; из ближних деревень никто не хотел идти без венца, а венчаться Мериновы не могли. Невест найти помог Кацапов-старик, лет тридцать державший трактир на выселках у шоссе, не то хлыст, не то скопец, хоть и была у него семья таких же безбородых и безбровых, как он. — Несколько дней Мериновы ходили тайком к Кацапову и Кацапов к Мериновым, — потом Кацапов закладывал в коммуне каурого жеребчика, хозяйственно подвязывал ему хвост, надевал суконную бекешу и — в гулкие весенние дни — уезжал сыскивать невест. Баб Кацапов сыскал нескоро и обеих — дебелых, грудастых, красивых; ездил за ними в разные концы верст за шестьдесят: одну взял от каширских молокан, вторую — от гусляков с Гуслицких выселок, где жили конокрады и старообрядцы. Бабы пришли к Мериновым без венца, за деньги, — сели в чистом доме, засорили на крылечке подсолнухами, и месяц в мериновском доме прошел в блуде и веселии. Был двадцать первый год, — в этот месяц прошли благословенные весенние дни земного цветения, — в этот месяц напала на коммуну шпанская мушка, гнус, томила запахом псины, лезла за шивороты, жужжала зноем.

И в этот же месяц пришла в коммуну старуха Анфуса, из Каширы, мать одной из новых мериновских жен, вся в черном, с лицом, как у галки. Анфуса затормошилась хозяйкой, воркотливо, хлопотливо, комнату выбрала себе в главном, нежилом доме, как раз ту, где раньше лежали теодолиты. Иконы в коммуне были свалены на чердаке (и ризы с них закопал в землю Сидор), — Анфуса не взяла их к себе, но привела их в порядок, расставила на чердаке под крышей, расчистила перед ними место, скрыла его чердачной рухлядью. В первый же день своего приезда она пошла к Кацапову, — и ночью видели их троих — ее, Кацапова, и *Ягора Ягоровича Комынина, бывшего земского начальника.* Хлыст и Ягор Ягорович стали своими в коммуне. Ягор Ягорович полеживал на солнце, пятки вверх, — хлопотала Анфуса. — Тогда старуха — и за ней бабы — потребовали властно, чтобы Ягор Ягорович Комынин исповедывал их и перевенчал с Мериновыми. Исповедывал Комынин у себя в землянке на своем саженце с глазу на глаз, — венчал — на чердаке главного дома, тайно, в присутствии Анфусы, Кацапова и Сидора Ме-

ринова, — и на первом же венчании, в восхищении и экстазе, Кацапов заговорил — *о новом боге Ягорушке.* Скопец же привез откуда-то песни на драных лоскутках, и Мериновы зубрили эти песни, чтобы петь их по ночам на чердаке. И тогда же пошли шепоты, что Елену Росчиславскую, младшую, отдали в богоматери богу Ягорушке...

Нил Нилович Тышко написал письмо матери. В этом письме излагалось: — «... что же касается советской власти, то могу сказать, что у меня есть совершенно достоверные сведения, что все коммунисты получили приказ поступить в новую веру, какую — не могу сказать, должно быть масонскую, — в каждой коммуне избирается свой бог, и ему принадлежат все женщины...» — и прочее.

Выписка из «Книги Живота моего» Ивана Александровича Непомнящего: — «Если бы Бога не было, его все равно нужно было бы выдумать» — сказал Вольтер, и, поскольку ноги не растут из подмышек, а оттуда, откуда им приписала судьба, истина о выдуманном боге будет истинной до тех пор, пока не придет знание, и поэтому — вклеиваю в книгу свою вырезку из «Продовольственной газеты» Наркомпрода за вчерашнее число: «Надежда на урожай хлебов пропала окончательно. Рожь выгорела без налива. Яровые местами не вышли совершенно, а в некоторых волостях пробивают высохшую и затвердевшую корку, и где вышли — пожелтели от бездождья. Даже картофель, последняя надежда чувашей, пропал во многих местах. Чуваши обращали свои молитвы и к языческим и к христианским богам. Под развесистыми деревьями приносили они кровавые жертвы: закалывали овец, лошадей». — Коммуна «Крестьянин» выродилась в сектантскую коммуну, потому что мужики Мериновы ложью и бездельем отступили от мужичьей тяготы и правды, — ну, а мистика всегда с «женским вопросом» связана!»

Примечание в разговорах, анекдотическое:
Расчисловы горы.

— А ты куда идешь?

— В Расчислово.

— Ну, тогда иди.

— А что?

— Не пущаем мы зато селом комунских.

— А что?

— Не пущают они наше стадо своем выгоном. Абратно продовольствие прижимають. Ну, мы зато и не пущаем.

Разговор этот у околицы, пришел чужой, чуждый человек, старик. У каждого еврея извечное в глазах, то, что оставила красная нить иудейства, сшившая человечество. — Еще Иисус Христос сказал: «Не единым хлебом сыт будешь», — но и приварком. Человек, еврей, сионист, — голодающий, — в соломенной шляпе, в ситцевом пиджачке с манишкой из целлюлоида, с тросточкой и корзинкой, — и с глазами, как третий век до рождества Христова, — пришел к Андрею Меринову в Расчиславовы горы. Те дни были днями юдолей июля, когда села Рязань на картошку, — и был праздник. На завалинке сидели мужики, беседовали.

— По разверстке с нас брали хучь — девяносто, то ись, пудов, а теперь, дивствительно, сто двадцать, по налогу, то ись. Опять жа — шерсть, масло, яйца, к примеру. По нас хучь бы разверстка зато. Один омман. Опять же ране брали, хфакт, с пяти домов богатеющих. Теперь же хфакт — у меня восемь ядаков, то ись, а он сам — друг-ядак, а все одно — плати с наделу.

— А разверстку по ядакам, то ись, не хотят мужички, к примеру. Как жили, так и проживем, то ись...

Андрей сказал матери:

— А ты что стоишь, глаза выпучила? Самовар поставила — и проваливай к соседке!

Нету казенки, нету вина, —
Пей политуру, ребята, до дна!..

В избе все стены были в плакатах — в дезертирах, генералах и буржуях, по полу коврики, под образами лампада. Андрей — в лаковых сапогах, «при часах», пахнул, как Нил Нилович Тышко. Уходил из избы, вернулся с «вечинкой», с чернилами и бумагой, — из кармана вынул бутылицу. — Дал прочитать бумажку:

«Дорогой Андрюша я про вас скучилась, выходи ко мне на свидание».

— Выпей для храбрости. Хороший — самогон. А потом пиши мне письмо, покрасивши. Вот. — Пиши. Пиши, что я об ней сохну, но выйтить никак не могу. А еще пиши Дуньке

Климановой, чтобы выходила гулять... А картошку — устроим! Нынче у нас в союзе молодежи спиктакиль, приставление, я секретарь, — опосля и устроим у комунских, у братов. Другие не продадут — сами конятник подмешивают.

По небу стрижи чертились — по-осеннему — к вечеру, зной же спадал по-июньски, по всей деревне петухи кричали и — опять по-осеннему — резко, одиноко, сейчас же за задами ворковала горлинка. Через улицу, в амбаре жевала рожь ручная мельница, сберегала четырехфунтовки, храпела на всю деревню. А сумерки нашли на Расчисловы горы зеленой мутью июня, луна поднялась медленно: горожане, исковеркавшие ночи на два с половиной часа вперед, забыли ночи. Вечером в школе («э-эх, школа земская стояла, э-эх, стояла да упала... Собрался тут сельский сход, — обсуждали целый год!..») — вечером в школе, под вывеской —

«Расчиславский культурно-просветительный кружок»

был спектакль. Человека, еврея, сиониста с глазами, как век, — по недоразумению, разумеется, — Андрей притащил с собой, и он был единственный старик на спектакле, сошедший за молодого, ибо был брит. В парнях, девках, подростках, набитых, как в теплушке на железной дороге, — в мясе тел, в буферах женских — деревенских грудей, в писке, визге, гармошке, в сизом дыме махорки, в запахах пота, махорки, помады, пудры, *даже йодоформа* — было святочно, как на святках, — и на партах сцены, рядом с хромой Росчиславской, Марьей Юрьевной, стоял председатель — в белых лосинах и в сандалиях.

— А сосалу-макалу, советскому голубчику, Андрюше Меринову, — наше вам!..

— Сами сосал-макалки. Вот я вас — того-с! — и присвистнул.

— Где уж нам уж — мы уж так уж!

— Больно ты яровитый!

Председатель в лосинах — что есть мочи — крикнул:

— Товарищи! Сианц сичас начинается! Прошу потише и притушить лампы в зале! —

Его перебила хромая Марья Росчиславская, крикнула:

— Товарищи! В пьесе выступает офицер с золотыми погонами. Золотопогонники теперь отменены, — это только по пьесе!

В притихшем мраке шептали:

— Андрея, прошу вас, — не щепись зато, — Андрюшка жа!..

На партах играли без суфлера, заменяли игрой отмененные курьерские, не костюмы — а опять святочный маскарад.

А среди пьесы — шум, треск! — с парты упала лампа. Закричали, загамили, завыли, в разбитое окно потянуло землей, земным отдыхом. Лампу потушили.

Председатель в лосинах спросил:

— Товарищи! Упала лампа, спрашиваю вас, начинать приставление с того места, где пожар, или обратно сначала?!

— Вали сызнова!! О-о-о! А-а-а!..

Человек, еврей, сионист с глазами, как третье столетие до рождества Христова, — ушел потихоньку со спектакля, уюркнув от Андрея. — Мериниха, Андреева мать, лежала на печи, — гость лег на лавке. Лампадка горела тускло, пели на деревне петухи.

— Спишь? — спросила басом Мериниха.

— Нет.

— Что же будет, объясни ты, Христа-ради.

— А что?

— Я уж не говорю про житье, — голод зато и голод, недостача, Бог наслал!.. С народом-то что иделалось! — объясни, ты образованный. Ты смотри — Андрей меня — старуху, — матку! — по зубам шваркает чем ни попадя, ханжу бузует, девок портит... Я, правда, спуску не даю, — ну, а другие?.. А девки?.. — ни единой-разъединой целой нет, непорченой, — только и делов, что по авинам с парнями шмурыгать... Да что девки? — они малоумны, — бабы, мужики взбеленились, по третьему разу за зиму женятся, — и все дуром, и все дуром зато!.. Амман, сикуляция, денной грабеж... Царя отменили — так малоумный был. Ну, а Бога почто отменили? — Объясни, Христа-ради, ты образованный!..

Старуха ноги с печи свесила, сидела лохматая, страшная... А глаза — голодные — были еще в дорождестве Христовом, — лежать на скамье, следить за тараканом, ничего не думать — думать: — картошки бы!..

— Молчишь зато? — я тебе объясню. Ан-чи-христ пришел! Вот что! Ан-чи-христ! Конец свету.

... А поздно ночью ввалился в избу Андрей. Зашумел, свистнул.

— Вставай! Идем.

— Куда?

— Куда — куда? — в комуню зато!

Прошли оврагом — буераком Бирючим — около поблескивал ручей, а тумана не было, роса села холодная, посырел ситцевый костюмчик, небо было в клочьях деревьев, свисших вверху.

— Забирай по днищу. Хоша не караулють, а може стерегуть. Днесь одного убили, — се-таки, городского. Курить тоже нельзя... А Дунька Климанова — выходила, огулялись!.. Сичас придем.

Контрабандисты: если поймают — изобьют. Где и как тут в оврагах черт ногу сломал? — Посырел в росе костюмчик. Баня в коммуне стала к обрыву задом, — уперлись в баню. Деревья спутали расстояния, спятились, — небо вырвалось из деревьев огромным платом, в звездах и — где-то — с лиловой полоской рассвета. Усадьба стояла во мраке. Андрей знакомой тропинкой пошел ко крайнему оконцу бани, постучал в оконце, еще раз, еще.

Из избы вышел человек, Логин Меринов, секретарь коммуны «Крестьянин», не мужик, а коряга из пруда, с валенками на двух коряжинах снизу.

— Ты, Андрей?

— Я, браток, — выноси.

— А еще кто?

— Свои.

— Ну, сичас. Еще вечор все отвез, три мешка картошки, пуд пшена, масла чухонского полпуда. Гость-то московский?

— Нет, из города, рязанский. Получай манету, все верно, как говорили.

— Ну, знакомы будем. А желтых тыщев нету? У нас мужики очень желтые обожают. Когда надо, загляни, господин. Знакомы будем. Конешно, запрещают, но нам нас...

На обратном пути, в овраге, на своей стороне сели отдохнуть, закурили.

— Слышь, а слышь суды! Соломон Ливоныч, что я тебе хочу сказать... Я тебе по-товарищески, по своей цене, показал, где... Что я тебе скажу... Купи мне лисипед! — Купи мне, пожалуйста, лисипед. До страсти мне хочется. Купи, пожалуйста, а то с меня три шкуры сдерут в городу. Может, где по знакомству, — скажи, — за картошку, может, за масло... Уж очень до страсти мне хочется лисипед!.. Купи, пожалуйста...

А избы на деревне стояли по-ночному. Въелись в землю, вкопались, с картошкой, на картошке. Луна шла к западу, поблескивала мертво в соломе крыш. Глаза у человека — тысячами лет!

Леший прокричал в лесу: гу-ву-уз!..

...И каждую весну цветут на Расчисловых горах яблони и будут цвести, пока есть земля...

РАЗДЕЛ КНИГИ ОСНОВНОЙ, УЧИН ВО ХРЕБТЕ

— Россия, влево!
— Россия, марш!
— Россия, рысью!
— Кааарррьером, Ррросссия!

МАШИНА, ИЗ ГЛАВЫ «О ВОЛЧЬЕЙ СЫТИ»

...Тракт стар, зовут тракт Астраханским. В голубой дали верст — с тракта, с Расчисловых гор, со Щурова от лесниковой избы, где зимует Машуха-табунщица, — в голубой дали верст черный возникает заводской дым — Коломзавода, гомзы, стали и бетона, — и красные — страшные горят оттуда — ночами — в тумане — огни, чтоб пугать людей и филинов, и — волков...

(Смотри примечание на стр. 26 о возникновении Коломзавода, о песнях ő земь и о гольтепе...)

У завода возникли деревни, поселки, выселки, слободки, на завод потянулись местные, коломенские и зарайские мужики; Парфентьево, Чанки, Щурово, Перочи — сменили соломенные крыши на железные, возле изб построили палисады, на рубахи надели жилеты, в жилетном кармане — часы. Но пришли и чужесторонние, гольтепа, шаромыжники, мартышки, в черных мастеровских куртках (среди них пришел и род Лебедухи), — эти селились под заводскими стенами в бараках, по три семьи в одной каморке, жен брали тут же, жены беременели, дрались друг с другом, в общей печке варили похлебку — по будням — и в праздник — пирог, жены были всегда сухогруды и широкоживоты, жен

этих часто меняли, делили, проигрывали в двадцать одно; — эти жили всегда без потомства и рода, вымирали в одном поколении; — эти знали все заводы в России, от Уральских, Донецких до Питерских, до Тульского, всех мастеров, штейгеров и инженеров по имени; — среди этих были странные люди, иные говорили на многих языках, иные носили с собой дворянские паспорта, иные были без паспортов, все они пили и с новым запоем уходили на новый завод, они пели песнями о́ земь; — в их бараках не водились даже клопы, но когда они наряжались, они не пускали рубах из-под жилета и тогда надевали шляпы; — жен они никогда не брали с собой, жены жили с заводами... Как они возникали — они эти — у заводов, о их детстве, о их вчерашнем и завтрашнем — никто не знал, — им терять было нечего. — Мужики — те приходили на завод иначе, с «мальчиков», и сначала научались бегать перед дождем на квартиру к мастеру за калошами, с мастеровой супругой на базар, по понедельникам с похмелья рабочим — через забор, тайком — за водкой в кабак; учили их подзатыльниками, а учителя надо было поить по субботам — за подзатыльники и за науку... Завод был каменный, мужичьи крыши перекрывались железом, — но к самому заводу, к заводским заборам подпирала жесточайшая, даже не деревянная, а тряпишная — нищета, в водке и в песнях о́ земь.

А там за заводской стеной, за завкомом, —

— дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа, — полумрак, электричество вместо солнца, — машина, допуски, калибры, вагранка, мартены, кузницы, гидравлические прессы и прессы тяжестью в тонны, — горячие цеха, — и токарные станки, фрезеры, аяксы, где стружки из стали, как от фуганка, — из дерева, — черное домино, — при машине, под машиной, за машиной рабочий, — машина в масле, машина неумолима — здесь знаемо — в дыме, копоти и лязге — ты оторван от солнца, от полей, от цветов, от ржаных утех и песен ржаных, ты не пойдешь вправо или влево, потому что весь завод, как аякс и как гидравлический пресс, одна машина, где человек — лишь допуск, — машина в масле, как потен человек, — завод очень сорен, в кучах угля, железа, железного лома, стальных опилок, формовочной земли, —

— там, за заводской стеной, за завкомом, в турбинной, в рассвете, в безмолвии, в тишине, когда завод стоит, и сторожа лишь стучат сороками колотушек — человек, инженер — его никто не видит — поворачивает рычаг и: — (из каждого десятка новых — один — одного тянет, манит, заманивает в себя маховик, в смерть, в небытие — маховик в жутком вращении своем, вращеньи — в допусках — в смерть), — его никто не видит, он поворачивает рычаг и:

завод дрожит и живет, дымя трубы, визжит железо, по двору меж цехов мчат вагонетки, ползут сотнетонные краны, пляшут аяксы. Его никто не видит, человека, повернувшего рычаг в турбинной, но завод — живет, дрожит и дышит копотью труб. — Идет рассвет, гудит гудок, и сотни черных людей идут к станкам, к печам, к горнам. — В сталелитейном, у мартенов: все совершенно ясно; в сталелитейном полумрак; в сталелитейном — пыль; в сталелитейном горы стальных шкварков; уголь, камень, сталь; в сталелитейном пол — земля, и рабочие роются в земле, чтоб врыть в нее формы, куда польют жидкую сталь; сквозь крышу идет сюда кометой пыли луч солнца — и он случаен и не нужен здесь; — *у мартенов все совершенно ясно:* в мартенах расплавленная сталь, туда нельзя смотреть незащищенными глазами — когда подняты заслоны, оттуда бьет жарящий жар, туда смотрят сквозь синие очки, как на солнце в дни солнечных затмений, — и совершенно ясно, что там в печах, — в печи — в палящем жаре, в свете, на который нельзя смотреть, — *там зажат кусочек солнца, и это солнце льют в бадьи.* — А в кузнечном цехе — чужому, пришедшему впервые, страшно: — тоже в полумраке — в горнах раскаляют сталь добела и потом куют ее в прессах, как тесто, и молотами бьют, чтоб сыпать гейзеры искр; в кузнечном цехе полумрак и вой, и гром, и визг железа, которое куют, — в горнах — в горны, где сталь и уголь, рвется воздух, чтоб раздувать, и глотки горнов харкают огнем, пылают, палят, жгут, — горны стоят в ряд, к ним склонились грузоподъемные краны, чтоб вырывать от огня для прессов белую — огненно-белую — сталь, — и горны похожи на самых главных подземных чертей, они дышат, задыхаются, палят огнем и воют, ревут, барабанят, — кранами, прессами, молотами: здесь страшно не-

посвященному, — н-но, у каждого горна висит объявление завкома:

«Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах» — —

Рабочие — черны. Машина — в масле. Здесь — огонь, сталь, машина. Где-то в турбинной — повернут рычаг.

Домино — это черные, с числами, кости, это числа, где число кладут к числу, чтобы получать новые числа. В домино играют в тавернах, где полумрак керосиновой лампы под потолком. В домино играют, чтоб выиграть или проиграть. — *Машина!* — Когда сложат в сборном цехе все костяшки стального домино, — костяшки, созданные по нормалям и допускам фрезерами и аяксами, — тогда *возникает машина;* но сама она — опять лишь костяшка нового стального, цементного и каменного домино, имя которому завод, которых так мало собрано в России.

— *Пусть мало, но на этом пути конца нет. Домино машин — бесконечно, чтоб заменить машину мира.* — Это Лебедуха.

«Строго воспрещается запекать картошку в горновых печах», —

— хоть и не видно того, кто повернул рычаг в турбинной, чтобы завод дрожал и жил. Это так же, как прежде, когда — —

Река Ока и Москва были древни, ветхозаветны: реки, небо, пески, сосны, болота, ржаные поля, — Голутвин монастырь выпирал в небо маковками и крестами, в древних бойницах к самой Москве, — и извечно-невеселыми русскими рассветами — тому, стоящему в поле, — страшно было смотреть на гиганта из стали, ставшего над водой из болота, подпершего небо трубами, изгорбившегося стеклянными спинами цехов, светящегося заревами печей, — на рассветах особенно сильно дымили трубы, кутали завод дымом, пахнул далеко в поля завод машинным маслом и серою, нехорошим, неземляным запахом, — на рассветах драли свои нутра гудки чертовым криком, — на рассветах из заводских ворот уходили поезда и ползли туда, чтоб привезти уголь и чугун, чтоб увезти сделанное из чугуна, угля и человечьего труда — увезти на шпалы железных дорог и по ним во все российские веси, — и тому,

кто стоял в поле, волку или мужику, или коломчанину — было непонятно и страшно — —

— — непонятно, страшно и ненужно было и Андрею Росчиславскому, дворянину, ростиславичу, инженеру, — знавшему, что — —

— если пробраться через Черную речку, потомиться в суходолах, трястись лесом по корягам, сначала красным-сосновым, потом черным-осиновым, там — как триста лет назад — переплыть Оку на пароме, проехать по займищам, то — там уже затерялся проселок, исчезнул, растворился в зеленой мураве: — приедешь в Каданецкие болота. Там нету дорог. Там кричат дикие утки. Там пахнет тиной, торфом, землей. Там живет тринадцать сестер-лихорадок. Там нет ни троп, ни дорог, там ничто не выверено, — там бродят волки, охотники и беспутники, — там можно завязнуть в трясине... Впрочем, об Росчиславщине — дальше — — ибо Андрею Лебедухе — не было страшно и было нужно, рабочему, пролетарию, русскому, коммунисту, —

ибо —

— как рассказать всегдашний, единственный сон? — сон, где снится, что солнце выплавлено в домне — недаром около домен пахнет серою, как в первый день творения, — что хлеб строят заводами, — и тогда во сне возникали до боли четкие формы и формулы — завода, — геометрически правильные формы завода: — прямые, круги, окружности, эллипсы, параболы, ромбы, — ночь, — только две краски — красная и белая, — ночь, и на небе круги огней, ромбы светов, их, чтоб осветить всю землю, подпирают краны, и трубы треугольниками подпирают краны, и из-за труб к кругам огней идут по радиусам новые огни, они ломаются эллипсами, — — и там, на заводах, за заборами, в цехах, у машин, — пролетарий, геометрически правильный и огромный, как формула!..

И тому, иному, глядящему с поля от Машухи-табунщицы, — было страшно. За заводом, у Голутвина монастыря сливаются Ока с Москвою, по ним, по Москве и Оке, пошла, заложилась Русь, государство российское... За Голутвиным монастырем, за Окой, над Окой — Щурово, ниже — Перочи, Дединово, Ловцы, Белоомут, — дединовские, ловецкие, белоомутские заливные луга, поемы, займища, поокские дали и пустоши...

И —

опять *мужики* — — (о коих отрывок второй Вступления)...

было — —

эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной. — Из долин российских десятилетий, с проселков поокских, из песен с проселков, из керосиновых осенних ламп (интеллигенция русская светилась керосиновыми лампами), — оттуда вот, из жизни с чаем и с крыжовенным вареньем: — взглянуть на октябрь семнадцатого года, на осьмнадцатый, на девятнадцатый и: ясно будет — как на огромные дыбы поднята Россия, вверх, в высоту, и от 23 октября в 28-е стал отвес вверх, более отвесный, чем Памир. Там наверху — туда наверх, в метелях и зноях, октябрем даже в июле, июнем всюду (ибо не было ночей!), тысячами рук, миллионами глоток, миллионами жизней, — сорванными ногтями, в пулеметном свисте, сплошной шинелью, мешками картошки: — ползти, там на отвесах, — падать, ползти, умирать, не понимать, понимать до предела в смерть, понимать за предел понимания, умирать за правду, умирать за вошь, умирать по пустякам. Там, на высотах, всегда был странный, безнебный, *безночный* июнь, и в этом июне декабрьские стояли морозы, дымили железки, мерзла картошка, мерзли люди, умирали дороги, — и сплошная стояла в безночном июне метель, где не видно ни зги — и эти же зги молоньями в метели! — Тогда, октябрями, когда по кремлям, по церквам, как в барабан, барабанили пушки — *великая ложь, как великая правда, творились в России:* коммунисты, машинники, пролетарии, еретики — через бунт, пугачевщиной, разиновщиной, чуждые им, — бунтом, чуждые бунту, — шли ко кремлям, к заводам — заводами — *к машинной правде, которую надо воплотить в мир:* шли от той

волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи — к России и к миру, строгому, как дизель. И вскоре тогда — в метелях, в бунтах, в пугачевщине — строгая стала рабочего рука, рука пролетария, взявшая под микитки и бунт, и Расею, — первая в мире, которая завóлила машину мира и его болота заменить *машиной человека,* и так построить справедливость. —

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, какую считали подлинной столетьями. — Стать вот тут, у реки, — и перед тобою: — забор, за забором бурые горбы цехов, под забором горы каменноугольных шкварков, проржавевший железный лом, железные опилки, — под забором, по каменноугольным шкваркам — две колеи железных рельсов от декавыльки, упертые в заборные ворота: — и через каждые какие-то минуты — паровичок, вагончики, каменноугольная пылища, рабочие чернее черта; паровичок, вагончики шумливо мчат по плохо свинченным рельсам; и их съедают заборные ворота; за забором бурые горбы цехов и — не лесной, не полевой, не бурь и не метелей — шум, заводский шум, очень скучно; над горбами крыш — одно лишь небо, и даже на него не хочется смотреть, и даже нет прохожих, в этот час и на реку уже не хочется смотреть, на древнюю Москву-реку, она зажата штабелями дров, ящиками торфа, баржами на воде, свистящим пароходом, и не видна вода, и не нужен монастырь вдали...

...Шел девятьсот девятнадцатый год, шел июль, — за заводом легли поопкие поля, Расчислав, на лугах пасли табуны Маши-табунщицы, — шла и лежала Россия изб, смотрела трахомою избяных оконцев, скалилась подворотнями, усмехалась скрипом дверей... Шел девятьсот девятнадцатый, обнаженный и голый, — октябрый семнадцатый канул в историю, — приходил двадцать первый, скорбящий.

было — —

опять расходился на ночь завком, чтобы выспаться наспех, — пальмы в кабинете заводоуправления отдыхали от махорки, совсем степенные по-европейски, и на столе лежали, не умершие еще, листки бумаги, окурки, ручки, пепел. Ночь. — Это в ночь, в проселки, в туманы, в веси — бросал и бросал завод — волю, людей, свои мысли, свой навык, — сотня туда! сюда десяток!..

было:

там, в ночи, за сотни верст от завода, в степной деревне, где нету полустанка, сгорел, стерт с землей полустанок, — костры в ночах и тысячи, и песни, и окна у деревни горят пожаром, — и задолго до рассвета к выгону идут отряды, раздетые, разутые, без картузов, с винтовкой и котомкой, — они идут меж костров, и красный отсвет красного огня провожает их во мрак, они идут бодро, ружья на плечо, широким шагом, — «бей белогвардейцев!» — И наутро, когда «румяной зарею покрылся восток», загрохотали пушки, точно это грохотало солнце, — тысячи пошли — иль умереть иль победить! И в новых становищах новые горели красные костры.

было:

где-то на Оке иль Волге, где паром, как триста лет назад, полдюжины телег, пепел от костра, мужичьи бороды и шепот: «значит крышка, — хлеба не давать, — зато из городов за фунт достанешь шубу, — таперя, значит, крышка!..» — —

было:

были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свисты, посвисты, насечки, замети, приметы, разгул и удаль по лесам и по разбою, — «бей коммунистов, — мы за большаков! бей революцию, — мы — за революху, ух!..»

было — —

за рекой, там, где сливаются Москва и Ока (древнейшие русские реки!), все же стоял завод, смотрел в ночи красными огнями, пугал в ночи людей, волков и филинов, хрипел в ночи — хребет во пучине. Это он командовал девятьсот девятнадцатым:

— Россия, влево! — Заводом — грамота!
— Россия, марш! — Заводом — хлеб!
— Россия, рысью! — Заводом — труд!
— Карррьером, Ррроссия! — — Заводом — братство!

И этим, кинувшим болотную Россию — карьером, в машину — Лебедухе, Смирнову, Форсту, Андрею Росчиславскому (выгибали заводы свои хребты, чтобы нести Россию) в городах, завкомах, на заводах: надо было победить или умереть, — надо было не замечать зим и лет, ничего не видеть и смотреть только вперед, ничем не жить и знать только завтра. И жизнь каж-

дого была — как портфель: недаром тогда вся Россия вырядилась в новенькие портфели, когда в каждом были — кусочек хлеба, кипа газет, мандаты и резолюции, и проекты — проекты, — и портфели пропахли — бумагой, клеенкой и хлебцем. Заводы коптили зажигалками, кидая фаланги черных кепок рабочих, мастеровские куртки — рабочих и жизни их — на фронты, за хлебом, в союзы, строя Россию заводской казармой и фаланстерией земного шара, — заводы — стальные — гнули хребты. И Андрею Лебедухе, и Форсту, и Андрею Росчиславскому — быть: как все в эти годы, как портфель, — и брови сраслись вместе, нерусские брови, — как портфель, все прилажено, все в регламенте газетных кип, мандатов и проектов. И дни были — как машина, точные без всяких допусков. До четырех — служенье революции, мандаты, карточки, допуски, калибры, железка для раскуривания собачек, сжатые брови от очередей, — слова, дела, прогорклый рот от папиросок, — и на столе портфель. А в четыре — дом. Мороз на окнах, в доме, в коридорах. И кабинет, столовая, диванная и спальня — в спальне, где на столе картошка, на кровати — два тулупа, а за диваном горкою мешки. И тогда — в четыре — за окном — синим снегом, синею печалью льют российские сумерки холодное свое стекло, направляясь в ночь, морозы, в тишь ночную. Тогда надо зажигать огонь, холодный, электрический, чтоб холодно светил, чтоб делал комнату в морозе — в огне от ста свечей — похожею на ледяной дворец, — а потом, когда погаснул свет, в огне из глиняной печурки — делал комнату похожей на трюм разбойничьего корабля. И вечер, и начало ночи — иль на кровати, за тулупами, в тулупах, с книгою, чтоб книгою и временем к ночи умчаться в безвременье и вечность, — или на митинге, иль в клубе профсоюза, где опять —

— Россия, мир, Европа, победы, смерть, рабочие, пролетарии всего мира в мир и братство, осьмушки хлеба, четвертки сахара, табак по карточкам и на вокзале заградительный отряд, — «вы слышали? вы знаете? — послушайте!» —

А над заводом, над Окою и полями, и лесами — ночь, зима, мороз. И Андрею Росчиславскому — тридцать лет, и надо, должно в безвременье идти не в книгах, а

делами, надо мир испить не в днях, не в проходящих мелочах — а в вечности, в прекрасном, в том, что зажигает кровь чудесностью непонятного, неосознанного, не измеримого аршином... И — правда же — огромная непознанность: — там, впереди, Россия, мир — Россия, кинувшая миру братство, смерть, страданья, любовь, плакаты, карточки, чудеснейшую перекройку мира в новом, небывалом, в трудоправстве, в законодательстве машин, в союзе братств народов. — Это — одно, Андрей Росчиславский.

И — другое: — —

— — там, за заводскими заборами, за степенной солидностью главных контор, за завкомом и клубом союза металлистов —

— дым, копоть, огонь, — шум, лязг, визг и скрип железа. — Там, за заводской стеной, когда еще спят конторы, лишь мыши бродят по столам — в рассвете в турбинной, в безмолвии, в тишине (лишь сторожа трещат сороками колотушек и щемят душу ночные свистки) — человек — *человек* — его никто не видит — поворачивает рычаг — и: —

(из каждого десятка один — одного тянет, манит, заманивает в себя маховик пародинамо, в смерть, в небытие, маховик в своем вращении) —

— и: завод дрожит и живет, дымят трубы, визжит железо.

В сталелитейном у мартенов: там зажат кусок солнца, и это солнце льют в бадьи, чтоб делать из него паровозы, дизеля, и новый мир. — А в кузнечном цехе: — ...у каждого горна висит объявление завкома:

«Строго запрещается запекать картошку в горновых печах».

«Завком, подписи, печать, такое-то число».

И — ночь — — было — — **хребет во пучине.**

Завком, союз металлистов, заводоуправление, ячейка РКП, ночь, — у дверей плакаты: —

«Берегись, товарищ, вора!»
«Бей разруху — получишь хлеб!»
«Дезертир — брат Деникина!» — —

— там в заводской конторе — совсем по-европейски — степенность гул-

ких белых коридоров, солидность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон — огромных! — искусственные пальмы — —

было — —

— Россия, влево!

— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Рррокссия! — —

было — —

ночь, потушены лампы, гулки коридоры, у дверей красноармейцы, — только в кабинете у директора, где заводоуправление, зеленая конторская лампенка и искусственные пальмы в сизом от махорки дыме, — и за окном заводские огни, — окно полуоткрыто — ночь, ночные колотушки. Люстру — потушили.

— Иван, родной, ты лег бы спать, — ты не ложился уж неделю.

— Я лягу здесь, Андрей... Мне надо написать. Я попишу, а ты ложись.

— Дай папироску.

Тишина, ночные колотушки.

Лебедуха:

— Позвони Смирнову, пусть придет, он сидит в завкоме.

— Скоро уж рассвет.

Тишина, ночные колотушки.

Смирнов, — расставив ноги, голову на руки, — каждый глаз по пуду, и голова — в тысячу пудов, — как снести?! — :

— Я составил списки. Десять человек на фронт. Андреев с эшелонами по продразверстке. Тебе, Андрей, придется взять еще и профработу... Сидел и за столом заснул... Завтра утром до работы — собрание всех рабочих, ты выступай, — эх, Деникин, сволочь, жмет!.. Помнишь, у Лермонтова, — Казбек с Шатом спорили? — «...От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и свер...» — —

Лебедуха:

— На завод надо нажать, — патроны, пушки, рабочие дружины... Иван, родной, ты лег бы!.. Иван пойдет на фронт... Мы тут всю ночь вопросы обсуждали...

Тишина, ночные колотушки. А потом — лиловой лентой за Москвой-рекой — рассвет. Один свалился на

диване, другой заснул на стуле, — третий — Лебедуха — у окна, в карманы руки, окно раскрыто, роса села, за окном рассвет — —

было — —

по-пушкински «румяной зарею покрылся восток»... «У Казбека с Шат-горою был великий спор», — да... Ночь. Под Курском — Деникин, у Воронежа — казаки, в Одессе — французы, в Архангельске — англичане, в Сибири — чехи. В России — мужики, — разверстки, бунты, ведьмы, ведьмачи, лешие... Ерунда. Дичь... Ночь, рассвет, — это вот сейчас Россия идет по шпалам, бежит, не понимает, орет, воет, жжет костры, деревни, города, людей, правды, веры, жизни, гложет глотки... Пучина людская, — российские версты, глупости наши... «У Казбека с Шат-горою был великий спор», — да, великий!.. Какая тишина!..

...За окном были стройки, виднелась станция. Возникало утро, возникал день. Было мертвенно тихо, только-только собирались запеть птицы, площадь перед завкомом пустынничала. Тогда — издалека еле слышный — зашумел поезд. На станции, как мухи у лужицы на столе, у перронного барьера на земле спали люди, было тихо, и только поезд шумел вдали, еще за мостом. В этот рассветный час показалось, что все лежащее перед глазами, весь мир, остекленел и неживой, — но поезд заскрипел сотней позвонков, прогудел, — и от станции пошел страшный воющий нечеловечески человечий гуд, мухи завертелись по перрону, визжали бабьи голоса, — поезд, полсотни теплушек, покорно ждал, когда его боем возьмут мешочники, и паровоз, посапывая, ходил брать воду, и кто-то, должно быть заградители, стрелял из винтовок...

...Какая тишина!.. Красные армии отступают, голод, нет железа, заводы умирают, города пустеют... Какая тишина!.. Роса села, холодно. Вон запалили костры... Этот год уйдет в историю — без чисел и сроков. Нет села, весей и города, где б не было восстаний, бунтов и войн. Идет смерть — не постельная — в расстрелах, в тифах, в голоде — у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах... Статистик Непомнящий подсчитал, что за эти годы родится, проживет и умрет, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей, — если бы это была рожь, ее хватило бы прокормить десять таких заводов, как этот, в течение десяти лет... Россия вышла на шпа-

лы, в великом переселении правд, вер и поверий, — вся Россия — серая, как солдатская шинель, — вся Россия в заградах, в пикетах, в дозорах, в мандатах, в пошлинах, — и все же вся Россия ползет в вое пуль, в разбойничьих песнях, в кострах, в пожарах, неудержимая... Этот год уйдет заржавевшими заводами, разбитыми фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных. — — Какая тишина, — но «восток покрылся румяной зарею». — —

— Андрей, ты не спишь? Кто там пришел? Ложись спать, я выспался, ложись на диван...

Лебедуха:

— Я смотрел на рассвет, думал... Мы *должны* побороть... Роса, холодно!.. Там не спит еще Форст.

(Если душу Форста (как и Лебедухи) уподобить жилету — его, Форста, вязанному, теплому, коричневому жилету, — то в самом главном кармане, рядом лежат человек и труд, — Человек, с большой буквы, который закинул свою мысль в междупланетные пространства, который построил дизель, который разложил мир даже не на семьдесят два элемента по Менделееву, но разложил и азот, который вкопал свою романтику во времена до Египта, до Ассирии, до Иудеи. — Кроме жилета у Форста была нерусская трубка, и — от нее лицо казалось — лицом морехода. Он говорил абсолютно правильно по-русски, академически правильно, как не говорят русские. — Он многое помнил за эти годы, которые были, как солдатская шинель. — Тогда, в октябре, когда национализировали завод, стреляли, выбирали завкомы, когда вся Россия стянула гашник и замерла — серыми октябрьскими днями — к победе, — он, инженер Форст, бегал по заводу и все доказывал, — что: — «пожалуйста, будьте добры делайте все, что надо, как вы хотите, будьте любезны, но заводу нужно семьсот тысяч пудов нефти, а навигация закрывается: без нефти завод станет!» — и он достал нефть, семьсот тысяч пудов, тогда, в октябре, под пушками и пулеметным огнем. Это будни. — Он помнит, как наступали белые, как шли поезда, и волок-

лись люди и лошади серые, как шинель, с пушками, повозками, обозами, винтовками, бомбами) — —

ПУЧИН ВО ХРЕБТЕ

— Стать тут вот, у переезда, — и пред тобою: — справа виадук через пути, вагоны, паровозы, рельсы, железнодорожные постройки, случайные три липы, тополь, — и за тополью, в акациях — «приезжий дом», «дом холостых», дома из цемента под черепицей в стиле шведских коттеджей, дома для инженеров, в спокойствии, в солидности; — слева и сзади — рабочий поселок, нищета, избушки, как скворешницы, в палисадах с маком и лопухами, с мальчишками в пыли и с бабой у калитки и с поросенком в луже, — и у бабы крепкою веревкой перетянуты одежды ниже живота, а на руках, у голой груди, в грудь всосавшись, дохленький ребенок, и поросенок в луже — гражданин, и гражданином — пыль: — чтоб строить ребятишкам замки, крепкие, как пыль; — и весь поселок точен, как квадраты шахмат, и на крыше каждого (иная крыша из железа, иная крыта тесом, иная греется соломой) — на крыше изолятор электрического тока, и в окнах всюду ситцевые занавески, бедность, нищета, — и на углах квадратов шахмат — по артезианскому колодцу и по столбу для пламенных воззваний о митингах, о Коминтерне и кино, — и домики у рельсов (овражек здесь, здесь некогда расстреливал ребят полковник Риман) оделись вывесками — парикмахерской, столовой, сельсовета, сапожной мастерской (башмак прибит под крышей, как у парикмахера — усы и бритва в мыле, как у столовой — чайник и тарелка); так деревянная Россия подпирала к стали и железу; — и впереди за переездом красным кирпичом возникли — заводская контора, заводоуправление, завком, клуб союза металлистов, — там в доме — совсем по-европейски — степенность гулких белых коридоров, солидность тишины и мягкости ковров в солидных кабинетах, где тепло зимой, прохладно летом, где на стенах картины тысячного паровоза, где у окон искусственные пальмы, — угодливый шумок от счетов, чуть-чуть кокетливый стрекот машинок, медо-

речивость главного бухгалтера; стекло перегородок, столы, светлейший свет — конторы — совсем по-европейски; а наружи и в коридорах (наружи — на красном кирпиче), огромно:

«Берегись, товарищ, вора!»
«Бей разруху — получишь хлеб!»
«Товарищ — не воруй!»
«Дезертир труда — брат Врангеля!»
«Смотри, товарищ, за вором!»

и карандашом сбоку:

«Ванька Петушков сегодня запел песни!»
«Дунька-Лимонадка родила двоих сразу!»

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной...

И — ночь.

«Пучин во хребте» — эпиграф. —

Ночь — июльская, черная, в куриной слепоте, в лопухах, в крапиве, — надо было бы скрипеть кузнечикам, но на этой земле, убитой нефтью и железными опилками, не росла крапива. Сверхурочная смена — на фронт! бить врага и разруху! — работала до одиннадцати, и в одиннадцать уходили рабочие — по сходням в заборе, где меняются бляхи, на волю, и рабочие шли очень поспешно, веселый народ, с прибаутками, в поле, чтоб докашивать недокошенные травы, чтоб не спать на страде ночей, и уборщицы — из Чанок, с Зиновьевых гор — с завода за реку в туманы — понесли смешки, частушки, сладкие свои девичьи радости.

Там, за рекой, у реки — кочки, болотца, сиротство, нехорошо. В лесу у опушки за Щуровом стоит камень, к нему идут тропки, камень белый, изглоданный, скучный, — к нему ходят — со многих мест, с завода, из города, из деревень — грызть его от зубной боли. Иной раз у камня сидит седенькая монашенка, из Бюрлюковой пустыни, собирает с грызущих милостыню — для Бога. И сосны тут голостволы, такие, когда можно запутаться в трех соснах, — просты, как пословица.

Там с поля виден завод, — трубы, дым, корпуса. Ночью с завода идут в небо огни, чужие

огни, очень резкие, видные на десяток верст, — волки этим полем не ходят. И днем и ночью, если прислушаться, слышно, как гудит завод — неземляным гулом, шумом машины, свистками, гудами гудков. И, — это июль иль июнь, — когда дни и травы июньские косятся им, июлем, — впрочем, как и каждые одиннадцать часов вечера, — в сенокосные июлевы ночи, в туманы, за реку — отпускает завод людей, после сверхурочной смены: — за рекой, в тумане, возникают девичьи частушки, уборщицы идут, несут туманом с завода себя, свою молодость, тайные смешки. Если это июль — значит, где-то в тумане на лугу, вот тут, под заводом, под городом, за рельсами железных дорог — здесь на лугу пасет табун в ночном Марья-табунщица; к ней девушки ходят гадать по травам, — все расскажет, как укажет трава, как трава шепчет, как ластится, как прилегла. Табун пасется мирно, в Москве-реке — русалки, над полями — туманы, холодок, — у Марьи-табунщицы — костер, от костра — мрак, над костром, глазами видно, тает туман, у костра — тулуп, уздечки, ребятишки, тишина и черт. Маша — колени обняла руками, — смотрит в костер, неподвижно, часы, — в глазах отсветы от костра. Лошади едят покойно, ночь, овода не мешают, тихо. Завод сзади, за десяток верст отсюда, кинул неспокойные огни в небо, красные и белые огни, — а тут вот рядом — перейти луг — лес простой, как пословица, и там есть камень, который люди грызут от зубной боли. И там же у камня, на холмике, в соснах — *конский могильник, конские валяются кости и черепа,* растет папоротник на холмике, — и люди, что грызут камень, *обходят могильник стороною, сторонясь.*

И тогда у забора, у реки все стихло, только переливали на заводе из одного била в другое печаль да трещали трещотки. Была пятница, банный на заводе день, — и, когда жухлый месяц пошел к полночи, когда все стихло, — раздвинулись в заборе две доски, высунулась оттуда голова, посмотрела кругом, голова была волосата, голова промычала:

— Ну, здеся вы, што ли, — идитя...

Тогда из штабелей откликнулись:

— Здеся, давно годим... Иттить?

— Говорю, — идитя!..

Из штабелей возникли двое — монах и баба. Баба первая пролезла в щель к исчезнувшей голове, монах пролез вторым, так же, как баба, высоко задрав свои юбки. За забором здесь лежал паровозный лом, и неожиданно рос бурьян, и в бурьяне к потайному ходу шла тропа. Голова оказалась рабочим лет под сорок. Рабочий сказал:

— Все кончили, и Митюха лег спать. Идемтя.

— Ломит? — спросил басом монах. — В самом хребте?

Ответила баба:

— Иии, как ломит, прямо не может разогнуться! Ты уж помоги.

— Во хребте ломит?

— Во хребте, — сказал рабочий хмуро.

— Значит, — пучин, либо учин, — по-разному называют. Иные просто говорят — утин, — но это неправильно, — сказал монах.

— Ты потише толкуй-то, — хмуро перебил его мужик.

Они пошли, шли меж цехов, по шпалам, по кучам угля, шли, как воры. Завод замирал на ночь, холодал, отдыхал, лишь на скрещениях горели фонари, лишь коегде в цехах не стихнул скрип железа и не погаснул свет, чтобы оставить сторожевые огоньки. Трое шли мраком. Они пришли к заводской бане, баня была пуста и открыта. Трое, они ушли в баню и там притворились плотно. Там монах сел на лавку в предбаннике, сказал:

— Поддай пару, Марья, покрепче. А ты, раб божий Иона, лезь на полок, парься крепче!

Мужик стал стаскивать сапоги, хмуро.

Баба сказала в раздумьи:

— Отец, мне раздеваться, што ли? — ты-то будешь снимать што?..

— Нам раздеваться не требуется, — ответил монах. — Только разве намочишься. Сниму на всякий случай рясу. Разуться надо!

В бане было темно. Мужик долго парился, покряхтывал, стонал. Баба пару поддать как следует не суме-

ла, — поддавал монах. Тогда с полка застонал мужик: — «умру, дыхать нечем!» Монах ответил успокоительно — «потерпи, не помрешь!..» Потом мужик соскочил с полка очень молодо, замотал головой, запрыгал, побежал к двери, закричал — «ну вас всех к чертям собачим, псов!» — выскочил в предбанник красный, очумелый. Монах ловко подхватил его, поднял на воздух, у мужика засучились в воздухе ноги. Монах ловко положил его на порог, брюхом к земле, скомандовал бабе — «держи за голову, за уши, сядь на шею!» — Баба исполнила приказ покорно — монах вскочил босыми ногами на спину, заплясал, загнусавил поповским речитативом — «пучин во хребте — иди вон! пучин во хребте — иди вон!» — потом что-то непонятное, засолил пальцами, перекрестил мужичий зад, — мужик уже покорно брыкался ногами, не пытаясь встать. Монах заплевался на все четыре стороны, зааминил. Баба, сидя верхом на мужиковой шее, причитала шепотком.

Потом на мужика лили ведрами холодную воду, особенно ловко монах, норовя попасть в рот, глаза и уши. Вскоре мужик напяливал сапоги, стал приходить в сознательное состояние.

— Ну, как, Иона, ушел? — спросил деловито монах.

— Кто? — переспросил мужик.

— Пучин.

— Ушел!

— Не болит, касатик, мой ясный Иоша? — спросила Марья.

— Пошла ты отседа, стерва, в кобылий зад! — ответил мужик. — Не болит!..

...Вскоре эти трое шли обратно — это второй «учин».

«Учин во хребте» — эпиграф — —

и: — послесловье! —

Был — девятьсот девятнадцатый год. Был июль. Была ночь. — —

Дохлый месяц зацепился за трубу, повис на заводской трубе, был пылен и ненужен, и ночь была черна по-июльски. Эти трое шли тихо. Завод спал — или жил — по-ночному. Перекликались дозорные, били в желез-

ные била, мир наводили сороками колотушек. Завод остынул на ночь. Колотушки — била — всегда хороши для воров, всегда говорят, где сторожа. Эти трое шли — из бани — мраком, бесшумно. И вот — у фанерной мастерской — бесшумно в окне во втором этаже повисла доска, красным деревом метнулась в косом свете фонаря и упала бесшумно на человечьи руки внизу, на углу свистнули тихо — и фонарь, и окно, и безмолвная тень внизу, у стены — тень доски над человеком — пляснули, плеснулись, исчезли. И опять лишь колотушки, лишь била — тишина и июль над заводом.

— Воры работают, сволочи! — сказал Иона монаху.

И у инструментальной во мраке повстречались два человека, с мешками, в кепках, раскаряками в безмолвьи, тенями, а не людьми, — и косые лучи фонарей кинули сразу три парные тени. В инструментальной горел сторожевой огонь, трое подошли к окну, взглянули — в огромном немотствующем цехе, в безлюдьи стояли рядами станки и на черную крысу был похож человек, один во всем цехе, с зажигалкой в руке, шаривший быстро под фрезером. Иона кашлянул хмуро — и зажигалка и человек исчезли. И тогда Иона сказал:

— Воры работают, сволочи, струмент воруют!

Они шли меж цехов, по шпалам, по кучам и за кучами угля и лома, шли по мраку. Завод замер на ночь, холодал, отдыхал. Они вышли к забору, туда, где был свален паровозный лом, где рос бурьян, щелкнул здесь неожиданно кузнечик, пахнул июлевым удушьем. Иона проверил потаенную щель в заборе, высунул голову в нее, — там была река и из-за реки донесся скрип телеги. Ночь. Тогда Иона сказал:

— Погодьтя, я сичас!

И он ушел в бурьян. Он вернулся скоро, у него в руках — на плечах, на голове — был круг. Монах спросил:

— Что такое?

Иона ответил:

— А это приводный ремень — подметки хороши!

Монах степенно пошутил:

— Ишь ты, словно хомут на себя напялил. Что значит — пучин-то изгнали!

— Теперь не болит, — подтвердил Иона.

...А там, за Окою, на лугах — кричали коростели, полз туман, в туманы туда пошла Марья, к табуну, та, что по травам гадает. Монах пошел берегом и мраком домой к Голутвину монастырю. — Из-за реки смотреть тому, кто —

— свернул в шоссе, проехал полем, перебрался вброд через Черную речку — кто попал в места, где нету дорог, где болота, где безумеют в крике дикие утки, где бегают бесшумные, не жгущие, зеленые болотные огни, —

— тому

не понять геометрической формулы пролетария.

КУКУШКИ

Рабочие не любят называть себя рабочими: они зовут себя мастерами или мастеровыми. — На заводе, в машинах, в цехах кукуют *кукушки*. В каждом цехе — в каждой мастерской — своя кукует кукушка, эти вот Кузьма Иваныч Козауров, Сидор Лаврентьич Лаврентьев, еще, — они обыкновенны, как каждый мастеровой. У Кузьмы Иваныча Козаурова — жилет на красной рубашке; на носу картофелиной и лохматом, как щека, — очки, привязанные ниточкой; и глаза из-под очков, во мху бороды, — замшалыми зелеными колодцами; — борода сдвинута влево, в ту сторону, куда после еды и в поту утирался Кузьма Иваныч, — и в кустья бороды вставлена трубка; — а когда матерщинил с рабочими Кузьма Иваныч, — тогда из кустьев бороды, из места, куда воткнута трубка, торчали желтые клыки, такие же крепкие и одинокие, как одиноко и крепко, клещом на всю жизнь, засел у себя в дизелесборочном цехе сам Кузьма Иваныч. Дом у Кузьмы Иваныча — на Бобровской слободе, на том самом месте, где стоял дом его деда, пахавшего землю под заводом, — здесь на заводе Кузьма Иваныч родился и умрет, — и за домом Кузьма Иваныч сеет картошку своими руками, как подобает, — а сыновья его, как не подобает, — один — врач, другой — путеец-инженер, и третий — коммунист Андрей — Лебедуха по партии — рабочий. И, как шестьдесят восемь своих лет, Кузьма Иваныч встает с зарей, чай пьет с блюдца — а после завода чай идет пить в трактир,

тоже с блюдца (и в революцию, пока не закрылись трактиры, с хлебом, принесенным за пазухой); и ночи дома он спит на сундуке, прикрывшись тулупом. Кузьма Иваныч — малограмотен, когда спрашивают его: — «писать вы умеете?» — он отвечает: «фамелий могу!» — Кузьма Иваныч, клещом в заводе, знает завод так же, как свою каморку дома за кухней, где, за сорок семь лет его жития на заводе, свалено все, что он скопил от завода, всякая рухлядь, и где в шкафу (и вот начинается *кукушечье!*) лежала среди бумаг его собственная секретная — «СЕМЬЕОМЕТРИЯ-СЕКРЕТ», им изобретенная, им созданная, неизвестно как, им, безграмотным, написанная, — гордость его жизни, такое, что знал он один, что рассказал ему завод и машина — ему одному. Каждый цех, каждую мастерскую он знал, как свою каморку, — мастеров чуждался, — и паровозы «Малет», четырехцилиндровые, звал Афиногенами, — дековыльковые — Митьками, — Ф — Федорами; дизелей — из уважения, должно быть, — он величал — Анатолиями Сергеевичами. — И — вот значительное: инженеры по чертежам и планам собирали дизель, стократно выверенный, — ставили его, чтобы пустить, чтоб ожила машина, — пускали и: — не работал дизель, машина не рождалась. Перепроверяли вновь, вновь разбирали и собирали дизель, — пускали вновь, — но он: не шел, не *оживал*. Тогда все знали, что надо посылать, сейчас пошлют за Кузьмой Ивановичем Козауровым. Кузьма Иванович всегда в этот час был в цехе у станков. Кузьма Иванович долго не шел, делался глух, отзывался, когда называли его полностью именем, отчеством и фамилией, — и прежде чем пойти к дизелю, отправлялся деловитой походкой домой, брал из шкафчика свою «Семьеометрию-секрет» (только тогда и можно было одним глазом увидеть в этой засаленной тетради каракули, крестики и черточки), — и с «семьеометрией» уже шел к дизелю, понурый, строгий, картофелиной носа вниз; у дизеля он — знающий тайну — говорил:

— Господа анженеры, отойдите от Анатолья Сергеича! —

и тыкал пальцем и глазами в молчащую машину и в свою тетрадь, — он делал это священнодейственно, кругом посматривая волком; он — пальцем, глазами и

ключом — хлопотал около машины, у мертвой стали, один, никого не подпуская — — Дизель — гениальная машина — гениальнейшая, которую создал человеческий гений, — это вот здесь в дизеле-сборочном, среди машин, около молчащей стали дизеля, стоял драный старичишка в кудлатой бороде на сторону, в красной — горошком — рубашке из-под жилета, — смотрел болотными глазками сквозь очки, перевязанные ниточкой, — в сосредоточенности одергивал рубашку и поправлял штаны, — и гениальнейшая —

машина: —

— шла, — сталь, машина оживала.

Он, Кузьма Козауров, знал тайну рождения машины, которую не знали на этом заводе. Инженеры стояли в стороне, недоумело. — Тогда в такие минуты он не сдерживался, — он уходил от дизеля, ни на кого не глядя, но он отчаянно жестикулировал и отчаянно матершинил себе под нос: к ночи в этот день он напивался, — но наутро был в своей конторке, строг и сух, и глух к речам о рожденном вчера им двигателе. —

Таких кукушек было много, которые всю жизнь свою перенесли в завод. Кузьма Иванович знал тайну, загадочную для инженеров, он верил, что в дизеле живет душа, такая же, как у человека, — он душу эту умел — колдуньи — вдуть в машину. Каждая кукушка знала свой секрет, — злословили кукушки про кукушек, — будто — в мастерской еще — чтобы форснуть потом, — иль ввинчивал, иль недовинчивал, иль перевинчивал Кузьма Иванович какой-то лишний винтик, — но инженеры проверяли все и понимали, что дело здесь не в этом, недоумевали; — Козауров же — изобрел способ, который перешел потом на все европейские заводы, — способ на простом токарном станке делать фрезерные работы, и не гордился изобретеньем этим, отказался от патента, потому что в изобретении этом: не было *секрета. Секрета* же кукушки никому не открывали.

Он, Кузьма Иванов, был простым мастеровым, он был добряк, — в трактире все его любили, и он любил, чтобы его любили, и матершинить — в напускной строгости — с рабочими — ему был труд немалый. Таких, как он, звали кукушками, — и остальных кукушек, Си-

дора Лаврентьевича Лаврентьева из паровозосборочного, иных — Кузьма Иваныч не любил; в трактире кукушки садились порознь. Иногда Кузьма Иваныч запивал, раза два в году, на неделю каждый раз, — тогда таскался он по цехам со своею «Семьеометрией-секрет», бил пальцем по тетради, совал ее в нос другим кукушкам, — и кричал:

— Мастерааа!.. Сволочаа!.. тоже, свои секреты имеють!.. Да. Выходи на кулачки!? Я без анженеров могу Анатолия Сергеича на ноги поставить, — а ты?! Давай я твоего Афиногена в два счета пущу!.. И все это у меня в тетради. Анженера — *триеонометрию* выдумали, — а у меня — *семь*!.. и все могу. —

В те дни, когда Кузьма Иваныч запивал, из трактира он не ходил домой ночевать, стыдился сыновей, пробирался на завод и спал где-нибудь в канаве, где застигал его хмель. Кузьма Иванович считал завод своим, вжился в него, как клещ, и в трактире часами рассказывал чудесные вещи о машинах. Газет Кузьма Иваныч не читал, новости все познавая в трактире; на заводе — еще до революции — то там, то тут вспыхивали кружки социалистов, самообразования, пятый год прошел забастовками, митингами, свободами, карательной экспедицией семеновцев под командой полковника Римана, расстреливавшего большевиков у переезда (у Козаурова убили сына), — Кузьма Иванович был в стороне от движений рабочих (хоть и приходилось ему — за сыновей — прятаться в пятом году), — политикой он не интересовался, — но поколотил однажды инженера, когда тот ни за что задирал рабочего его цеха, и за цех свой стоял горой, как и цех твердо стоял за него. Октябрь он, как и другие кукушки, Лаврентьев, Прошкин, другие, — встретил пассивно, — Октябрь сделал его начальником электростанции, но жизнь его не изменилась. Кроме завода Кузьма Иванович ничего не хотел знать: кукушки — это те, кто рождает машину.

(В дни революции сдружился Кузьма Иванович с инженером Форстом и статистиком Иваном Александровичем Непомнящим, и, когда закрылись трактиры, ходил после завода к ним пить чай, со своим хлебом —) —

...На заводе в машинных цехах куковали свои кукушки, Кузьма Иванович Козауров — знавший секрет рождения машины — в строгости — был счастлив сво-

ей жизнью. Каждый прав иметь свою кукушку и должен иметь ее! — —

ИНЖЕНЕР АНДРЕЙ РОСЧИСЛАВСКИЙ — МАРЬЯ-ТАБУНЩИЦА

...Ночь. Мороз. Зима. Леса за Щуровом, к Расчислову, — пройти семь верст от города полями и лесами, — там. Если идти вдаль от елепеневой сторожки, пойдут леса владимирские, муромские, перешагнут через Оку и Волгу, сокроются в лесах ветлужских, вологодских, — и так до тундры. Дорога идет лесом, между сосен и березок, кое-где ольха. Дорога в рытвинах, в ухабах, — но не проезжая дорога: здесь ездят в лес лишь мужики, за дровами по наряду и воровать дрова, — здесь изредка проедет с песнями отряд охотников на волчую облаву, пугать леса стрельбой и криками кричан, — здесь изредка прогонят конокрады тройку, чтоб сокрыть ее, чтоб замести следы на Перочи, на Зарайск и — даже на Заречье, на Старую Каширу, на Бюрлюкову пустынь, что за Окой. И не сразу с дороги увидишь на поляне дом, сарай, амбар, — елепеневу сторожку. И можно десять раз заехать к Елепеню — охотникам, ворам иль мужичонке, которого поймали на порубке — и не заметить на дворе землянки, — вся она в снегу, похожа с трех сторон на кучу из навоза, и лишь с четвертой стороны есть два оконца и дверь, в которую надобно войти, сгибаясь вчетвереньки. А Елепень — молчалив, в щетине, бритой в месяц раз, в шапке на всю жизнь, с шарфом зеленым вокруг шеи, в валенках; — и странные глаза у Елепеня — белые, сплошь одно бельмо и только маленькая дырочка зрачка, — казалось бы, он должен ничего не видеть, но он видел все насквозь: на лоб свисали волосы, немытые годами, и из-под них глаза вселяли сиротливость, беспокойство, — сплошные бельма, видящие все насквозь, спокойнейшие бельма, никогда и никуда не поспешающие. Недаром мужики его считали лешим, и глаза его — лешачьими глазами. Впрочем, мужики его считали лешим себе на горе, потому что — —

— ночь. Или метель зимою, или осень в злых дождях, — мужик свернул с дороги, просекой проехал с версту, — ночь, лес и шум лесной,

невеселый шум по осени, тоскливый шум, страшный шум. Лошадь опустила голову понуро; тихо — лесным шумом, нет никого живого. И топор ударил глухо... — И не всегда потом, в работе разогревшись, замечал мужик, как потихоньку меж деревьев — да и не заметил бы во мраке! — появлялся драный пес, обнюхивал, вилял хвостом и убегал обратно, — а через несколько минут, разбуженный с постели, приходил с берданкой Елепень, тоже потихоньку, из-под кустов, в ногах у него терся пес, — и из-под кустов спокойно говорил:

— Это ты, Иван! — кончай!

У Елепеня осталось это от тех времен, когда сторожить надо было на самом деле, когда за это драли шкуру с самого, — манера жить осталась по привычке. Про собаку никто не догадывался, но собаку иной раз видели, и твердо утверждали, что ходит по лесам ночами Елепень на четвереньках и вид имеет «на пример» собаки, либо волка. А в избе у Елепеня — с Иваном — разговор был короток в спокойствии белесых глаз:

— Привезешь, Иван, мне ржи полпуда?..

— Елепень, товарищ, Бога ты побойся!..

— Привезешь, Иван, мне ржи полпуда или отправишься в отсидку в волость на неделю...

— Елепеня, живоглот, ведь с голоду приехал!..

— Лошадь здесь оставишь на дворе, а сам пойдешь пешком, и чтобы к свету быть обратно...

А лес шумел осенним горьким шумом, лес темнел в дожде, во мраке, в шорохах и шумах, хлестал ветвями, окапывал с ветвей холодною капелью, — и мужичонко шел — почти на четвереньках, и ему казалось, что каждый пень — конечно, леший, — что каждый куст — конечно, взвоет волком. И всамомделешние выли волки, и к рассвету ухал филин. И полпуда ржи, к рассвету принесенные в сторожку, весили уже не полпуда, а фунтов тридцать, смокшие в дожде немногим меньше, чем мужик в дожде и поте.

И рассвет шел синий, оборванцем, в желваках облаков: в притихшем лесе — падал, падал лист, смертью шелестел, и шелестели смертью капли с веток...

А зимою лес безмолвен, только днем на ветках низкоросья пиньпинькает синичка и вужикает на лесной малине положительный снегирь. Снег синь от солнца — днем, снег синь — от месяца ночами, снег синь — от синей снежной тишины. Снег придавил малюсенькие елки, снег надел перчатки на лапы сосен, снег разостлал ковры, расшитые следами белок, зайцев, лис, синичек. Над снегом, над деревьями — или звезды, или синь небес. Какая тишина. Какой мороз. Какие звезды — —

...А в городе тогда надо зажигать электричество, чтобы делать комнату в морозе — в огне в сто свечей и в огне глиняной печурки — делать комнату похожей на трюм замерзшего в море корабля, пропахший рыбой, солью, нефтью, потом... И вечер и начало ночи — на кровати, за тулупом, в тулупах, с книгою или без нее (тогда глазами в потолок невидящим, непонимающим взором), — чтоб временем и мыслями умчать в безвременье и вечность. — — Надо мчать в июль, где пастушка — табунщица-Маша... —

Каждую субботу, когда завтра — воскресенье, день без портфеля и без железки (чтобы железкой раскуривать цигарки) — без сжатых наглухо бровей, побед на всех фронтах рожнов российской революции, — тогда заложить лошадь, розвальни, кинуть туда сена, маузер засунуть в боковой карман, винтовку в передок... — Можно проехать двояко: — или через завод, дохнуть его копотью, услышать скрежет будущей России, протомиться тоскою заводских заборов, крикнуть криком плакатов с заборов о Третьем интернационале, — или проехать у застав на Протопопово, кремлевскими стенами, тишиной и смертью старой Руси, мимо церквей, ставших, как стоят во рту гнилые корни, мимо домов с побитыми революцией стеклами и фронтонами. Надо проехать в поля, в снега, в гречневую кашу проселков, в убожество полей и далей русских. Надо крепко закутаться в тулуп, склонить голову, — «нно! тащися, сивка!..» Лес тих, садятся тени, тишина.

А потом в городе и на заводе, в клубе профсоюзов, где всегда —

— Россия — в мир!

— Россия — машиной!

— Россия — рысью!

— в зиме,

в морозе, в перекуренной махорке — —

— июль, луга, туманы над лугами, ночь, — мечтанья, — табун пасется мирно, у костра табунщица-Машуха, баба в двадцать пять лет, красавица-урод, — у костра тулуп, уздечка. Марья обняла колени, смотрит на костер, неподвижно, тихо, часами, — в реке плескаются русалки, зарево завода — далеко. Маша неподвижна, пока в тумане не возникает голос:

— Маань! —

это девушки пришли гадать на травах, на росе, в ночи, — рассыпали свои смешки, гадают о прекрасном, о бытии, о жизни, о том, что впереди (а впереди — всегда прекрасно!). И на пригорке над табуном — *могильник конский*[1], черепа и камень, который грызут люди от зубной боли... —

Андрей Росчиславский рассказывал товарищам, Лебедухе, Форсту, всегда случайно:

— А знаете, у меня выработалась привычка — ездить по праздникам в лес к леснику Елепеню. Странные люди сохранились еще в России. Этот Елепень, его мужики считают лешим, — ни один мужик не поедет к нему в лес, обязательно поймает. И какой характер. Когда я был у него в последний раз, — он был в лесу, пришел, — он всегда молчаливый, сумрачный, — пришел, сел в сторожке, на скамью и заплакал. Я стал расспрашивать — в чем дело? — Он говорит: — была у

---

[1] «В разделе «Сельское хозяйство», в главе о ветеринарии, стр. 81:

«За истекший год в уезде эпизоотий не было. Были только отдельные вспышки сибирской язвы... С середины лета на лошадях в волостях, расположенных на берегу Оки и в других частях уезда, появился цереброспинальный менингит, от которого погибло около 60 лошадей... При появлении сибирской язвы в некоторых пунктах уезда ветеринарный персонал забил тревогу и сделал обследование во всех селениях *скотских могильников*. Оказалось, что в большинстве случаев эти могильники совершенно исчезли...» (Запись Ив. Ал. Непомнящего.)

него собака, Трезор, ходил с ней сегодня на охоту, погнали зайца, — стрелял, подранил, — заяц пошел, собака за ним, Елепень по следам, — и видит — сидит собака под кустом, грызет зайца, — погиб гончак, больше не погонит, — приложился Елепень — и — отправилась собака на тот свет, — прощай, друг, изменил товарищу!.. Пришел домой и плачет, — щетинистый, косая сажень, покойный, — а плачет, как ребенок. Стрелок Елепень — замечательный...

Дальше Росчиславский затруднялся рассказать что-либо о Елепене. Ему трудно было передать поэзию ночевок на полу, жуть случайных ночных шепотов и разговоров, ряд ассоциаций с детства — о разбойниках, волках, лесничих, — шорох тараканов, и то, что в каждом человеке еще осталось от звериного, от лесов, земли, от земляных, лесных, звериных тайн. Слова не облекали сути Росчиславского. Росчиславский не знал, что вот убитая собака похоронила быль лешего в умах крестьян, леший перестал ловить в лесу, не бегал Елепень лесами лешим, и мужики стали покойно ездить воровать дрова. —

Росчиславский говорил дальше, закуривая папиросу и волнуясь:

— Но самый замечательный — не Елепень... За двором лесной сторожки есть землянка, там на зиму поселились пастухи. Андрюша-пастух и с ним, но не жена его, Маша-табунщица. Вы посмотрите, как они живут. Я никогда не видел. У них ничего нет, нет даже хороших валенок и всего один тулуп, — за водой к колодцу они бегают по очереди босиком, по снегу. И в углу у них навалена картошка, хлеба нет. И едят они из миски, которую смастерил из глины Андрюша, както сам ее и обжег. Каменный век!.. Когда я пришел к ним первый раз, Андрюша, ему уже за сорок, сидел на печи, свесив голые пятки, и играл на рожке, а Маша плясала. И так они все время и живут, поют и пляшут, — удивительно!.. Андрюша, по-моему, дурачок, лицо идиота, говорит односложно, урод, лохматый, страшный, — я только три слова от него и слышал: угу, не, ага!.. А Маша — замечательная, — я не могу сказать, чтобы она была красавицей, она низкоросла, слишком кореناста, груба, как обрубок, — но меня чарует в ней какая-то стихийная сила и грация, словно это камен-

ная баба из раскопок, и лицо у нее, с сизым румянцем, тоже точно вытесано из дуба и размалевано маляром. Я ее спрашивал, как они там живут, — она ответила прибауткой: «Эх, какие мы сами, такие под нас и сани!» С самой ранней весны и до осени она в лугах, с лошадьми, спит днем, живет ночью, и к ней ходят гадать на траве, сама рассказывала о значении трав, я позабыл, — подорожник от пореза, молочай от лишаев... И какая странная звериная нравственность и чистота, — и какая силища, физическая! Мне рассказывал Елепень, — ночью на нее напал парень, хотел ее изнасиловать, — она его связала уздечкой, избила до полусмерти, — а утром отпустила, никому не пожаловавшись, — пришел домой весь синий от синяков и страха, — потом рассказывал, — таскала она его к реке, чуть-чуть отмолил, чтобы не утопила... Ее считают знахаркой... В ней такая звериномудрая степенность и медленность... А Андрюша — полуидиот, мямлит три слова, молчит и играет на дулейке, водяной какой-то, его водяным и считают... Какая странная судьба — летом все время под небом, — зимой неделями не выходить из землянки, где стены и пол, и потолок из глины, где за ночь мерзнет вода и в углу картошка... Маша-табунщица иногда колотит Андрюшу и выгоняет его из землянки на снег, — он всегда покорен. И они счастливы... Каменный век!..

Так рассказывал Росчиславский о Марье-табунщице, — и, говоря о ней, он был ближе к тому неосознанному, что лежало в нем: он не умел рассказать, что Марья, которую он встретил зимой, в снегу, в морозе, — никогда не рисовалась, не представлялась ему зимней, всегда около нее возникали туманы июльских лугов, месяца рождения, головы коней в покое ночного, когда не мешают оводы. Он не думал тогда о том, что вдалеке горит красное зарево завода, — и не вспоминал, что жизнь его была точной и пропахшей, как его портфель. Он не вспоминал, но если бы вспомнил, ему бы стало грустно, как при мыслях о детстве, — если бы вспомнил о поокских из раскопок каменных бабах. Ему было бы неожиданно-странно, если бы ему сказали, что — вот кругом много девушек, у него есть связь с хорошей, умной, культурной женщиной — что он любит, влюблен,

мечтает — о Маше-табунщице, о ее страсти, об этой страсти в лугах, в ночи, там, где камень, который грызут люди от зубной боли...

...Потом Росчиславский замолчал о Марье-табунщице, — он никому не рассказывал, что, как — —

— ночь, мороз, зима, декабрь. Звезды кинуты щедро, не жалко их, и свечой из-за леса поднимается красный уголь месяца. На поляну пред сторожкой из окна идет мирный свет. Месяц ползет все выше, зеленеет, — тени сосен синеют парчой, снег под луной лежит бархатом, — какому нечеловеческому деспоту понадобилась такая красота! — В избе у Елепеня на полатях спали детишки, на кровати заснула жена, принесшая уже тринадцать человечьих душ на этот свет, из которых уцелело пять. Елепеня не было дома, — и на соломе на полу, под образами, не раздеваясь, в тулупе спал Росчиславский. В избе было душно. Не спал в избе за печкою в закуте — один лишь поросенок, он выспался за сутки мрака. И тогда отворилась с мороза дверь, босой прошмыгнул Андрюша, прокрался к Росчиславскому, потряс плечо, сказал в жутчайшем безразличьи водяного:

— Андрея, встань, Мащуха кличет, — а я здесь посплю...

В землянке на окне горит свеча домашнего литья, окно в снегу, через него ничто не видно, и свеча горит алмазами. И Машуху сразу не увидал Росчиславский, — она на печке, и у Машухи губы, как у зверя. Машуха спрыгнула проворно с печи, задрались юбки. — Машуха дышит тяжело, как лошадь, вывезшая в гору воз, — и губы у Машухи теплы и мягки, как у лошади: — — древний хмель, что изъел червями каменных поокских из раскопок баб, вздохнул в избе, погасил свечу, — и во мраке, в голове у Росчиславского, в избе, от грудей, губ и колен Машухи — те пошли июлевы туманы, табуньи, сенокосные, болотные, туманней и белесей, чем сама июнева ночь, — поэту можно вспомнить о зареве завода над Окой. И Машуха шепчет:

— Лезь на печку... — —

(В эти дни пришли письма к Андрею Росчиславскому от брата Юрия Георгиевича, где брат писал о волках.) — Андрей Росчиславский оставил после себя записи — —

ЗАПИСИ

«На масляной неделе в Коломне в кинематографе Люляева остановился зверинец. Я ходил туда. На базарной площади были карусели, играли гармонисты, толпились около люди, гимназисты, мужики в тулупах, бабы в красных овчинах и зеленых юбках. Тут же на двух столбах была единственная и вечная — афиша о зверинце:

Проѣздом въ Городъ остановился

— ЗВѢРИНЕЦЪ —

Разніе дикие звѣри под управленіем

В а с и л ь я м с а.

А также

ВСЕМІРНЫЙ ОБТИЧЕСКІЙ

обманъ ЖЕНЬЩИНА-ПАУКЪ

«На афише были нарисованы — голова тигра, женщина-паук, медведь (стреляющий из пистолета) и акробат. Афишу мочили многие дожди. У карусели выли гармошки и бил барабан, овчины толпились, луща семечки и наслаждаясь; на конях, на каруселях ездили, задрав ноги, парни; девки плавали в лодках; в одном ларьке продавали оладьи, в другом — зеркала и свистульки. Площадь была велика, и шум от каруселей казался маленьким.

«В доме гражданина Люляева был когда-то общественный клуб, выступали заезжие фокусники, бродячие актеры и местные любители. — На лестнице горело электричество, были развешаны картины зверей, толпились мальчишки, — в дверях сидел хозяин зверинца Васильямс, в матросской рубашке, никому не доверял получать деньги, мальчишек бил по загривкам, но иногда и прозевывал счастливца, и тогда тот, сияя, пролетал у него под локтем внутрь; лицо у Васильямса было доброе, с ним можно было торговаться о плате за

вход. — Там, где раньше сидела публика, наблюдавшая за фокусниками, хлестнул по носу скипидарный запах зверей, звериного пота. Здесь было целое сооружение, учиненное заново: по стенам стояли клетки с попугаями, орущими неистово, — с безмолвными филинами, немигающими и такими, как чучелы, — на пустой клетке было написано: «пингвинус»; серия ящиков занималась кроликами, очень похожими на тех, которых продают на базаре; в двух клетках сидели мартышки, в ящике, в сено прятались морские свинки; в клетке, разделенной на десяток отделений, чирикали — щеглята, синицы, зяблики, гаечки, трясогузки, чижи; в круглой клетке сидел орел, совсем полинявший. Электричество светило неярко; там, где была сцена, был устроен тир: на стойке, обтянутой красным коленкором, расставлены были — чайный сервиз, самовар, гармошка, галстук, пенсне, — каждый мог испробовать счастье, стреляя булавочкой в вертящийся диск. — Женщины-паука не было, — ее показывали через каждые полтора часа на пять минут. Народу в зверинце было немного. — В той комнате, где бывало фойе, — были большие клетки; в одной лежал кривой медведь, — кривой, усталый облезший, в войлоке; в другой — метались два шакала; тигра, нарисованного на афише, не было; но в углу, в медной клетке, плохо освещенной, — был волк; волк был невелик, но стар и убог; клетка была маленькая; волк бегал по клетке; волк изучил клетку, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движение в движение, не как живое существо, *но как машина*, — исчезая в тень клетки и возвращаясь в свет; потом он остановился, опустил голову, взглянул на людей понуро, устало, исподлобья — и тихо завыл, зевнул; — волк был беспомощен, страшный русский зверь. В зверинце было немного народу, и больше всего толпилось у клетки волка. Больше ничего не было в зверинце Васильямса.

«И вот — о волке. Я знаю, — когда тает снег, после зимних вьюг и метелей (никто не докажет, что весны прекрасней метелей), — из-под снега, в ручьях, в весне — возникают новые цветы, но вместе с ними — много на земле прошлогодних листьев. Если годы революции русской сравнить со снегами вьюг и весенних ледоходов, — из-под них по Руси, по русским весям и селам небывалые размножились волки, побежали оди-

ночками и стаями, драли и скот, и зверье, и людей, лазили по закутам, выли на поезда, разгоняли стада и ночные, страшили одиноких путников, возродили охоты облавами, сворами борзых, с поросенком, — что же: новые цветы иль прошлогодние листья —? Волк страшен в полях, свиреп, хозяин лесов; мне — волк — прекрасная романтика, русская, вьюжная, страшная, как бунт Стеньки Разина. Но — что же — прошлогодняя листва или новые цветы — этот Васильямс и его зверинец? Где и как он прожил метельные годы российские, как голодал, кем был национализован, — кто денационализовал его, отпустив, как шарманщиков, таскаться по селам и весям российским — прошлогодней листвой иль цветами — ? И вот здесь, в клетке, ободранный, обобранный — волк, покоренная стихия: его братья бродят по лесам, воют, живут, чтоб убивать, родить, умирать, его братья свободны, и они — русские, ибо правят они над русскими полями, лесами, ночами, — а он, облезший, ободранный — маятником мается, *след в след, движенье в движенье,* здесь в клетке, — как он попал сюда, к Васильямсу, в компанию женщины-паука? — У волка здесь толпился народ, — здесь и у обезьян, должно быть, отыскивая созвучие...

«Рядом со мной, у волчьей клетки стоял мастер Козауров, и он сказал:

«— У, гадость! Смотрю на волка — и вся дикость наша, русская то есть, прет из него. Всех их, мерзавцев, в зверинцы надо.

«Я подумал:

«А я — я смотрю на него, и мне его жалко, мне сиротливо. В волке вся романтика наша, вся революция, весь Разин. Мне жалко, что он заперт! Его надо выпустить, — на волю, — как осьнадцатый год».

«Я сказал:

«— Вся наша революция стихийна, как волк.

«— Ну, революцию я понимаю иначе, — ответил Козауров. — В пятом году как раз и понял, когда Риман расстреливал сына. К чертям всех Васильямсов с волками и так далее!.. —

«Волк снова забегал по клетке. Прошли со звонком, прокричали, что сейчас покажут за особую плату женщину-паука. Красноармейцы, стрелявшие в тир, вынули из-под шинельных пол кошельки. Ни я, ни Козау-

ров не пошли смотреть женщину-паука, — Козауров не желал, чтобы его надували. На улицах было темно. Волк остался в помещении гражданина Люляева, в тусклом электрическом свете, в скипидарящем запахе звериного пота. — Карусели на площади перестали вертеться. —

«Я помню, как мне довелось на волчьей облаве, в лесу встретиться с волком с глазу на глаз: волк, показавшийся огромным, шел галопом, его голова была высоко вскинута, он был прекрасен, — он не видел меня, он шел свободно, и я помню ту дикую, звериную радость, — не страх, только радость и буйство, — когда я целился в него, чтобы убить, — я ранил, волк остановился, недоумевая, вскинул голову и — ушел от меня тем же покойным, величественным галопом: — *там волк был свободен, стихиен...* Волк мне — прекрасная романтика России, наша русская, вьюжная, страшная, — но волк здесь, в зверинце Васильямса, в клетке, ободранный, обобранный — *покоренная стихия:* его братья живут по лесам, воют, убивают, живут, страшат, его братья свободны, и они — русские, ибо правят русскими полями, лесами, ночами, — а он, облезший, ободранный — маятником мается, след в след, движенье в движенье, *как машина*, здесь в клетке...

«Был праздник, свободное время, и я пошел в Расчислово. Небо чернело. Влево, вдалеке у железной дороги белым заревом светил завод. Лес принял шорохами и шумом вершин, — древний лес, сосны в два обхвата. Я думал и ждал, что сейчас завоют волки, выйдут на дорогу. И правда, далеко в лесу провыл волк. К Марье я не зашел, устал и решил зайти к анархистам в монастырь. Монастырь был безмолвен. — Семен Иванович, в валенках и шарфе, трудился у печки, растапливал, хотел сварить картошки. Печка дымила. В комнате было холодно и не было света, кроме печурочного. — Наши не вернулись с вами? — спросил Семен Иванович.

«— Нет, не вернулись, — сказал я.

«— Они ходили на завод, наниматься...

«— Слушайте, Семен Иванович, — сказал я, — я был в зверинце. Там есть волк. Осьнадцатый год не вернется, он прошел, навсегда. Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли. — Где теперь все это? Мужичья Россия загорелась лучиной, запе-

лись старые песни, замелась метелица, заскрипели обозы с солью, умирали города, заводы, железные дороги. Осьнадцатый год не вернется, он ушел навсегда. Мой брат погиб, мы всех растеряли, мы живем на монастырском кладбище, и мой брат, как волк в зверинце. —

На заводе —

— в сталелитейном, в мартене — сталь и уголь, и они в мартене, как кусок солнца — в мартене зажат кусок солнца, *стихия*, на нее, как на солнце, *нельзя смотреть простыми глазами*, она бурлит и жжет.

В зверинце —

— в клетке за решеткой — волк, *стихия лесов, и он в клетке, как машина, след в след, мышца в мышцу,* движенье в движенье, *на волка сиротливо смотреть.*

«Что такое — машина? И кто такой пролетарий? — У машины, как у Бога, нет крови?)

«Сегодня опять спас меня Кузьма Козауров — и опять так же, как несколько уже раз. Ночь я не спал, заснул под утро, и меня разбудили в семь часов, когда выл гудок, еще не рассвело как следует, и казалось, что воет — этим страшным, охрипшим, рвущимся из-под земли, серым — гудом, воет моя комната, диван, стол, все, — от него, от этого гуда, который пронизывает все, никуда не уйдешь. И язык от него во рту был как выпаренный веник. Таяло и бил весенний ветер, было серо. Рабочие уже прошли, когда я пришел на завод, и завод уже скрежетал, выл, гудел, как всегда. Я думал о заводском гудке, о том, как мучительны эти пять минут, когда он гудит, — но еще мучительней тот момент, когда он — сразу, жданно-неожиданно — стихает, тогда приходит могильная — я не нахожу иного слова — могильная тишина, пустота, от которой хоть в воду. Я прошел, как всегда, на электростанцию, сидел в конторке, наблюдал за работой, ходил к печам, там шутил с угольщицами, расчисловскими девками, они просили помочь им тащить вагончик, я помог, не узнал их сначала, чумазых от угля. Потом я прошел в машинное отделение, — паро-динамо пущено уже третий день, у машин был ста-

рик Козауров, у амперметров счетчики; в машинном, как всегда, было очень чисто, светло, тепло. Я помню, как с физически-ощущаемым отвращением я посмотрел на маховик паро-динамо, огромный в несколько саженей, вращающийся беззвучно за решеткой, и...

«Я очнулся, потому что меня за руку держал Кузьма Козауров, я помню его фразу: —

«— Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь, — он был совершенно спокоен; я помню, что первое, что я сделал, это — я прислонился к плечу Козаурова, помню цвет рубахи и запахи масла, махорки и пота; Козауров был совершенно спокоен и как всегда придурковат, в руке у него была масленка, и он отошел от меня к турбине. Мне было очень совестно перед ним, мне хотелось узнать, что было со мной, но спросить я постыдился. Я сказал:

«— Спасибо, Кузьма Иванович, вы зря беспокоились!

«Он ничего не ответил, но я работать уже не мог. Была суббота, работы кончались в час. Я сказал, что иду в главную контору, и главными воротами прошел домой. Страшно хотелось спать. Я думаю про Козаурова, мне все время хочется позвать его и спросить, что происходит со мной, он знает обо мне то, чего не знаю я; — и мне стыдно, хотя к нему у меня большая, почти детская нежность. В девятьсот пятом году у него убили сына, карательная экспедиция семеновцев, полковника Римана, — тогда он несколько недель скрывался в расчисловских лесах; была зима; однажды, проезжая вечером домой с завода, я встретил его на дороге, он меня узнал, я его окрикнул, но он поспешно свернул от меня и пошел в лес, он был похож на затравленного волка, шел устало, руки в карманы, голову вниз, в мужичьем полушубке, лес уже чернел к ночи. В час загудел гудок, вновь затошнил мою душу, за окнами весело шли рабочие, спешили на поезд. Сейчас за мной придет лошадь. Надо кончать.

«Ездил на воскресенье в Расчислово, ночевал у анархистов, ходил — —

(Андрей Росчиславский не знал, что вот там, на монастырском кладбище, у анархистов, сосланных революцией — —

их, анархистов, трое: Семен Иванович, Анна, Андрей — — ... в комнате горит железная печка, созданная здесь же на монастырском арт-кладбище из военно-технического слома; под потолком висит лампа. На диване с книгой лежит анархист Андрей Волкович, у печки возится Анна. Потом приходит из города со службы Семен Иванович, он греется у печки. В доме холодно.

— Сегодня во всем мире карнавальные торжества, — говорит Андрей. — Сегодня во всем мире, в Европе, в Африке, в Австралии, в обеих Америках — неделя карнавала и рядин, все рядятся и веселятся, во всем мире, кроме России и Азии.

Молчат.

— Вы, Андрей, не ходили на завод? — спрашивает Семен Иванович, и в голосе его злоба.

— Нет, пойду завтра.

— Да, ступайте. Надо что-нибудь делать. Не умирать же голодом.

Анна подает на стол горячую картошку. Семен Иванович садится есть. Андрей натягивает на плечи тулуп.

— Вы куда? — поешьте!..

— Пойду пройдусь. Спасибо.

В коридоре гостиного дома мрак и холод, здесь не топят. Над деревьями стоит луна. Тишина гробовая и неподвижность над монастырем. Тени — точно их вырезали ножницами; рядом с Андреем идет карапуз его тени. На скотном дворе в кухне у монахинь вспыхнул огонек, и вот перебежала из тени в тень на дворе — бесшумно — монахиня. — Ворота во двор открыты. — —

Луна ушла за лес, померкла красным углем, исчезли тени, — все стало как тень, — потемнело небо и ярче звезды, — теперь совсем ясно, что небо — ледяная твердая твердь, по которой можно было бы кататься на коньках, если бы была возможность залезть туда. Лес почернел, поугрюмел. Андрей долго бродил по проселку, он слышал, как где-то вдали в лесу провыл одиноко волк — Андрей думал о России. Монастырь — безмолвен, темен, мертв — торчат к небу шатровые колокольни.

Спит, руки скрестив на груди, далеко откинув голову, выставив кадык, — Семен Иванович, бесшумно дышит. Легла уже Анна. — Андрей сидит у стола, над тетрадью, у лампы под абажуром из газеты. Встает с постели Анна, кладет руки на плечи Андрею, прислоняет голову к голове.

— Ложись, милый, спать. Не грусти. Ну что же, что сегодня во всем мире карнавал? — Ты хочешь есть?..

— Я не грущу, Анна. У меня странные мысли... Где, в какой еще стране, люди чувствуют так свою ненужность, как в России? — к двадцати годам каждый уже знает, что он никому не нужен, даже себе, — мир и человечество идет мимо него, он не нужен миру и человечеству, но ведь он — частица, он составляет человечество! Ведь англичанин, швед, француз, немец — он горд, он звено в цепи, он необходим, он соучастник той культуры, которую несет человечество. Слушай, весь мир на крови. В мире человек знает две силы, я еще не оформил, как их назвать, и где их границы: одна это та, когда стихия природы побеждает человека, тогда — Бог, и вторая та, когда человек побеждает стихию природы, — тогда: человек с большой буквы. Вспомни — был мир, когда люди жили только от земли, пахали, пили и ели, как им велела стихия земли: тогда миром правил Бог, тогда Богу строились соборы, монастыри, церкви, и человек был ничто перед Богом. Реальность — стихия земли, и романтика — упование — метафизика — Бог. И вот, — помнишь, в XVII веке, в Европе, в Англии и Франции, были изобретены — ткацкий станок и паровая машина, и они перестроили мир, они сделали Европу гегемоном мира, они породили протестантизм — в религии, они народили капитализм — в хозяйстве, они породили буржуазию и пролетариат: — это они первые частички той силы, когда человека надо писать с большой буквы. Пролетарий и машина пришли в мир братьями и с новой моралью и романтикой. Послушай дальше. Мы все сейчас думаем только о революции, только от революции. — Утверждаю, что Россия, страна историческая, была и есть уже много сотен лет и кончится не сегодняшним днем. Россия растет — как дерево, ее путями. Человек двадцать девять дней в месяц работает и день пьянствует, в пьянстве — ему море по колено, — но трудится и создает свой быт, свое право на жизнь, он в будни. У государства тоже есть свои будни и пьяные дни, — это революции. Пьянство родит будни, будни родят пьянство. Россия пьянствовала пять лет, — прекрасные годы! Теперь она идет в будни, революция кончается. Надо сделать подсчет всех морей, кои нам по колено, и утверждаю — не революции и не революционный городовой несут счастье. Самое страшное — обыватель. Сейчас, что бы ни делало человечество, — две трети всего человечества должны быть заняты тупейшим делом землепашества, чтобы прокормить остальную треть, их

труд убог, ибо он дает излишка только одну треть, — две трети человечества ковыряют землю, живут со скотом и зависят от стихии природы, — и вся плодородящая земля тратится, чтобы на ней росли картошка и рожь. И вот пришел человек, ученый, гений, он вооружен всем, что дала культура, — и он изобретает, как механически, фабричным путем прокормить человечество, — картошку, хлеб и мясо, белки, углеводы и жиры будут делать на заводе, он построит маленький заводишко, куда придут пролетарии!.. — и две трети человечества освободятся от крепости к земле, освободятся две трети человеческого труда, человечество получит досуг, освобожденный труд пойдет в города, он будет строить, творить, создавать, он найдет себе путь; но освободятся еще квадрильоны десятин земли, на них возрастут леса, сады, — будет невиданная в мире революция, которая перестроит государство, мораль, труд, освободит, раскрепостит труд, создаст такое, что мы не можем представить. Освобожденный труд пророет каналы, высушит моря, сравняет горы, кинет весть о себе на Марс. Это создадут — гений, культура и пролетарий. Человечество мерзнет зимами у полярных кругов, — будут созданы резервуары, в коих будет храниться тепло, — и тепло одной Сахары отопит весь земной шар. Но это не все. Половина человеческой жизни уходит на сон и отдых, — создадут химический завод, который будет производить порошки, и человечество освободится от сна, — и опять новый освобожденный труд. И это создадут знанье и пролетарий. И еще: — человечество удваивает свою жизнь, человек будет жить двести лет. — Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей под картошкой и в корме для свиней. Лошадь, корова и курица будут только в зверинцах, ибо их уничтожит машина. Это создаст — гений, культура и пролетарий. Россия первая кликнула клич пролетарию и пролетариям мира, в этом величие нашей революции. Это — метафизика пролетария. И я — с коммунистами-машинниками. Человеческий труд перестроит мир, подчинит землю человеку. Ты понимаешь, Анна? — В мире есть две силы, — и это вторая: гений, знанье, труд и человек, — сила, покорившая машиной мир, — машина и пролетарий, и — опять — человек. Ты понимаешь?

Анна молчит, прислонив щеку к щеке.

— Но тогда будут васильки? — спрашивает Анна.

— Да, будут.

— Но васильки растут во ржи, а рожь, ты говоришь, исчезнет? — Знаешь, монахини сегодня опять пели ночью. Я выхо-

дила на крыльцо и слышала, как вдалеке провыл волк, теперь идут волчьи свадьбы. А наверху опять кто-то приехал, опять блуд, там мать Ольга — —

— Но есть другой закон, — говорит Андрей, — культура создастся богатством. Богатство — это только то, что консолидировано трудом и машиной, труд, накопленный в реальные ценности. Наше золото в рудниках, наша руда под землей, нефть и каменный уголь в земле — не есть ценности. И нет страны более нищей, чем Россия, — такой я не знаю. Без богатства не может быть культуры — —

— Да, но тебе завтра надо идти на завод, Андрей, пора спать, — говорит Анна.

Ночь. Безмолвие. Кует и сковывает мороз. И видно с проселка от монастырских ворот, как гаснет внизу в гостином доме огонь. В лесу, за монастырем бежит волчья стая, гуськом, след в след, впереди вожак, — так стая избегала за ночь верст тридцать. Комиссар арт-кладбища, обалдевший от сна, выходит на монастырский двор, он слышит волчий вой, и этот вой ему —

— одиночество, тоска, сиротство, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками!.. — —

«... ходил на охоту за зайцами, бродил по лесу. Скоро уже весна, Великий пост входит в свои права. После обеда крепко спал. Приходила Марья, подкараулила меня одного, шепнула:

«— Приходи вечером в сторожку, дома нетути никого.

«Сказал, что с вечера поеду на завод, и с полдороги пошел к Марье в сторожку, шел над Окой и думал, что вот это поокское безлюдье, эта тишина, эти наши поля, дали, перелески — и есть подлинное, подлинная жизнь, и надо не строить города, а заботиться о том, как бы их разрушить, уничтожить, чтоб жить просто, как рожь, как лес. Думал, что если я когда-нибудь женюсь, то женюсь на такой, как Марья.

«Марья встретила меня в новом ситце, который я подарил ей, веселая и заботливая. Я принес поесть, селедки и баранок, сели по-семейному ужинать, потом она стаскивала с меня валенки, полезла на печь, разделась, и в восемь часов мы легли спать. Иногда лицо ее и вся она меня мучат; лицо ее почти кругло, кумачево-

красно, с сизым румянцем, брови густы, точно гусарские усы, черные, как смоль; глаза тоже темны, но не черные, а зеленоватые; губы огромные, мягкие и безвольные; от всей от нее одуряюще пахло всеми запахами ее лесного жилья, начиная от огурцов и кончая коровьим потом, и вся она, невысокая, коренастая, была точно вытесана из булыжника — огромная грудь, огромный живот, огромная задница, огромные руки. На ночь она оставила светильник, и я видел, как в страсти, из-за полуоткрытых, огромных, красных губ поблескивают плотно сжатые тоже огромные зубы.

«Утром она разбудила меня и проводила до станции, я приехал на завод прямо к гудку. Смотрел с Протопоповской горы на завод, на эту страшную махину в сотни десятин (слово десятины как-то не подходит сюда), на частокол труб, на дым от них, на корпуса из камня, на кучу зданий, — все черное, коптящее, чужое. Слушал, как этот завод гудит стоном людей и железа. Потом, на станции, я понял, как этот завод дышит, продушен, задыхается — копотью, серой, огнем, сталью, человеческой, обескровленной жизнью... Мне стало страшно за тех рабочих, что ехали со мной, — они бодро шутили, курили махорку, щелкали семечки; потом, когда «малашка» (так называют рабочие свой поезд) стала, они, оборванцы, весело побежали к заводским воротам, обгоняя друг друга, как телята весной на первом выгоне.

«Эти несколько дней были странными, страшными и комшарными. Как рассказать о них? — у меня все путается в голове. Опять Козауров оттащил меня от маховика, этот маховик — мой враг. И я попросил придти ко мне Козаурова, я сказал ему:

«— Пожалуйста, Кузьма, зайдите ко мне сегодня вечером, на квартиру, — и замялся, растерявшись, чем объяснить эту просьбу, не принятую в наших обычаях, и забыв его отчество.

«Он ответил, как все подчиненные:

«— Слушаюсь.

«Я сказал тогда ему:

«— Нет, — я прошу вас зайти по частному делу... Если хотите, я приду к вам... как вас по отчеству?

«— Мое фамилие Козауров. Нет, зачем же, я приду к вам. Я все понимаю, — сказал он, и тогда я не понял его.

«После семи я прилег почитать газету и заснул, — и во сне я увидел себя и маховик, видел со стороны с осязательной явственностью. Прежде всего я услышал гудок и — *тишину*, которая бывает после него, эту могильную пустоту, от которой — к черту, головой о стену. Потом я увидел маховик, чистоту машинного отделения, тепло, свет мутного дня (тепло, как свет и чистоту, я — не ощущал, а видел). И вот, у маховика — я, я крадусь к маховику. Я вижу свои ощущения. Маховик меня гипнотизирует, я немею, я бесссилен, я ничего не помню и ничего не могу сделать: перед моими глазами стальной, в масле, все время вращающийся, все время уходящий за решетку и все время приходящий из-за решетки, абсолютный в своих движениях, в своем движении — неподвижный, категорический, как смерть, бессильный в своем движении, бессильный не двигаться — маховик, только он, ничего нет в мире кроме него. Я делаю шаг к решетке, мои движения так же безвольны, как безвольно движение маховика. Я поднимаю ногу на решетку. Сталь маховика вот тут, в четверти аршина от моего лица, я слышу, как отбрасывается воздух, движение воздуха теплее, чем тепло в машинном, — я слышу, как посапывает маховик в своем движении, новые звуки, как в детстве запах своей же шинели, и кабинета отца, когда спрячешься в шинель с головой у отца в кабинете. — Я закидываю вторую ногу на решетку, — и тогда возникает Кузьма Козауров, его руки не старчески-властно снимает меня с решетки, и он говорит: — «Отойдите, Андрей Юрьевич, опомнитесь», — но прежде чем опомниться, прежде чем проснуться, я вижу того волка, с которым я встретился когда-то на обвале, прекрасного, свободного волка, а сейчас же за ним волка в зверинце у Васильямса, в медной клетке, — он кружился в ней, след в след, шаг в шаг, движенье в движенье, — *как* маховик. Тогда я проснулся. Было темно и тихо, и в тишине было слышно, как капает капель, — и я подумал о том, как прекрасно, что великий пост развернулся, как прекрасна земля, — как несчастен я, оторванный от земли.

«В окно шел свет газового фонаря. Я посмотрел на часы, было десять.

«Тогда постучали, я подумал, что пришел Козауров, — но пришла Марья. Мне почему-то было страшно видеть Козаурова, и я обрадовался Марье. Я сказал:

«— Вот и Великий пост, дороги развозит, скоро и снег стает. Иди, ночуй, поставь самовар! Знаешь, раньше не было заводов, люди в Москву ездили на санях. Теперь распутица, — дома, стало быть, сидели бы, неделями, не спешили бы, и на все время хватало бы, и вот с тобой можно было бы полюбиться целую неделю подряд... Иди, раздевайся, ложись! Все чудесно. Чудесно, что ты пришла!

«Она меня не поняла (да я и сам не понимал, как следует, что говорю), посмотрела строго, сказала:

«— Ты что, пьяный, что ли?

«— Нет, я не пьяный, — сказал я и понял, что видеть ее, быть с ней в ту минуту мне было самым дорогим, у меня закружилась голова — она была прекрасна.

«Она всегда была домовитой, степенной, неспешащей. И я мучился, пока она ставила самовар, пила чай с блюдца, говорила о своих новостях, угощала меня чаем и после чая пожелала еще селедки. От нее пахло ситцем и потом, после чая она аккуратно складывала этот ситец на стуле. Я потушил свет, только газовый фонарь бороздил пол. Марья была степенна и в любви, а мне хотелось неистовствовать. В одиннадцать гудел гудок для ночной смены, шло стальное литье, — но на этой огромной груди, дышащей хорошими кузнечными мехами, мне не было страшно. К двенадцати Марья заснула, я заглядывал в ее лицо, оно было покойно и — не знаю, прекрасно или отвратительно; губы, мягкие, как тесто в квашне, были открыты (я все время касался их), и оттуда пахло луком. Раза два во сне она так бесстыдно чесалась (это обстоятельство было мне страшной радостью, от которой немеет сердце), и мне было совершенно ясно, что мы не здесь, на заводе, в доме европейского образца, а где-то в каких-то пущах, в каких-то диких столетиях, в избе на курьих ножках, на вещем болоте, в сосновых дебрях, и сейчас заорет леший. И я — я не помню, в бреду или в яви — бредил, думал о себе, о моих делах, о заводе, о России. Я пробредил до тех пор, когда завыл гудок, и он мне показался в рассветной мгле — криком лешего, не страшным.

Я думал:

— Вот здесь, где теперь завод с двенадцатью тысячами рабочих жизней, с десятком огромных цехов, льющий, вытачивающий, собирающий тысячи паровозов, пароходы, дизеля, машины, завод, к которому из всех углов России идут поезда с углем, рудой, деревом, торфом, дровами, нефтью, который во все углы России разбрасывает свои паровозы, вагоны, инструментальные станки, завод, который на хребте своем несет разруху и революцию, который хочет победить мир, завод, около которого живут в лачугах люди, потерявшие свой угол, свою родину, свою землю, собравшиеся отовсюду, забывшие поле и лес, и ширь наших далей, узнавшие только машину, тоску машины, и расплавленную сталь, одинокие, несчастные, оборванные люди, — здесь, где этот завод, пятьдесят лет назад рос тихий лесок, текла рядом Москва-река, пахал бобровский мужик свою долю, пел жаворонок, цвели васильки, — вот здесь, где теперь дым, копоть, лязг и вой железа, гудки, крик паровозов, толпы людей, небо в копоти и земля в железных опилках и нефти... Что принес этот завод, что принесли эти трубы в дыму и корпуса в саже? что несут они России и будущему? — первым делом — вот что: — бухгалтерский расчет! на заводе работает, это вот тут, двенадцать тысяч людей, пришедших сюда потому, что их прислало сюда горе, нищета, их выкинула иная жизнь, и статистика знает, что жизнь заводского рабочего тяжелой индустрии — от этих горячих цехов, от переутомления, от серного запаха, от завода, сокращается на целую четверть.

Марья спала, в окно шел зеленый газовый свет, я склонился над Марьей и, протягивая в темноту руку, защищая Марью, говорил:

— Подумайте, жизнь сокращается на одну четверть, — жизнь рабочего! — то есть на три месяца в год, то есть на неделю в месяц, то есть на шесть часов в сутки; но на заводе работает двенадцать тысяч человечьих жизней, помножьте шесть на двенадцать тысяч — семьдесят две тысячи часов, три тысячи дней, десять лет, — десять лет человечьей жизни уносит каждый день завода. Машины заменили кровь огнем и маслом, — и машины мстят за это десятью годами челове-

ческой радости, горести, всего, что дает единственное у человека — жизнь, десятью годами в сутки. Но все же машина несет человечеству счастье, да? — волк в клетке у Васильямса — стал как машина, счастлив ли он? Машина изобретает машину, и они освобождают человеческий труд? — я читал, когда в Лондоне было проведено по улицам электрическое освещение, тысяча фонарщиков осталась без куска хлеба, они проклинали это электричество — оно отняло у них хлеб! Машина родит машину, возникают города, железные дороги, заводы, фабрики, небо застилается трубами, дымом, небоскребами, земля асфальтится, травится известью и нефтью, — это несет счастье человеку? — едва ли!.. — Сотни тысяч, миллионы рабочих укорачивают свою жизнь заводами и машинами, люди мчат на поездах, не досыпают ночей, спешат, гонятся, не успевают, — лондонское электричество, освободив тысячу фонарщиков, семьсот из них отправило в небытие, а триста остальных придумали новое, стали рыть подземную дорогу, люди бросились сокращать свое время в эти подземки, а десятки тысяч извозчиков пошли с рукой, пока тысяча из них не придумала на станциях подземок устроить кабаки на повозках, тоже очень поспешные, а другие придумали кабаре, а третьи изобретают новый фасон платьям, — а человеку надо и это новое платье, и это кабаре, и проехаться по андерграунду, и у него нет времени подумать, нет времени прочитать толстую книгу, нет времени создать такое, чтобы жило столетье, — быт определяет сознанье, это верно, — и ему некогда любить, — за цивилизацией, за пятикопеечной газетчонкой, за воротничком возрождается дикарь, ничего не знающий, не имеющий времени узнать и не имеющий сил узнать всего, что наворотили машины. Проклят тот день, когда был изобретен пар и машины... Но вот, Россия...

«И мне стало страшно жаль Марью; она мирно спала, но мне было понятно, что Россия — это Марья, вот эта вот, спящая, покойная, до которой, к счастью, еще не добралась машина, ибо машина кинула бы ее на завод, машина съела бы ее несложную мораль и этику, съела бы ее румянец, заставила бы ее толкать вагонетки с углем к печам, дышать копотью, остротами мастера, —

потом мастер велел бы ей придти к нему на квартиру или в праздник за Оку в Щуровский лес; и там бы она пошла по рукам, как ходят все заводские девки; и в этих вшивых бараках, где живут кучами, где нет и не может быть радости, где собралось человеческое отребье, она почла бы за счастье, что ее взял мастер, потому что *это* и бутылка водки — было бы счастьем. Она, Марья, дремучая, покойная, страшноватая и прекрасная (все эти эпитеты я применил бы и к России) покойно спала, раскинувшись на спине, около меня. Было уже за полночь, когда с заводских дворов ночные рабочие увозят сор, привозят топливо, отвозят на главную линию изготовленные паровозы и машины, и за окном был шум, под окном все время бегал, посапывая и посвистывая, не давая отдыха даже в ночи, паровозик.

«И я говорил спящей Марье:

«— Россия? — но ведь весь мир жил тысячелетья покойно, без железных дорог, машин, заводов, и был счастлив не меньше, чем теперь... Россия, мужичья, хлебопашеская, канонная, тихая, в жаворонках и песнях, и поверьях, — ведь она жила так тысячелетье. Мужик пахал землю, не спешил, был перед богом и солнцем, — был под солнцем, шел по зеленой мураве с сохой, пел прекрасные свои песни, и в Москву ездили раз в году и неделями, и сказы слушали неделями, и любили прекрасно, и тогда было счастье, тогда была духовная жизнь, — и ветры, и землю и небо, и непогодь — знали, — и прибавилось ли счастья, что вот изобрели самовар, которого мужики и до сих пор не все имеют, и паровоз, от которого не зря шарахаются лошади, ибо он их убьет, а люди к которому подходят, как к чумовому, крестясь, и кабаре, где позорится прекраснейшее человеческое — любовь?.. Вот, пришел этот наш завод, и забываются старые песни, шинков стало сотни, дети у рабочих не родятся, они вымирают, в первом поколении у каждого рабочего по три любовницы, и каждая работница — проститутка, и вечером все перекрестки гудят похабными частушками...

«Марья проснулась задолго до гудка, поставила самовар, попила чаю и ушла. Я сказал ей, прощаясь:

«— Знаешь, Марья, ты самый дорогой мне человек. Не забывай меня!

«Она почему-то обиделась, ответила:

«— Все шутки шутите, и ночью бормотали насмех, что на заводе людей убивают!.. и еще, будто я просекушка, с мастером. Я все поняла. А на завод я, все равно, поступлю, в уборщицы... охота тоже — лошадей гонять!..

«Я стал ей растолковывать, что она ничего не поняла, что мне жаль ее, что она прекрасный мой образ; пусть останется она табунщицей; она и тут ничего не поняла, но подобрела, ухмыльнулась, сказала:

«— Ну, ладно-к, приду уж... схожу к монаху в монастырь, за травами, и приду.

«Гудок мне не был страшен. Я прошел прямо в машинное, на электростанцию, к динамо. Маховик все время приходил из-за решетки и все время уходил за нее, маховик посапывал, — ничего необыкновенного не было. Я был очень возбужден, ходил по машинному, приказывал, просмотрел вторую турбину, спускался в котельное отделение, наблюдал за новой немецкой установкой, — а потом... — —

«Меня встретил инженер Форст, сказал мне: — «На вас лица нет, что с вами?» — и вдруг мне понадобился — я не знаю почему — Козауров. Я прошел в машинное, Козаурова там не было. Я спросил, где он, мне сказали, что он не приходил, я послал конторского мальчика к нему на квартиру, спросить, почему он не был вчера у меня и когда зайдет? Мальчишка вернулся, недоумелый, сказал, что Козауров запил, не приходил домой ночевать. Я заволновался. Тогда второй монтер, таинственственно улыбаясь, спросил меня:

«— Он вам, Андрей Егорович, по какому делу?

«Я ответил:

— Он хотел вчера зайти ко мне, чтобы потолковать кое о каких вопросах.

«Монтер сказал:

«— Это вы хотите его семьсометрию узнать? — все равно не скажет. Всем интересно, как машину оживить. Я увижу его в обед, он в шинке засел, скажу. Не волнуйтесь, он человек твердый. Придет.

«— Скажите ему, чтобы он обязательно пришел ко мне. Я его жду.

«— Хорошо, товарищ, только бесполезно, — сказал монтер и улыбнулся очень хорошо.

«Я его не понял, но я вообще ничего не понимал. Опять пришел Форст и с ним Лебедуха. Форст заговорил:

«— Вот мы пришли к вам, Лебедуха советует вам пойти домой, выспаться, а потом съездить в Москву, побывать у врача. На вас лица нет. Вы переутомились. Что с вами? Нельзя так много работать. Приходите вечером ко мне. В Москву, в Москву, к доктору!

«Я помню, на меня напала злоба, неизвестно почему. Я крикнул:

«— Оставьте меня в покое! Я никого не трогаю! Я гоню пот, убиваю людей, чтоб их силой дополнить тепловую энергию и их жизнью нагонять вольты! Я — честный инженер. Оставьте меня, к черту нравоучения! — К черту вас, Лебедуха, с вашими революциями, если после революций останутся машины!.. Пришлите ко мне вашего отца!

«Тогда все пошло в туман, в этом тумане — последнее, что я помню — это то, что коллеги на меня не рассердились, Форст взял меня за руки...

«Я очнулся дома, был вечер, тишина, мрак. Я протянул руку к столику, чтобы взять папиросу, папирос на обычном месте не было. Я повернул выключатель, и — вместе со светом — вошел в комнату Козауров.

«Он сказал нетрезво:

«— Простите, я не мог вчера прийти, то есть был выпимши. Вы меня звали, Андрей Юрьевич. По какому делу?..»

(Смотри примечанья и главы — о машинах, о Марье, о пучине во хребте и о хребте во пучине, о волках и вольчей сыти —).

...Эти места имели все, чтобы не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной... — —

Что такое — машина? и кто такой — пролетарий?.. Конечно, машина — метафизика, и, конечно, машина больше Бога, строит мир. Но весь мир на крови: и что кровь машины? — и кто такой пролетарий? — В Египте, в Ассирии, Вавилоне — откуда пошли, дошли до наших дней, затерялись в веках, — звездочеты, астрологи, маги, монахи, волхвы, алхимики, масоны, запутав историю

человечества метафизикой — запутав столетья, запутавшиеся в столетьях, — они вели мир, — у Бога был двор, и у каждого двора были сотни божьих служителей, — конечно, не назовешь божий двор заводом и сотню причетников — рабочими, — но Бог, стоящий в святилище, уходил от реальностей в вещь в себе, в нереальность, в мистику. — Ну, вот, — весь мир на крови — и: что кровь машины? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором. Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. Ночью блестит завод сотнями электрических светов. Поле, цветы, небо, песни, пахарь — позади. Стоят корпуса, стоят цеха. Дым, копоть и визг железа. Но вот где-то, в турбинной, где динамо (на каждый десяток один — масленщик — гибнет, волей своей бросаясь в маховик, вращеньем своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек — инженер — поворачивает рычаг, и весь завод дрожит, дышит и живет: от маленького гвоздя в шкиве до дизельного карбюратора — одно, одна машина, одна воля. Конечно — метафизика, конечно — мистика, — где поп — инженер, а рабочие — служки у Бога. И тот, кто поймет оторванность от цветов и полей, и пахаря, кто почует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и победит это сиротство, и поборет волю в смерть под маховиком, кто — растворив, претворит это в себе, — тот:— пролетарий! Этот, принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоти, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках, поймет, — что он их брат, ибо у машины, как у Бога, нет крови. Этот — своей алхимией — сместил алхимика и так же затеряется в веках, как дьяконы Астарты, которые в святом святых подкрашивали Бога, — затеряется своей метафизикой. Их немного, этих причетников машины, они — коммунисты, они пролетарии. И еще: те у Бога должны были томиться в лености и леностью искать забвенья в звездах — эти у машины должны трудиться, им не до звезд, — миры звезд они победят машиной — —

— ... Послушай!.. Октябрь пришел восстаньем, бунтом, буем — ...Веками шла Россия в перелесках, болотами, проселками, — страшная страна, в разбое, в леших,

в ведьмах. Россия заложилась — бегством: сначала побежали мы от киевщины, от уделов, — потом бегали от православья, от царей, от бар, — всегда бежали от строительства и государственности. Цари сели на Оку и помосковье собрали, собирали Русь — дыбами, надолбами, монастырями, заставами, нагайками. Припомни, или ты не знаешь, — Московская Россия — вся была — как притвор церковный, как церковь, от женского кокошника, как купол — до культуры из-за Иконоспасского монастыря... И все же — бежала Русь на Дон, на Волгу, на Украину, за Урал... И всегда гуляли по России Разины и Пугачевы... В семнадцатом году гуляли по Руси они же, и теперь еще гуляют, еще гуляет Стенька Разин. Это он — враг городам, это он грабит заводы, — это он запел старинные песни, встряхнул старинными поверьями, зажег лучину, повалил поезда под откосы, побежал с фронтов, засорил вошью и тифом, — он, мужик, — большевик!.. Нацинальная русская душа — страшная над Россией метель!.. все разбросает, если... Послушай, — какая тишина!.. Ты спишь? — прислушайся!.. Слышишь? слы-шишь в вихревую эту метель, в корявую, кровяную, полыхающую заревами удалую, разбойничью, безгосударственную, — вмешалась, вплелась черная чья-то рука, жесткая, стальная, как машина, государственная, — пять судорожно сжатых пальцев, черных, в копоти, сжимающих все до судороги, — она взяла под микитки и Россию, и русскую метелицу, и мужика, — сжала до хрипоты, — это она захотела строить, — строить, — слышишь, — строить!.. Никто не понимает, — это мы, пролетарии, — это мы — машинная Россия, это — заводы, заводская Россия надевает на свой хребет пугачевщину, болота, лучину, поповщину... Всю Россию мы построим заводам, — это мы будем делать правду, справедливость, хлеб и воду — трудом — на заводах... — —

(— ... никто не понял в России тогда романтики пролетария. Вся городская великороссийская Россия тогда жила — — это они, пролетарии, нормализовали, механизовали, равняли, учитывали, — это они внесли в каждый дом быт завода с нормой труда, с нормой хлеба, с нормой света, с нормой прав

и бесправий, как машина. Это рука — рука рабочего, пролетария. Это пролетарий над Россией из метелей — в метелях — — в буе, бунтах, голоде, войнах — строил машину, всесильную машину, рычаг которой был в Московском Кремле, где сидел Ленин, — это Кремль построил Россию, как карту, как план машины, — в карточках, картах, плакатах, словах, мандатах, во всяческих заград-отрядах, в карточках на табак, чтобы курили и некурящие, желтых, как человечьи лица, хоть вся Россия правилась метелью и кровью... Огромная воля!..» — (*выпись* из «Книги Живота моего» статистика Ивана Александровича Непомнящего).

Ночь, ночные колотушки — —

было — —

учин во хребте, и пучин во учине, и учин во пучине, — по лесам, по дорогам стеньки-разина-разбойничьи посвисты, свисты, насечки, заметы, приметы, разгул и удаль по лесам и разбою, — «городам теперь крышка! бей коммунистов, мы за Машку, бей революцию — мы за революху — ух!» — —

было — — хребтами заводов —

— Россия, влево!

— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Ррросссия! — —

... эти места имели все, чтоб не быть той поэзией, которую столетьями считали подлинной... — —

...Если там, за ребрами, где, надо полагать, по его понятиям, находилась его душа, порыться у кукушки Козаурова, и еще порыться под лысым его черепом, — есть ли там у сердца гордый холодок, а в мозгу твердое сознание — того, что вот он, вот ему дана тайна, тайна немногих (потому что только на русских заводах могут существовать кукушки) — тайна рождать машину-дизель?.. Дом, где жил Андрей Юрьевич Росчиславский — похожий на шведский коттедж Дом Холостых — стоял на инженерском поселке, там, где туго сплелись железнодорожные рельсы и тощие росли тополя, — поселок был рядом с заводским забором. Был

вечер великопостных российских распутиц, когда ветер есть снег, когда чавкает снег под ногами на проселках, и в долгие сумерки кричат на проселках вороны. — И в дом к Росчиславскому сразу вошли двое (там была уже Марья, и позднее пришел Форст), — двое — один через кухню, другой парадным — отец Кузьма Иванов Козауров и сын Андрей Лебедуха. Отец был нетрезв.

Сын спросил отца:

— Ты зачем здесь?

Отец сыну ответил вопросом:

— А ты зачем притащился сюда? — тебе меня не учить, значит!.. —

И так и потом все время отец и сын пререкались. Старик первый вошел к Росчиславскому, нетрезво сказал:

— Простите, я не мог вчера прийти, то есть был выпимши. Вы меня звали, Андрей Егорович? По какому делу? — Я ваше дело знаю, Андрей Егорович, вот что. Я вам посоветовал бы — вот, что, как учеников я учу, открою секрет... Вы собашником не были?

Вошел Лебедуха, поздоровался. — Росчиславский, без подштанников, сидел на кровати, вдвинулся в угол за подушки, колени его — около подбородка — были худы и волосаты, и ноги он все время подбирал под себя, таща одеяло. На столике и на полу у кровати были навалены книги. Электричество горело ярко. Росчиславский не заметил слов Козаурова, — он сказал входящему Лебедухе:

— Нет, подождите, Андрей Кузьмич! Вы — коммунист? — вы за машинизацию мира?

— Мы хотим...

— Нет, погодите! Когда в Лондоне было проведено электричество, завоевание цивилизации и машины, — тысяча лондонских фонарщиков, диккенсовских фонарщиков, осталась без труда, была выброшена умирать. У нас на заводе каждые сутки завода съедают десять лет человечьей жизни. Машины мстят. Мир дичает, все спешат, бегут, мчатся. Вы слышали о предстательной железе в человеческом организме? — она все время раздражена, человечество в дыму машин, в копоти, в моральной грязи, в недоученности, — живет как насекомое в банке с кислородом, удваивая, утраивая свою по-

спешность, точно в кинематографе, когда демонстратор спешит...

— Погоди, Андрей Егорович, — я хочу сказать, то есть... — начал было Козауров.

Заговорил Лебедуха, перебив отца:

— Совершенно верно, Андрей Юрьевич, — сказал он, — это капитализм. Совершенно верно, — лондонские рабочие, фонарщики пошли голодать. Но наша цель — как раз не дать им голодать, и как раз освободить фонарщиков от фонарей, — мы хотим осмыслить и освободить человеческий труд: это социализм. Прибавилось ли или убавилось объективных ценностей от того, что тысяча людей заменена машиной, электричеством? — прибавилось, ибо эта тысяча может создать новые ценности. Капитализм их выбросил за борт, — мы дадим им новый труд, по их призванию, — а, если им не подыщется труда, то мы накормим их за счет тех ценностей, кои создала машина, — и то, что они будут свободны — это и есть основная цель социализма... Мы идем к этому.

— До этого еще далеко, — сказал Росчиславский.

— Да, до этого еще очень далеко. Но мы боремся, первые в мире, и пока мы — как затравленные волки, но...

Росчиславский перебил, поднявшись на кровати, поспешно:

— Как затравленный волк, — говорите вы! А вы видели волка в клетке у Васильямса, — ведь этого никто не выдумает: волк у *Васильямса* — он бегает по клетке — *как машина!*.. А наш мужик? — а васильки? — а Марья? а наши болота? — а знахари? —

В это время в комнату вошел третий, инженер Форст. У притолоки стала Марья.

— Погодите, то есть! — крикнул сердито Козауров и застранил рукой сына и Форста. — Я хочу сказать... Вы собашником не были?.. нет?.. ну, вот, принесет сука помет, хороший собашник отберет щенков, что получше, а остальных — либо в реку с камнем, либо на веревку да удавит, — уж как, то есть, не муторно хорошему хозяину собаченков вешать, а вешает, — необходимо! Вот и говорю... У вас, Андрей Егорович, болезнь, называмая — *страх*. Страх, значит. Перед душою ма-

шины. Вот, как собачонку вешать страшно, язык высунет, — так и страх ваш, болезнь, надо из вас вытравить: иначе вы не жилец на заводе, — бегите от него, как от чумового. Я вот при начальстве скажу, — придет малец на завод и — зуб на зуб ему не попадает, страх, лешаи да черти ему чудятся, машинный черт, называемый *машинник*, его пугает. Как увижу такого, знаю, погибнет, если не научить, душа его машинную душу не приемлет, страх. — Я тогда его беру и прямо, на ночь, либо на праздник — либо к котлам, либо в кузню, либо к динамам — смотря по тому, какого черта боится — посажу и караулю. Если перебоится, почует, — *почует*, слышь! — тогда, значит, — будет мастеровой! А если нет — бери монатки, иди вон. Вас, Андрей Егорович, надо под пол, под маховик на ночь посадить. Вот, то есть. Душу машинную вы не приемлете! —

— Брось, отец, мистику разводить, — сказал Лебедуха.

— Нет, это не мистика, он дело говорит, — сказал Форст.

Росчиславский крикнул:

— А наша национальная душа? — а Марья?

И тогда — вдруг сразу — получилась ерунда.

— Я здесь, барин, — сказала с притолоки Марья. — Я с обеда вас дожидаюсь, как уговаривались... Кузьма, слышь, Козодой, не серди барина!.. ступай на куфню, оставь господ!.. Я к вам, товарищ-барин, как вас назвать, Лебедуха Козодой, что ли? — в конторе на заводе уборщиц нанимают, определите, пожалуйста.

Козауров сторожко огрызнулся:

— Ты что тут командуешь, знахарья кровь?!

Росчиславский закричал:

— Марья, Марьюшка, милая!.. Тебя они погубят! Ты одна осталась у меня, Россия, подойди сюда, сядь со мной, я обниму!.. Андрей Кузьмич, Форст, — не уходите. Я буду около вас плакать. Кузьма, вы несколько раз спасли мне жизнь — около маховика, — я не боюсь его больше. Но Марью он съест, — маховик!.. Это мистика машины, это смерть васильку, это смерть Марье, — это рождение новой жизни, не знаю какой, но такой, где не будет волков и лесов, а будут сады и зверинцы... — Росчиславский заплакал и стал спиною впихиваться в угол за подушку, — челюсть его дергалась, точно он сдерживал зевоту.

— Позвоните доктору, — сказал Лебедуха, — у него истерика, где здесь телефон? — —

...Был вечер, когда ветер есть снег и воздух бухнет теплом и сыростью, и чавкает снег под ногами, — ночи тогда очень темны. Форст и Лебедуха вышли вместе и вместе пошли во мраке, молча. Попрощались.

— *Что же, еще одна наша жертва,* — сказал Лебедуха.

— *Да, жертва, только не ваша, — а жертва нам, вашему отцу и мне,* — ответил Форст.

— *Ну, мы будем еще спорить.*

— Да, *мы поспорим. — Это жертва машины,* а не революции. Но нам — вместе.

Они пошли в разные стороны — —

Поздно ночью перед домом Росчиславского стоял совсем пьяный Козауров, он махал руками, грозил дому и говорил сам с собой:

— Азияты! меня учить!.. — Я сегодня у товарища был, в городе, выпили. Мы с ним вместе на заводе работали. — «Ты, — говорит, — азият, на заводском кладбище живешь, — сифилистик ты», — говорит. Я спрашиваю его: — почему я сифилистик? — «А помнишь, — говорит, — у твоего дяди, у токаря по металлу, нос гайкой оторвало?» — А-а, — я ему — отвечаю, — в таком случае помнишь у нас был директор — сифилистик, — так всем трубам на заводе пришлось 606 впрыскивать, чтобы не провалились от сифилиса. — «Врешь!?» — говорит, и глаза выпучил. — «Не вру», — отвечаю. Смотрит обалдело. — «Врешь, — говорит, — я на прошлой неделе был, видел, как рабочие сидят около труб, греются, — трубы стоят!» — Потому, говорю, и стоят, что им впрыснули 600 и 6!.. — Обалдел парень, глаза таращит, не понимает! — А я все понимаю, как учить... — —

. . . .

Ночь. Мороз. Зима. Звезды кинуты щедро, не жалко их. И свечой над соснами сбоку поднимается красный уголек месяца. На поляну пред сторожкой из подслеповатого окна Елепеня идет мирный свет. Тишина такая, что звенит в ушах. Месяц идет выше, бледнеет, тени деревьев, сосен в рукавицах снега идут синей парчей, снег под луной лежит бархатом в алмазах инея, —

какому нечеловеческому деспоту понадобилась такая красота? — —

В избе у Елепеня на полатях спят детишки, на кровати заснула жена, принесшая уже тринадцать человечьих душ на этот свет, из которых уцелело пять. В избе душно. Не спит в избе — за печкою, в закуте — один лишь поросенок, он выспался за сутки мрака.

На морозе, у дверей землянки, скорчившись, закутавшись с ногами в Елепенин тулуп, притих Андрюша, — он безразлично смотрит в небо, изредка зевает, как зевают на луну собаки, — он покоен, как всегда, — его лицо в завшивевшей бороденке — в лунном свете — ничего не выражает, как ему дано от Бога. Он мирно ждет, когда прикажут.

В землянке на окне горит свеча домашнего литья, окно в снегу, через него ничто не видно, и свеча горит — как в сказке. Но на печи — не сказочно — Марья с Елепенем, у Марьи губы, как у зверя. Елепень же — леший, косая сажень, с щетиною небритого ежа на скулах. У Елепеня — белые, насквозь невидящие и глядящие глаза. На печке, в блохах, душно — даже блохам.

Елепень говорит:

— Собаку вот мою убили, сволочи... — и молчит. — Баба ты, Машуха, ладная, — зато вас и держу... — и молчит. — Без собаки трудно... весь лес растащут...

Машуха дышит тяжело, как лошадь, вывезшая в гору воз, — и губы у Машухи теплы и мягки, как у лошади. Древний хмель, что изъел червями каменных пооцких из раскопок баб, покорно бродит по землянке, — поэту можно вспомнить о зареве заводов за Москвой-рекой.

Елепень молчит.

— Собаку вот убили, дознаюсь кто — убью, не пожалею... — и молчит. — Машуха, ты... баню, коли хочешь, здесь устрой, чтобы ходить с монахом... я — ничего — велю... — и молчит... — А этот, значит, с ума спятил? — во! и, значит, от тебя?..

. . . .

...Путь из 23 октября в 28-е стал отвесом более отвесным, чем Памир. Там наверху — октябрем даже в июле, июнем всюду — ибо не было ночей — падать, ползти, умирать, — там странный, безнебный, безночный июнь, и в этом июне — декабрьские — железных печурок и дыма — морозы — —

шел девятьсот девятнадцатый год, шел июль, — за заводом легли пооцкие поля, Расчислав, на лугах пасли табуны Маши-табунщицы, — шла и лежала Россия изб, смотрела трахомой избяных оконцев, скалилась подворотнями, усмехалась скрипом дверей...

было — —

опять расходился на ночь завком, чтобы выспаться наспех, — пальмы в кабинете заводоуправления отдыхали от махорки, совсем степенные по-европейски, и на столе лежали не умершие еще листки бумаги, окурки, ручки, пепел. Ночь. — Это в ночь, в проселки, в туманы, в веси — бросал и бросал завод — волю, людей, свои мысли, свой навык — сотня туда, сюда десяток...

было:

там, в ночи, за сотни верст от завода, в степной деревне, где нету полустанка, сгорел, стерт с землей полустанок, — костры в ночах и тысячи, и — песни, и окна у деревни горят пожаром, — и задолго до рассвета к выгону пошли отряды, раздетые, разутые, без картузов, с винтовкой и котомкой, — они шли меж костров, и красный отсвет красного огня их провожал во мрак, они шли бодро, ружья на плечо, широким шагом, — бей белогвардейцев. — И наутро, когда «румяной зарею покрылся восток», загрохотали пушки, точно это грохотало солнце, — тысячи пошли — иль умереть, иль победить. И в новых становищах новые горели красные костры.

было:

где-то на Оке иль Волге, где паром как триста лет назад, полдюжины телег, пепел от костра, мужичьи бороды и шепот: «значит, крышка, — хлеб не давать, — зато из городов за фунт достанешь шубу, — таперя, значит, крышка» — —

было:

были по лесам и по дорогам стеньки-разина-разбойничьи свистки, посвисты, насечки, заметки, приметы, разгул и удаль по лесам и по разбою, — «бей коммунистов, — мы за большаков, бей революцию, — мы — за революху, ух!..»

было — —

НЕСУЩЕСТВОВАВШИЙ РАЗГОВОР

(Лебедуха:

— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять.

Статистик Иван Александрович Непомнящий:

— Нет, зачем же, Андрей Кузьмич, я никому не мешаю. Я для истории. Я за Россию...

Вопрос:

— Почему не развалился завод? —

Ответ:

— Потому, что он стальной! —)

было — —

завод хрипел гудком, рвал свое нутро, задыхался дымом, дымился. Шли на завод рабочие — оборванцы всея революционной Руси, в опорках, босые, злые, голодные, без шапок; скрипели цеха, скрипели краны, гудели паровички, орали плакаты — «бей разруху, бей Деникина, бей темноту народную!» — —

было — —

ночь, потушены лампы, гулки коридоры, у дверей красноармейцы, — только в кабинете у директора, где заводоуправление, зеленая конторская лампенка и искусственные пальмы в сизом от махорки дыме, — и за окном заводские огни, — окно полуоткрыто — ночь, ночные колотушки. Люстру — потушили.

— Иван, родной, ты лег бы спать, — ты не ложился уж неделю.

— Я лягу здесь, Андрей... Мне надо написать. Я попишу, а ты ложись.

— Дай папироску.

Тишина, ночные колотушки.

Лебедуха:

— Позвони Смирнову, пусть придет, он сидит в завкоме.

— Скоро уж рассвет.

Смирнов, — расставив ноги, голову на руки, — каждый глаз по пуду, и голова — в тысячу пудов, — как снести? —

— Я составил списки. Десять человек на фронт. Андреев с эшелонами по продразверстке. Тебе придется взять еще и профработу... Сидел и за столом заснул... Завтра утром до работы — митинг, ты выступай, — эх, Деникин, сволочь, жмет... Помнишь, у Лер-

монтова, — Казбек с Шатом спорили — «от Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и свер» — —

Лебедуха:

— На завод надо нажать, — патроны, пушки, рабочие дружины... Иван, родной, ты лег бы... Иван пойдет на фронт... Мы тут всю ночь вопросы обсуждали...

Тишина, ночные колотушки. А потом — лиловой лентой за Москвой-рекой — рассвет. Один свалился на диване, другой заснул на стуле, — третий — у окна, в карманы руки, окно раскрыто, роса села, за окном рассвет — —

Смирнов:

— Ты бы ложился, Андрей. Тебе завтра ехать по селам — —

— ...и завтра, и послезавтра, — доколе? — говорить, делать, не спать, побеждать, делать, делать, делать... строить, — по России проложить машину, на заводе строить хлеб, солнце заменить турбиной, по полям посеять города-сады, сделать жизнь прекрасной — —

Смирнов:

— Ты как хочешь, а я рабочим выдам завтра добавочные фунт селедки...

Ночь, ночные колотушки. Смирнов сидит, расставив ноги, и голову на руки, и глаза по пуду, — как голову снести с такою тяжестью? — как не упасть и не заснуть вот тут, где подкосились ноги. —

Лебедуха:

— *Помнишь, как-то мы прокоротали ночь втроем, с нами был Иван... Ивана разорвали мужики на продразверстке. Ивана уже нет, хороший был товарищ...*

Смирнов:

— Что же, тебе страшно? — многие еще погибнут...

— Нет, мне не страшно. Многие еще придут на его место. Казбек с Шатом спорит, ничего не поделаешь...

Ночь, ночные колотушки. И потом рассвет. Какая тишина!.. —

И было собрание рабочих, до цехов, до машин, росным рассветом, под небом на заводском дворе, тысячью глоток —

— и на собрании,
как везде, были:
было

и

получилось — —

Было:

между электростанцией, сталелитейным и заводскими воротами, на площади, где скрестились линии ширококолейной и декавыльки, где нависнул тысячетонный кран, где горами свалена болванка и железный лом, где дым, где гул завода — собрались рабочие, десяток тысяч, на собранье, стали паровозы, замер кран, рабочие сидели — на болванке, на мостике у крана, на шпалах, на паровозном тендере; кругом дымили дымы; — рабочие бриты, чтобы не въедалась сажа в бороды, у иных волосы вскобку, под польку иные, иные на английский пробор, — и все же крепко въелась сажа, хмуры лица, злые лица; у тех кто впереди и кто стоит — тех лица энергичны.

Было: —

— — что должно было быть — —

Лебедуха:

— Товарищи! Мы строим первую в мире рабочую власть, — мы, рабочие, строим свой мир. Мы должны победить. Я ничего не хочу знать — мы должны победить — —

было, что должно было быть.

Было:

— Товарищ Лебедуха! Вот император Александр II, освободитель, отставил крестьянство от крепостного права, а коммунисты его опять вводят для рабочих, — мобилизуют на заводы, гонят работать, а сами кормят воблой. Зачем для рабочих опять вводится крепостное право? —

Было:

— Товарищи рабочие! Вот мы все теперь кормимся по пайкам, — а я говорю — враки! Потому пайки выдают такие, что от них, если только их есть, умрешь ровно через три с половиной недели, я высчитал, — а народ не умирает, — значит все жулики, и коммунисты тоже, раз не помирают, значит кроме пайков кормятся, — и нечего спрашивать с нас, что мы ремни на подметки воруем, — все воры!

Было:

— Граждане рабочие! Вспомните октябрь семнадцатого года. Что нужно было немцам, чтобы победить нас? — отнять у нас хлеб, разрушить наши заводы, развалить нашу армию! — Кто это сделал? — большевики! — Они отняли у нас хлеб, заградив рабочего от крестьянина. Они разграбили заводы, растащив машинки

на писание мандатов! Они заставили нас драться с нашими братьями!.. — —

Было: — многое.

И —

получилось:

— Десяток, — в профсоюзы! —

— Сотня, — за хлебом!

— Дружина, — на фронт!

— К сссттанкам, — ты-ся-чи! — —

— Россия, влево!

— Россия, марш!

— Россия, рысью!

— Кааарррьером, Ррросссия! — —

— Есть нечего — жить весело!!

Это вот здесь, на заводском дворе, в очередях, кепкой о земь:

— Запиши, товарищ, меня на фронт.

— Я к тебе, Семенов, в дружину...

— Давай винтовку, — плачь, бабы!

— Крой Колчака, — даешь Деникина!

— Я от товарищей не отстатчик.

— Нам не бывать-стать пропадать!

Это завод заскрежетал, двинулся, пошел работать, пошел кран таскать тонны, это пошли рабочие черными руками по цехам, к станкам — к труду, к будням, к мартенам, —

— у мартенов совершенно ясно, как солнце зажато в печах!..

...Ночь. Ночные колотушки. — А потом рассвет. Там, за окном — завод. Там, за заводом — Памиры. Там холодно в июне, там нет ночей, — там декабри вперли в июни, июнями — в декабри... —

— Московский Кремль сед, во мхах. На Спасских воротах бьют часы:

— Кто-там-зас-пал-на-Спас-баш-не-э?!.

чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое, в лето, как каменные бабы из пооцких раскопок, — не надо звонить в комендатуру, не надо идти Кутафьей башней, Троицким мостом, Троицкими воротами, — надо уйти в русские сказки, так же прекрасные, как московский Кремль, как русский июнь, как мхи июньских сумерек...

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

— Вопрос:
— Почему не развалился завод?
Ответ:
— Потому, что он стальной. —

(Эпиграф)

...есть!..

На заводе шло чугунное литье. Чугуннолитейная работала в три смены, двадцать четыре часа, — чугуннолитейная безмолвствовала два года, теперь ее пустили. Чугуннолитейный цех не спал, рабочие не досыпали, инженеры не уходили с завода круглые сутки. Черное здание, многажды прокопченное, с побитыми стеклами в крыше, — чугуннолитейный цех, — гудело жаром, на дверях повиснул дым. — Люди ходили с воспаленными от жара глазами, тем шагом, которым, если идти по прямой линии, пройдешь четырнадцать верст в час; люди молчали, рабочие в блузах с засученными рукавами, в синих очках, в кепках на затылок. Лили все чугунное, что нужно заводу на месяцы, — что нужно заводу, обточив, собрав, свинтив, кинуть в русские дали и веси...

Вагранка лила третий день. Была ночь, те часы, когда все спят, когда спутываются расстояния и понятия, и когда люди — или ничего не понимают, или чокаются душой о душу... Здание, как сарай, с кранами под крышей, скрипящее лебедками кранов, было темно, — когда открывали вагранку, когда лился жидкий чугун, тогда надо было надевать очки, чтобы видеть, чтобы не ослепнуть. Люди молчали, — им было не до разговоров. Чугун лился в чаны, — и когда эти чаны ползли над землей, красные отсветы падали на потолок, освещали каждую паутинку, темнили электричество, над ними, из мрака, возникали — не люди, — человечьи подбородки, челюсти, лбы, руки, кепки, — все красное, сосредоточенное, молчащее; — и звезды над крышей, в разбитых стеклах — сразу меркли, когда туда попадали отсветы от чанов с чугуном. Потом чугун лили в формы, — и тогда он плескался тысячью искор, и тогда люди казались не людьми, а чертями в преисподней. Во мраке черные тени людей, безмолвно и поспешно, с лопатами, рылись в формовочной земле, ровняли, отрывали, рыли.

В литейном было трудно дышать, — там в вагранке было зажато жидкое солнце, на которое, как на солнце, надо смотреть сквозь очки и которое жжет солнцем. Люди не досыпали, люди уставали, — шло чугунное литье.

Шло литье.

Инженер Форст и Лебедуха перед полночью вышли из цеха, — покурить, отдохнуть, размять мышцы. Сразу за дверями обвеяла отдохновенно прохлада, над головой стали звезды, направо из электрического света в небо, во мрак, уходили трубы. На шпалах лежали рабочие, курили, отдыхали. Слышно было, как огромная труба тянет из вагранки раскаленный воздух. Пошли по тропинке между цехов, ноги шли привычно по привычной плоскости, между рельсов, стрелок, куч материалов. Молчали. Впереди, за площадкой, стала электростанция. Пошли к ней, подошли к окну.

За стеклом, в абсолютном свете бесшумно работали турбина и паро-динамо, людей не было видно. Всмотрелись, — увидели: прислонившись к решетке, под турбиной, склонив голову на грудь, спал Козауров, с тряпкой в руке. Вошел смазчик с чайником и с куском хлеба, прошел к лестнице в котельное и спустился по ней вниз.

— Смотрите, — сказал Форст Лебедухе. — *Ночь. До смены еще далеко. — Машина — это консолидированный человеческий гений. Монтер спит, смазчик ушел пить чай к угольщицам... Машина работает одна, без человека... Присмотритесь, — как она работает!.. Она работает одна, без человека!..* Замечательно!.. Ваш отец должен сейчас молиться, а он спит...

...Машина работала одна, без человека.

Форст спрятал трубку и смотрел на машину, как, должно быть, смотрят в бурю капитаны кораблей, не мигая; Лебедуха бросил папиросу. Смотрели молча. — И увидели: — в дверь из конторки, в халате, с руками вперед, с волосами, сбитыми постелью, — вошел Андрей Росчиславский. Глаза его смотрели невидяще. Он сходил со ступенек на кафель пола, точно шел в воду и пробовал каждый раз, не холодна ли она? — И тогда он быстро пошел к паро-динамо, опустив руки — —

— Скорее! Спасайте! — крикнул никогда не кричавший Форот и побежал.

— — когда Форст и Лебедуха вбежали в станцию, — человека-Росчиславского уже не было, — а был — кусок красного мяса с порвавшейся кожей и вылезшими костями, и этот кусок таскался за посапывающим маховиком... — —

...И тою же ночью чугунного литья над землей и заводом прошла небывалая гроза. Ветер рвал заборы и крыши, и людей. Громы гремели так, что не слышно было шума машин, и человеческий голос тонул шепотом. Молнии рвались — здесь вот, над головами, — шарами, стрелами, ромбами, и свет их не уходил с земли, туша свет электричества, — в зеленом этом свете было светлее, страшнее, чем днем. Тучи цепляли за цеха, за трубы, и каждый взрыв молнии — десятка молний сразу — сразу рвался громами, десятками, сотнями валящихся сразу памиров. Громы гремели зловеще и торжественно, торжествуя, — молнии рвались и бились тысячью вместе взятых электростанций, — и ветер рвал и разметывал заборы и крыши. — На скотном заводском дворе — от пожара, обезумев, погибая в безумии — бык и за ним десяток коров — свалили ворота, — бык вышиб ворота в завод: и меж цехов, у чугунно-литейного цеха мчал обезумевший бык, рогами сметающий все, и за быком мчали коровы, — и бык, и коровы, должно быть, ревели, но рева их не было слышно. Громы бросались памирами, — молнии рвались тысячью электростанций, — людям надо было головы прятать — и прятались люди — в подушки, в перины, под кровати. — Марья-табунщица в поле, должно быть, легла на землю вниз головой и прижалась к земле. Можно было подумать, что древние перуны мстят за смерть Ростиславича. — Потом пошел дождь. —

В чугуннолитейном шло литье. Форст и Лебедуха были там. Они вышли посмотреть грозу.

Форст наклонился к уху Лебедухи, сказал шепотом (потому что только шепот и был слышен в этих ревах):

— Какая несовершенная машина — природа. Сколько триллионов киловатт выбрасывает она попустому. Если б эту энергию собрать, то одной этой ночью можно было бы осветить всю Россию на год...

Из громов пошел дождь, сразу стихли громы, и можно было заговорить просто, и простой голос Форста добавил:

— И эту энергию, эту машину соберем и сорганизуем мы, инженеры!.. —

— как рассказать всегдашний, единственный сон? — сон, где снится, что солнце выплавлено в домне — недаром около домен пахнет серою, как в первый день творения, — что хлеб строят заводами...

— — Там кричат дикие утки. Там пахнет тиной, торфом, землей. Там живет тринадцать сестер-лихорадок. Там нет ни троп, ни дорог, там ничто не выверено, — там бродят волки, охотники и беспутники, — там можно завязнуть в трясине!..

РАЗДЕЛ КНИГИ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, КАК РЕАЛЬНОСТЬ, ПУЧИН ВО УЧИНЕ

. . . .
. . . .
. . . .

...если вот здесь, из многоточий, над этой книгой и над этим повествованием, над Россией, над декабрьскими июлями русскими — с памирных высот и из мира — выплыть большому человеку, человеку с большой буквы — поплыть большим фантастическим кораблем в коломенские земли — — человеку надо думать над всей Россией, над буднями, над мелочами — — то этому человеку будет видно — — этот человек

увидит — —

— если оттуда — с пространств и просторов — смотреть: ничего не видно. — Ночь. Ничего не видно. Пусты, пустынны, черны пространства. Пароход гудит, точно намерен вздернуть свое нутро. На носу в темноте кричат:

— Отдай носовую — у!

Капитан командует с мостика, задушенно:

— Средний!

— Еесть! —

Шипит вода, пристань отворачивается — пароход идет в черный простор, в плеск воды, в холод. Слева стоит белесое зарево, и зарево красное вправо. Просторы пустынны, пусты. Палубу, снасти, решетку перебирает ветер, шарит, ворует, свистит. Зарево стало сзади, поредело, поблекло, — исчезло зарево справа. Впереди — тишина. Человеку стоять на носу, смотрит в черную даль, — ничего не видно — мрак. Впереди Русь и

Россия подлинные, на сотни верст вымороченные села, волости и уезды, уставшие, изгоревшие в людоедствах, в бурьянах, в мертвых дорогах. Холодно. Справа красно вспыхнул огонек на бакене и исчезнул. Ветер шарит, ворует. Тогда приходит командир парохода, во фрунт отчеканивает рапорт.

— Прикажете делать остановки, — укажите — где?

— Нет, товарищ, пойдем без остановок, так. —

— Теперь частые туманы. В тумане идти нельзя. Прикажете на якорь стать, не подходя к берегам?

— Пожалуйста — вставайте.

— Есть! —

И слышен крик командира, — в безмолвии, в пустыне:

— Готовь якорь!

— Есть! —

Туман, безмолвие, пустыня, лишь плещется вода о борт.

И во мраке, в потном тепле, в тишине — слышен разговор, медленный, тягучий — —

Женский голос: — Ты это, што ли? Што же это — один посадил, а все лезут в черед... Не щипи!..

Басок: — Тише, ты, баба!.. Мы теперь своего богатства не понимаем. Турцию, браток, можно завоевать мирным порядком, — взять и перелить Черное море в наше, в Балтийское, вот и все... Эта, браток, тема государственного масштаба.

Молчание.

Тенорок: — А как перелить-то?

Басок: — А для этого, браток, надо прорыть канал, либо Двину с Днепром в одно срыть, — и валяй, качай на нашей территории, мирным порядком, помалкивай. Так же можно и Каспий выкачать, и никто ни слова протесту, потому что — дома...

Тенорок: — Двину с Днепром нелья слить, потому что текут они в разные стороны.

Басок: — А я говорю — водокачки!

Тенорок: — Опять же в Московской губернии раньше море было, — начнешь качать и зальешь чего не надо. Ты это, товарищ, контрреволюцию разводишь...

Молчание.

Басок: — Богатства мы своего не понимаем... Вот опять же у итальянцев снегу не бывает. Англичане и предложили нам концессию о ввозе снега...

Новый голос: — Ты эти концессии брось ко псу под хвост, — спать мешаешь!

Басок, миролюбиво: — Мы говорим про наши дела в государственном масштабе, а ты — спаать!.. Раз в году и приходится научно поговорить, — а ты — спааать!..

— А я говорю — спитя, не мешайте другим!..

Во мраке завозились, уронили чайник. Женский голос, сердито:

— Тише, ты, черт, по дойлам-то ходишь!..

Ночь. Ничего не видно. Пусты, пустынны, черны просторы, плещет вода, туман. Не виден в просторах город, и только на заводе одинокий горит во мраке свет, яркий, точно вырезанный из мрака. — Шипит вода, пароход идет черным простором, в плеске воды, в речном холоде. И туман — серый, осенний, липкий. Огней на бакенах не видно. — Человек стоит на палубе, на носу холодно. — Тогда приходит командир парохода и говорит:

— Здесь прикажете приставать?

— Да, здесь мы пристанем, — отвечал Архипов.

— Есть, — и капитан уходит.

Ночь. Шипит вода. Тишина. — И тогда гудит пароход, точно намерен вывернуть свое нутро.

— Средний!!! — кричит капитан с рубки, и гремят, скрипят рулевые цепи.

Человеку думать о России, о революции, о мраке, о водоразделах русских, — так, как думают наедине. — Ночь. Шипит вода. Тишина. Туман. Прогудел пароход, и с берега откликнулось общипанное эхо. — Туман, тишина. И серый в тумане пристает к конторке пароход, — серый в тумане стоит человек.

— Чаль носовую-у! — —

— — на рассвете прознали о приезде Комиссара. Сначала на пристани толкались два крестьянских ходока, приехавших в эту ночь из-за реки, тыкали приговор, объясняли всем, что село их рыболовное, занимается рыбой и садами, — а с них берут продналог зерном, с

лугов. Пришел вор Пронька. Кучкой, веером расселись торговки с кошельками. Потом приехали на тарантасах — секретарь укомпарта, предисполком, завсовнархоз. Торговок прогнали. Пронька ушел сам подобру-поздорову, ходоков направляли в холодную. Сначала было выстроились у сходней, — но рассвет надвигался медленно, — промерзли, пошли в конторку к кассиру пить чай. День приходил пасмурный — —

— — утром члены исполкома пьют чай на пароходе. И почему-то разговор пришел — к чайным. В Щурове есть советская чайная и чайная Дедушкина.

— Надо сознаться, к Дедушкину больше ходит народу, — говорит управдел исполкома.

— Все от постановки вопроса, — отвечает заведующий наробразом.

— От нашей халатности, — возражает управдел, — наша чайная вот под твоим началом ходит, а сам ты к Дедушкину ходишь.

Завнаробраз фраппирован, потом говорит, сдвигая строго брови:

— А может, у меня есть какие особые задания в чайной Дедушкина в смысле наблюдения, то есть?.. — говорит он.

Пьют чай. Военный комиссар — матрос — вспоминает, как дрались под Царицыном, последний раз.

— Я тогда телеграмму еще послал на Сормово, — говорит матрос. — У нас была канонерка «Бойкий», ей в бою оторвало нос, и такая же канонерка «Ястреб» ремонтировалась на Сормове, — я и послал: «отклепать немедленно нос у Ястреба и приделать к Бойкому» — —

— — рассвет серый, неспешный, страшный — корабль в вечность и человек пришли в осени тысяча девятьсот двадцать первого года, когда по Руси и Рассее заговорили, что революция в России кончена — —

— — (где-то пленарный был волостной съезд советов — — Съезд собрался в школе в Росчиславовых горах. В школе шипел гул толпы и первыми запахами были запахи махорки и овчины. От махорки и овчины в школе казалось темно. Потом разобрались козьи бороды, лошадиные хвосты, кроличьи курдючки — мужичьих бород, — треухи, папахи, шлыки, пиджаки, гимнастерки, полушубки — людей, мужиков, сидя-

щих на полу и скамьях, стоящих в дверях и на окнах, сваленных, смятых грудой Руси. На сцене сидел президиум — члены волисполкома. Член президиума говорил очень громко, и неуверенно, и бестолково.

— У нас теперь, товарищи, новая экономическая политика, — политика у нас теперь: — слышь! — экономическая! И правда, товарищи, на что нам мельницы и парикмахерские, а также квасные заводы? — Пусть их обрабатывает предприниматель, — пущай разживается! Государство, товарищи, оставляет себе мощные заводы, а остальное отдает в аренду. Теперь будет аренда, а также хозяйственный расчет, товарищи, — то есть...

но тут докладчика перебили с места. Давно уже те большевики, что делали Октябрь девятьсот семнадцатого года, разложились на большевиков и коммунистов, и большевики отошли от революции. Зал, съезд слушал докладчика напряженно и злобно, — и вскочил с места прежний, семнадцатого года, большевик, сдернул треух с головы, помотал им, оглядел собрание победно, мотнул козьей бородкой и заорал:

— И что же мы видим, гражданины?! — И выходит, гражданины, что приходится делать третью революцию! — И выходит, что опять хозяйский расчет, то есть — гони монету хозяину! И политика теперь — економическая, — сталоть, за все — деньги, вроде как барскии економии, и — вы слышали, гражданины, что сказывают из президиума?! — опять помещики будут сдавать землю в аренду! — —

Из президиума — докладчик — перекричал:

— Помещиков — нету, про помещиков в газетах не писано, товарищи! Государство будет сдавать в аренду, а не — помещики!

...вот и говорю, — ответил треух, — и вот и говорю, гражданины, и надо третью революцию, и за помещиков стали коммунисты, — товарищи! И мы предлагаем резолюцию — —

Тогда заревел зал, задвигался, пополз, насел к рампе, поползли хвосты, козьи бороды, курдюки, лисьи, козьи, рыбьи глаза, треснула перегородка к музыкантам, слова полетели, как галки на пожаре:

— Будя! — долой!

— Помещиков не желаем!

— Долой хозяйский расчет!

— Долой барскии економии! —

Из президиума председатель, треща звонком, орал:

— Товарищи, рабочие и крестьяне! Военный коммунизм кончился! Народная власть не может на штыках!.. Товарищи, рабочие и крестьяне! Вся власть ваша! Черти! давайте по порядку!

Кто-то провизжал:

— Штыкиии!? Стрелять будитии?! — Пали!! Стреляй! — —

Вновь затрещали парты, полезли в воздух шапки, кулаки и матершина — —

...и еще где-то здесь в кинематографе сидел красноармеец, смотрел, как любит графиня, и щелкал семечками. Шелуха от семечек — с красноармейских губ — падала кругом на пол. Тогда к красноармейцу подошел капельдинер, скучливо сказал:

— Подсолнухами сорить запрещается. Подберите шелуху, а то острахую. Запрещено! —

Красноармеец вкось, одним глазом посмотрел на капельдинера, кинул в воздух семечку, поймал ее ртом — и сейчас же стрельнул обратно шелухой, едва мимо капельдинера, как в пустоту. — Капельдинер молча пошел к двери и — не спеша вернулся с милиционером, — милиционер шел решительно. — Красноармеец вкось, одним глазом посмотрел на милиционера — и сейчас же, нагнувшись, поспешно стал собирать в свой шлем шелуху с пола. — Красноармеец тоскливо сказал, как говорят подчиняющиеся насилию:

— Эх, пропала к чертовой матери вся революция!..) — —

...Идет и проходит май...

...Идет и проходит июнь... —

...Идет и проходит сентябрь...

...Идет и проходит октябрь! — —

ГОРОДА, О ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ, СТРАНЫ ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ

Эпиграфом — к главам Ивана Александровича Непомнящего. — РСФСР КОМЪЯЧЕЙКА РКП при Коммуне в с. Расчислово «КРЕСТЬЯНИН».

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Товарищи в Уезкоме. Мы как коммунисты, женившиеся в дореволюционный период на представительницах... и пр.

З а р а й с к - г о р о д..

На базарной площади — не гоголевская, а всероссийская — лужа. На углу лужи «Трактир Европа», посреди

лужи — городские весы, на другом углу лужи — сапог и крендель. Когда лужа подсыхает, тогда — пылища. В переулках травка и герань, а скамейки у ворот изрезаны похабными словами. В монастыре — караульная рота чон. Мухи в городе — по погоде, как лужа. За оврагом овраг, там холм, за холмом — холм: холм всегда тосклив своим простором, ибо этот простор не вберешь в душу. За городом — большак, села и деревни, ночи и дни. Железная дорога — сорок верст, а сюда, так сказать, ветка.

В городе три камня: первый — на Соборной, обозначающий братскую могилу Октябрьского Восстания; второй — против каланчи, с изречениями из Луначарского, указывающий, что здесь заложен Дом Народа; и третий камень — за городом, на коровьем выгоне, в том месте, где, по приказу исполкома, намечается станция железной дороги, той, что сразу соединит с Питером, Москвой и Нижним. Был этот город и есть — захолустье. Жил город по принципу — в з а и м н о: комиссар Пашка Латрыгин, заведующий здравотделом, обязывал больницы не делать абортов без его мандата, а мандат выдавал за три пуда муки в пользу отдела; совработница муку для абортов брала за бумаги вне очереди; врач послаблял себя в смысле спирта; за спирт сапожник шил ему сапоги; сапожник за спирт доставал себе яловок; — жили по принципу в з а и м н о. Так же процветала в з а и м о - к р а ж а, например, с электрическими проводами и с огурцами с огородов.

И надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная — —

В доме Старковых просыпались все по-разному. Дом был национализован, хоть и грош была ему цена. Дом давно треснул по всем косякам, но стоял, печки в доме разобраны были на мазанки-печурки вместо железок. Вместо обоев в доме была копоть. Окна заткнулись чем попало. Все же пропах дом клопами, — стало быть, не последняя нищета. В нижнем этаже дома были: кладовые слева, — справа жил слесарь Крынкин, старик, который, когда напивался, залезал на крышу и, оттуда поучая, разоблачал большевиков. — В мезонине жил вор-Пронька, родом из цыган. Когда в понизовьях на Волге началось людоедство, вверх по рекам, по чугункам, по льдам, пешком потащились тысячи. Под городом они поселялись в солдатских бараках, — там

Пронька нашел себе жену, девку Антониду, — выкормил, стала баба-красавица, добродетельная и тупая, как коровий язык, — признавалась, что съела дома у себя в Пугачевском уезде — отца и сестру-малолетку, — сестру придушили, а отец, помирая, говорил матери: «ты, слышь суды, — помру, не хорони меня, — сама понимаешь...» — Антониду прозвали — Тонькой-людоедкой. У Проньки в мезонине снимала угол Поляша-кормилица, из детского дома, которая каждый год рожала: дети у нее помирали вряд, и она поступала в приют — кормить грудью, за паек: — любила родить, потому что перед родами пропадало молоко, приходилось с места уходить, голодать, — а как родит, ребенок умрет, — снова на паек. Пронька гнал самогон и иной раз, когда выпивал, бил Поляшу и людоедку. Тонька-людоедка научила тогда Поляшу, — как начнет приставать, чтоб сказал про рукав. Пронька Поляшу побить собрался, — Поляша сказала:

— Вот скажу про рукав-то!

И Пронька взвыл вепрем, посизел, рот заслюнился, табуретку схватил, завопил, как вепрь:

— Убью-у паскуду! Зарежу-у!

Поляша весь день и всю ночь у ворот простояла, в дом боялась идти, — бушевал Пронька. Потом выяснилось: Пронька в Луховицах торговку убил, долго деньги искал и нашел — в рукаве: — рассказала людоедка. — У Проньки друзья были и в городе и в уезде, приезжали, жили, выпивали. Пронька бывал во хмелю иногда и любезен, тогда говорил гостям:

— Вы мне друзья сердешные, приехали с дороги и выпимши. Я для друзей. Ложись-ко ты спать с Антонидой, с женой, поспи с ней, поиграй, а ты ляг с Поляшей. А я уж один, как-ни-то.

Поляша, которой все равно было родить, спать с мужиками — любила. — Бывали у Проньки завсегдатаями Мериновы, а Андрей Меринов — друг-приятель.

В главном жилье, в середине дома, где шел по всему дому коридор от кухни до прихожей, — жили возле кухни: бывшая хозяйка дома Аглая Ивановна с дочерью Анфисой, бывший член суда — теперь секретарь совнархоза — Илья Ильич Керкович, телеграфистка Рая; на половине коридор был заделан тесом, замазан алебастром, и у прихожей, от всех отгородившись, жил с

семейством доктор Владимир Адрианович Осколков. Осколков был у всех в почете. Пронька кланялся ему издалека.

У телеграфистки Раи был любовник, он спекулировал, он ездил — там куда-то, — привозил муку и масло, потом вновь уезжал и привозил мануфактуру и керосин. Он Рае привозил и хлеб и керосин, чтоб можно было жарить для него котлеты и завивать кудряшки. Фиса, дочь хозяйки, дружила о Раей, завивала с Раей волосы, хотя любовника еще не имела по малолетству. Аглая Ивановна — через Раю — просила Раиного любовника привезти муки, дала серебряные мужнины часы. Был у Раи брат, который приходил к ней ночевать, когда отсутствовал любовник. Петр Карпович, любовник Раин, привез восемь пудов муки — для Раи и Аглаи, — но не успел сказать кому по скольку; муку, не развешивая, положили в кладовой — и ночью ту муку из кладовой украли, пробравшись в кладовую со двора в окно. Сначала плакали и Рая, и Аглая. Но бывший член суда Илья Ильич Керкович здесь разъяснил на основании десятого тома законов Российской империи, что плакать надо лишь Раисе, что Аглая не при чем, и что муку или часы обязана Раиса возвратить — на основании десятого тома — Аглае. Рая десятого тома не знала, должницей считать себя отказалась наотрез. У Раи и Аглаи произошел скандал, и визг, и бой, и вопль, Аглая с дочерью направилась к телеграфистке Рае в комнату и, так как мебель здесь была хозяйская (и дом лишь был национализирован), — вынесли из комнаты телеграфистки Раи — кровать, комод, диван, стол, столик, стулья, оставив стены, пол и потолок. Илья Ильич Керкович был вдохновителем Аглаи. Был визг при очищении комнаты — не малый. Илья Ильич Керкович в очках, с «Известиями» в руках, в жилете, стоял у двери, молча наблюдая. В дом вселилось вражество, — но дом был национализирован, все были равны, слуг не было, — а после кражи дом постановили запирать, — и телеграфистке Рае часами приходилось караулить у дверей, когда кто-нибудь пройдет, ибо специально ей никто не отпирал, ибо — теперь лакеев нет! — лазить же в окно было нельзя, ибо окно было во втором этаже. Тут на помощь Рае пришел ее брат: по дружбе от при-

ятеля со станции Луховицы от жилищного отдела он достал бумагу, где значилось:

РСФСР.

ЛУХОВИТСКИЙ ИСПОЛКОМ
С. Р. И КР. ДЕП., —
И ПРОЧЕЕ —
ГР-НУ И. И. КЕРКОВИЧ.

Жилищный Подотдел Коммунального отдела Луховицкого Исполкома сим предписывает гражданину Керкович, проживающему по такой-то улице в доме № такой-то города Зарайска отпирать двери сотруднице Наркомпочтеля гражданке Раисе Колесниковой.

Председатель.
Секретарь.
Печать.

Илья Ильич Керкович сначала было испугался этой бумаги и один день караулил Раю, чтоб отпереть незамедлительно, — но потом, перечитав бумажку много раз, сообразил, что город Зарайск станции Луховицам не подчинен, и пошел в городской — зарайский — жилищный подотдел за справками, — в жилищном подотделе нашли, что: во-первых — не подчинен, — а, во-вторых, подпись председателя и секретаря одна и та же, и обе вымышленные. Началось уголовное дело. Илью Ильича Керковича поблагодарили, от швейцарских обязанностей он был освобожден: он был героем — —

Пронька позвал к себе Аглаю Ивановну к чаю, усадил за стол, налил, баб выгнал и наедине сказал, выпивая с блюдца:

— От вас, Аглая Ивановна, зла я не вижу. Скажите, сколько муки было вашей, потому что муку взял я с братвою, и не хочу вас обижать. Зла я от вас не видел. Я хотел добраться до Карпыча, Райкиного любовника. Только предупреждаю, чтоб об этом ни гу-гу. Сами понимаете — —

— — А Рязань. — —

— — Рязань-город — на холмах, над Окою. Слово Рязань — женского рода, и поистине — город-Рязань: баба в сорок лет. Бабы, кроме детей, блох родят, — жирная баба Рязань, блох в ней много,

жирная, и блуд в жиру не угас еще, вся в буераках да горах — в морщинах — сырая, и легла над Окой раскорякою. Дома купцы ставили специально для крыс и клопов, из кирпича о пяти фундаментах, с окнами, из которых жирной бабе Рязани не выползти, — и подпудривали купцы бабу Рязань охрами. Причесывать бабу Рязань купцы бросили в семидесятых годах, когда съела старый Тракт Астраханский — Казанка. И лежит баба над Окой раскорякою, простоволосая, потная, подлая, грязная.

У вокзала на заборе в Рязани вывеска: —

— «Склад бюро похоронных процессий» —

А на бабе-Рязани: живут люди. А жила баба-Рязань тысячелетье, живот бабы-Рязани — Кремль, внизу под Кремлем протекает река Трубеж. На животе у бабы-Рязани — на монастырях, соборах и княжьем дворе — камнем на камне высечено о том, как делился князь Ярослав Рязанский, как московские князья полонили рязанских князей, как варом варила Рязань крымского хана Гирея. Древнее имя Трубеж, Трубеж веками трубит — о хане Гирее, о рязанских князьях, о князе Ярославе Рязанском, омывает бабе-Рязани живот. С живота, с кремлевского холма — на десятки верст луга видны, поемы, там, вдали — Белоомут, поэзия Огарева... Веками трубит Трубеж: — там внизу под обрывом столбик стоял, и на столбике объявление было — здравотдела рязанского:

> «В реке Трубеж купаться строго воспрещается, так как река Трубеж заражена сифилисом» —
>
> «Склад бюро похоронных процессий!..»
>
> — —

— И

МУЖИЧЬЯ ГЛАВА, О ЧЕРНОМ ХЛЕБЕ, СТОРОНА ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ

— — опять м у ж и к и — —

до Рязани, до легенд о Смутном времени, до и после дней времени действия этой повести — мужики, историческая эта легенда без истории, коя во время дей-

ствия этой повести, как и триста лет назад, пахала сохой, ездила на беде, плавала на паромах, а по веснам подвязывала под брюхо скотину, чтобы стояла, — коя жила на полатях, храня под полатями от холодов телят, и жила в жильях — даже не от каменного века, но от деревянного, — и ставила свои жилья, как кочевники ставят на ночь свои обозы. Жила, ничего не зная, — знала: —

— июль, август, сентябрь — ваторга, да после будет — мятовка. Холоден сентябрь да сыт: сиверко, да сытно. Август — собериха, в августе серпы греют, вода холодит. Авось — вся надежда наша, авось, небось, да третий как-нибудь, — на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни лягает, — русак на авось и взрос, — авось и рыбака толкает под бока, — авось велико слово — авось дурак, да дурь-то его умная, — авось небосю — брат родной!.. —

Фельдфебеля в казармах и в заводских бараках бились над ними:

— Да што ты — русский, што ли? —

— Нет, мы зарайски... —

...Надписан над деревнями — человечий хвост, которого у людей вообще нет. —

Запись первая.

Расчисловы горы, смотря по погоде, по времени, по привычности к этим местам — и в версту, и в три версты покажутся. Мужики жили, как жили по всей России. Рассчитывали так, что сначала правили сами, по совести своей и уму, скажем, как разбойники, — этак до двадцать первого года, а потом сели — жулики, мастеровщина, городские. До двадцать первого года, до голода, правили по разбойной совести народ хороший, головорезы, — взятку дать там, самогоном угостить — никак! — морду набьют и в холодную для отрезвления. — В семнадцатом году, правда, были такие, которые рассуждали:

— Зачем, скажем, острожников выбираете?

— Да он, друг, к острожному делу привыкши. Выберут, к примеру, меня, а власть обернется: мне в остроге сидеть непривычно — —

но к Октябрю тогда такие разговоры затихли. Власть стала мужичья, твердая, по хлебу, хлеб пошел

вместо денег, и делали все по мужичьему закону, — городам и господам, значит, крышка.

В двадцать первом году сели на голову мужикам — жулики, городские, — ввели продналог вместо разверстки, стали заводить свои порядки. В двадцать первом году взяткой откупиться — самое легкое было дело. В двадцать первом году пол-уезда свои доли скрыли: у мужика клину восемь долей — взятку дал — стало три, — пропала земля, в нетях ходила. К двадцать второму году статистика в этом деле разобралась, порасстреляли кое-кого. Двадцать второй год, когда мужичья революция кончилась, мужики обозвали — шапошным разбором, — складай, дескать, удочки! — К двадцать второму году город — жулики — коммунисты — сел мужику на хребет крепко: раньше сапоги стоили — четыре пуда ржи, теперь — двенадцать, налогов надо было платить в двадцать раз больше, чем до войны. У мужиков спрашивали: — «что, у вас коммунисты есть?» — Мужики отвечали: — «Нет, у нас все больше народ»... — Мужики рассчитывали: — озимого клина в уезде 12½ тысяч десятин, урожай хорошо — по 70 пудов с десятины, итого 875 тысяч пудов всего; обратно в землю на посев 150 тысяч пудов, продналогу 327 тысяч пудов, — итого на еду и на покупки остается у мужиков 400 тысяч, а по норме Наркомпрода — 13 пудов на едока — норма мужику голодная — ржи надо миллион двести тысяч пудов: — хлеба хватит мужикам до зимнего Николы. А жизнь мужичья — известная: поесть да поработать, поработать да поесть, да, кроме того, — поспать, родить, родиться и умереть. Осенью в двадцать первом году обозначилось, что многим, у кого клин большой, а под рожью мало — платить продналога придется больше чем уродилось: озорники посылали бумаги, чтобы отставили их от земли, — за озорство их сажали в холодную, на отсидку.

Всю революцию к мужикам ездили ораторы, открывали избы-читальни, увещевали мужиков, что продналог и гужевая на их же пользу, гоняли в город на сельские курсы, присылали на курево газеты, книги, молодежь устраивала спектакли, комсомол был: — с двадцать вторым годом все это кончилось, никто ездить не стал, за все затребовали монету, в школе и то не учились, — до Рождества стояла без стекол, а после

Рождества не осталось дров. Баловство кончилось. Молодежь сразу вся переженилась, то есть парни обросли бородами, обовшивели, мужичьи поглупели, заговорили с хитрецой, зады у всех подсохли; — девки, став бабами, бабами и стали, где от двадцати до тридцати трех лет по внешности возраста не определишь, — зародили детей, захудали, окоровились. Мужики и бабы — парни и девки, став мужиками и бабами, всегда глупеют — почему бы? — и женатый мужик — всегда крот. Так и жили.

Запись вторая.

В Расчисловых горах на селе дела у Мериновых обстояли так: — Мериниха, Мария Михайловна, свела дочь свою Надежду со скорняком Галиным, от Галина Надюха и заразилась срамной. Мужа Надежды убили в Карпатах, — она осталась жить в мужниной избе, — Галин ходил туда ночевать. У Галина жива была жена-старуха, мордовали ее все — не умирала. Галин торговал кожами, хлебом, конокрадствовал, занимался сенной контрабандой, гнал самогон, маклерствовал, — был человек торговый и энергичный, — то и дело у него были обыски, — поэтому добро свое дома он не держал, зарывал в лесу; — семь золотых часов, три цепочки к ним золотых, четыреста девяносто пять рублей золотом, семьсот тридцать один рубль серебром хранились у Мериновых, у Надюхи. Любовниц на селе у Галина было несколько. Андрея Меринова в городе доктор Осколков — за барана — освободил от красноармейской повинности, дома Андрей не сидел сложа руки: то был секретарем комсомола, то сельским комиссаром, то контрабандитствовал сеном с Галиным[1], ездил за солью и мануфактурой.

---

[1] В июне — до Петрова дня — над лугами за Окой и здесь, — над Дединовскими, Любицкими, Ловецкими, Белоомутскими лугами — на десятки верст, как над всей Россией, загорались костры в ночах: то косари пошли губить травяную, цветовую жизнь, — гробить, валить, ложить, — осенцы, пыреи, дятельники, кашки, дикие овсы. Сенокосные дни над Русью — медовые дни, как брага, хоть и пахнет земля тогда вяжущим медом да дегтем. До июня косили в госфонд — за отаву: потому и спешили, чтоб побольше возросла отава. На десятки верст вправо и влево легли госфондские луга, и госфонд по суводям на Оке понаставил барж, чтоб грузить, чтоб посылать в

Раза два доктор Осколков в городе делал Надежде аборты, за баранину. Прошло года полтора. Мериниха у доктора была своим человеком, приезжала в дом, говорила о святых великомучениках, о граде Иерусалиме, о гробе господнем, — раз заехала с ней мать Анфуса, — заезжал часто и Андрей, но дальше прихожей не входил, и больше бывал у Проньки, — Галин никогда не бывал — —

...И опять Мериниха привезла Надежду делать аборт, — привезла барана, муки и масла. Была Надежда женщиной красивой, здоровой, полнотелой. Доктор аборт ей сделал, она — уехала. А через три дня ночью привезли Надюху: — умирающей. Мериниха, как никогда, уперлась в Бога и в то, что аборты делать — богомерзко, — уперлась, чтоб операции Надюхе больше уже не повторяли, хотя доктор положение считал не страшным. От дочери Мериниха не отходила ни на минуту, — в дверях с кнутом и злобный торчал Андрей: —

Москву, в Питер, в армию, — а по лугам госфонд рассыпал объездчиков и роты солдат попрятал по овражкам, по ложбинкам, на границах госфондских лугов, чтобы ловить сенокрадов, — госфонд — государственный фонд сенных запасов. И тогда, когда сено стояло в стогах и стогами грузились баржи, — начинались в госфондских лугах великие кража и контрабанда, — потому что машинными декретами заводов о нормах и допусках запрещался тогда вывоз сена — даже из народоправства Зарайского в народоправство Коломенское. —

На десятки верст раскинулись луга, как целый уезд, — займища, поемы, весною здесь Ока. И телеги надо подмазать как следует, чтоб не скрипнула в коростелином переполохе: потому-то и пахнет так дегтем тогда над лугами. А ночи в июне коротки.

И — ночь.

Мужики столковались. Доктор Осколков лег, накрылся пиджаком, чтоб закурить, чтоб не видно было огня. Капал тихенький дождь. Командовали вор Пронька, Галин и Андрей Меринов. Пришли разведчики, сказали, что солдаты только что проехали, объездчик в шалаше у ворошилок, — что версты за две начали грузить тоже контрабандой, галинские — для Коломенского союза кооперативов, — видели с собственной телегой комиссара Пашку Латрыгина, просился взять его в обоз; видели Росчиславского — косит в госфонд за отаву, здесь и ночует. Вскоре пришел Латрыгин, заведующий здравотделом, — очень смущенный обратился к доктору Осколкову:

— Владимир Адрианович, — одному мне уйти отсюда невозможно, вторые сутки здесь караулю, в овраге прошлую ночь грузил и пришлось свалить. Но — сено, однако, корове необходимо. Иначе не достанешь. Разрешите пристать к вашей артели.

Надежда не проронила ни слова. Мать тараторила, что: — божья воля, пускай, дескать, помирает! — Когда Надежду переодевали, доктору показалось, что тело ее избито, иссечено кнутом, — мать объяснила, что билась Надежда от боли. К утру Надежда умерла, ее увезли. — А через день к доктору пожаловал Галин, растерзанный, несчастный, застал доктора в спальне.

Завопил:

— Так-с Надюха-с умерла-с?! — Из-за моих часиков погибла?! — Нам-с знать-с надо, для суда-с. Мы-с, конечно-с, могем соответствовать-с, — баранчикем-с! — не кончил этак стилизованно, завопил благим матом: — Уморила ведьма Надюху, — забила-а! Меня разорила, — семь одних золотых часиков! — В Ерусалим ездила!.. — Надюху три дня били, чтоб согласилась помирать. И Андрей с ней заодно! — Семь часиков одних! — Прихожу: — «где добро?» — «Спроси у Надюхи!» — — и Галин убежал от доктора —

Отрезал Пронька:

— Пошел отседа ты, к...

Доктор сказал:

— Нет, почему же, товарищи? Надо помочь человеку. Едемте с нами. Пусть едет.

Согласились.

Стемнело. Коростели, у которых гибли гнезда, кричали переполошенно. Небо было мутно. Тогда Андрей ушел в овраг за телегами, стали грузить. Охранители разошлись кругом на полверсты, человек десять. Сигнал: зажечь подряд три спички. — Прошло полчаса, мальчишка обежал всех: сообщил: — погрузили! — Обоз, нагруженный, ушел в овражек. Собрались все, чтобы перепроверить план: — идти кругом обоза шагов на пятьсот друг от друга. Как что заметят — три спички и сейчас же к спичкам от обоза Пронька и Меринов, с объездчиками и красноармейцами — на спор. — Поехали.

Осколков идет, один, впереди и слева от обоза. Коростелиный крик, мрак и тихий, тихий дождь. Обоз исчез во мраке и не слышен: идет ли? где? и не отбиться б! — и не пропустить бы трех спичек... Прилег на землю, прикрылся пиджаком и закурил в рукав. Так проходит час, одни коростели. И вот:

— Эй, кто тама? Кто такой? —

— Свои, свои! —

Из мрака, с винтовкою в руке, идет, но не подходит близко, красноармеец. В поспешности зажег три спички.

— Эй, кто тут? Кто идет?

— Свои, товарищ. Ходил в Дединово, иду домой.

(Андрей Меринов был в то время церковным сторожем, вскоре уехал в Москву, — вернувшись, пошел в очередь комсомольским секретарем —). Надежда забылась — —

Запись третья в разговорах. (Смотри во вступлении третьем, о Волках и Машинах, главу «Коммуне крестьян»).

...Там, у камня, который люди приходят грызть от зубной боли, — на холме, у оврага — конский могильник, Филимонов овраг, растет в овраге папоротник. Там с горы виден Коломзавод — ночью красное зарево горит над заводом, идут в небо огни, чужие огни, страшные, — днем дым идет от завода — —

Всю ночь пели соловьи. Землемер Нил Нилович Тышко всю ночь гулял с Еленой Росчиславской, младшей. В Филимоновом овраге внизу стоял туман, скат порос соснами, и даже ночью, как в заполдни, пахло растопленной смолой, пока не пала роса. По скату в Филимоновом овраге валялись конские черепа, ночь окутала землю лунным светом. Кукушки куковали — в ночи —

— Что ночью шляешься? — Э-эй, Лактанов — беги сюды, — жуллер, либо контер-бандит.

Откуда-то поблизости бежит еще красноармеец. И с двух сторон подходят медленно, в карманы руки, в плечи головы — Пронька и Меринов.

— Чего орете? — это мы!

— А кто такее мы?

— А самые что ни на есть бандисты. Ходили к гостю, выпили и вот идем домой, еще добавить. Она и Вася — будет! А ты орешь, дурак. Хошь выпить, — айда с нами, она и Вася. А не хошь, — так и в морду получишь. А-а, и ты тут, ваше благородье?! Айда с нами!

— Которые тут контер-бандиты?!

— Да он спросоня! Бей их, я их знаю!

И трое идут в сторону, от обоза, шумно говорят. — Красноармейцы идут вслед за ними. Пронька зажег две спички, — т. е.: опасность миновала. Обоз тронулся. — Красноармейцы все идут поодаль. Пронька и Меринов их наподдевают дружелюбно: — «она и Вася: бей их, я их знаю». — Так, до овражка, — а там в овражке, дном — опрометью во весь дух, в сторону, за холмик, на луга, — к обозу.

Но вот настает рассвет: в рассвете на западе растворяется в хрустале утра скорбный диск луны, и на востоке в золотой короне поднимается солнце на целых двадцать часов. — Обоз уже стоит в Расчиславе, и сладко лошади жуют украденное сено.

так, точно воздух был смочен. Стройная Елена, усмехаясь, говорила о лешем Ягоре Ягоровиче Комынине, о любви, — вставала, стройная, в белом платье, босая, на конский череп, декламировала Пушкина: «Как ныне сбирается вещий Олег»... — садилась на череп и переплетала свои косы. Елена все усмехалась. Нил Нилович ничего не понимал. Два черепа, по воле Елены, Нил Нилович потащил на ремне за собой и их повесили в коммуне, около Росчиславского жилья, у оранжереи.

— Ах, глупый, глупый крокодильский Нил! Ничего-то он не понимает! Ведь вот он не знает, что Егор Егорович — леший... а все женщины в коммуне — ...ведьмы!.. — сказала Елена.

— Елена Юрьевна, — сказал Нил Нилович. — Позвольте вас спросить... Вот, вы из хорошей семьи, окончили гимназию... Ну, я понимаю, гм, ваша сестра Мария Юрьевна поступила в коммуну еще при матери, чтобы сохранить имение, — ну, а вы?.. Ехали бы вы на курсы, или служить в город, в Москву...

— Ах, глупый, глупый крокодильский Нил!.. Ничего-то он не понимает... Никуда отсюда не уйдешь, есть надо, есть, кушать, Крокодилыч! Вот что!.. и потом — Егор Егорович и Анфуса... — он леший, а она — ведьма!.. — ответила Елена, усмехнулась мелким неровным смешком и скрылась в дверь между конскими черепами, в белом платье, босая, со снопом медвяницы в руках...

Нилыч сказал:

— Гм!.. — и шел всю дорогу, гмыкая бритой своей рожей.

...А на рассвете этой ночью Нила Ниловича разбудили странные шорохи. Светало. Стоял густой туман. Ныли комары, простыня посерела от росы. Первой Нил Нилович услышал кукушку, потом он разобрал придавленные голоса.

— Этакий дурак этот Сидор!.. Фу, как устала!

— Тише, Нил может услышать.

— Спит, наверное, иначе бы откликнулся.

Нил Нилович подошел к окну, был белесый туман, через который нельзя было видеть в двух шагах. Нил Нилович стал подслушивать.

— Скучно, Мария, — сказала Елена. — Знаешь, раньше при себе носили мушки, в табакерках, и вырезывали их из черной тафты. И потом на балах приклеивали их со значением: мушка у правого глаза — тиран, на щеке — разлука, на подбородке — люблю, да не вижу... Я у бабки в дневниках прочитала...

— Он в тебя влюблен...

— Да, но он дурак, говорит про курсы... бросим это, Мария... — послышался удар ладони по голому телу. — Фу, как кусают, всю кровь выпьют, черт-те што... А обмороки тоже были разные: обморок Дидоны, капризы Медеи, ваперы Омфалы, обморок кстати... Ты же понимаешь, Мария, все кончено, никуда не уйдешь, я вот нитяные туфли шью за молоко... Дальше Ягора не уйдешь... А я хочу...

— Ну, да, конечно... Как и мне все надоело... Коммуна... Ведь ты пойми, — они, я не знаю, сыты, обеспечены, а правды не знают, эти Мериновы... Вот поэтому и Анфуса, и Егорки...

— Слушай, а Егорка — что?.. Ты прости, но ведь он твой...

— Да, мой любовник, муж... И теперь бросил меня... Он страшный, он негодяюшка, — он и тебя покорит, Елена. Только он не даст ничего, ни семьи, ни уюта, все обесчестит... А Тышко — сильный, дурак и молодой... Есть хочется...

— Да, Марья, сильный и молодой... А Егорка — омут... — а нам — ничего кроме омута, ведь мы дворяне!.. — это сказала Елена, тихо.

Близко затрещали кусты, звякнула колотушка, послышалось усталое сопение. Женщины побежали в сторону. Дверь с треском растворилась, в дверях стал Сидор Меринов, в тулупе и в меховой шапке, с колотушкой и колом в руках.

— Ну, что? — спросил испуганно Сидор.

— Что — что? — переспросил Нил Нилович.

— Не тронули? Здеся?

— Кто?

— Они! Видел?

— Кого?

— Их!

— Ты про что, собственно, говоришь-то? — обиженно спросил Нил Нилович.

— Ну, значит зато, не тронули, — успокоенно ответил Сидор. — Их. Нагишом.

— Кого их?

— Бабов этих! — Пошел к кузне на плотину, понадобилось мне туда сходить, ка-ак они мимо меня сиганут нагишом, волосы по ветру, по плотине в омут, Марья Юрьевна, комоногая, и обратно Алена Юрьевна... завизжали, словно их за пуп ухватили, — и под воду, и ни гу-гу, обратно пузыри пущають... Я кричать — а-ля-ля!.. Они выскочили, завизжали и — в овраги. Ну, думаю, либо к тебе, либо к Ягору Ягоровичу, — если к тебе — защикочуть...

— Да ты что — рехнулся, что ли?

— Сам своими глазами видел. Передом Марья хромоногая, и обратно Елена, так и сигают рысью по кочкам, по лугу! Нагишом!

— Да как же ты видел? — туман-то какой! — обиженно сказал Нил Нилович.

Сидор осмотрелся кругом, не увидел ничего, что было в трех шагах от него, посмотрел смущенно на Нила Ниловича, потом повеселел.

— Ведьмовское навождение, все одно к одному!

— Ну, ходили купаться. Зачем они меня щекотать станут? —

Сидор склонил на бок свою кудлатую голову, чтобы удобнее было всмотреться в Нила Ниловича, прошептал со страшком:

— Ведьмы!..

— Что-о?

— А ты и не знал? — Ведьмы, обе! И Ягор Ягорович обратно ведьмак!

— Ерунду ты говоришь, Сидор. И туман, и ходили они вообще купаться, — сказал Нид Нилович, — и вообще ведьмы — это предрассудки!..

— Ярундуу? — возмущенно переспросил Сидор. — Ягор Ягорович всех баб боломутит, мужики и то поддаются, веру образовал, Марьин любовник, — теперь к Алене подъезжает... Ярундуу?.. — А по весне, ночью-то, — Ягор Ягорович пили, — приходит ко мне в сарай,

Марья-то, в одной исподней, пьяная в розволочь, волосы по грудям, — лезет обниматься. «Милый, говорит, рабеночка хочу, все погибло, ничего не осталось», — и вроде плачит... «Ягорушка, негодяюшка», — говорит. Я ей отвечаю: — это не Ягор, какой еще Ягор? — это Сидор. А она опять плакать, косоногая, «все равно, говорит, пожалей меня, Сидор, я одна, все погибло»... и смеется, как ведьма... Ярундуу!.. А обратно в этой вот даче, когда тебя еще не было, — что с ней Ягор Ягорович разделывал — днем, дне-ем!.. а она потом опять плакать, в щелочкю видел, косоногая: «у тебя, говорит, позорная кровь, бессеменный ты», — и опять про рабеночка. А Ягор Ягорович ей: «мне, говорит, все наплевать, надо всем смеюсь, — хихикаю», говорит, — и захихикал, прямо мороз по коже!.. А зачем ей рабенок? — чтобы кровь детскую выпить, к примеру... Ярунду!..

Наутро Нил Нилович проснулся в двенадцать, много недоумевал, но был покоен, долго мыл на террасе бритую свою голову, чистил зубы, ногти, сапоги, дважды сменял брюки, наконец, надел синие галифе с задницей, обшитой кожей, френч, шведские ботфорты, выпил крынку молока и, приколов четырьмя кнопками к двери пожелтевшее уже объявление на ватманской бумаге — «буду к 6-ти часам, средне-европ. времени», — уехал на велосипеде за пятнадцать верст к женатому товарищу-землемеру — обедать.

Приехав домой, Нил Нилович вылил на себя три ведра воды, поел каши, переменил брюки и пошел к Росчиславским в оранжерею. На травке перед оранжереей лежал — пятки в небо, весь заросший черными волосами — Ягор Ягорович. Поздоровались.

Ягор Ягорович, пожмурившись, сказал:

— А вот, позвольте вас спросить, господин стюдент, — откуда пошло слово «товарищ»? —

— Не знаю, — ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин стюдент! Когда Стенька Разин у Жигулей баржи купеческие грабил, они кричали: — «Сарынь на кичку, товарищи!..» отсюда и пошло, господин стюдент!.. А что такое женский вопрос, господин стюдент?

— Не знаю, — ответил Нил Нилович.

— А я вам скажу, господин стюдент. — Оскорбление!

— Почему?

Но Ягор Ягорович не договорил, потому что из оранжереи вышла Марья Юрьевна. Она вышла поспешно, хромая на сломанную свою ногу, размахивая руками, весело улыбаясь.

— Здравствуйте, товарищи, — сказала она, — идемте в избу. Я совсем мужичка, живу по-мужицки, черт-те што!.. А съестного у меня совсем нет, решительно нет...

У двери все еще висели конские черепа. В оранжерею же войти было страшно, там — даже не покоились — а неистовствовали — пыль, грязь, мухи, пауки, причем пыль была не серой, а коричневой. Валялась всяческая рухлядь, сломанные диваны, книги, овчинный тулуп, ацетиленовый фонарь. Марья Юрьевна села да диван, выставив колом негнущуюся свою ногу, — заскрипели пружины под обильным ее телом; крикнула истерически:

— Я, черт-те што, истинная коммунистка, у меня ничего не осталось!..

— А позвольте вас спросить, господин стюдент, — сказал Ягор Ягорович ни к селу, ни к городу, — что такое равенство женщин?..

Помолчав, пощурился и ответил:

— Я вам объясню, господин стюдент... Женского равенства не может быть, потому что все женщины разделяются на дам и не дам...

Из-за стены спокойно сказала Елена:

— Дурак!..

В окна сбоку шли красные лучи, пылились, — само же солнце стало над горизонтом огромным бронзовым шаром. Была та минута, когда стихли дневные птицы и не зашумели еще ночные. Елена не одевалась весь день и говорила с Нилом Ниловичем через стену.

— Ах, как скучно жить, Крокодилыч! ведь люди мечтают. Всегда мечтают и окутывают свою жизнь мечтами и верою. Без этого нельзя. А сама жизнь проста, как съеденный огурец: дважды-два!.. Вы вдумай-

тесь, что должен испытать человек — или щенок, — это все равно, — если его связали и тащат топить, когда он жить хочет... Вот щенят тычут в их собственный помет, — представьте, что вы щенок, — не хорошо, верблюд!.. Я сегодня всю ночь плела туфли — и сплела ровно на кувшин молока... Вы — советский захребетник...

Ягор Ягорович и Марья Юрьевна ушли в людскую избу на коммуне ужинать.

...Эту ночь Нилыч спал спокойно. Утром Нил Нилович опять прикалывал бумагу, — как всегда:

«Буду к 6-ти часам средне-европ. времени» —

но уехать ему не удалось: пришла Елена и сейчас же за ней Ягор Ягорович. Нил Нилович, после ночных разговоров, решил быть строгим и хмурым.

Елена сидела на ступеньках террасы, руку закинула за голову и откинулась к перильцам. Говорила:

— Знаете, в старину были разные обмороки: обморок Дианы, капризы Медеи, ваперы Дидоны, обмороки к с т а т и... А на балах дамы передавали секреты мушками, мушки и мужчины наклеивали себе и носили их в табакерках... Теперь можно достать нюхательный табак? —

— Можно, — ответил сумрачно Нил Нилович.

— Купите мне, пожалуйста!..

— А позвольте вас спросить, господин стюдент, что такое женщины? — сказал Ягор Ягорович. — Женщины, господин стюдент, — труболетки-с, вот что! Каждую ночь в трубу летают. Ведьмы-с! Вот что.

— И Сидор Меринов то же говорит. Глупости все это, — сказал Нил Нилович.

Елена насторожилась, Ягор Ягорович осекся: — «что говорит Сидор?» —

Елена истерически закричала:

— Уберите этого негодяя, уберите, уберите!

Нил Нилович сумрачно спустился со ступенек, стал против Ягора Ягоровича, сказал сумрачно:

— Прошу вас, вы на самом деле, того... прошу вас отсюда удалиться... к черту!..

Ягор Ягорович неспеша встал, посмотрел миролюбиво и внимательно на Нила Ниловича, решил, должно

быть, что этот не шутит, и неспеша побрел в сторону, шлепая пятками туфлей, вязанных Еленой. А когда Ягор Ягорович ушел, Елена, растерянная и возбужденная, со слезами на глазах, как девочка, просила Нила Ниловича спасти ее от Ягора Ягоровича, от Мериновых, от коммуны. Елена — в доме — села на диван, посадила рядом с собою Нила Ниловича, положила руки ему на плечи, сидела тихо, беззащитная, как девочка, — и вдруг в глазах Елены побежали мутные огоньки, задышала неровно, откинула голову и, с закрытыми уже глазами, стала искать своими губами губы Нила Ниловича. Нил Нилович возбужденно загмыкал.

— Скоро Иванова ночь и зацветет папоротник, — сказала Елена. — Ночью на плотине пляшут русалки, поют песни, которые никто не слышит. Я хожу их слушать, каждую ночь. Они плачут... Приходите ночью на плотину... пойдем к Оке, где был древний город...

— Я влюблен в вас, — сказал Нил Нилович. — Я очень вас полюбил, я не позволю Егору Егоровичу...

Нил Нилович взял плечи Елены и потянул их к себе, — и тогда лицо Елены стало старым, страшным, злым. Она сказала брезгливо:

— Не надо, не надо, — ведь ты не Егорка... Ведь Егорка приносит хлеб и мясо... — Елена встала и пошла поспешно к двери, ушла, потом вернулась, сказала сердито: — А на плотину ты приходи, все-таки... Все-таки я тебя люблю... хоть ты и дурак...

Нил Нилович был чрезвычайно обескуражен. Весь день он провалялся у себя на постели. Десять раз решал: идти или не идти на плотину? — К сумеркам опять пришла Елена, вошла заботливо, как старый друг. Ходили они гулять к Филимонову оврагу, где стоял камень, который грызут люди. Елена была возбуждена и говорила про мушки, сказала, чтоб Нилыч обязательно пришел на свидание на плотину нарядным; потом говорила о «тайнах», о липком лешем Ягоре Ягоровиче, о том, чтобы Нилыч защитил ее от него.

Нилыч спросил:

— А позвольте спросить, про какие тайны вы говорите?

Елена ответила:

— Вот, знаете, стыдно сказать, что хлеба нет дома, а поесть очень хочется, а хлеба нет, и плачешь. Или так, вот я вчера про щенка говорила, — щенок ведь не понимает, а его в его же кучу носом, и податься щенку некуда, за глотку его ухватили крепко. Ну, а если этот щенок — человек, может рассуждать, — так лучше делать достойный вид, когда тебя все равно… во мне гордость есть? — Елена озлилась, замолчала, — сказала злобно, самой себе: — лучше у дураков богородицей быть, чем голодать!..

— Вам бы, Елена Юрьевна, на курсы поехать… — сказал Нилыч.

— Очень я там кому нужна! Да и не хочу я туда ехать. Будет, ездили!.. — А вы можете идти к чертям домой со своими курсами и чистить сапоги. Очень вы нужны, тоже, — и Егорка тоже — омут!..

Впрочем. Елена скоро успокоилась, велела приходить на плотину — —

…И Нил Нилыч решил ночью пойти. К ночи он нарядился, надел галифе с кожаной задницей, взял тросточку и неспеша пошел, — сначала в деревню попить молока, потом на плотину.

На плотину Нил Нилович пришел уже затемно, стал там в ивняке. Ему показалось, что здесь кто-то уже был, были поломаны сучья, валялись листья, трава была примята. Нил Нилович стоял долго, и тогда пришел к нему Сидор Меринов, он шел поспешно и посапывая.

— Ты здеся? — спросил он.

— Чего тебе еще надо? — переспросил Нил Нилович.

— Так что вы, господин стюдент, спать ступайте, значить, — ответил строго Сидор. — Ягорушка велели вам по ночам не шататься.

— Это еще какой Ягорушка? —

— Ягор Ягорович Камынин. А еще, к примеру, Алену Юрьевну также не трогать, они сами просили, чтобы к ней не приставать… коммунских вы не трогайте, господин стюдент!.. Спать вам надоть, господин стюдент. Вот что!

И Нилыч — и Нилыч — ушел... Но пошел сначала в землянку к Ягору Ягоровичу в расчете побить ему морду, — там никого не было, дверь была отворена, землянка торчала в шерсти соломы точно ряженый на святках в вывороченной шубе. Тогда Нилыч пошел в коммуну. В коммуне было темно, только в главном доме в слуховом окне был свет, и оттуда неслось церковное пение. Нилыч собирался было уже лезть на сосну, чтобы заглянуть под крышу, — но в это время из главного подъезда вышли: впереди парой Егор Егорович и Елена, сзади кучей — Анфуса, скопец, бабы, Мериновы. Елена была во всем белом, в фате, шла невестой с опущенной головой. Нилыч караулил. Елена, Егор Егорович, Анфуса, скопец — пошли через овраг к камынинской землянке, — остальные остались, кричали речитативом:

— Совет да любовь, совет да любовь, подай каравай, подай каравай, они люди нанови, им денежки надобны!..

В землянку вошли только Елена и Ягор Ягорович, Анфуса и скопец остались наруже, поклонились земно и ушли. Нилычу показалось, что из землянки — из тишины — послышался вскрик. Нилыч пошарил по земле, нашел камень — со всего размаху пустил им в окно землянки и пошел неспеша домой...

...А там, в землянке у Камынина, где пропахло просохшей травой и потом, во мраке, на свежей траве, — за голодом, за хлебом, за страшным человеческим пригнетением и одиночеством — вот у этих двоих, у земского начальника, исцинившего все, и у девушки, приявшей в себя и земского начальника, и бабушкины «обмороки кстати» — за последними словами лжи и ненависти, чтоб коснуться ложью последней правды — там, в землянке, как в квашне тесто, вдруг, должно быть, стал набухать древний человеческий хмель — хмель всесилия одного и подчинения другого — хмель этих двух тел, ставших страшными, как страшны каменные бабы

раскопок, изъеденные червями — — и стала там в землянке страшная бабища Марья, со всяческими такими страшными качествами — —

...А Нилыча обнял, обшарил по спине страшный страх, холод, — он споткнулся о корягу, прыгнул в сторону от дерева и — побежал, все быстрее и быстрее... И по мере того, как ускорялся его скач, увеличивался страх, и все громче и безумней кричал Нилыч.

На крылечке кто-то сидел. Нилыч перескочил через него, бросился в дом.

В дверь снаружи заскреблись. Дверь бесшумно отворилась, вошла нетвердой походкой Мария, в ночной рубашке, села на стул, уронила голову, помолчала. Нилычу стало не так страшно.

— Елена — дура, Егор — негодяй... Все погибло, вы — простите меня беспутную, глупую, несчастную!.. — заговорила Мария Юрьевна. — Вы простите... Пьяная я, несчастная я!.. глупая я... совестно мне!..

(Выпись из «Книги Живота Моего»:

«В Расчисловых горах имеется коммуна «Крестьянин». Весной три брата по фамилии Мериновы, фактические хозяева коммуны, прогнали своих жен, взяли новых. Бабы пошли без венца в коммуну. С одной из них пришла мать ее. Эта мать устроила какую-то сектантскую моленную, в коммуне возникла секта, богом избран бывший земский начальник Камынин, откуда-то появились духовные песнопения, которые все члены коммуны вызубрили наизусть. Камынин всех исповедует еженедельно, все женщины перевенчались — сначала с Камыниным, а потом со всеми членами коммуны. Камынина все зовут богом Егорушкой. Есть у них и богоматерь, состоящая в сожительстве с Камыниным, дочь бывших помещиков Елена Росчиславская») — —

ГЛАВА О ЛИКВИДАЦИЯХ, ИЗ ПОВЕСТИ О РЯЗАНИ-ЯБЛОКЕ

В черновике Акта по осмотру коммуны «Крестьянин», рукою Ивана Терентьева, было написано:

«Читальной нет, книг много, но про них не все знают. Книги нашлись в главном доме, в ящиках, пересыпанные листовым табаком, «чтобы не ели мыши», как объяснил завхоз. Книги очень ценны, много на иностранных языках. — В коммуне есть не знающие — члены ли они коммуны — слесарь и мальчик подпасок, — общих собраний не припомнят. — Крестьяне, входящие в коммуну, берут с собой и крестьянские свои наделы, избы же на поселке сдают внаймы.

Баба:

— Да што уж, родимый, погорели мы, до тла погорели, совсем обеспечили, — вот и пошли в камуню. Исть, ведь, надоть.

Другая:

— Нищая я, касатик, спаси их Хресте за кусочек хлебца старушке. Полы я за то мою и коров дою... Нешто от хорошей жисти пойдешь на этакое озорство?

В коммуне только четыре семьи: три брата Мериновы и их двоюродный брат, — остальные бобыли.

Живут в двух домах и бане. Один дом — дача 12×12,4 комнаты и кухня, живут 8 человек: три брата Мериновы с женами и их родственник. Второй дом 11×14, людская изба, одна комната, окно заткнуто тряпками, живет 23 человека. В доме, где живут Мериновы, чрезвычайно много кроватей, чисто, убрано, на столах скатерти, по стенам следы от клопов; бабы молодые, на подбор дебелые, в башмаках, напоказ вяжут за столом. В людской избе — грязно, низко, темно, все старики и старухи, босые, спят вповалку.

Коммуна		Деревня
Десятин пахоты	200	72
озимых засеяно	24	20 (больше не позволяло место)
Людей	31	75
Лошадей	14	11
Коров	13	12
Свиней	8	—
Домов	3	18
Едят с мясом		....конский щавель
Сеялки, веялки, плуги		....сохи, бороны

Культурного сельского хозяина нет ни тут, ни там. Деревня сдавала по разверстке: зерно, масло, мясо, яйца, шерсть, картошку. Коммуна — ничего не сдавала — —

Членом комиссии по осмотру коммуны был Иван Терентьев. Их было трое. Они приехали на велосипедах. У околицы их остановил парень.

— А вы куда едете? — спросил парень.

— В Расчисловы горы.

— Ну, тогда едьте!

— А что?

— Не пущаем мы за-то камуньских.

— А что?

— Не пущають они наше стадо своим выгоном. Обратно продовольствие прижимають... Ну, мы и не пущаем.

— Вот мы как раз и едем ревизовать коммуну, — сказал Иван Терентьев.

Были сумерки, садилось солнце. Парень посмотрел испуганно, идиотом, круто повернулся и побежал от велосипедистов, — опрометью, задами помчал в Филимонов овраг, — куда вскоре собрались и остальные дезертиры. Ручная мельница, что мирно шумела в амбарушке, крякнула и смолкла. Только петух, в сумерках, взлетел от велосипедов на жердину и крикнул:

— Ку-ка-ре-ку, —

деревня стала мертва.

В коммуне комиссию ждали, встретили пением Интернационала, сейчас же пригласили на заседание

ячейки РКП, в людскую избу, притащили меда и кваса. Расписались под протоколом не все — не все были грамотны, члены РКП. Терентьев, широкоскулый, квадратноплечий, молчал. Липат Меринов предложил субботник отменить, хотя субботы и не было. Начали с текущих дел и обсуждали: отбирать или не отбирать у учителя корову? — с одной стороны, он буржуй, потому что ругал коммуну, — а с другой — без коровы ему не обойтись, умрет с голоду. Все члены ячейки оказались родственниками. Председательствовал Липат Меринов, говорил развязно, по всем правилам, и приседал на каждом слове.

— Открываю повестку дня!.. Кто жилаеть переставовить?..

До конца заседание довести не удалось, — пришли из деревни мужики. Загалдели.

— Теперь революция кончена, теперь ты погоди, мы господ комиссаров спросим, все-таки...

— Он, можно сказать, в городу жил, а мы целину драли. А ен — по ядакам!.. Опять жа — комуня!..

— Вре! Она у тебя гулящая, земля-те... Жрец какой, за восемь душ исть хочешь!..

— Погодите, гражданины!.. Мы господ комиссаров по порядку спросим, мы им, как перед Богом... Вот, к примеру, они двадцать годов в городу в извозчиках ходили, а мы землю драли зато... А как теперь в городу недостача, крышка городам, значить, — они — по ядакам, тоже!.. А у них обратно, ни скоту, ни струменту, одна изба ветром подбита...

— Вре!.. Она у те гулящая!..

— Жрец, — знамо — жрец!..

— Съять с него полработника...

— А што, — сикулятничать хочешь? — сгноил в земле картошку-те!..

— Повремените, ребяты!! Я как по-божьи. Я как перед Богом... Когда блядь щеки накрасила, расфуфырилась, ее и того, значить... — а как она значить вымылась, краска с ей слезла, она никому и не нужна: — мы вам из городу все присылали, и одежу-обужу, и деньги, — а как городам крышка, — нам и земли нетути!.. Пересомить желають?!.

— Вре!.. У мене есть девка, а я девку выдал, а ее засеяли, она, стало-ть, родила, — опять, стало-ть, улигуровка по ядакам выходить?!. Ядак какой!..

— Съять с него полработника!..

И вдруг посыпались — матери, печенки, селезенки, рты, души, становые жилы, которые мужики хотели изнасиловать друг у друга. Липат Меринов сказал:

— Ребята, мужики! Я вот сейчас возьму бумагу и буду писать протокол... Не видишь, перед кем выражаесси?!. И кто хоть раз матюкнет, того отправлю в волость, в тигулевку — и двойной наряд на гужевую...

Мужики: замолчали, помолчали и — понуро пошли в сторону...

Липат намеревался было продолжать заседание, — Иван Терентьев прервал. Тогда Липат предложил спеть Интернационал, — начал, встав и приседая при каждом слове, —

«Вставай, проклятьем заклейменный» — —

но Терентьев прервал Интернационал, сказал:

— Петь эту песню зря не стоит.

Терентьев всегда был грубоват, неловко говорил, мало говорил, был неприветлив, рабочий чугуннолитейного цеха. Встал из-за стола и ушел молча, пошел осматривать коммуну, стройки, пахоти, — за ним пошел Липат Меринов, — Терентьев сказал:

— Вы за мной не таскайтесь, я сам найду, что посмотреть...

Опять приходили на коммуну крестьяне, начали мирно. —

— Мы как по-Божьи. Мы без матерщины, а что мы выражаемси, темный мы, значить, народ... —

— Вре!.. Она у тебе гулящая, — земля-те!.. —

и опять посыпалось... — Терентьев с мужиками ушел на деревню, — мужики притихли, говорили мирно, без шума, наступала ночь. — На деревню приходил Сидор Меринов, отозвал в сторону, согнул голову на бок, прошептал:

— Спросить велели: — выпить не желаете ли, — можно спиртику достать с устатку, хороший спиртик!..

Терентьев помолчал, сказал:

— Пошел к черту! —

...Ночью в коммуне плохо спали. На конюшне в проходе у денников (лошадей угнали в ночное) стояли Липат и Логин Мериновы. Племянник-мальчишка будил в людской избе слесаря:

— Иди, иди скореи-ча!.. Липат Иваныч, Логин Иваныч зовут скореи-ча!..

Драный мужичонко встал, почесался, расправил бороду, спал в том же, в чем ходил днем, подтянул штаны и поспешно пошел. Мальчонка побежал вперед. Липат, обыкновенно смотревший в небо, скорчился дугой, чтобы заглянуть белесыми своими глазами в божьи-глупые глаза слесаря. Логин скорчился с другой стороны.

— А-а, ты не член?! — прошептал Липат.

— А-а, ты не член?! — повторил Логин.

Липат выпрямился и ударил левшой слесаря в ухо. Логин тоже выпрямился, подпрыгнул и, крякнув, ударил слесаря по шее.

— Мы тебя за-так кормили?!. — за-зря?!

— А-а, ты не член?!

Слесарь икнул, крякнул, ткнулся носом вперед и повалился в ноги, —

— Касааатики!..

— Ааа, ты не член?!. начальству болтать — ты не член?! Тошши возжу!..

...На ночлег членов комиссии устроили в сарае. За открытыми воротами сарая небо, ставшее четыреугольником в белых пустых звездах, чертили летучие мыши, и лягушки в пруде сзади сарая кричали так громко, точно каждая лягушка была с собаку. В сарае, кроме шпанского гнуса, которым пропахла вся коммуна, пахло крысами, и жужжали комары так же тонко, как тонки их носы. Члены комиссии лежали вповалку на ватных одеялах, сшитых из треугольных лоскутьев. На весах стоял жбан кваса. В сарай влетела сова, метнулась за летучей мышью, крикнула глухо и улетела в ночь. Терентьев еще не приходил. Тогда в воротах сарая стал Сидор Меринов, оперся плечом о воротину. Сзади его послышались два бабьих голоса, оба сразу:

— Ой, что ты делаи-ишь?!. — это игриво-плаксиво, одна.

— Куда иттить-то?.. — это покойно-деловито, другая.

Сидор прошептал им:

— В углах они, в углах, к примеру... —

потом сказал в темноту сарая:

— Спитя? — спросить мы вас хотели, то есть...Тольќя выходить вам отседа никак нельзя, подозрят... Вы уж обратно разместитесь по углам, что ли как... А то подозрят... Есть у нас хорошие бабочки и желають вам услужить...

Две женщины стали сзади Сидора; в тесном треугольнике неба женщины показались огромными, передняя локтем защитила лицо.

И тогда голосом, похожим на бычий, заглушившим и лягушек, и комаров, и ночь, закричал, освирепев, Иван Терентьев:

— Убью, сволочей, расстреляю!!. Арестовать негодяев! —

...Потом, через дни, когда те два члена комиссии[1], что уцелели, рассказывали, они всегда путались. Терентьев, приходивший из деревни, закричал на Сидора, сказал, что тот арестован. Мериновых оказалось у сарая сразу несколько, кто-то из них кричал:

— Что?!. И это, выходит, коммунисты, товарищи, — Интернационал не хотят петь, жулики, у чужих выспрашивать, авторитет, значить, гнут?!. Мы за авторитет!.. — кричал что-то такое.

Когда эти два члена вышли из сарая, сарай уже горел, а Иван Терентьев лежал на земле с проломанной головой, в луже крови... Мериновы с кольями бросились на них, они стали отстреливаться — —

было — —

ночь, ночные колотушки. Еще не разбелесилась махорка... —

— ...По России положить машину, сковать Россию сталью, на заводе строить хлеб, солнце

---

[1] ...и был один из них — человек, еврей, коммунист... —

заменить турбиной... — Кааарьерррром, Рррроссия!..

Лебедуха:

— Помнишь, как-то мы прокоротали ночь втроем, с нами был Иван Терентьев?.. Ивана уже нет, хороший был товарищ...

Смирнов:

— Что же, тебе страшно? — многие еще погибнут!..

— Нет, не то. Многие еще придут... Казбек с Шатом, ничего не поделаешь... А товарища — жаль...

...Несуществующий разговор:

Лебедуха:

— Вас, Иван Александрович, надо было бы расстрелять!

Статистик Непомнящий:

— Нет, зачем же, Андрей Кузьмич, я никому не мешаю, — я для истории, я — за Россию...

. . . .

...Рязань-город — на холмах, над Окою. Рязань — слово женского рода, и поистине город-Рязань: баба — в сорок лет. Дома купцы ставили специально для крыс и клопов: из кирпича о пяти фундаментах, с окнами, из которых жирной бабе-Рязани не выползти, — и подпудривали купцы бабу-Рязань — охрами. — «Склад бюро похоронных процессий!» — В рязанском Кремле в тысячу сто пятьдесят третьем году жил князь Ярослав Рязанский, и отсюда тогда выдал сыну Ростиславу — Ростиславль-город над Окою — —

А в Рязани живут люди. В Рязани — здравотдел, исполкомы, продкомы, рабкрины, чека, семнадцатая дивизия, телефоны. Телефоны и люди! — и века, которыми трубит Трубеж, как дружины князей рязанских — в рога. Нужников в городе Рязани — ни одного нет. Рязань — продовольственный город — —

Телефоны и люди. — Два человека, оба еврея. — На Семинарской какой-нибудь улице — Казанская какая-нибудь Божья Матерь, и в кремлевском монастыре, что ли, — Спас-на-кладбище, — церкви постав-

лены Богу, церковная мистика, как города Росчиславль и Китеж, звонницы смотрят в небо, к небу звонят. Пришли иные времена (до Китежа), купцы ставили пудовые свечи, но говорили: — «Извините, конечно, Бог един и первый, но экономическая необходимость вынуждают-с!» — и понаставили домов, как бабы, засрамили, заслонили церкви, зажабили дебелостью своей в переулочки — прекраснейшие церкви, памятники мистики, старины и культуры. — Два человека, оба еврея, в доме, как баба, в антресолях без нужника, о трех комнатах.

Один — первый — человек, еврей, сионист — спал ночи на стульях, составив стулья и положив на них перину. Днем он ходил в зуболечебницу, где врачевал, бегал по столовкам, — вечером он варил зубы, — а ночами, прежде чем сдвинуть стулья, он — изучал арабскую грамматику и арабский лексикон, ибо мечтал уехать в Палестину, в свое государство и там врачевать среди арабов. Ему было пятьдесят два года, он был сух, как мумии в палестинских песках, он ничего, кроме Рязани и Одессы, не видел: — Па-ле-сти-на и арабы с боль-ны-ми зу-ба-ми, которым надо рвать зубы и с которыми надо говорить по-арабски! Даже в Палестине не воскрес древнееврейский язык, — но он его знал, он спал два часа в сутки.

Двадцать пять лет подряд у него в антресолях висел телефон, — и вот второй — человек, еврей, коммунист. — В революцию могли иметь телефоны только ответственные работники, второй был ответственным работником, — он снял телефон в коридоре и перенес его — на два с половиной шага — в свою комнату, и когда спрашивали в телефоне первого еврея, которому принадлежал этот телефон двадцать пять лет, второй отвечал:

— Здесь нет никакого зубного врача, — здесь живет военный комиссар!

Этот второй тоже не видел ничего, кроме Одессы. Рано утром он уходил в учреждение, приходил в пять и все вечера разговаривал по телефону, около телефона у него стояло кресло, и когда он разговаривал со своими подчиненными, он разваливался в кресле, коряча ноги; когда он говорил с себе равными, он сидел просто,

по-человечески; когда он говорил с начальствующими, он вскакивал во фрунт и щелкал пятками. Это были три разных голоса, — четвертым же он говорил — по телефону — с женщинами. У него никогда никто не бывал, он засыпал — на диване — в десятом часу по декретному времени.

Первый и второй, оба еврея были дальними родственниками, оба из Одессы, как Казанская, что ли, и Спас-на-кладбище — обе в Рязани, осрамленные купцом, который настроил баб для крыс, извинившись:

«Извините, конечно, Бог един и первый, но экономическая необходимость вынуждают-с!.. касательно того, чтобы заслонить, конечно, бабами...»

«...И третий человек, — русский, Росчиславский. Поезд вполз на Рязанский вокзал, сыпал людьми, как сыпнотифозные вшами (людьми, которых давно уже звали не зайцами, а кроликами, ибо заяц бежит куда глаза глядят, а кролик только с места на место, разгоняемые Ортечека). И никуда не спеша и одиноко сошел с поезда человек в солдатской шинели с поднятым воротником до ушей и в кепи, с тощим чемоданом в руках. Не в лад всем, долго стоял человек в третьем классе, прислонясь к стене, опустив глаза как ноябрь. Затем человек бодро пошел в город, на Астраханскую улицу в советское общежитие. Там он предъявил документы, ему отвели койку в общей спальной, человек осмотрел белье, густо посыпал его далматским порошком из тощего чемоданчика, долго разматывал разбитые башмаки и обмотки с разбитых ног, башмаки уложил в чемодан, чемодан подложил под подушку и, не снимая шапки и плотнее насунув ее, засветло, не пив и не ев, лег спать. Рано утром, не справляясь об улицах, он пошел за город в лагеря русских в России военнопленных — офицеров армий Деникина и Врангеля. Там он был недолго, передал молча несколько писем, — и оттуда пошел по советским учреждениям, в губисполком и в губземотдел. — Росчиславский тоже, должно быть, соответствовал какой-нибудь церкви, погосту Расчиславлю, что ли? —

«... Это мимо Рязани идет тракт Астраханский, — это в Рязани стоит Спас-на-кладбище и Казанская бо-

жья матерь: тот, человек, еврей, комиссар, в т у н о ч ь, когда убили Терентьева, был в коммуне «Крестьянин», — всю ту ночь пробродил по оврагам, боясь и отстреливаясь, и ему было страшно потому, что тогда каменная баба придвинулась к смерти, ибо он, мечтающий о еврейской девушке, захолодел от мысли, что к нему приходит женщина так просто, что нет сил отогнать ее от себя, — потому что он мечтал о еврейской девушке... — Ночь! — Палестина и арабы, у которых надо рвать зубы и с которыми надо говорить по-арабски, — древняя Палестина — как древнее вино рязани-яблока, — перед периной на стульях: — «здесь нет никакого зубного врача, здесь живет военный комиссар!..» — И вот, второй, человек, еврей, комиссар, — не постучавшись, входит к первому и садится на стул, — все грани пройдены.

— Уйдите, прошу вас!

— А я вот не уйду! Зубришь, старикашка? В Палестину песок повезешь?

— Уйдите, прошу вас, — и в голосе первого мольба о пощаде и испуг. — Зачем вы издеваетесь над человеком?

— А я вот хочу! — и в голосе второго презрение и та кровожадность, какая бывает у охотников на травле. — Убежала жена от старого дурака — на молоденькую позарился — с горя потащишься в Палестину... Муку в сундучке бережешь, рядом с арабами, чтобы не сдохнуть?.. А сегодня по телефону — —

— Слушайте, зачем вы меня мучаете? за что? — у вас сила, я ничего с вами не могу сделать, вы меня можете ударить по щеке, отнять мой хлеб: я буду молчать. Я молчу, что вы сорвались с цепи, и каждую ночь пригоняете себе откуда-то русских баб. Ведь я молчу, что вы воруете пайки. Ведь я молчу, что вы насильно отняли у меня пуд муки. Вы отобрали у меня телефон, вы запираете от меня на ключ уборную... Вы вселились ко мне родственником, в мою квартиру, без вещей, и вы все отобрали у меня, пианино...

— Ну, так что же? Жена все равно убежала, некому играть на инструменте!..

Ночь!.: —

...И той же ночью на Астраханской, что ли, улице в советском общежитии не спал человек, Росчиславский. Разбитые башмаки в чемоданчике и чемоданчик лежали под головой, — с поднятым воротником, в надвинутой плотно кепке, человек лежал неподвижно и глаза его были широко открыты, устремленные через потолок — куда-то. Проходил двадцать второй, — декрет ли проволочился с газетами на поезде, радио ли три дня перепправлялось в Рязани с площади за вокзалом на Астраханку, или на Астраханском тракте провели провода приказом: — было указано туманно, что земли, как-то там правдой-неправдами, если земли меньше стольких-то десятин и если люди сами хотят обрабатывать, — земли вновь отдаются старым владельцам, в аренду. Росчиславский много ходил сбитыми ногами по исполкому и земотделу в Рязани: под головой в чемоданчике с разбитыми башмаками лежала — б у м а г а. — Росчиславский много ходил в эти годы, в Красной армии, стрелочником на чугунке, в продкомах — А тогда, последний раз, он вышел с Расчисловых гор к сумеркам, шел — не в этом пальто и в этой же кепи, в пальто с поднятым воротником, с лицом, как ноябрь и как волчье в ноябре, — а был август. — Росчиславский не пошел деревней, где избы хихикали, как старичишки, — в Филимоновом овраге повстречались мальчишки с корзинами грибов, пахло в овраге осенней грибной сыростью, и мальчишки улюлюкали так же, как — когда травят волков: — а-ря-ря-ря-яяа!.. Много прошли в эти годы разбитые ноги!.. — а в чемоданчике: — б у м а г а . А Рязань спит, как спали вот эти сорок человек в общежитии, в комнате без окон и лишь с решетками, удушенной этими сорока спящими, ибо во сне не грешат... О чем думать ночью человеку — перед завтра? — ведь завтра кости — на старое место! — что думать!

И надо спешить, потому что вот Росчиславский встал еще ночью (в городах исковеркали ночи двумя с половиною часами вперед!) — надо теплушками тащиться в Зарайск, там последний достать мандат — — Росчиславский долго надевал башмаки и закручивал обмотки, без кряхтенья сгибаясь... — Третьим Интер-

националом гремит тракт Астраханский, — а луга Белоомутские, поэзия Огарева, легли простором Поочей, в дуроломе осота. И новым рассветам из Зарайска идти и не думать о верстах: сколько их исхожено?.. И в Филимоновом овраге — к вечеру — не было уже никаких мальчишек, и не пахло грибами, валялись лишь конские черепа.

Усадьба стояла во мраке, безмолвно, — пахнула запахом шпанского гнуса. И долго никто не выходил, даже собаки не было. Потом появился на крылечке сухонький мужичонко с палкой, в шапке.

— Ты кто? — спросил Росчиславский.

— А мы, значит, были в коммуне в слесарях, — а теперь нас приставили сторожем. Тут, вишь, ваторга произошла, передрались мужички, из-за баб, значит... Убили, значит, одного, заводского, а он вроде набольшого у них ходил. Потом тут вера образовалась. Ну, Мериновых троих, Камынина, да еще баб, да сестру твою, арестовали, дивствительно... И брат же их, то есть Меринов Андрей, их же арестовывал... Ну, а как начальников убрали, так и коммуне конец, мы народ темный. — Про вашу милость, Дмитрий Егорович, бумагу мы получили... Спать вас где устроить? — в главном доме прикажете?.. —

Росчиславский ушел в главный дом! — Чтобы мыши не ели, в ящиках в кабинете, засыпанные махоркой, лежали книги. Росчиславский наклонился было живо над ними, — но раздумал и медленно встал: подумал, должно быть, — к чему? зачем? — Так же, как в Рязани в общежитии, он снял башмаки, положил в чемоданчик, из чемоданчика вынул далматский порошок, посыпал им диван, — и лег в шинели и кепи, чтоб уснуть сейчас же: он привык спать везде одинаково. — Не дано думать — зачем пришел? — Заходил бесшумно мужичонко-слесарь и смотрел: сохранились ли на столе надписи — с т о л, — чтобы правильно было все по описи. — —

— — Дмитрий Росчиславский очень постарел, осунувшийся, совсем не шумный, как раньше. Он — понуро — один вместе с хромою сестрой — взялся за хозяйство и волком стал людям. Он

был юристом, и он писал заявления в волисполком, в уезд, в губернию, судился и с крестьянами, и с волостью, и с земотделом, и в волостных, и в губернских, и в уездных судах: разъяснял, толковал, истолковывал декреты, на них опирался и, потому что законов никто толком не знал и все жульничали, — держал всех в страхе законностью, озадачивал власть на местах центральными разъяснениями, грозил судами, — и сумрачно взялся за пахоту, на крестьянском своем наделе, с сестрою, коровой и лошадью. Дмитрий Росчиславский научился за эти годы работать! —

Запись четвертая, Елены Андреевны Осколковой, жены доктора, сестры Милицы, реальная, как фантастика, из повести о Черном Хлебе.

(Смотри о смерти Юрия Росчиславского, ушедшего в волков, и о глазах Милицы. Смотри страницы о городе Зарайске.)

Как эпиграф:

«И надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная». —

«Братья, — сестра! —

«Владимир купил корову, третьего дня она отелилась. Владимир читает книжки о ведении молочного хозяйства и о том, как ходить за коровой; я не знаю, прочел ли он хоть одну книжку о воспитании детей? — Глеба воспитывает он. К мужу ходит каждый день коновал. Коновал говорит, что теленка нельзя никому показывать, — и муж никому не показывает теперь, чтобы не сглазили. Коновал же поучает, что корове после доения надо крестить кострец. А Владимир — врач!.. — Самое омерзительное в наши дни — это то, что все теперь измеряется куском картошки и хлеба, — впрочем, лучше всего сейчас обеспечены негодяи, у них права на жизнь больше, чем у всех иных, — и все же теперь за доблесть получить лишний фунт хлеба.

«Но над землею — весна, и я все дни думаю, мечтаю, выдумываю. Это спасение, — но это: компромисс, — компромисс потому, что, если чистая блузка, то должна быть чистой и сорочка. Есть ли у меня семья? —

У меня есть муж и сын. Но в моем мире мужа моего нет, он не пошел в него. Я не знаю его мира. Он воспитывает сына, — я не знаю, кого он может создать, что он хочет, — и не знаю — хочет ли? Он ничего не читает, потому что на нем все тяготы жизни, и его интересы только во всяческом продовольствии. Он не читает газет (я тоже не читаю), не интересуется ни общественностью, ни политикой, ни литературой, ни даже медициной. Он попрекал меня куском хлеба. Я много раз звала его в мой мир, — он не идет, — и мне уже скучно звать. За последний месяц он внес в мой мир только рассказ о том, как Меринова убила дочь, но он не сказал, а я знаю, что внутренне он замешан в этом убийстве. — В какой мир — его мир — я пойду к нему? — Продовольственный мир меня заставил бегать за коровой, за просом и картошкой, и мир продовольственный стоит в моих ощущениях на том же месте, как путь в уборную, и от разговоров лучше не станет. — У нас есть ложь в отношениях, с обеих сторон. Ложь эта порождена недоговоренностью, недоверием, с обеих сторон. Владимир мне не верит, — и если у меня от этого скука и утомление, то у него глухая злоба. Я молчу и скучаю говорить о моих делах. Он меня ревнует ко всем мужчинам, — он отрицает это, я это чувствую, — и это ложь, потому что я верна. А если бы кто знал, как мне хочется семьи, уюта, нежности! У меня ведь так много любви и нежности — к мужу и сыну, и все мои помыслы — к ним. Я все, что могу, и от сердца и от вещей, тащу в дом, — все, что могу.

«Вчера Владимир говорил, что иссякает хлебный запас, — я предложила перейти на паек, — он упрекнул, что я много ем. Что мне ответить? — Сегодня утром проснулась, когда всем домом ходили доить корову, лежала и думала.

«Утром копалась на огороде, — ветерок веет, резала крапиву для коровы. Потом доила корову — училась. Сейчас — обед, — и после обеда пойду в Расчислово, за 15 верст, за картошкой. Жизнь упрощается до удивительного. Ничего, кроме картошки. Город — это большая деревня безлошадных. Мы сеем просо и картошку — это исполу у крестьян, а рядом за домом будет

огород. Все говорят и заняты — посевами, картошкой, свеклой, луком. Об огороде же я думаю хорошо, потому что хорошо рыться в земле. Доктор Казаков пашет на сыновьях, а жена его перестала ходить к нам — завидует нашей корове! Времена!

«Пойду в Чертаново — в поле, полем над Окой. Хорошо. Я исходила этой весной весь уезд, собирала дань с пациентов мужа, просо и картошку для посева. Третьего дня, насчет проса, я ходила в Кашперово. Какая красота и радость! Ночью я проходила через речку Кашперовку, через парк помещичьей усадьбы, по сгнившим мосткам. Квакали лягушки, пахло цветущей ивой, светила луна. И совсем не странно, почему не вышел из темного дома Евгений Онегин: тот ветер, который опеплил помещичьи гнезда — конечно, прав, дикий, скифский. Из пепла выросли новые лопухи. Кашперовы едят грачей, грачиные яйца, крапиву.

«Вчера я вернулась из Расчислова. Шла над Окой и размышляла — о себе, о делах, о людях. Расчислово на горах — совсем дикое село с плетнями, с вишневыми («вышневыми») садами. Грязь, дикость, нелепость — всегдашнее; думала о том, что страшно в России — еще идолопоклонство, зверство, людоедство, дикость, глупость. Это одно, от этого одиноко. А еще — чего не поймешь — наше русское, за что люблю Россию — половое, инстинктивное (темное ли? — светлое?), кровь, — от этого мы пьянеем в пожары, от этого мы грустим, скулим зимними сумерками, от этого, не помня и не понимая, мы можем убить человека.

«В Расчислове была у Росчисловского. Весь сад, вишневый, в цвету. Сумерки. — Кудахчут куры. Воздух золот. Жужжат шмели. Пахнет навозом, сестра хромая, обессилевшая, трусит овес, для посева. Я знаю все о Росчиславских: — и Дмитрий, и Мария, последние оставшиеся, гордо несут свое бремя, молча, гордо молчат о всех пощечинах, что уделила им жизнь. Не весело им, как и мне. Потом пригнали стадо: пыль (золотая), шум, крик, блеяние. А на задах, за стадом, за полями — Ока, луга и дальний колокольный звон. Дмитрий Юрьевич был в поле, пахал яровые, вернулся, тащась за плугом, — худой, как его лошадь. Ворот рас-

стегнут, и ключицы и мышцы на шее — наперечет. Ноги подогнуты в коленах, как у мужиков, и сквозь ситцевые штаны остро торчат коленные чашечки. Прошли на террасу, огня в доме не было, во мраке ели щи из крапивы и овсяную кашу, без хлеба. Дмитрий Юрьевич ел очень много, был хмур и молчалив. Сестра после ужина ушла спать на двор, к скотине, чтобы сном караулить скот. Уходя, она отозвала меня в сторону, сказала смущенно:

— Пожалуйста, если брат предложит вам сыграть в шахматы, — проиграйте ему. Пожалуйста, — иначе он будет мучиться... Пожалуйста!..

Я не умела играть в шахматы, и Дмитрий Юрьевич мне не предлагал. Мы сидели на ступеньках террасы. Запах навоза прошел, пахло вишней.

— Вы хотите спать, Дмитрий Юрьевич, — сказала я.

— Да, хочу, — ответил он сумрачно и замолчал. — Но я с трудом сплю ночи. Я пришел сюда, и мне все время кажется, что теперь восемнадцатый год, когда я ушел отсюда... Тогда громили усадьбы, — я ждал.... Поджигали все на рассвете, — выработалась привычка не спать ночами...

Дмитрий Юрьевич замолчал. Я тоже молчала.

— Знаете, мать тогда, — заговорил он, — каждый раз ложилась спать на новом месте, кричала во сне, — представлялось, что — п р и ш л и. А однажды приползла, — понимаете? — приползла ко мне и просила спрятать ее, — хотела жить, плакала, и руки тряслись, как у убийцы... Я понимал — стихия, человеческая лава, ничто не поможет, и я ушел. А она не понимала и осталась... — Помолчал. — Вы знаете и о матери, и о Марии, и о коммуне, и о Елене... Мало что скажешь к этому.

Дмитрий Юрьевич замолчал, свернул цигарку, ушел в дом закуривать от светильника, — опять сел на ступеньку, склонил голову.

— Глупо, очень глупо, — заговорил он, — старые привязанности, земляная кровь. Надо было бы бросить все, навсегда, — но вот вернулся. Нелогично: мордовали меня и моих всех все, кому не лень, — а я был в Красной армии, убивал своих братьев, — потом подтал-

кивал своими плечами стальные паровозы, чтобы шли, — и всегда был с Россией, с революцией. Иначе не мог. Но русский народ — не люблю.

«— А как же жить тогда? — спросила я.

«— Работаю ка-ак собака и грызусь со всеми как вол, — сказал злобно Дмитрий Юрьевич и помолчал, бросив далеко в кусты папиросу. — Но — хорошо. Я заплатил за все, за всех, за моих отцов, за мое детство, за университет, за крепостное право, за привилегии, — я теперь никому ничего не должен, — без долгов!.. Но я никому ничего не дам и в долг. Будет. Осенью я куплю пуд керосину, вычищу от мух лампу, обложусь книгами, и дорогу от моей усадьбы заметет снегом. К черту! — до весны. А там опять за плуг. Через пять лет я буду иметь образцовое хозяйство. Знаете, — бросьте в лесу кафтан: волк пройдет, не тронет, — медведь пройдет, не тронет, — стервятник пролетит, не тронет, — пройдет человек: — украдет. С людьми дела иметь — не желаю. Будет! Никому не должен.

«— А Россия? — спросила я.

«— А черт с ней, с Россией! Пусть, как хотят. Я знаю только одно, что Россия была дика, безграмотна, свирепа, ужасна — не потому, что у ней было дикое правительство, — а потому что девяносто процентов России жили на границе умирания с голода, ту же корову подвешивая по веснам, чтобы помочь ей стоять. Я ем крапиву и мне — огромный труд пройтись в парк лишний раз, без дела я не пойду, не то, чтобы прогуляться; я все время хочу спать, у меня в доме нет чернил, а книги в пыли. Крестьяне, единственная реальная база, сейчас платят налогов больше, чем до войны, стало быть, они не могут выйти из скотьего состояния... Россия вернулась назад к дикарям, ровно на столько, на тот процент, который показывает потерянное нами количество богатств, сломанных человечьей глупостью и расстрелянных пушками за эти годы: поэтому закрываются школы, больницы, агрономические пункты — даже те, что возникли двадцать лет назад. В этом никто не повинен, это несчастье республики, — но этот закон так же категоричен, как то, что человек не может сделать, чтоб ноги у него росли из подмышек. — Росчиславский

помолчал. — Нет, я неправду оказал, что черт с ней, с Россией!.. Через пять лет у меня будет образцовый хутор, это та лепта, которую я дам России, потому что только труд и богатства спасут Россию. Но я никому не должен. Это две мои заповеди.

«Дмитрий Юрьевич встал, извинился, провел меня в комнату, где мне накрыли постель, и ушел спать. Всю ночь в парке вскрикивали совы, а к рассвету запел соловей.

«Еще до рассвета я вышла в парк. У края парка повстречалась Мария, в белом платочке, с лопатой.

«— Что вы? — сказала она смущенно. — Я тут копалась, сажаю фасоль. Только не говорите брату, — он хочет делать все сам, а у него не хватает сил. А у нас так много работы... — и она, некрасивая, хромая, уже старуха — так хорошо улыбнулась.

«И шла я обратно над Окою, полями, с мешком на плечах. Веял весенний благодатный ветер. Думала о том, что Росчиславский — хороший человек, нужный человек, и такой, которого создала революция, — революционной России нужный человек... — А пришла домой... — Владимир в трагической позе рвет волосы на голове: ушла, пропала корова!

«Как верно в «Крейцеровой сонате» Толстого, в том месте, где он рассказывает, — он, Позднышев, — о том, что были попреки, резкости, грубость, а потом, когда у обоих появляется потребность к половому акту, забываются эти грубость и попреки, и вечером муж и жена сходятся, целуются, забывают (забывают ли!?) о дрязгах, о мелочах, — с тем, чтобы наутро, когда страсть пройдет, опять не любить, не верить, попрекать. Толстой описывал пошлейшую обыкновеннейшую супружескую связь: стало быть, и у меня это? —

«Я пришла вчера из Расчислова. Дорогой я думала, что иду не домой, а на квартиру. Владимир встретил меня с растерянным лицом и сказал, что пропала корова, — «у нас несчастье!» Корову побежали искать. И мне стало жалко Владимира гораздо больше, чем корову. Я стала утешать. Это было каким-то внутренним примирением, корова нашлась, и я знала, что вечером у нас будет соитие, Владимир придет ко мне. Так и было.

Было все очень нежно, с нежными, ласковыми словами... —

«А сегодня, вот сейчас, примирение оборвалось. Началось с того, что мне Владимира стало жаль больше, чем корову, — кончилось тем, что Владимиру ножницы стали дороже меня. Я открывала шкаф и сломала кончик ножниц.

«— Не смей брать моих вещей! Я их только что купил, — не для тебя. Чертовка! Что ни возьмет, то сломает! Погоди, я еще разговаривать за это с тобой не буду!

«Откуда такой лексикон у человека, кончившего высшую школу? — И опять я квартирантка, на новую неделю.

«Что же, что? — Знаю, чем больше я буду уступать, тем больше на меня навалится. Сегодня была первая гроза в этом году. Пойду гулять по дождю.

«Нет, — не из Толстого и не по-толстовски. — Так жить нельзя!

«Была гроза, — я вышла за город и в овине пережидала дождь. Потом шла по лужам, сняв башмаки, домой. Дома никого не было. Муж вернулся поздно, умывался, потом в шкаф положил фунт масла, привезенный с практики. Вот, без Толстого, — та страшная ложь, когда два человека — два человека, прожившие много лет вместе, не могут — не могут найти слов, чтобы говорить правду друг другу, не могут сказать правды и лгут... Я очень спокойно складывала в чемоданчик, оставшийся у меня еще от курсов, мои и Глебовы рубашки; ножницы со сломанным концом (которыми я открывала шкаф, чтобы достать Владимиру носки) я отложила на видное место. Я заплакала, когда мне в руки попалась крестильная рубашка Глеба, вся в кружевах, — и Глеб спал тут же около меня, не успевший вымыться перед сном, с крошками хлеба у губ. Я долго смотрела в окно, — был зеленый вечер, и на площади в луже квакали после дождя лягушки, — площадь лежала, как при Николае I... Владимир не входил ко мне, сел и затих в кабинете. — Тогда я пошла к нему, мне все было ясно, во мне было негодование.

«Я вошла в кабинет и, входя, сказала:

«— Владимир, я пришла тебе сказать, что я ухожу от тебя.

«Он сидел на диване лицом к окну, — он подшивал подметку к своему туфлю. Он не двинулся и не повернулся ко мне.

«— Я решила уйти от тебя, навсегда — с Глебом, — сказала я.

«Он не шевельнулся.

«— Ты молчишь?

«Он стал во весь рост, сразу, шагнул ко мне. Крикнул:

«— Кто — *он?*

«— Как тебе не стыдно, Владимир!?

«— Кто он? кто он?! — слышишь, говори! — и Владимир засеменил на месте, левый глаз его сощурился, и неестественно-широко раскрылся правый, и рот скосился от боли, — я не знала, что он так не умеет владеть собой. — Кто он? Росчиславский? — ты у него ночевала!

«— Владимир, успокойся, ведь ты мужчина, — как тебе не стыдно. Давай говорить по-хорошему.

«Я протянула ему руку для рукопожатия, чтобы показать, что я хочу говорить с ним мирно: он поспешно ее взял, взглянул на нее удивленно и поспешно поцеловал — и вдруг бросил ее, так сильно, что я качнулась и хрустнуло плечо.

«— Кто он? кто он? — слышишь, говори, — проститутка, дрянь!.. — он хрустнул пальцами и заломил руки над головой, — тогда из его рук упала его туфля; он бросился к окну, растворил его, крикнул: — слышишь, говори, кто он? — иначе я брошусь в окно!..

«Из окна броситься нельзя было, потому что с аршинной высоты не бросаются, — я повернулась и вышла из кабинета. Настала тишина. И тогда я поняла, что единственное на этом свете, что я люблю — это Глеб, вот этот спящий ребенок, с крошками хлеба у рта. У меня нету места, чтобы быть тем брошенным кафтаном, о котором говорил Росчиславский, которого никто не тронул. Куда мне идти? где есть угол для меня?.. Я взяла спящего ребенка и чемоданчик в руки. За окном кричали лягушки».

ЗЕМЛЯНИКА В ИЮЛЕ, РАССКАЗ О БОЛЬШОЙ ЛЖИ. —

В июле на Петров день — и Петров день, конечно, *июньский* праздник! — на Щуровском заводе у инженера Юнга собрались гости, был детский спектакль, потом, на террасе, споры. Инженерский поселок лежал за заводом, в соснах, недалеко от Оки и Казанка. После ужина, за столом на террасе остались одни мужчины, спорили, — женщины и молодежь ушли в сад. Была белесая, июньски-мучительная ночь: бритые лица инженеров — в белесой мути стеклянной террасы — походили на черепа. Соловьи уже кончили петь, но свистала рядом в малине малиновка, а из ржи, когда за столом затихали, слышен был крик коростеля — «спать-пора». Свеча под стеклянным колпаком выгорела, на террасе было накурено, мужчины были в белом — и, потому что стекла делали краски неестественными, на террасе, на лицах, на людях были только две краски — черная и белая — и их варианты: серая, сероватая, серенькая.

Коростели кричали по-здоровому, призывая к доброму сну:

— Спать-пора! Спать-пора!

Из калитки, из садика вышли двое, Дмитрий Юрьевич Росчиславский и Елена Андреевна Осколкова. Они прошли дорогу ржами, свернули к Казанку. Светила в последней четверти луна, и Дмитрий Юрьевич показал при помощи прутика, как узнавать лунную фазу: надо прутик приставить к рогам месяца, и, если получится французское р — первая буква слова — premier, то стало быть — первая четверть луны, — если же получится q — quatre, то — четверть четвертая. Елена Андреевна посмотрела на луну, лицо ее было задумчиво, лицо ее было по-русски красиво, в глазах блеснул лунный свет, — и она задумчиво сказала:

— *Сейчас белые ночи. Пройдет эта луна, и ночи будут черными.* — И помолчала. — *Знаете, иногда в марте, в июле на востоке поднимается луна, красная, как раскаленное железо, — и тогда в этой луне с востока слит весь наш русский Восток, вся наша Азия.*

И эти слова наполнили Дмитрия Юрьевича поэзией, хорошей и настоящей, той, что открывает подлинные смыслы вещей. Он ощутил, что — да, ночи будут черны-

ми. Ржи шелестели, и на землю пала роса. У Казанка, на траве около дороги паслась лошадь и стоял воз с оглоблями в небо — какого-то русского пилигрима; костер у телеги потух. Они вошли в Казанок. Старый лес, обомшалые сосны — так простояли, быть может, столетье, но все же были пни в зеленом мху, зеленая луна светила сквозь ветви, луна была необходима. Была тишина, крутая, как мрак. Казалось, ни одна человеческая нога — не была здесь до них. Она села на пень, в белом платье. Он у ее ног разложил костер. Сухая можжуха затрещала, зашипела, посыпалась искрами. Мрак сразу стал черным, деревья придвинулись, переместились, луна оказалась ненужной, беспомощной. Елена сидела у костра, склонив голову. Он сваливал сучья в костер, исчезая за ними во мраке; когда костер полыхал, он садился около ее ног, голову прислонял к колену, — и так сидел неподвижно, пока не прогорал костер и луна не пробиралась вновь, зеленым холодком, — тогда он опять шел за хворостом. Дорогу сюда они немного сплетничали и говорили — о русской революции, — но здесь у костра они молчали. А когда потух костер, и вдруг стало ясно, что ночь проходит, что светает, что луна исчезла, и деревья — обомшалые сосны — строятся в денной порядок, — и Дмитрию Юрьевичу не было возможности подняться от огня, от ног Елены, — поднялась она и сказала, как надо говорить утром:

— Только у нас никогда не будет романа. Идемте. Ночь проходит.

Часть гостей уехала. На террасе еще спорили, но хозяин уже спал. От ужина остались только селедка и земляника. Ночь уже прошла. — Так пройдут эти белые ночи, пройдет луна, и ночи будут черные. —

Елена Андреевна осталась ночевать. День застал инженерский дом пустым, и она долго не поднималась. Петров день прошел, июньский праздник в июле. Деревенские девочки у террасы предлагали землянику. День был зноен и ясен. Елена пошла в Казанок, одна, в канаве у опушки росла земляника, лесная, крупная и сладкая, — но в лесу не было никакой таинственности, было прозрачно и ясно. Елена нашла пень, у которого жгли костер, и села на него, чтобы думать о той вели-

кой лжи и о том великом одиночестве, что судьба уделила ей. — Около пня в траве было много земляники, перезревшей, которую ночью не было видно. Когда Елена наклонялась за ней, от пепла, где был костер, пахло горько горелым, сгоревшим. Елена Андреевна пошла домой, в город, — во ржи нарвала сноп васильков.

Вечером закапал дождь.

А Росчиславский, в этот же вечер у Оки, лесом — подходил к монастырскому кладбищу. Закинув сапоги за спину, Росчиславский шел во мраке и мокроти, по глубочайшим колеям, от которых трещали ноги. В лесу было темно, моросил дождь, нехорошо кричали совы, изредка в сырой траве вспыхивали ивановские червячки. Потом пошло коростелевое поле, в последней четверти поднималась луна, чуть красноватая.

В монастырской сторожке, опять в лесу, светила лампа. Сестра Ольга принесла крынку молока и кошелку земляники, — хлеба не было. Свежее сено в сарае — лесное — тоже пахло земляникой.

Сестра Ольга вышла из избы, прошла в сарай, пробежала собака, кто-то свистнул во мраке — —

Дождь все капал . . . .

ГЛАВА О ПОСЛЕДНИХ ЛИКВИДАЦИЯХ, ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕПОМНЯЩЕГО, ОБ ИВАНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ, О МНОГОМ.

(Подзаголовков к этой главе может быть очень много: «О Коломенской статистике», — «Цифры», — «Осенние дела и разговоры», — «О Руси, Расее и России», — «О Лебедухе и Форсте», — «Смерть третьего Росчиславского», — «О том, что ноги не растут из подмышек», — и прочие, — «О Росчиславских враках».) — — . . . .
. . . .

...если вот здесь, из многоточий, над этой книгой и над этим повествованием, над Россией, над декабрьскими июлями русскими — с памирных высот и с большого мира — выплыть большому Человеку — поплыть фантастическим кораблем в Коломенские земли — над Россией, над буднями, над мелочами — —

— — ночь!

Ничего не видно. Пусты, пустынны, черны просторы. Город Зарайск смешался с Коломной, в Коломну впер, — Коломна накрыла Зарайск. — Ничего не видно. Не видно огней. — Человеку стоять и смотреть во мрак — — Человеку приехать к статистику Ивану Александровичу Непомнящему — —

— — осень — октябрь — —

— — кто в России не знает, как по осеням над всей Россией — в дождях, в ветре, в пурге, в стуже, в туманах, когда земля ограблена осенью, — мучает мрак! — треть России не знала в тот год никакого огня, треть России жгла лучину, — но и керосин — кто не знает, как сиротлив он, сумрачен, не в керосиновой ли зеленой лампе вся романтика и вся ущемленность столетья русской интеллигенции, тогда умиравшей?.. — У Ивана Александровича — лампадки и свечи, и он — усиками, шепотком — говорит:

— Вот, у соседа моего, у Кукшина, две недели горело электричество, — теперь, погасло, срезали провода (сказать — украли, — ни-ни!), — срезали, ножницами!.. Теперь Кукшин сидит во мраке, пока сам не срежет, — он хозяйственный человек! — —

осень — октябрь — день — —

день идет серый, бесцветный, мглистый. Небо в облаках, вот-вот пойдет дождь. Деревья в лесах стоят голы и неподвижны, сосны мокры. Поля лежат сиротами. Город — сер, серый, сырой. Село Расчислово иному в версту, а иному — в пять. На горе, где церковь, — пустая школа, окно, где живет учительница, заткнуто тряпкой, — утро. А напротив школы пятистенная изба начетчика Челканова, старообрядца-беспоповца: и в чистой половине, где вся стена в образах, расставлены тесно длинные столы, крашенные охрой, — за столами такие же скамьи, и на скамьях — детишки, только мальчики, — девочек начетчик не берет. Начетчик — в коричневом сюртуке до щиколоток, с красным шарфом на шее, в белых валенках, с очками не на носу, а на лбу — стоит под образами и говорит:

— Аз!

И детишки повторяют:

— Аз! — —

За овражками, в усадьбе ходит — бегает из угла в угол Дмитрий Юрьевич Росчиславский, сыпет махоркой: у него с утра необыкновенные мысли — он не видит нищей комнаты — он грезит наяву, — он — гражданин России. За окнами — к окнам склонилась одичавшая сирень, там дальше вишенник, торчат три сосны — — Расчислово — иному в версту, а иному — в пять.

Город — сер, и надписан над городом — телячий хвост вверх ногами, комбинация невозможная. Идет утро, и сумрачен доктор Осколков, и торжествует бывший член суда Керкович[1]. (На площади за всероссийски-гоголевской лужей, в доме Старковых до революции жил акцизный чиновник Керкович, брат члена суда, он ушел на войну еще в четырнадцатом году. Он приехал, в чине инспектора рабкрина, забрать свои вещи, — и выяснилось, что еще в восемнадцатом году, когда национализировали дом, были забраны его вещи как бесхозяйные. Инспектор рабкрина в архивах коммунхоза разыскал списки и стал собирать свои вещи: оказалось, что шубу уисполком передал доктору Осколкову; — доктора Осколкова пригласили в уисполком и предложили сдать шубу в двадцать четыре часа. Инспектор Керкович нашел и свои ковры, ковры были с фигурами людей, испанцев, больших размеров, и в клубе комсомола найдены были половины ковров с ногами, — половины же ковров с головами были найдены на квартире военкома) — —

День идет серый, безветренный, мглистый. Вот-вот падет дождь.

Коломна лежит кремлевскими развалинами, разваленными белыми домищами за волкодавами ворот, где некогда крупитчатые жили люди в песнях сквозь сон, за пятью монастырями в двадцати семи церквах, колымные, как коломенская пастила, сладкие. Церкви стали теперь, как гнилые клыки во рту, и нет уже рассуждения о том, откуда и как пошло слово *Коломна*? От того ли, что кольями били здесь много... День сер, все мокро, облака цепляют за колокольни, и полдни кажутся сумерками —

---

[1] Смотри — о Зарайске-городе.

— — и тогда приходит ночь.

— — И ночь.

Иван Александрович Непомнящий — статистик. Главный герой повести. Место жительства, и старчества, и смерти: город Коломна, в Гончарах. За всю жизнь (после окончания университета) выезжал из Коломны только дважды — за мукой — в Нурлат, в Казанскую, и в Кустаревку, в Тамбовскую, — это было в голод, в 1919 и 20-м годах, когда люди в Коломне ели овес и конятник, лошадиный корм. Чтобы дать характеристику Ивана Александровича, надо описать его вещи, — сам же он — маленький, сухенький, говорить ему шепотом, голову держать в плечах, горбиться, ходить в женской шали, чай любить с малиновым вареньем, — у Ивана Александровича — очки на носу, без очков он не видит, очками всегда вперед, волосы черные ершиком, борода не уродилась; — усики на бледной губе — очень тонкие, очень юркие, — заменили глаза, вместо глаз рассказывали как настроен, что думает, над чем смеется Иван Александрович. — И вот дом: — в доме лежанка в кафелях с ягнятками и в кораблях, у лежанки лампадка (чтоб закуривать от нее не вставая самокрутные папиросы толщиною в палец, — ибо за всю жизнь Иван Александрович не мог научиться, пальцы не слушались, скручивать папиросы; — и кстати, о руках: руки у Ивана Александровича были лягушечьи) — у лежанки лампадка, на лежанке — книжка (очередная), лоскутки бумаги, шаль, валенки, подушка и — Иван Александрович Непомнящий, в шали и в валенках, за книжкой; у лежанки — по времени — или только лампадка (тогда очки над лампадкой), или лампа горит (тогда Иван Александрович пишет «Статистику»), или день, очень светло от окошек, и окошки тоже по времени — или в зелени летнего садика, или в инейных хвощах на стеклах (тогда очень тепло на лежанке); и кроме лежанки в комнате — книги, только русские книги (ни одного чужого языка Иван Александрович не знал), странные книги — старинные книги: — одна стена — осьнадцатый русский век, другая — первая четверть девятнадцатого, в ящиках и на полочках — рукописные книги; книги теперешние — в других комнатах, в коридоре, в сарае, на чердаке, кипами, пачками, связками, за нумерами и в

пыли — теми, теперешними книгами заведывала Марья Ивановна, тоже статистик, жена, мать и кормилица Ивана Александровича, у нее хранился и список этих книг, и в комнате ее, куда никто не допускался, хранилась и двуспальная кровать (Марья Ивановна была на двадцать лет моложе Ивана Александровича, и была втрое больше его, безотносительно огромная, кустодиевских качеств женщина, — но была она покойна и румяна, как всячески сытая женщина). Перед домом Ивана Александровича дорожку всегда расчищала Марья Ивановна, — но Иван Александрович не любил выходить из дома. Иван Александрович не любил — ни травы, ни поле, ни солнце. Все книги, что были у него, Иван Александрович — знал, — он говорил — со своей лежанки, глаза за очками, только по усикам узнаешь, шутит ли, насмехается ли? — говорил шепотом, и все, кто приходили, тоже шептали, — только Марья Ивановна спокойным басом спрашивала, на вы, — что хочет Иван Александрович — чаю ль покушать, картошки ль? — и где он ляжет сегодня на ночь, то есть где поставить на ночь лампадку, кувшин с кипяченой водою, и не охладить ли двуспальное логово? — — Перед лежанкой, собственно, под оконцами (ибо комната была малюсенькой, не любил Иван Александрович пространства), стоял стол — рабочий стол — Ивана Александровича, он был завален табаком, недогоревшими его самокрутками, пылью (Марья Ивановна — чистота — не допускалась сюда), лоскутками бумаги, здесь стояли в баночках всех цветов чернила, лежала навсегда раскрытая готовальня, лежала «Книга Живота Моего, Непомнящего», лежала бумага всех сортов, покоились пятна всех цветов чернил, и от пирожков, и кругов от чашки, и от дыма, — и отсюда возникали — аккуратности поразительнейшей и чистоты — диаграммы всяческих красок и размеров и всяческие статистические таблицы — — Ни годы, ни революция не изменили у Ивана Александровича его манеры жить и думать.

Иван Александрович Непомнящий — во время действия повести — не умер, проздравствовал точно таким же, каким был до повести. И не он, в сущности, герой повести, а его «Книга Живота Моего, Непомнящего», его записи и статистические выкладки. Персонально

он не участвовал в повести, но многие хотели бы его придушить, даже своими руками, — если было бы за что его придушить, — но он ничего не делал, и его не за что было душить. Он со всем был согласен и всему подчинялся — и *ничего* не делал, кроме статистических своих таблиц — —

— — и ночь — — и к ночи пошел туман и дождь, ночь стала черной, сырой, зашарил ветер во мраке, в сиротстве — многое развеивал ветер по обшаренной земле. Каждый, кто был в российских селах и весях, знает тоску керосиновой лампы: нация русских — лучшее — как керосиновый свет, — но много лучин, но много и совсем бессветья, — керосин мутен и чадит, когда выгорает, и коптит, когда горит сильнее, чем надо; лучина всегда коптит, и ломит голову от лучины — от углекислоты, — а бессветье — ночи без света — —

— — керосин никогда не ярок, красноват, почти такой, при котором можно держать открытыми бромисто-серебряные негативы! —

Маленькому, сухонькому Ивану Александровичу говорить шепотком, голову держать в плечах, ходить в женской шали. Иван Александрович — как Россия, за Россию. Иван Александрович спрыгнул с лежанки. На столе, на лежанке, под образами (от образов закуривает Иван Александрович) — лампады горят и свечи. — У стола сел Лебедуха. В кресло сел инженер Форст. И — маятником по комнате — Дмитрий Росчиславский: лейденовской банкой, индуктируя Лебедуху, комнату, ночь, даже себя. — В кресле — добродетелью — села Марья Ивановна. У двери, у притолоки неизвестный.

И говорит Дмитрий Росчиславский, — потому что он русский, — словами анархиста Андрея с монастырского кладбища — чтобы говорить за себя, за Форста, за Кузьму Козаурова, за человечество:

— Мы все сейчас думаем только о революции, только от революции. — Утверждаю, что Россия, страна историческая, была и есть уже много сотен лет, и кончится не сегодняшним днем. Россия растет — как река, ее путями. Человек двадцать девять дней в месяц работает и день пьянствует, в пьянстве — ему море по колено, — но

трудится и создает свой быт, свое право на жизнь он в будни. У государства тоже есть свои будни и пьяные дни, — пьяные дни — это революции. Пьянство родит будни, будни родят пьянство. Россия пьянствовала пять лет, — прекрасные годы! Теперь она идет в будни, революция кончается. Надо сделать подсчет всех морей, кои нам по колено. И утверждаю — не революции и не революционный городовой несут счастье. Самое страшное — обыватель. Сейчас, что бы ни делала революция, Россия и человечество, — две трети всего человечества должны быть заняты тупейшим делом землепашества, чтобы прокормить остальную треть, — их труд убог, ибо он дает излишку, только одну треть, — две трети человечества ковыряют землю, живут со скотом и зависят от стихий природы, — и вся плодородящая земля тратится, чтобы на ней росла картошка и рожь, и корм для свиней. И вот пришел человек ученый, гений, он вооружен всем, что дала культура, — и он изобретает, как механически, фабричным путем прокормить человечество, — картошку, хлеб и мясо, белки, углеводы и жиры будут делать на заводе, он построит маленький заводишко, куда придут пролетарии!.. — и две трети человечества освободятся от крепости к земле, освободятся две трети человеческого труда, человечество получит досуг, освобожденный труд пойдет в города, он будет строить, творить, создавать, он найдет себе путь: но освободятся еще квадрильоны десятин земли, на них возрастут леса, сады, — будет невиданная в мире революция, которая перестроит государство, мораль, труд, освободит, раскрепостит труд, создаст такое, что мы не можем представить. Освобожденный труд пророет каналы, высушит моря, сравняет горы, кинет весть о себе на Марс. Это создадут — гений, культура и пролетарий. Человечество зимами мерзнет у полярных кругов, — будут созданы резервуары, в которых будет храниться тепло, и тепло одной Сахары отопит весь земной шар. Но это не все. Половина человеческой жизни уходит на отдых и сон, — создадут химические заводы, и человечество освободится от сна, — и опять новый освобожденный труд. И это создадут знанье и пролетарий. — Весь земной шар будет садом, ибо не будет пахотных полей. Лошадь, коро-

ва и свинья будут только в музеях, ибо их уничтожит машина. Россия первая крикнула клич пролетарию и пролетариям мира, в этом величье нашей революции. Это Метафизика пролетария. И я — с машинниками-коммунистами.

Дмитрий Юрьевич Росчиславский — русский дворянин — лейденовской банкой. Дмитрий Юрьевич Росчиславский — гражданин России, фантаст России — не керосином — свечой Яблочкова, — он редко бреется, он трудится больше чем следует, — лицо его в волосах белых, как лен, бледно, как лен, очень немощно, — и ноги у него подогнуты, как у опоенной лошади. — И вот у лица его вырастают очки и усики Ивана Александровича; — на столе, у лежанки, у образов — лампады и свечи.

И тогда Ивану Александровичу — шепотком, усиками — руки у Ивана Александровича, как лягушечьи лапы — Ивану Александровичу вытащить «Книгу Живота Моего»: — «тише, тише, повремените минутку, — найду, вот на этой странице»... —

— Человеческий гений? — говорите, Дмитрий Юрьевич? — Да-да! Вот-вот. — А я, знаете ли, с Русью, с Россией-матушкой, — я за Россию! — Революция, говорите? — вот-вот. В Коломне кремль старый, Русь да Поочье... Откуда бы это знахарям браться, бабкам, ведунам? — а вот, есть, доктора жалуются: очень много развелось. На знахарях остановимся на минутку: их статистикой не уловишь, — а вот живут, под городом, в городе тоже есть, под заводом, — так вот одни из села в университет, а другие из университета в знахари; и знают знахари, что пятьсот лет тому знали, — так вот пятисотлетие и уперлось в наши дни, нехорошо! — Да-да. Впрочем, помолчу. Пусть цифры говорят, простите, не по порядку.

— — очки, усики, лампадный свет, лежанка, — и огромная книга лежит на столе, закрыла стол — «Книга Живота Моего» — чтобы не перелистать ее — —

— Вот, прочтите, глазами прочтите, — взято мною из книги: «Обзор деятельности Коломенского уездного Исполнительного Комитета и его отделов к 14-му уездному Съезду Советов», — вот, глазами прочтите, —

да-да, парк Запрудский огорожен, на странице 131, — «Благоустройство города», — колючей проволокой огородили, сам штаны разорвал и ногу поранил, — прогуляться ходил, — простите, отвлекаюсь, — вот прочтите глазами:

«Ассенизационный обоз, в разделе «Коммунальное хозяйство», стр. 134. —

«С самого начала года, ввиду все повышающейся заработной платы и стоимости фуража, давал такие убытки, что содержать его значило бы убивать на него и так скудные средства Коммунотдела, поэтому предположено было сдать его в аренду. Находились арендаторы из частных лиц, но по договоренности с Исправдомом обоз был передан туда в количестве 8 запряжек с фуражом, и, как такового, его с 1 мая не существует».

«Похоронная секция (стр. 134).

«На самоокупаемости. В распоряжении ее находится кладбище, где занят 1 человек распределением могил, и гробовая лавка, которая сдана в аренду на условиях предоставления Коммунальному Отделу из его материала 20 гробов в месяц. Секция дает небольшую прибыль».

— — очки, усики, лампадный свет, книжища огромная, вырезки в книге из «Обзора деятельности» — —

«В разделе *«Сельское хозяйство»*, главе, *о ветеринарии,* стр. 81.

«За истекший год в уезде эпизоотий не было. Были только отдельные вспышки сибирской язвы... С середины лета на лошадях в волостях, расположенных на берегу Оки и в других частях уезда, появился цереброспинальный менингит, от которого погибло около 60 лошадей... — — При появлении сибирской язвы в некоторых пунктах уезда ветеринарный персонал забил тревогу и сделал обследование во всех селениях скотских могильников. Оказалось, что в большинстве случаев эти могильники совершенно исчезли...»

«В главе *о животноводстве*, стр. 78.

«Общее мнение, что текущий год остановил вынужденное сокращение скота за отсутствием корма, вместе с тем прекратил падеж скота от бескормицы. Но и это не есть еще благополучие, ибо состав стада еще носит

отпечаток тяжелых годов, и стаду требуется абсолютный ремонт с привлечением сильных производителей. При громадном сокращении размера скотоводства по всей Республике...»

— — очки, усики — —

— Вот еще, прочтите своими глазами, — да, забыл: на конских могильниках конские черепа валяются, знахарей излюбленное место. Простите, перебиваю себя. Да, вот:

«Раздел X, *«Дорожное дело»*, стр. 132, —1) Составлена подробная смета на ремонт уездных мостов и план работ; 2) Получение из центра денег и организация работ по ремонту шоссейных мостов; 3) Получено разрешение на заготовку леса для ремонта мостов проселочных дорог».

— Стиль-то, стиль-то какой!.. Да-да. Но это ведь и все о дорожном деле, больше ни строчки, даже на бумаге. А вот доктор Брушлинский пишет в книге «Коломенский уезд», в статье о народном здравоохранении на странице 52-й:

«...не следует забывать... — это наше бездорожье, безмостовье: в весеннюю и осеннюю распутицу целые районы бывают отрезаны от медицинских пунктов, и населению волей-неволей приходится прибегать к бабкам, знахарям и т. п. из-за невозможнос... — —»

Опять знахари!.. Простите, я все отрываюсь... простите, я помолчу, пусть цифры, циферки, цифирьки!.. хе-хе! —

— — очки, усики — —

— Ну вот по здравоохранению, у нас тиф — национальная болезнь. Это вот те, что побывали в больницах, — что померли от знахарей — не в счет...

Количество болевших человек	Тиф сыпной	Возвратный	Брюшной	Итого болевших тифом
1914 год . .	98	14	145	257
1920» . . .	3 732	1 212	417	5 361

— — очки, усики, книжища — —

— Да-да, забыл! Надо начать с количества населения. Климат, почвы, лесистость, орошение — опус-

тим, — у нас человеческая революция. Коломенский уезд, простите, несмотря на знахарей, — считается промышленным уездом, фабрично-заводским. Так вот — население. В 1917 г. было — сто сорок тысяч душ, в 1920 — сто двенадцать: — двадцать без малого процентов, простите, слизнулось. У нас уезд промышленный — жили люди в Коломне, на Коломзаводе, на Озерской мануфактуре. На Коломзаводе жило в семнадцатом году — двадцать две тысячи душ, а в двадцатом осталось — девять. Вот таблица, прочтите глазами: —

Наименование населенных пунктов	1917 г.	1920 г.
Коломзавод	22 294	9 865
Коломна	20 732	11 022
Озера	14 509	6 875
Всего	57 535 (100%)	27 762 (48%)

— — очки перевязаны ниточкой, подклеены сургучиком, — усики — —

— У нас... да-да!.. А вот в деревнях, где леший, населения прибавилось: было восемьдесят три, стало восемьдесят пять тысяч душ... Да-да!.. у нас промышленный район, у нас революция рабочих, — у нас в семнадцатом году было за станками тридцать три тысячи рабочих, а в 1920-м — осталось — одиннадцать. На Коломзаводе работало пятнадцать, — осталось шесть, да-да... Мехартзавод в Бачманове имел четыре с половиной тысячи — осталось тысяча сто. В Озерах на фабрике Арацкого в 1914 году было тысяча сто пятьдесят восемь людей — к двадцатому осталось сто восемнадцать, и фабрика стоит. Статистика — сухая наука, как немец, — в Коломенском уезде было 49 крупных предприятий, — действуют из них (сказано, как) — 13, бездействуют — 18, полуразрушены — 5, ликвидированы — 18. Из восьми бумаготкацких фабрик, где работали одиннадцать тысяч человек, к двадцатому году остались — 2, с тысячью семистами рабочих. Было 5 шелкообрабатывающих фабрик, на них работали две тысячи двести человек, — к двадцатому году все фабрики стали. Из десяти цементных и кирпичных заводов, где работали тысяча восемьсот рабочих, — 5 без-

действуют, 3 полуразрушены. Химические два завода — ликвидированы... Да-да, извините, — так!.. В двадцатом году все обязаны были работать, все были прикреплены к заводам и фабрикам, — совершенно непонятно... Коломзавод — гигант, хрипит, дымит, потому что он стальной, тут все шутили, что он вырабатывает три вещи — паровозы типа Малет, зажигалки и лемехи для сох... Вот-с, посмотрите табличку, как работают заготовочные цеха...

— — очки, усики, зачадили лампадки — —

Годы	Паковка в пуд.	Чугунное литье в пуд.	Медное литье в пуд.	Стальное литье в пуд.
1913	532 021	400 838	27 705	417 016
1920	61 299	65 469	8 876	74 006

— — очки, усики, зачадили лампадки — —

— Итого в девятьсот тринадцатом — миллион триста семьдесят семь тысяч пудов, а в 20-м — двести девять, — простите, какой это процентишко выйдет?.. — Да-да! Вот-вот, — извините, я все отвлекаюсь... Вот еще одна цифирка. Рабочих в рабочих, городских поселках — 57%, а совчиновников — 17, — да-да, — вот по одному чиновнику на трех рабочих, многовато, — а в деревнях — два, две сотых процента, учителей, врачей, агрономов, членов исполкома, — маловато, да, очень маловато!.. Революция была, конечно, городская, да-да, вот, знаете ли... Вот, знахарей никак не обойдешь, — и пашут у нас Сохой Андревной, Бороною Ивановной боронят, на трех полях, по-знахарьему, — у меня цифры: борон железных только четыре, шесть сотых процентишки, остальное мать-береза... Вот конские могильники, прочитали мы, поисчезли, да-да, — но и пахотные земли тоже поисчезли: в восемьдесят седьмом году сеяли пятьдесят семь тысяч десятин, 100%, — в революцию народ назад на землю пошел, — в семнадцатом году засеяли двадцать шесть тысяч, 45%, — а в двадцатом: — еще тысчонку сбавили, только сорок три процентишки... Крестьянских хозяйств у нас семнадцать тысяч, — землю помещичью всю поделили, — а тысяча хозяйств и по сие время ходит безземельной, — безлошадных крестьянских хозяйств у нас — сорок без одного процентов, да!.. На одного крестьянского едока ржи приходится —

восемь с половиною пудов, картохи — одиннадцать пудишек, гречи — двадцать фунтов!.. — хватит этого едоку, ну, хорошо, на полгода, а тут и обуться надо... Вы простите меня, я все отвлекаюсь... О знаньи, о знаньи заботиться надо, — а вот школы в городах и по селам — стекла вставить, крыши покрыть, полы перебрать, двери навесить, капитальный ремонт, — старые школы — пятьдесят из сотни надо чинить, — а тридцать два мужика из сотни, а пятьдесят три бабы из сотни — и по сейчас не грамотны, вместо фамилии крестики ставят, — и четверть наших в городах и деревнях мальчишек и девчонок, им бы учиться, в школу бегать, от одиннадцати до пятнадцати годишек, — нигде не учатся, негде им учиться, — бегают везде, кроме школы, либо без валенок на печи лежат, — этак по уезду тысяч пять душ... Будут потом крестики ставить!.. Да-да, извините, задерживаюсь!.. Вот, прочтите, или вот еще: трактиров и гостиниц в Коломне было 37, постоялых дворов — 31, питейных заведений — 17, винных складов и ренсковых погребов — 11, магазинов и лавок — 447, — в двадцатом году: торговли — никакой, вместо торговли — мешочничество, вместо питий — самогон. На базарной площади от Екатерины ряды стоят, округ Кремля, — так и стоят мертвые; на площади рундуки, ларьки стояли — их на топливо растащили, остались ямы, — вот в «Обзоре» в отчете Коммунхоза, в разделе IV «Благоустройство города», — прочтите:

> «... 5) Произведена частичная завалка ям на площади, и очищен тротуар у бывш. Трехгорного завода» —

— — очки, усики, — и вдруг слышно стало, как осенний ветер зашарил по крыше, хлопнул калиткой, прошумел железом, лампады чадили мирно, — встала из кресла Марья Ивановна — добродетель, — чтобы оправить лампадки — —

— Простите, вот прочтите — вид торговли:

РСФСР
Жилищный Подъотдел
при
Отделе Городского Хозяйства Коломенск.
Уисполкома Сов. Р. и К. Деп.

Гражданину Вагаю (вместо Вогау).

К продаже двух кроватий железных, одного буфета, одного письменного стола, одного книжного шкафа, двух этажерок, шести венских стульев со стороны Жилищного Подъотдела препятствий не встречается. Печать.

За Заведующий Подъотделом — —
Секретарь — —

РСФСР
Отдел Здравоохранения
Коломенск. Уисполкома
Сов. Р. и К. Деп.

В Продовольственный Отдел.

Отдел Здравоохранения просит отпустить врачу Городской бывш. Земской Больницы М. А. Соколовой керосину на две горелки 10 и 14 лин. для Профессиональных работ.

Заведующий Отделом — —
Врач Бюро — —
Секретарь — —

— — очки, усики, ветер над домом, лампадки — —

И вот Иван Александрович бежит от «Книги Живота» — в темный угол к книгам, стал там в углу, ручки спрятал назад, откинул голову к книгам, замер, — замолчал. Тишина. Ветер. —

— Что же, говорите, Непомнящий, — это Лебедуха.

— Да-да, извините!.. Я, знаете ли, — с Россией, я за Россию, я — как Россия! Цифры — они тоже бескровные. Вы извините меня: на войны и революции Россия ответила — как я, цифрами, двадцатым годом, Волгой, да-да, извините! Я понимаю, что говорит Дмитрий Юрьевич, да, правильно, да-да!.. Но, извините, Дмитрий Юрьевич как-то обмолвился, что из подмышек ноги не растут, они растут откуда следует... Я за... за Россию!

— Ну, и что же делать? — это Лебедуха, хмуро.

Но Иван Александрович не ответил, — увидели: там, у книг вдруг задергался рот Ивана Александровича, оскалились зубы, исчезли над поднятой губою усики, — *от книг смотрел волк*, — Иван Александрович упал на пол, под полку с книгами, в припадке падучей,

забился, задергался, изо рта пошла белая пена. И тогда, заслонив лампады, комнату, людей, — склонилась над Иваном Александровичем *всяческими своими качествами Марья Ивановна* — —

Люди вышли из дома Ивана Александровича Непомнящего — —

— — Ночь. Ничего не видно, ветер шарит, ворует, крадет. — Коломна легла во мраке, дожде, ветре... — —

...если душу инженера Форста уподобить жилету — его вязаному, теплому, коричневому жилету, — то в самом главном кармане, рядом лежат: человек и труд, — Человек — с большой буквы, — который закинул свою мысль в междупланетные пространства, который построил дизель, — который разложил мир даже не на семьдесят два элемента по Менделееву, но разложил и азот, — который вкопал свою романтику во времена до Египта, до Ассирии, до Иудеи. — Кроме жилета у Форста была нерусская трубка, и — от нее лицо казалось — лицом морехода. Он говорил абсолютно правильно по-русски, академически правильно, как не говорят русские. — Он многое помнил за эти годы, которые были, как солдатская шинель. — Тогда, в октябре, когда национализировали завод, стреляли, выбирали завкомы, когда вся Россия стянула гашник и замерла — серыми октябрьскими днями — к победе, — он, инженер Форст, бегал по заводу и все доказывал, — что: — «пожалуйста, будьте добры, делайте все, что надо, как вы хотите, будьте любезны, но заводу нужно семьсот тысяч пудов нефти, а навигация закрывается, без нефти завод станет», — и он добывал и добыл нефть семьсот тысяч пудов, тогда в октябре, под пушки и пулеметный огонь. — Это будни. — Он помнит, как наступали белые, как шли поезда, волоклись люди и лошади, серые, как шинель, с пушками, повозками, обозами, винтовками, бомбами, — шли умирать геройствуя, но на заводе тогда шли — сплошные митинги и было такое — — директор сидел у себя в кабинете, на заводе, над несуществующей производственной программой, около Форста всегда была бодрость, и в кабинете был бодрый зимний день, и в печке в тепле потрескивали

полена, — и к нему прибежал секретарь завкома, красный точно с банного полка, — прибежал с митинга.

— Постановили, Гуго Оттович. Коммунисты.

— Что постановили?

— Постановили коммунисты: всем вооружаться, а придут белые, кого первых потребуют? — большевиков, — всех нас перевешают.

И Гуго Оттович ответил, как полководец:

— Не волнуйтесь, товарищ, — если придут белые, они вначале потребуют инженера. Я приду. Меня спросят: — «Как работает завод?» — и я отвечу: — «На моем заводе все отлично, завод работает прекрасно». И вас не будут вешать.

И председатель завкома сказал, сваливая гору:

— Ну, когда так, Гуго Оттович — — Спасибо вам, Гуго Оттович, среди грязи нас не оставили —

Но и это будни. Инженер Форст любит вспоминать другое, — он знает, что в главном его жилетном кармане души лежат — человек и труд; он — не политик, инженер Форст, он помнит — —

— — конечно, машина больше Бога строит мир, — но весь мир на крови, — и что кровь машины, — и кто такой пролетарий? — Надо пройти на завод через заводские ворота. Ты отрезан от мира забором, торчащим в тоску. И — вот где-то в турбинной, где динамо (на каждый десяток пришедших один гибнет, волей своей бросаясь в маховик, вращеньем своим манящий, гипнотизирующий, обезволивающий в смерть, как взгляд удава), — человек поворачивает рычаг, и весь завод вздрагивает и живет. И тот, кто поймет оторванность от цветов, и полей, и пахаря, кто почует сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, и победит волю в смерть под маховиком, кто — растворив — претворит это в себе, — тот: **пролетарий**. Этот, принесший в мир машину, которая стала сильнее его воли, — черный, в копоти, в масле, — если будет знать о звездочетах и алхимиках, поймет, что он их брат, ибо у машины, как у Бога, нет крови и машина победит мир, — только машина — —

Новые птицы новой политики, двадцать второй год, конец двадцать первого, — пришли в города, в Росчиславскую волость, на заводы, к коммунистам из сел —

под жутким названием-определением *шапочного разбора*, складай, дескать, удочки! — Заводы останавливались, ибо не было топлива, сырья и спроса, завод заносило снегом. И это Форст гордился пленарным волостным съездом советов — —

Январь, мели метели, дни прибывали, вырастали из ночей. Инженер Форст прошел мимо елочек, щеткой разметивших небо, спустился в овражек, карьером поднялся на холм к соснам — в поселок. Был мороз, день был ярок, светило солнце, бодрое и такое, точно оно в ледяных сосульках, в диком малиннике, в соснах кричали бодро синички. Воздух был бодр, черств, деловит, как инженер Форст. — В театре зашипел гул толпы, и первыми запахами, которые поразили инженера Форста, были запахи махорки и овчины. От махорки и овчины в театре казалось темно. Потом Форст разобрал козьи бороды, лошадиные хвосты, кроличьи курдючки — мужичьих бород, — треухи, папахи, шлыки, пиджаки, гимнастерки, полушубки — мужиков, сидящих на полу и скамьях, стоящих в дверях и на окнах, сваленных, смятых грудой Руси. На сцене сидел президиум — член волисполкома. Член президиума говорил очень громко, и неуверенно, и бестолково:

— У нас теперь, товарищи, новая экономическая политика, — политика у нас теперь: — слышь, — *экономическая!* И правда, товарищи, на что нам мельницы и парикмахерские, а также квасные заводы?! — Пусть их обрабатывает предприниматель, — пущай разживается! Государство, товарищи, оставляет себе мощные заводы, а остальное отдает в аренду. Теперь будет аренда, а также хозяйственный расчет, товарищи, — то есть... — —

Но тут докладчика перебили с места. Давно уже те большевики, что делали Октябрь девятьсот семнадцатого года, разложились на большевиков и коммунистов; и большевики отошли от революции. Зал съезда слушал докладчика напряженно и злобно, — и вскочил с места прежний, семнадцатого года, большевик, сдернул треух с головы, помотал им, оглядел собрание победно, мотнул козьей бородкой и заорал:

— И что же мы видим, граждинины?! — И выходит, граждинины, что приходится делать третью революцию! — И выходит, что опять хозяйственный расчет, то

есть гони монету хозяину! И политика теперь — *економическая*, — стало-ть за все деньги, вроде как барские экономии, и — вы слышали, граждинины, что сказывают из президиума, — опять помещики будут сдавать землю в аренду!

Из президиума докладчик — перекричал:

— Помещиков — нету, про помещиков в газетах не писано, товарищи! Государство будет сдавать в аренду, а не помещики!

— Вот и говорю, — ответил треух, — и вот и говорю, граждинины, и надо третью революцию, и за помещиков стали коммунисты, — товарищи! И мы предлагаем резолюцию — —

Тогда заревел зал, задвигался, пополз, насел к рампе, поползли хвосты, козьи бороды, курдюки, лисьи, козьи, рыбьи глаза, треснула перегородка к музыкантам, слова полетели, как галки на пожаре:

— Будя! — долой!

— Помещиков не желам!

— Долой хозяйский расчет!

— Долой барскии економии! —

Из президиума председатель, треща звонком, орал:

— Товарищи, рабочие и крестьяне! Военный коммунизм кончился! Народная власть не может на штыках!.. Товарищи, рабочие и крестьяне! Вся власть ваша! Черти! давайте по порядку!

Кто-то провизжал:

— Штыкии!? Стрелять будитии??! — Пали!! Стреляй! — —

Вновь затрещали парты, полетели в воздух шапки, кулаки и матерщина.

Около Форста стоял мужичок, чахоточный и добрый, — он говорил тихо, ибо за гамом только и слышен был тихий разговор:

— Э-эх, Гуг Отыч, и по правде выходить, надо по-божьи, бязо всякой, то есть, значит, власти, кто как можить, зато как разум и совесть подсказывають, — бяз Москвы...

Инженер Форст никогда не был политиком — инженер Форст в главном кармане души своей носил память о машинах, труде и человеке — инженер Форст был попом при машине — инженер Форст не подумал,

что на съезде идет контрреволюция — инженер Форст понял, что машина ломается, — только.

И тогда инженер Форст на трибуне — первый раз в жизни — ирландская его трубка в зубах, — и он говорит очень негромко, потому что только негромкая речь и слышна:

— Граждане, получаются беспорядок и безделье. Граждане, вы не поняли сообщения докладывавшего. Позвольте дать мне разъяснение, причем я прошу президиум в тех местах, где я буду расходиться с ним во взглядах и объяснениях, останавливать меня, — а стало быть, до тех пор, пока президиум меня не остановит, я буду говорить от его имени.

Толпа осела назад, рядами расправились бороды, глаза и овчины. — Обыкновенно люди не могут восстановить, как они говорят, — и Форст помнит, что он начал с азбучного, объяснял, что значит слова — политика, экономический, почему новая экономическая политика называется *новой*, чем она разнится от старой, он не говорил о шапошном разборе. Президиум повеселел, оправился. Толпа оформилась. Форсту казалось, что он говорит азбучные вещи, необходимые, чтобы спасти Россию, — но человеку со стороны было ясно, что он, Форст, говорил толковую коммунистическую речь, — и только: — это было потому, что пути Форста тогда сошлись с путями Лебедухи.

Треух провопил с места:

— И вот, и так бы объясняли, — что значит ихая научность! А то — хозяйский расчет и аренда! — Правильно!

Толпа ощетинилась:

— Молчь!

— — и этот день Форст хорошо запомнил, — он наизусть запомнил резолюцию, — он помнил вечер, елочки и тот бодрый морозный воздух над снегами, кои были на обратном со съезда его пути. — Те дни были трудными днями. Форст жил и думал утрами — и еще по вечерам, за письменным столом, за книгами, в кабинете, — тогда нравились ему русские метели. Форст знал — труд. Но те дни были трудными днями — и всей России и русской власти. Форст искал людей, помощников, — и он знал, что на заводе есть только одни, кто поможет ему, у кого одна с ним воля — трудить-

ся: — коммунисты. — А вечерами, если были метели, Форст вспоминал —

— что кровь машины? —

Завод черен, завод в копоти, завод в саже, завод дымит небу. — Одно, одна машина, одна воля. Конечно, мистификация, — конечно, мистика, — и поп думает о том, как машина побеждает трудом мир. Поп понял оторванность от цветов, и полей, и пахаря, поп знает сиротство свое перед стихией машины, им же пущенной, — поп поборол волю в смерть под маховиком, —

— — ночь. Ничего не видно.

Ночью, в заполночь Дмитрий Росчиславский идет лесом, во мраке, в дожде, в холоде! — в старой солдатской шинельке, рукав в рукав, всунув голову в воротник. Холодно. Нехорошо. Мрак. Шумит лес. Бродят по лесу волки. Скользят ноги в грязи. Тяжело идти. — В съежившемся человечке — мысли — о человеческом гении, о новой земле, о новом человеке, о новой человеческой культуре. Но он русский — и культуры у него нет, и он идет не домой. Он пройдет лесом, в мокроте, по глубочайшим колеям, от которых трещат ноги. В лесу будут нехорошо кричать совы, — так он пройдет до монастырской сторожки, и там в сторожке, на полу, на соломе его примет сестра Ольга, дикая, исступленная, сумасшедшая, злая, страстная и обнаженная в страсти, как скотина. Монахиня — старуха будет спать на печке. Поросенок выбьется из закуты и будет обнюхивать лежащих на соломе. — Дмитрий Росчиславский прошел лес, прошел полем, спустился в овражек, к опушке, чтобы подняться вверх, — вышел на росчиславскую дорогу. Тут его повстречали двое, они шли, должно быть, своей дорогой. Они подошли к Росчиславскому вплотную, вгляделись в лицо.

— А, сука, все по нашим девкам шляешься? — почти мирно сказал Андрей Меринов.

Пронька, — казалось, нехотя — ударил Росчиславского по лицу дулом револьвера. Росчиславский качнулся, сел на землю, потом тихо повалился навзничь. Меринов и Пронька удивленно постояли, склонились над ним, Пронька потрогал Росчиславского, сказал удивленно и миролюбиво:

— Вот штука, кажись убил? А? — убил!..

Так убили Дмитрия Юрьевича Росчиславского — —

(— — а через недели: ночь, мороз, зима. —

В тот год страшное было конокрадство. Мужики на ночь оставляли лошадей, треножа им ноги замком и цепями. — Метели не было. В поле, должно быть, мела поземка, — лес шумел сиротливо, нехорошо — шипел. Комиссар артсклада раза два выходил слушать лесной шум, — это ведь он когда-то — на околице — слушал о разгильдяевских волках — тогда он понял одиночество, тоску, проклятье хлеба, проклятье дикой мужичьей жизни вперемежку с волками. — Метели не было, лес шумел.

Монахиня Ольга в полночь была в бане, молилась неистово. Из бани она вышла уже далеко за полночь, к петухам. Калитка к скотине была открыта, на снегу четко отпечатались грязные коровьи следы, — монахиня Ольга пошла к коровнику, замок был сломан, — и на монахиню Ольгу напало неистовство: остервенела, закричала, завизжала, разбудила всех, задубасила в окна, — побежала к комиссару арткладбища, схватила у него винтовку и горсть кассет. Косарев был пьян, он взял на себя командование, крикнул на Ольгу, чтоб молчала. Совещались на дворе. Анархист Семен Иванович, в подштанниках и валенках, был без маузера, — маузера давно уже не было у него. Косарев дал ему и Андрею винтовки. Косарев и Ольга с винтовками пошли по следам коровы, чтоб проследить. На арткладбище закладывали лошадь. И корову скоро нашли — она была привязана неподалеку от дороги к дереву, в овражке, где была дамба, плотинящая озеро. Решили засесть здесь, чтоб выследить, когда придут за коровой. Засели за дерево, на взгорке, и очень скоро к лесному шуму примешался скрип саней. По пути к монастырю выехали санки с двоими, проехали дамбу. Ольга не выждала, — прицелившись с колена, выстрелила по саням и охнула. Лошадь остановилась. Тогда Ольга выстрелила еще. Косарев обругал поматерному Ольгу и выстрелил сам. Тогда сани, круто взметнув лошадь на дыбы, повернулись обратно, помчались карьером, назад, наперерез побежали Семен Иванович и Андрей, — с саней бестолково выстрелили из револьвера, и Андрей упал. Но на дамбе был поворот и раскат, сани занесло, сани, людей и лошадь сорвало под отвес, лошадь побилась, побила ногами и упала на сани. Косарев и Ольга побежали к саням — от дамбы, бросив лошадь, тоже побежали, убегая, стрельнули два раза из револьвера.

Началось преследование. Так бежали шагах в трехстах друг от друга — до опушки. —

Случилось так, что в это время в лес собрался мужичок из соседней деревни, поворовать дров: бегущие впереди встретили мужика у опушки, мужика из саней выкинули, лошадь повернули, помчали на ней — по полю. К Косареву и Ольге пристал мужик с топором, потерявший лошадь, — побежали втроем, стали отставать. В монастыре услыхали стрельбу, артскладская лошадь приехала на выстрелы. Косарев, Ольга и мужик погнали на лошади: по свежим следам на поземке узнавали путь убегающих. —

Из Горской волости ехал в уездный исполком — на легких санках, на полукровке — предволисполком Штукин: убегающие выкинули его из саней, кинули мужикову лошадь, помчали; предволисполком закурил, поразмышлял, сел на мужикову лошадь и поехал своей дорогой; сейчас же встретили его преследующие: озверевший мужик, узнавший свою лошадь, бросился на него с топором, тот едва спасся. От монастыря примчали двое верхами — один на той лошади, которая свалилась с дамбы. Перепрягли всех лошадей, погнали верхом — Ольга, Косарев, мужик и предволисполком. Гнали версты четыре до нового леса, и тут нашли брошенную запаленную полукровку: убегающие, должно быть, минуты три назад, бросили лошадь и ушли в лес, без дороги. Погонщики побежали по следам. Лес был всего шагов в триста, — там под обрывом протекала Ока, за Окой было Расчислово. Двое — убегавших — были внизу, на льду. Они что-то кричали неистово. Ольга присела, выстрелила с колена, раз, два, три, — и один из бегущих упал, крик на льду смолк, — тогда завизжала, завопила, — ура-а-а! — монахиня Ольга.

На льду, лицом к небу, лежал продовольственный инспектор Герц. Около него возились — его товарищ Латрыгин, Косарев, мужик с топором. Выяснилось, что Герц и Латрыгин — охотники Степан и Павел — ехали в монастырь к матери Ольге — провести весело ночь. Корову увел кто-то другой. — И как тогда ночью в гостином доме, Ольга — черной кошкой — здесь на льду — склонилась над Герцем — —

— Помнила ли она Герца тогда в первую метель, в 1917 году, в октябре, в Москве?) — —

— — ночь. Ничего не видно. Ветер шарит, ворует, крадет. — Форст и Лебедуха идут рядом, вместе, во мра-

ке, по лужам, прошли мимо развалины кремля, вышли булыжинами мостовых к развалинам артиллерийских казарм, — оттуда вдалеке вспыхнули огни Коломзавода, — пошли к огням, полем, огороженным колючей проволокой, как указал отдел «благоустройства города».

— Что же — Россия? — говорит Лебедуха.

Форст ответил не сразу:

— Нам с вами по пути, Андрей Кузьмич.

— Да?

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию, — те ценности, которые консолидированы трудом и машиной! — Россия? — В семнадцатом веке фактической границей Московского государства была Московская губерния, Подмосковье, Поочье. Полагаю, и теперь так же. Дальше идет страна дикарей. В России сейчас есть только две силы — обыватель и коммунист. Кто победит? — Ясно, если победит обыватель, — Россия погибла. Но пришел НЭП. НЭП не есть ни коммунист, ни обыватель: НЭП реальный учет, НЭП есть то, когда государство поняло, что ноги не могут расти из подмышек, как говорит Росчиславский. НЭП есть будни, НЭП победил романтику пролетария, оставив ее ласточкой — миру. Кто из двух сил — коммунист или обыватель — возьмет НЭП, возмет — Россию? Россия по-прежнему безграмотна и голодает. Каков приход — таков и поп, — власть в России страшна — властвовать в России страшно. Но это — в вертикальном разрезе; в моментальной фотографии: в моментальной фотографии нет картины более ужасной, чем Россия. Но Россия живет — ни настоящим, ни прошлым — Россия живет будущим. Стало быть...

— Да?

— Только труд, только накопление ценностей спасут Россию; надо, чтобы Россия была громотной и сытой. Все остальное — пустяки.

— Ну, а ты, Гуго Оттович?

— Я? Мне — не с обывателем идти, — мне надо трудиться. Я делал все, что мог. Я останусь здесь, на заводе, работать. Сначала завод работал на нефти, потом мы пустили его на подмосковном угле, потом — на дровах, — теперь с весны он пойдет на торфу, — я применяю вращающиеся печи. — Ну, а вы, Андрей Кузьмич?

— Я? — Лебедуха ответил не сразу. — Ты правильно сказал: — Из подмышек ноги не вырастут. Но — и правд очень много, для каждого человека — своя, — из правд надо искать объективную правду. История — с нами, и власть у нас не цель, а средство. Власть — страшная сила. — Я? — я, кроме России, знаю еще — мир, пролетариев всех стран, попов и прислужников машины, как ты говоришь... Вон, ты говоришь, мы — второе, и научиться делать хлеб на заводе важнее, чем научиться делать революции. Что же, ляжем навозом хлебу с заводов. Для земного шара человек — даже не вошь...

Ночь. Мрак. — Только впереди огни завода. Двое идут вместе. И сзади к этим двоим подходит третий — Человек.

— Мне тоже по пути с вами, — говорит он — —

(Утром, когда погоня за Герцем вернулась к монастырю, и хватились коровы, — коровы не нашли: в лесу, на березке моталась веревка, кругом были кости, лежал череп рогами вниз. Корову задрали волки —)

...И идет рассвет. Ночь проходит. Рассвет идет серый и набухший, как парус на окском дощанике. Ока — просторы — пустынны, пусты, холодны. Одинокая прокричала на рассвете чайка. Волны, вода — серы, холодны. Пароход стоит под горой, у Щурова. И тогда с горы спускается автомобиль, черный и неуверенный на сером щебне, как жук-навозник, — и пароход оживает, шипит в воду белый пар, белый парок появляется у трубы, и пароход дерет свое нутро ревом, точно хочет разорваться, черные клубы дыма рвутся из трубы — в ветер, чтобы быть сейчас же разметанными. На конторке опять комиссары, капитан на мостике. — И тогда от тюков в рогоже идет поспешно женщина.

— Умоляю, — говорит — она, — мне надо сказать два слова...

И в стороне от людей она говорит поспешно:

— Я — Осколкова, жена врача. Я не могу больше! Возьмите меня с собой!.. Куда угодно, только отсюда!..

Пароход гудит вновь. Командует капитан.

— Отдай носовую-у! — Средний!

Пароход отшвартовывается, отворачивается от берега, идет вперед, вон из пустынь. Шипит вода, пароход идет в плеск воды, в речной холод. Подлинности подлинное, на сотни верст вымороченные села, волости и веси, уставшие, изгоревшие в бурьянах, мертвых путях, — позади. — Осколкова на палубе, в ветре, на носу. — Поздно уже, осень. Налево — горы, направо — пустые луга, уходящие в муть, сливающиеся с небом. Пароход идет упорно. И утро упорно и серо, как набухший в ветре и мокрый от дождя серый парус дощаника. — —

Назад. В Москву?

— В Москву — в Москву! —

. . . .

...Лет за десять до революции, декабрями, в переулках, кричали торговцы:

— Рязаань, ряаазааань-яблокооо! —

Слова мне — как монета нумизмату. Рязань-яблоко! — в декабрях, когда дни коротки и каждый день — как дом в переулочке, с печным огнем и длинным вечером у книг, — приносили антоновские яблоки, промороженные до костей и морозящие до лопаток, в яблоках тонкими иглами сверкали льдинки, яблоки казались *гнилыми* — и пахнули таким старым и крепким вином! — Там, в декабрях, — далеко от лета: и яблоки в декабре казались гнилыми, их страшно было коснуться! — и яблоки пахли древностями. —

Впрочем, не только в Рязани есть Казанская Божия Матерь и Спас-на-кладбище: в Москве на Лубянке — Гребенская Божия Матерь — и на Арбате — Успенье-на-могильцах, церкви поставлены Богу, звонницы смотрят в небо, — к небу звонят, — и так же пришел иной век, и купцы ставили пудовые свечи и говорили: «Извините, Бог, конечно, един и первый, но экономическая необходимость — вынуждают-с, касательно того, чтобы застроить, конечно, небоскребами!» — и ставили небоскребы, заслонявшие небо от церкви, зажабившие церкви в переулочки, — прекраснейшие церкви, памятники мистики, старины и культуры. — Рязань — яблоко! —

— Тра-трак-трак-тра! — автомобилья поступь.

Стар тракт Астраханский.

Рязанские земли — зарайские (у Христа за раем) прожрали зимы картошкой — — Двадцать первый год рассказал о голоде — — Голод. Не нашим большакам рассказывать о голоде, нужде и зное. Там, в хлебородной, в каком-нибудь Нурлате иль Курдюме, иль в Курячьих каких-нибудь Титьках — все погорело в тот год, дотла. Мужику нашему, как дикарь, — сла-вя-ни-ну! — решаться, решиться, решить: не впервой, чай, ходить по земле, кочевать, бегать, решать день, решать два, — всю жизнь гнувшему спину — без дела ходить, трогать землю, в небо смотреть, в степь смотреть, в избе на конике часами сидеть перед миской с коровьим пометом, — и решать, решиться, решить.

— Надоть... ехать... жена, — жене впервые сказать *жена*, а не сволочь, не сука, без зуботычины.

Сваливать в *беду* все имущество — два одевала, перину, икону, топор, — в день, перерезать, продать, променять — корову, теленка, овцу: — день работать, шею ломать, как всегда, как всю жизнь. А к вечеру (обязательно в ночь надо выехать!) — зайти *последний* раз в избу, взглянуть, как десятки лет, в красный угол — в пустой угол, не перекреститься даже, ибо угол пуст, — хлопнуть в раздумьи кнутовищем себя по колену. —

— Ну, что же... трогай, жена!.. — и самому идти рядом, тысячи верст, до могилы...-

Тысячи верст! не впервые нам — тысячам — растворяться в тысячах путин и верст.

Ша-ша! — Ночь! — Рязань-яблоко — вино дорог, где зной, как ж и пыль, как и.

(... Мое имя — Борис. В Москве, на Поварской, я играл в шахматы с итальянским художником, — и он спросил меня: — мое имя — Борис — не в честь ли русских разбойников? — «Каких разбойников?» — спросил я. — «У вас, у русских, был период истории, когда — по-русски княжили, кажется? — разбойники — Ярославы, Олеги, Ярополки, Борисы, Игори». — Первому Риму — Третий Рим: история каторжников. Как же понять им — Рязань-яблоко!?) — —

...Над Окою — небо. Под холмом — поемы. Холмы же в рытвинах, камнях и курганах, не то каменоломня,

не то поистине — город Ростиславль. Кто знает? — как в тысячелетье нашего трехполья — каждый год овсы заменяют гречи, потом идет пар и на пару сеют озимые, а за озимыми вновь овсы, так каждое столетье пересеваются леса: столетье шумит морем и плавится смолою сосновый лес, под ним растет чахлая елка, и еловые пилы столетьем чертят небо, осилив сосну, — и тогда возрастает береза, белая, наша, как девицы в семик, плетет венки, — и за березой идет пар земле, на столетье. — Над Окою небо и пары, холмы лысы, лишь под обрывами сосны. Над землею июль, пьяная маята мая прошла. И страшен — и странен — в тот двадцать первый год был июль, — ибо, как к сентябрю, опустели в голоде поля, ограбленные человеком, и кучами — поосеннему — собирались на пажитях грачи — в днях, как сентябрьский хрусталь, — но ведь спутали люди недели старыми и новыми числами, — и июль, как июнь тушил дни и сжигал ночи долгими *июньскими* зорями, когда надо обнять мир — и весь мир впереди.

Вот — там — был — город-Ростиславль: так зову его я. В книгах об этом я не читал. Соврали мне о городе Ростиславле или не соврали! — что вот там был город Ростиславль еще тогда, когда не было ни Таруссы, ни Каширы, ни Коломны, — там стоял город, сторожил Поочье, — и сидели в нем Ростиславичи. Больше я ничего не знаю об этом, город был огорожен оградами стен и надолб, — можно строить новый Китеж, ибо история — не наука мне, но поэма.

Я же сидел в Коломне, в Гончарах, у Николы-на-Посадьях, в избе о пяти окнах, в комнате с книгами, за столом против окна, откуда был виден Никола, в котором молился Дмитрий Донской перед Куликовым полем, — две сквозных нищих решетки за окном и дом, как гроб — домовина. Солнце и луна, которые ходят по небу, как само небо, как луга за Москвой-рекой, что видны слева, — в дыму были, ибо кругом горели леса — в зное, в удушьи. Там, за Москвой-рекой, в Бобреневе, мужики ели конятник, такую траву, которую не едят лошади, — потому что у крестьян не было хлеба, но были луга. На столе у меня — почему-то — были рулетка, которой мерят, собачий череп и словари — русско-французский, русско-немецкий и Даль, который я купил на базаре у

бабы за гроши, ибо бумага в нем не годна для цигарок. — Никола — был моим Ростиславлем: оттуда я ездил грабить — себя ли, Россию ли? — и себя, и Россию.

Лето тысяча девятьсот двадцать первого года, пятый год революции, было в пожарах, в зное. По суходолам в курганах выкапывают иной раз каменных баб во мхах, — нам, художникам, эти бабы — прекрасная красота; — но если поползти мельчайшему насекомому по груди каменной бабы, от груди к шее: — грудь бабы — путь насекомого — не будет ли весь в рытвинах и ухабах, в зное камня, в удушьи мхов, в томленьи, поте, в пустыне? — Надо стать в рост каменной бабы, чтобы увидеть, что она — прекрасная красота, — и — тогда преклониться пред ней, как кланялась мурома, мещера и весь. Но ведь и каменная эта баба, из раскопок — красота прекрасная! — и не знает того, не заметит ползущего, — хотя, впрочем, насекомое будет знать путь мхов и рытвин. — Кто станет в рост тысяча девятьсот двадцать первого года? Девятьсот девятнадцатый, обнаженный и голый, канул в историю, — приходил двадцать второй — —

Я художник, мне все — все равно. Я перебираю слова — Ростиславль, Тарусса, Кашира, Коломна, Гончары, Никола-на-Посадьях: старые слова мне, как монета нумизмату. Нумизматика слов — история. Если же повторять одно слово — Коломна, положим, — то это будет уже не город с историей в тысячелетье, с кремлем, с монастырями и нищими, на Астраханском тракте, — смысл слова утеряется, выветрится его содержание, — и останется только смысл звуков слова: Коломна — что-то такое, круглое, белое, облое, — совнарком — что-то такое крепкое, ночное, совиное — а гувуз — крик лешего — —

...Московский Кремль сед, во мхах. На Спасских воротах часы бьют интернационалом — — чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое — —

...Но ведь я же ходил в город Росчиславль: там его зовут Расчислов. Небо над холмами, под холмом поемы, луга, Ока, леса за Окою, — древне, как тысячелетье, кругом. Нету города Ростиславля — и есть погост Расчислов, — и нету Расчисловых гор, потому что они выдуманы мною: в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом

году поставили новую церковь, тогда подрядчик перехитрил церковного старосту, — или оба сжульничали мужичьими пятаками, — съели церковь, по-современному выстроили из известняка церковную кордегардию. И все же на церкви надпись: — о том, что церковь сия поставлена на месте, где был некогда город Ростиславль, — город же Ростиславль построен был князем рязанским Ярославом в 1153 г., одновременно с городом Зарайском, для сына Ростислава. Это же, о том, что город Ростиславль в 1153 г. построен был, — рассказывает и попик. Попик рассказывает, как и погиб город: — в Смутное время Иван Заруцкий с Мариною Мнишек и с Ивашкой-воренком — подступили к городу, переправились через Оку вон там, пониже (так и зовется с тех пор это место *Пристан*), — спалили, разграбили, расчистили город дотла (так и зовется с тех пор город, — не город-Ростиславль, а *Расчислов*). Иван Заруцкий от Ростиславля хотел идти на Зарайск, но про то пронюхали мужики (так и зовется село *Пронюхов*), — князь Зарайский вышел навстречу, дал сражение, — дрались в те времена секирами — так и осталась деревня *Сикирина*! — Вот и все о городе. В рязанских «Эпархиальных Ведомостях» писалось еще, что в городе Ростиславле собирались князья — тульские, рязанские, суздальские, — чтобы ходить бить *мордву* и *мещеру*. Вот и все о городе Ростиславле, — да и это, должно быть, все наврано!

И еще. В восьмидесятых годах какая-то княгиня — на памяти у стариков, но не помнят уже имени! — черная была, в черном, и с глазами, как угли — выгнала с погоста священника, задумала устроить монастырь, набрала скитниц, выискала заштатного попа, посылала сыновьям конногвардейцам по пяти тысяч, епископ рязанский Мелетий собутыльничал с ней, бумаги у нее были — царские. *Выселять* ее приезжал — вицегубернатор!

Вот и все.

Вот и все.

Город Расчи-слов. Город — корень слова: городить. И в тот год — — многое говорили! — — В тысяча пятьсот девяносто третьем году, пятнадцатого мая, когда убивали в Угличе царевича Дмитрия, ударили в Угличе

в колокол. Ударивших в колокол Борис Годунов сослал в Пелым. Колокол же — казнил: отрубил ему ухо и, корноухого, сослал его в Сибирь. На колоколе надпись: «прислан из города Углича в Сібіръ взссылку в градъ Тоболскъ к церкви Всемилостиваго Спаса, что на торгу а потом на Софійской колокольнѣ был часобитный». В Революцию колокол возвращен в Углич, на прежнюю колокольню.

Был или не был город Ростиславль? — об этом я не читал в книгах. Коломна, Кашира, Тарусса — если повторять слово много раз, выветрится содержание и придет новый смысл — звука слова. Го-род Рос-чи-славль. Слова мне — как монета нумизмату. Нумизматика слов — история.

Рязань-баба!

Рязань-яблоко!

Мое имя — Борис, мне сказали, что имя это — разбойничье. Тот же шофер, Пугин, что ли, что украл сам у себя половину овцы, — назвал своего сына — *Мотором*.

...А о Зарайске есть рассказ, как у Чехова об икре. Приезжала в город Зарайск охотиться по чернотропу на волков, лет за тридцать до революции, рязанская губернаторша. Проезжала по улице города Зарайска, — увидел ее в окно местный миллионер, не то Дроздов, не то Букшанов, не то Голенищин, старик лет семидесяти. Губернаторша проехала в дом капитана-исправника. Букшанов сел за стол, взял перо и написал:

«Ваше превосходительство и всемилостивейшая госпожа!

«Будучи старцемъ преклонного возраста, прельстился Вашими прелестями. Не имѣя уже возможности согрѣшить, обращаюсь къ Вамъ с моленіем дозволить взглянуть на Ваши прелести одним глазкомъ и за это обязуюсь внести въ любое указанное Вами благотворительное учрежденіе 100 тысячъ — рублей золотом.

Вашего Превосходительства и Всемилостивѣйшей Госпожи покорный рабъ остаюсь в ожидании». —

Заклеил письмо, надписал адрес, сказал сыну своему, человеку лет сорока пяти:

— Авдюшка, отнесешь! —

Тот понес. Того на конюшне капитана-исправника, по приказу губернаторши, выпороли. Губернаторша расстроилась, заплакала, укатила сейчас же в Рязань, так что мужики, согнанные с трех деревень на облаву гонять волков, три дня прождали в лесу без толку, не получив обещанного на водку. — Потом был суд в губернии: не нашли, какую б применить статью тем паче, что губернаторша суду письмо показать отказалась наотрез из-за стыдливости, — оправдали. — Но дело не в этом, дело в том, что губернаторша, вызвав Букшанова в Рязань, приходила к нему в номера, келейно, конечно, и старец осматривал ее прелести сквозь щель в стене, специально для этого сделанную, — и приходила губернаторша не потому, что крестьяне, те, что не дождались ее на облаве, прознав почему не состоялась облава, писали ей прошение, чтоб уважила просьбу Букшанова в их пользу, в виду извечной их задолженности оному Букшанову, — труды по взносу ста тысяч в благотворительное учреждение губернаторша взяла на себя, и вскоре слышно было, что губернаторша сбежала от мужа с репетитором-студентом в город Ниццу. — — А волки и мужики остались в положении своем первоначальном... —

ЧАСТЬ КНИГИ ПОСЛЕДНЯЯ, БЕЗ НАЗВАНИЙ

...Каждую ночь по-октябрьски выковывались звезды, и мороз, колкий, как звезды, сковывал лужицы улиц и воду на реке там, где близко к берегу стояли баржи. Ночи были черны, и они приходили мраком, точно мрак разводили, как разводят чернила в чернильницах, — так же приходили и рассветы, только рассветами в бочки мрака наливали мутную воду дней. И день и ночь горели всеми забытые фонари на улицах; заводы: или молчали, или неистовствовали, буксуя, брошенные рабочими. Иногда на перекрестках, у выжатых морозом луж, заметал снежок, наивный такой, от которого весело и думается о благодатной зиме. — Тогда, в октябре, в 1917 году, в Москве, — было очень тихо, как в деревне за выгоном вечерними сумерками, когда даже гаечки и синички стихли в серости дня, а мужики кончили молотить и пошли к избам, и избы захворали трахомой керосиновых лампенок. И так же, как деревенская улица, была пустынна Москва, и в память лезли сорванные водосточные трубы, сваленные трамвайные столбы и автомобили. Только изредка слышны были пулеметные чечетки, ружейные залпы, — выстрелы же из пушек были миролюбивы и нестрашны, как не страшно — и очень похоже — когда ремнем бьют на стенах мух. И только вот эти бочки разведенных сумерками чернил, сумерки, похожие на рабочие мастеровские куртки и на их быт в заводских казармах, говорили, что Москва — заводский город и здесь творятся стихии. И очень многие тогда ночами лазили на крыши, чтоб подышать морозцем, похрабриться и посмотреть на столб огня в небе, идущий от Никитских

ворот: там на крышах даже перекликались с крыши на крышу.

Москва — тоже портовый город: у Садовников на Москве-реке, на канале, там стоят баржи и пароходы, и дощаники, и на баржах, как на всех русских реках, на мачтах горит фонарь (и под баржей в воде этот же горит фонарь), а у избы посреди баржи поет тоскливо, про разбойников, ветлужский мужик, — а в октябрьские эти заморози между барж, у дощаников, возникает тонкий ледок, колкий, как звезды; там, на баржах и около них, пахнет варом, потом, опорками и солью, как на всех баржах...

Тогда, в те дни, к Москве шел, как многие поезда, поезд с полуротой солдат, с винтовками и бомбами. Он пришел к вокзалу в часы, когда лились на землю бочки мрака и медом светили забытые фонари. Люди ждали, что они услышат вой и гуд, и гул небывалой битвы, — Москва встретила морозцем, тишиной и снежком у медовых фонарей на перекрестках. А потом снежок стих, и небо заковалось звездами, колкими, как лед. Полурота выгрузилась на товарном вокзале, и ее сейчас же арестовали, разоружили, распустили солдат без винтовок. Тогда солдаты этой полуроты поодиночке стали собираться к коменданту, — их собралось десятка полтора, — они говорили о пустяках. И один спокойно сказал:

— Сымай револьвер, товарищ-комендант! Где ключи от цейхгауза? Степан, стань к телефону...

Коменданта убили его же револьвером в его камере, он долго лежал на цементном полу, руки назад и лицо в луже крови. Вокзал был пуст, во мраке и в семечках под фонарями, под фонарями же висели воззвания и приказы:

— «Вся власть Советам!» — «Да здравствует Учредительное Собрание!» — «... дабы они имели возможность получать хлеб, не стоя в городе в очередях, — Сов. Солд. Деп...» — «Викжель нейтрален!»

— и сбоку карандашом:

«Митька Пугин вор!..»

У коменданта, у того, что лежал в крови, в кармане на веревочке была печать, и в столе солдаты нашли ключи от цейхгауза. Кое-где на скамьях спали часо-

вые, на подсолнечной шелухе. Полурота вооружилась из цейхгауза, сняла посты, заняла неработающие телефоны и вышла в октябрьские бочки мрака, на пустую улицу к ветру, юркому, как плохие разведчики на фронте, к огромному плакату в ветре и меде фонарей —

«Вся власть Советам!» — Напротив вокзала у пустой пекарни уже становилась на ночь очередь старух за хлебом и для сплетен, для черного жужжания о гибели России, для шепота по подворотням.

Полурота в строю пошла к городу, глухими, переулками. Вдалеке стреляли, отбивал чечетку пулемет, и поэтому кругом в дегтях ночи было могильно-тихо. На перекрестке крикнули из темноты.

— Кто идет?

Ответили:

— Свои!

Тогда из подворотни вышли двое, и этих двоих убили штыками. Так — смертью — шли до новой заставы, менялись: — «Кто идет?» — «Свои!» — убивали быстро и бесшумно. На мосту, у реки, у большой улицы стоял пулемет, и издалека еще крикнули:

— Стоой!

Пулеметы собирались стрелять. Опять сказали *свои*, и один — офицер Герц — солдатом — на смерть — пошел к пулеметам, чтобы его провели в штаб «за инструкциями»: своею смертью он давал время пройти остальным, — его повели переулками, провели проходными дворами; в доме, в махорке и огрызках хлеба, в грязи и тесноте, на полу и на столах спали, под лампой спорили, из окна было видно зарево над Никитскими воротами. Конвоир пошел к комиссару, ходил долго, но когда пришли обратно, того, кого привели, уже не было: он никуда не ушел, его не нашли просто потому, что никто не догадался порыться среди спящих, а он, дожидаясь, уже неделю не спавший, свалился на свои собственные ноги и уснул вместе с десятком спавших.

А те, та полурота, что осталась под пулеметами, сначала грелась у костра, а потом, потому что тогда, в те дни, в Москве надо было быть *честным* всей честью каждого и нации вкупе, — те, опять одиночками, ушли в переулки, вновь построились, теперь цепью, и пошли.

Они вышли на набережную. Вода за гранитом была безмолвна, огоньки мачт были огнями в воде, здесь никто не стрелял, — гирляндой ложек меда в бочках дегтя горели набережные фонари. И тогда полурота услышала, как во мраке, на барже, запели о том, что с Нижня-Новгорода собирался стружок, сорок два гребца — старинную песню о волжских просторах и буях, о всей прежней России, защемленной, щемящей, щемимой. Полурота остановилась, никто не знал этой набережной, никто не нашел бы ее поутру, — молчали. Один, бывший на Волге, пополз под гранит посмотреть, нет ли каната, которым причалена к берегу баржа. Другой крикнул, как кричат, дразнясь, на ветлужских:

— Ягор, — подай багор!

Песнь на барже стихла, оттуда крикнули с напускной строгостью:

— Эя! Кто там озоруя!? — кто канат воруя?

Долго была тишина, и тогда — один за одним — полурота полезла по канату на баржу. Было безмолвно, только иногда всхрустывал лед, когда приклады винтовок, свисая со спин ползущих, чертили по нему. Баржа была темная, загружена дровами и бревнами, у избы горел на жаровне костер, сидели двое — мужик лет сорока, бородатый, как Муромец, и старушонка в черном. Варили похлебку в котелке. Мужик не удивился, когда сразу вокруг него появился десяток солдат.

— Ночь-то какая, — сказал он, — все слушаем, все палят и палят, прямо Куликова битва! Садитясь, погрейтясь, — здесь у нас вы первые гости, все забыли, хозяина второй месяц жду, убег, — на зимовку стали... Мы про учредительное собрание толкуем со старухой, — она бумагу, говорит, положит за Господа нашего Иисуса Христа, по Божьему списку, значит. Дров и воды — у меня сколько угодно, а насчет прочего — не обессудьтя...

Солдаты остались здесь до рассвета, расстилали шинели, грели воду, ели и спали. Соль звезд к рассвету сменилась лыком облаков, повалил снежок, ветер заскреб когтями, более крепкими, чем у сапожника, почесывал белой вьюжкой изморозки. Солдаты спали, шинели примерзали к винтовкам там, где дышали солдаты. И всю ночь у костра со стариком (старушонка,

кроме Бога, ничего не знала, толковала: — «Николая отменили, Бога отменяют, — что же осталось?..» —) толковали солдаты о земле — о *земле*, о суглинке, о супесях, о черноземе, о лесах и болотах, и было совершенно ясно, что земля окончательно не реальность, а некая метафизическая вещь, — и что эта нереальность — огромная, мшивая, болотно-лешачья, страшная, старая стократ более, чем старушонка с Богом, Христа-ради попавшая на баржу — *эта нереальность своей собственной персоной припожаловала на баржу* послушать спор о самой себе; все это было потому, что спорили не о «наделах», не о «долях», не о «клинках», — а о силе земной, о правде земной, о горе земном, о русской земляной душе; и госпожа земля — или бабища — с такими всяческими качествами и буераками, и окружностями, что в ней можно было найти «попову собаку», с сестрами-трясовицами в болотах подмышек — так степенно расселась на барже, всех придавила всякими своими правдами, и из-под нее торчали: и костришко на железном листе, и котелок, и свет от костра, и солдатские шинели в винтовках; бабища села задом ко Кремлю, видному вдали за медами фонарей, — *лицо бабищи было здесь, у костра, оно было очень довольно, дремучее, в бородавках, в слизлых морщинах, губа на губу, полузакрытые глаза в довольстве, из носа и изо рта сопли и слюни,* — и пахнула бабища всеми земными потами. Солдаты хотели причесать эту бабу, они шли за нее умирать; и вдруг бабища странно ощетинилась, *у нее вырос волчий рот,* — как у волков, когда они злятся, бока губ поднялись, оттуда выглянули белые волчьи зубы и черные десны, — глаза стали желты и остры по-вольчи, — и бабища лязгнула зубами — впрочем, многие солдаты спали с винтовками в руках, примерзая к винтовкам, вмерзая в шинели, в этих октябрьских дегтях. Рассвет стал черпать из Москвы-реки воду, чтоб разводить чернила ночи на дневную муть.

И на рассвете солдаты ушли умирать. На дощаниках, тех, что всегда привязаны к корме у баржи, вмерзших за ночь в ледок, колкий как звезды, солдаты — полурота — переправились на другой берег. И там они пошли умирать, — за землю, — потому что тогда надо было быть *честным всей честью каждого и нации вку-*

пе, и честь понималась смертью — своей и чужой. Днем полурота была в честном бою; от ворот к воротам, от переулка к переулку, она шла вперед, убивая и умирая. Потом она вышла на площадь, — и там, — как в деревенских русских городишках, ветер в июле, взметая пыль, несет куриный хвост, бумажку, ветошь, коробку от сардинок, петушиный крик в обиде на куриный хвост, унесшийся по ветру от петуховой страсти, — так там на площади пулемет разбросал солдатские подсумки, котелки, винтовки, куски шинелей. Но был не июль, а октябрь, — и в тот день выпадал первый снег, ветер скреб когтями более крепкими, чем у хорошего сапожника, хотя ногти у сапожника должны быть крепкими по его ремеслу, чтоб ногтем проминать и отмеривать кожу, — и сумерки готовились лить бочки чернил, сумерки, похожие на рабочие мастеровские куртки и на их быт в заводских казармах, утверждавших, что Москва — рабочий, заводский город и здесь могут твориться людские стихии...

Тот, — офицер Герц — что ушел умирать в штаб, заснул там и остался жив, — никогда больше не встречал своих товарищей по полуроте. Он проснулся утром, в дыму махорки и пороховой копоти, из ряда тех, что спали на полу, так же свалившихся в переутомлении, как он. И вместе со всеми он вышел на улицы, вместе со всеми шел переулками и в руках у него — *против его воли — была винтовка, чтобы убивать, чтобы он понял, что убивать нельзя.* И весь день он бродил, как бродят после боя на полях потерянные, потерявшие хозяина-товарища, лошади. Ночью он застрял на заводе, первый и последний раз; в котельном у стухающих печей спали и бодрствовали рабочие; вагончики для угля были опрокинуты, вода из котлов спущена (чтобы можно было спать прямо в котлах); уголь валялся горами как попало, как бросили его рабочие, уходя умирать; электричество не работало, горели только две лампочки-масленки; все пропахло копотью, каменным углем, нефтью и машинным маслом; — и стальная лестница, что вела в турбинную, казалась глазу чужого лестницей из преисподней в рай, — так сиротливилось здесь чужому, в копоти, в полумраке, в огромных котлах, в жаре печей и холоде люков для угля. Рабочие

спорили и в спорах уползали в глотки котлов, где абсолютно тепло и абсолютный мрак, — другие делили под лампочкой на угле хлеб и воблу, всем поровну, воду черпали из луж, и ели стоя, оборванцы, в куртченках до колен и, как солдаты, с винтовками в руках — не как солдаты — дулами вниз (...чтоб, если уж стрелять случайно, так в землю, черт бы ее побрал! — чтоб убить *госпожу землю!..*). Тот, который не умер, поднялся лесенкой в турбинную, — там была тишина, порядок, холодок и мрак, — там были строгие машины, четкие, как формула, — за огромными стеклами окон мигали звезды, здесь никого не было; тот, который не умер, через контору вышел на двор: звезды мигали ближе, многими бочками грузился мрак, и было пусто и холодно, — во всем мире, как в нем самом, — и ни души человеческой не было кругом на дворе. Он не видел кравшейся женщины. Тогда другой лестницей, по заугленным ступенькам, он вернулся в котельное. Рабочий — старик подал ему кусок хлеба, две картошки и воблину: — «поешь, товарищ!» Он стал есть, и хлеб после рук рабочего пропахнул машинами, порохом. Здесь, после порядка турбинной и безлюдья небес, — в лоскутьях света, в тепле, рваном как мастеровская куртка; в горах угля, в подземельи, где строго торчали топки печей и глотки котлов, после тепла хлеба и картошки, он заснул, просто, как всегда люди. Он не помнил, долго ли он спал, — он проснулся около котла, на угле, первыми он увидел глотки печей и винтовку под своей головой, — он проснулся, потому что около него спорили, пришли еще новые, с постов, на смену. Люди умеют видеть только *своими глазами*, — все, что ниже и выше этого человека, в понятиях невещественных, ему невидно, непонятно, — трудно найти «плоскость», откуда видно, — да и вещественный горизонт, на какую б гору ни подняться, — всегда на уровне глаз: — рабочие спорили — о пустяках: о том, кому идти в очередь по наряду, кто — какой Митрий — спит с вечера в котле, кто где был и правильно провел день, кто много растратил без толку патронов; новые лезли в котлы, новые ели хлеб и картошку; о прибавочной ценности, о заводских комитетах, о справедливости и несправедливости дирекции и начальств — не спорили, — у угольного люка сидел

часовой и он пел, как Маруся отравилась, в больницу повезли; из котла за ноги вытащили Митрия, спавшего всю ночь, погнали его в наряд. Тогда тот, который остался жив, забродил. Он поднялся в машинное, маховик паро-динамо был неподвижен, человек перелез за решетку и стал взбираться по спицам наверх, руки скользили по масленой стали, приводной ремень был срезан, должно быть на подметки; когда человек залез кверху, под его тяжестью маховик двинулся вниз, засопел, — но это не значило, что машина двинулась работать, — человек ударился затылком о кафели пола, ушел за маховиком под пол, — оттуда он вылез проворно и ловко, как обезьяна. Тогда он закричал истошно:

— Рабочие, товарищи! Она пошла, машина! Я ее пустил. Это все!..

В углу за амперметрами во мраке стояла, как в сказке о красной шапочке, женщина с лицом волка, она скалила зубы, но глаза ее, в лишаях и гное, были закрыты. Она стояла, сложив руки на огромном животе, и ноги ее врастали в кучу сора в углу и в окно. Тогда он крикнул еще страшнее:

— Бейте волка! Бейте ряженых! Убивайте!..

И тогда, там в истерике, он не заметил, как за окном стала женщина, нацелилась из браунинга и выстрелила в него — —

— — (Герц (охотник Степан) никогда не узнал странной истории монахини Ольги...

— ... Где-то на Ветлуге, в старообрядческих скитах, в фанатизме и анафемствуя умирали мать и тетка Ольги, — и тетка Ольги игуменствовала. Но Ольга, из старообрядческой семьи иваново-вознесенских ткачей, окончила гимназию первой ученицей, примерной богомольщицей была на первом курсе курсов Герье, на филологическом отделении. — В революцию, в Октябрь, в дни восстания она пошла в штаб белой гвардии и с браунингом в руках, с краснокрестной повязкой на руке стояла за Кремль, — чтоб загореться и сгорать потом коммунистической партией, чтоб быть фанатиком, как монах, ненавидеть неистово и неистово любить, крикнуть в

мир Интернационалом, возненавидеть старосветскую Русь, проклясть Бога, в мир кинуть поэму машины, — потом, вспоминая, вспоминала сестра Ольга, как тогда, в партшколе, сорвав икону Николая-угодника, неистово повесила она туда портрет Карла Маркса. Она была в Иваново-Вознесенске, и там — коммунистам — многим казалось, что они сошла с ума, когда задумала, изобрела, неистово проводила в жизнь — *систему социалистического делопроизводства, такого, где люди совсем вышелушивались, и оставались одни номера*. Она была девственница, она никогда не любила, ни девичьи, ни женски. Потом ее послали на фронт, редактировать газету, — там при отступлении от Врангеля, в редакционных теплушках ее изнасиловали, — она занеистовствовала, залюбила, засумасшедствовала любовью, у нее стал муж, убежавший затем к белым. — И через полгода после этого она, порвав с коммунистической партией, с революцией, была уже на послухе в Бюрлюковской женской обители, в черном платье, как галка, — на молитве и в половой истерии. — Но тогда, в Октябре, в Москве) — —

...Москва грузилась Октябрем. И настали дни, когда смолкли пушки. Тогда хоронили убитых. Тогда многие ходили по Москве, как бродят по полям после боев бесхозяйственные лошади, одиночками, без толка, без дома, без пути. Тогда выпал уже снег, становилась зима, в белом дыме и в белых снегах стала Москва, сумерки были уютны, как дома в переулках на Остоженке. И ночами загорались звезды; об этих звездах много можно говорить, они горели четки, новы, велики, — и они первые создали эту смутную ассоциацию — о том, что ночь пред похоронами была похожа на страстную, пасхальную ночь, когда воскресает Христос. Этой ночью мало кто спал в Москве. Был морозец, легкий как белое вино. Звезды построились все, как под пасху, и были дружественны. Был крепкий мрак. Люди бродили — многие — как бесхозяйственные лошади. У Иверской в ту ночь не горели свечи, первый раз после Напо-

леона, и в ее мраке никто не толпился, но мимо Иверской многие шли. Кремлевские башни, Василий, Красная площадь, в полумраке, в синем ночном свете, были фантастичны, как город царя Додона.

Тот, который не умер, — он бродил бесхозяйственной лошадью, — он знал, что трицать лет назад, пасхальною ночью, его отец, тогда молодой и с миром впереди и у ног, — этой пасхальною ночью, после пасхальной заутрени, — выходя из церкви под Иваном Великим в Кремле, сделал его матери предложение, как делали тогда, в белых перчатках, и здесь, христосуясь, его отец и мать впервые поцеловались; тогда они вышли из Кремля через Спасские ворота и под темной стеной пошли по Красной площади к Иверской, они проходили там, где теперь Братская Могила: — тогда, тем первым поцелуем в пасхальную ночь, наивным, как осьмнадцать лет его матери, был предрешен он, тот, который тогда не умер. И этой новой пасхальной ночью — октябрьской ночью, тот, который не умер, прошел тот же путь, что сделали тридцать лет назад его отец и мать. В своем ночном бродяжестве он забрел в Кремль и в церковь Николы Галстунского, что под Иваном Великим. Великий не был заперт, забыли запереть, — он вошел под темные своды, там никого не было, он постоял, прислушиваясь к тишине, ему стало скучно, — он вышел, не думая о Николе Галстунском и о Великом, и сейчас же забыл о них, — да и помнить было нечего, кроме мрака, холода и чуть уловимого запаха ладана, смерти. Он пошел к Спасским воротам, — там у него спросили пропуск, он показал, — Красная площадь показалась огромной, она была темна, только там, где рыли братские могилы, горели костры и факелы, здесь одиночками шли люди. Он пошел под стеной, к братской могиле. Тут толпились люди, было почти безмолвно, одни опускались вниз рыть, другие поднимались из могилы, — показалось, что здесь не было никого, кто б рыл по наряду, — рыли все, соборно, одни приходили перетряхнуть земной прах, причаститься земле и могиле, другие, причастившись, уходили. Тот, который не умер, тоже спустился в могилу, взял заступ, безмолвно стал рыть, плечо в плечо с другими, также молчавшими. Здесь горели смоляные факелы, ночь от

них была черней, жутче, безмолвней... Потом, когда могила была готова, когда начало светать, — но еще не растворилась ночь, в черных бочках, грузивших небо, в факелах, — кто-то запел, и ему подхватили все, сняв шапки, в ночи, во мраке, в предрассветном морозе:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Тот, который не умер, тоже пел; темный Кремль, где уже творилась первая в мире машинная революция, был фантастичен, как город царя Додона; тот, который не умер, пошел вниз по Красной площади, у Иверской никого не было. Вспомнил ли он, что тридцать лет назад, вот такой же пасхальной ночью, его мать и отец, молодые, такие, у ног которых мир и все впереди — здесь целовались впервые и поцелуем этим предрешили его жизнь? —

...Утро пришло красным солнцем и сотнями тысяч людей, людей в черных мастеровских куртках, принесших на братскую могилу красные гроба.

— Потом пошли годы — —

Годы — проходили.

Где сердце Москвы? — Когда-то Юрий Росчиславский, с ума сошедший в волка, записал о глазах Милицы — — где, какие переулки и дома, и площади в Москве, кои стали глазами, по которым видно — по которым можно спуститься в душу, в сердце Москвы?.. — —

В Москве на Арбате стало Успенье-на-могильцах — на Лубянке стала Гребневская-Божья-Матерь, — и обоих их засрамили небоскребы: у Гребневской стала Всероссийская Чека, — на Арбате в Трубниковском переулке жила Милица. — —

В девятнадцатом году, — голым годом, — записалось о том, — как: —

> — ночами в Москве, в Китай-городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-город за китайской стеной ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и

зипунах, — сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи, — икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, — весь в котелке, совсем Европа. — А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в эту пустыню из подворий и подворотен выползал подлинный Китай-город, тот — —

— Четыре года: с марта по май стужные воды размывали в Китае-городе содеянное — и с мая по март рушили Китай-город осиновым колом — московскую Ильинку без ночей в три плодоносных месяца за летом — рушили кто как мог, все всеми силами, волею народной и народным озорством; — дерево — на топливо, вывески — на крыши, стекла — на звон от камней, кирпичи — на камни, на печурки по бездровью, на ремонт домов, на памятник октябрьского восстания; мертвый город стоял четыре года мертвым, без окон, без дверей, без крыш, в крапиве и репьях, в зловонии тухнущей воды в подвалах, — и с марта по май — стихии — мыли Китай-город вольные стужные воды. Мертвый город стоял скелетом, когда мертвец обглодан до костей, — четыре года — —

...и вот иная воля возродила вновь Китай — иные люди. Еще висела в переулке забытая вывеска над разграбленным вдребезги домом — «оконные стекла», — еще гнили в проулках загнившие воды, еще глядел Китай из мертвых корпусов, — но в Верхних торговых рядах и вокруг в рядах возникла, как столетие назад, — китайская душа, и на Ильинке затолпились котелки бирж. На поездах, пароходами, — тысячи пудов, бочек, штук, четвертей, аршин — потянулись товары — из лесов, с болот, заводов, гор, с Каспия, Белого моря, с Чусовой, Печоры и Оби, — от лучин, от керосиновых лампочек, от турбинных, просто от солнца и от северного сияния — на горе и радость, на смерть и рождение, — чтобы жить, как жила Русь столетьем. — Персы, татары, кавказцы, уральцы, украинцы тысячи — с ними котелки, круглые очки в

оправе, трубки, — Азия с Европой, — Азевр — Евразия открывался всероссийский Гум. — Н-но —

— вывески не те, что прежде: —

— «тресты», «синдикаты», — «Центросоюз», — «Пепо», — «Эмпо», — «Центротекстиль», — «Сольсиндикат» — и — «Цементтрест» и — и «Моссельпром» — И в Верхних торговых рядах, в зале, где собраны гербы всех городов и весей русских, собрались — не те, что собирались столетьем, не купцы, не животы в цепях, не фраки, не глазки, всплывшие из ночи и из бород, не эполеты губернатора и белые погоны приставов, — здесь собрались: — коммунисты. И на открытии Гума был обед, но были куртки, пиджаки, косоворотки, и речи говорили — бурильщик с Тагиева, слесарь из Сормова, каторжанин с Кавказа (каторжанина этого встретил Лебедуха и вспоминали с ним, как жили в избе вместе в Нарыме), шахтер из Горленки — начиная словом: — «товарищи» — и кончая здравием русским метелям, половодьям и грозам, русским болотам, лесам, селам и весям — революции русской. И знаемо было тогда на обеде —

— музыка играла в Верхних торговых рядах, было французское шампанское, и стерлядь была с Волги, за окнами вывески — «трест-синдикатов»: —

— эти дни есть водораздел российских перипетий, где на весах весят: тысячелетье старой Руси и пять годин — последних — этих — российских — из Памиров — и эти пять годин: — *тяжеле!* —

— пусть этот же оркестр взыграет ночью в казино, во французском же шампанском, в рулетке, в баккара, в железке, в застенках отдельных кабинетов, — в горестях, нищете, невежестве вшивой Расеи, весей и сел — —

Тогда осматривали Гум, видели шум, многоголосицу, гам — русскую ярмарку. Показывали радио, и как радио действует: загудело динамо, — антенны завыли, заплакали — покоренная стихия — посыпались искрами.

Инженер сказал:

— Мы вызываем Науэн.

Стихло, — и тогда затрещали счетчики.

— Науэн спрашивает, в чем дело? — сказал инженер.

— Кланяйтесь им! — пошутил понуро шахтер из Горленки.

И кто-то тогда сказал:

— Не переименовать ли всю Москву в Ильинку? —

...А где-то в Рязани, как в Москве, когда стемнело и оркестр из Верхних торговых рядов перешел играть в казино, ночью в антресолях сошлись коротать ночь двое: человек, еврей, сионист, — человек, еврей, коммунист, — это и им соответствуют Успенье-на-могильцах и Гребневская Божья-Матерь. — Тогда был разжалован из святых — живою церковью — князь Александр Невский, тот, что за сутки перед Екатериной зимней.

В те годы были странные сумерки, — и вот один день, как все: — —

— был московский — арбатский — вечер, с первым октябрьским снежком, с тишиной в темных переулочках, когда каждый — первый, второй, десятый — кто был московским студентом, должен вспомнить о первом курсе, а не о революции, и о муфте в снегу соседки курсистки (в революцию муфты у женщин в России исчезли, потому что женщины помужали), — в такой вечер каждый близорукий должен вспомнить о своей близорукости, ибо фонари на углах кажутся снежинками со стекол очков. Днем была — дневная Москва, — днем устраивалась зима, чтобы первой зимой прожить после революции: днем шел тихий — арбатский — снежок, морозило, и снег сразу укутал шум, до весенних первых рам. Вечером надо зажечь лампу у стола, и — книгами — уплыть в воспоминание, в осознанье, в счеты с прошлым, — и в сумерки за окном трещали чечетки, прилетевшие со снегом с Воробьевых гор и со Звенигорода. Но днем в лавках торговали — мясом, вином, виноградом, икрой, как в Европе, в тот год и как десять лет назад в этой же Москве, — по-старому, — и приказчики говорили, убеждая покупателя: — «Помилуйте-с, старое-с!» — и пол был посыпан опилками. Надо было подумать, что Россия с Памира сошла, о хлебе из овсяных опилок забыто, у Елисеева есть семга, французские сливы и французское шампанское, — а у зеркального окна — девушка, не проститутка, еще в башмаках до колен и в каракулевом пальто, она кончила гимназию,

была на первом курсе, — молит, чтоб ее купили, потому что она сокращена. Старая Москва — стариком, связкой книг, плешью — свернула с Тверской к Никитскому бульвару, ее обогнал лихач, — от Пресни шли фалангой комсомольцы.

А к ночи в тот день снежок перестал, потеплело, с Москвы-реки, от набережных, с низин пошел легкий туман, закурился, поплыл, стал под Кремлем, пополз Александровским садом на Воскресенскую площадь к Охотному ряду. Небо тоже было туманно, беззвездно, но, как всегда первые ночи в снегу, — светло. —

Тогда у подъезда театра, где шел «Гадибук», прощались двое, два человека, национальности которых стерты. Один из них сел в автомобиль, и автомобиль его унес в туман, к Александровскому саду, — вокруг Кремля, на Красную площадь в тумане, к Спасским воротам, в Кремль. Тогда на кремлевских воротах — интернационалом — часы отбили полночь. — Этот был пролетарием. В Кремле, в офицерском корпусе у него была маленькая комнатка. Много лет он жил — рабочим — в Коломне и в Чикаго, — и манеру жить он перенес сюда, в Кремль русских царей. Дома, у его жены были гости, на письменном столе, на скатерти стояли — тарелка с селедкой, колбаса, черный — по пайку — хлеб и горшок с пшенной кашей. Книги со стола сложили на окно. Потолки были сводчаты и оконницы в аршин толщиной. Было все очень просто. Говорили о пустяках, он рассказал содержание пьесы, о том, что ему понравилось. Потом стали устраиваться спать, — жена собрала со стола, вновь разложила на столе книги, очень тщательно. Гости остались ночевать. Было очень тесно, с кровати сняли наматрасник. Потушили свет и стали раздеваться, мужчины легли на полу на наматраснике и тулупе, женщины — на кровати и диване. Это было только просто и здорово.

На Спасских воротах — интернационалом, пролетарским гимном — часы пробили полночь. Над Москвой стал туман. Москва стихла — —

Тогда у подъезда Габима распрощались двое, — тогда надо было *раздумывать*, быть в *раздумьи*. И в *тишине* тогдашних ночей, в эти дни перелома из осени в зиму, — тишина ночей чинила великие дебоши. В лужах на ули-

цах, когда лужами к зиме отмирали осень и земля, вдребезги бились трамвайные искры, огни фонарей, звезды, старая галоша, коробка папирос «Красная звезда», — в заполночи тогда в Арбатских переулках перекликались петухи, один, два, третий. — К рассветам лужи разрастались в потоки, шли дожди, — и было совершенно ясно, как, перекликаясь петухами с дневным Елисеевым, Гумом, с проституткою под окном Елисеева, — из дней, твердых, как промасленная рабочая куртка, — вырастали ночи, человеческие ночи, похожие на уличные лужи. — Ночи чинили великие дебоши: — немного несколько сотен людей, люди, вчера снявшие мешочнический мешок с плечей, и люди, с ними уцелевшие, «князи» и «графы», с ними иностранцы из миссий, с ними русские актрисы, писатели, художники, много евреев, — летошний снег, — в разных углах Москвы, после театров и ресторанов, в домах, как летошний снег, в старых гостиных, в коврах, в лощенном электричеством паркете, — во фраках, в пластронах, в белых жилетах, в женщинах с голыми грудями, в фокстроте, — в электричестве, шампанском и тепле — веселились, умели веселиться осенними лужами, в которых вдребезги бьется все, чем можно и надо жить по солнцу: умели изнемогать в фокстроте, не говорить о «буднях», на глазах у всех у женщин поправлять подвязки, а женщины прокрашивать до дыр губы, курить сигары и английский кепстен, прокуривать ночи, комнаты, себя — —

— — на этих вечерах, как лужи, бывали иногда «опорки» российских — этих — дней: иной раз российский художник влезал на стол иль на спинку дивана и оттуда истерикой кричал, предлагал выпить —

— за российский осьнадцатый год! —

но его никто не слыхал — —

Потом осень сменилась зимой. — Где сердце Москвы, как глаза Милицы? — В те дни в театре Габима шел Гадибук, — чтоб пойти на Гадибука тем обоим евреям — —

Две тысячи лет назад погибло в Палестине еврейское государство, — и две тысячи лет с тех пор умирал древний еврейский язык. — В Москве, в Белом Городе, в Кисловском переулке, что у Никитской — по-

прежнему, и теперь — улицы Герцена, — возродился древний еврейский язык, возник, умерший даже в Палестине. Был год русской революции, когда Россия переименовалась в Союз Советских Республик Европы и Азии. В доме, где, быть может, танцевал Пушкин, возник театр, где на древнем еврейском языке ставили мистическую пьесу, — «Гадибук» — о духе дибуке, о том, что — борух даян амет — благословен судья праведный! — и быт пьесы, которую играли на древнем языке, был взят из местечек Западного края, черт оседлости, откуда-то из Мирополя был цадик Азраэль. В комнате был сделан деревянный амфитеатр, и внизу в другом углу комнаты играли актеры. Натан Альтман перевоплотился в Марка Шагала, но вспоминался и Гойя. Сцена открылась из мрака, под страшный древний мотив о том, — «отчего, отчего тянется душа от высот к безднам»? — на сцене была синагога, и были только две краски — желтая и черная, — и рыдающая мать была в черном, как все матери, — и потом в синагоге плясали старики евреи. — Потом перед домом Марка Шагала плясали нищие из Гойи. — Потом заклинали девушку, целомудрие, девственность, потому что в нее вселилась мистическая сила — любви — к единственному, избранному, умершему, голосом которого она заговорила, который, как и она, мерил жизнь двумя измерениями — любовью и смертью. — И сцена закрылась во мраке, под мистический древний мотив, о том, — «отчего, отчего тянется душа от высот к безднам?» — «борух даян амет». — Древняя культура — на древнем языке, но быт — местечка за чертой оседлости, и купец Сендер, в картузе, похож на русского прасола из Ряжска. Марк Шагал знает серую краску! — В комнате на амфитеатре — зрители — сидели евреи, еврейские девушки были прекрасны. Никто не аплодировал, потому что играли прекрасно и не надо шуметь там, где хорошо. Те и эти — одно, но костюм многое значит, и костюм местечка совсем не пиджак и манжеты, как на амфитеатре: тут не было серой краски Марка Шагала — — Есть обычай меняться на пасху, христосуясь во Христе, красными яйцами, символами солнца, — русские кустари делают игрушки детям: яйцо надето на яйцо, и так

много раз, до малюсенького, до сердцевины. Как же снять скорлупу за скорлупой, чтобы найти сердце? Каждый по-своему расположит эти яйца, надетые одно на другое. Еврейство сшило красною нитью историю человечества — белой расы последних двух тысяч лет. Что же мистический народ и мистический дибук, где два измерения — любовь и смерть — первая скорлупа? или быт местечка в Западном крае *на древнем языке*, скрепленный Марком Шагалом? или — третье, — то, что купец Сендер похож на российского прасола, потому что купец, а синагогские служки на деньги, которые им оставила — на молитву за умирающего ребенка рыдающая мать — купили водки, — а нищие — страшным ожерельем калек на сцене — воют от счастья, когда в Лию вселился дибук? — Это ли сердце надетых друг на друга пасхальных яиц? — И не самое ли главное — единственное — то, что мать плакала об умирающем ребёнке, как все матери, что Лия и Ханан любили любовною любовью, сильной, как смерть, как все любящие впервые? — что отец Сендер любил Лию отцовской любовью, сильной, как род, как должно всем отцам, — не единственное ли: — че-ло-век? — человечность?

— — еврейский народ сшил человечество Европы на две тысячи лет — религией и мистикой, — тринадцать чудаков из Галилеи. В католичестве, протестантизме, православии — в них, за ними, от них — затерялись звездочеты, астрологи, алхимики, кабалисты, маги, чернокнижники — —

> — ...кто поймет оторванность от полей и цветов и от пахаря, — кто почует сиротство свое перед *бескровной* стихией, им же воздвигнутой, и поборет волю в смерть перед Молохом-Маховиком? — Нет, крови! — —

В те годы — отошедшие — невероятнейшие были в России Памиры, спутались числа и сроки. Не было городов, весей и сел, где б не было восстаний, бунтов и войн. В те годы никто не умирал естественной старческой, постельной смертью, но смерть шла в расстрелах, в

тифах, в увечьях, в голоде, в людоедстве, — люди умирали у стенок, на шпалах, в вагонах, в оврагах. —

— В те годы (по расчету Непомнящего) в России родилось, прожило и умерло, убив до миллиона людей, девять миллионов пудов вшей: в России разучились читать цифры, меряя все астрономически, — девять миллионов пудов вшей, если б это была рожь, хватило б прокормить нормой Наркомпрода в течение года Коломенские земли. В те годы родились так же, как умирали — в тифах, в увечьях, на шпалах, в теплушках. В те годы вся Россия вышла на шпалы в великом переселении правд, вер и народов, — поэтому в поспешности из паровозов делали аэропланы, пусть они не могут летать, пусть поездов и паровозов больше было под откосами, чем на шпалах. В те годы вся Россия была серой, как солдатская шинель. В те годы вся Россия была во внутренних пошлинах заградительных отрядов, продовольственных карточек, прав на разъезды, чтоб голодать, — у каждого мужчины сохранились с тех пор жилеты, чтобы в них вместо ваты всыпать пшено, а у женщин — мешки на живот, чтоб имитировать мукой беременность, были случаи, когда пороли штыками животы подлинно беременным, чтоб узнать — не пшено ли там?

— — те годы Союза Советских Республик Европы и Азии ушли заржавевшими заводами, разрушенными фабриками, опустевшими городами, поездами под откосами, серой шинелью, шпалами, кострами из шпал, песнями голодных, людоедством Поволжья, могилами без крестов и без памяти, — ушли полями, лесами, болотами, селами и весями — русскими, — паровозы не стали аэропланами. — И те годы были величайшей романтикой! величайшей радостью, величайшими правдой и верой! Ведь каждый, как реликвий, хранил тот жилет, в котором возил он пшено, — и вспоминая о днях отошедших: *грустил*. И аэропланы, из паровозов — все-таки — *летали тогда!* — —

Где сердце Москвы, вот у этой, где — — за осенью, за первыми порошами пришла зима?

И зима уже сломалась декабрем — —

В январе, когда начинало пригревать солнце, а морозы упали за двадцать ниже нуля, — когда дни стояли

желтые, восковые, как мертвец, в морозе и солнце и в отчаянной небесной сини, — после воскресной ночи, промерзшей просторами и избами избяной Руси и Расеи —

— (там, в знахарях, с заваленок, с печей, из трахом оконцев — видны огни городов, дым труб, лязг железа, и «деды» говорили:

— Жнамо, даа, то ись, канешно, — огниии, к примеру, воо, то ись, даа, жнамо — —), когда люди в Москве будничали Тверской, Ильинкой, Арбатом, разговорами о Гадибуке, фокстротами, пивными, заботами на сегодня и на завтра и о «твердой валюте» — и этим свободным воскресеньем — —

— — назавтра утром, над всеми просторами России и мира, по-мирно, на всех языках России и мира, всеми радио и телеграфами мира, всем человечеством — вот всей этой шарообразной махиной, что несется в межпланетных пространствах, что зовется — Земля — —

— — узналось, что умер человек, как умер человек, как эпоха, человек, ставший для истории главою — *Россия и мир* — человек, который умер, чтоб сразу перейти в легенду, чтоб показать, как человечеству надо бороть смерть.

Это был день — были дни, — когда вся Россия, дни, города, веси, улицы, люди насупили брови, свели брови, — маршами заводов и полков выстроилась *владимирствующая* Россия, — заводом, турбиной, миллионом людей, тех, что красными знаменами пошли против Руси и Рассеи и против земли. Земля трещала дедом-морозом двадцать ниже нуля, чесалась ветрами, леденела небесною твердью, промерзала сумерками серыми, как нищая от Гребенской Божьей-Матери и как Рязань-яблоко, умирала черными холодами ночей, враждебных человеку, не страшных волкам —

— и все же, на земле, в Москве у Дома Союзов, где был труп, — где тысячей человек шла но земле — поземкой — человеческая черная толпа ко гробу, — красные дымные костры горели на земле круглые сутки, как круглые сутки шли люди, топили землю, жгли землю, задымливали землю. Костры в дыму были страшны смертью

ночей, в Рязани-яблоке вечеров, как нищая от Гребенской Божьей Матери, и: —

— сколько книг можно написать — вот, о женщине, о старухе, о русской бабе, о *Марье* из весей, о той, что там, в ночи на земле, во мраке подъезда Дома Союзов, в дыму костров, запричитала, завыла, как кликушлили русские бабы тысячелетьем, — как о сыне, вынув из сердца, из кликушествующего тысячелетья — неосознанное — *владимирствующее*, — владеющее миром:

— Володимир, голубчик, касатик, роодненький, — на кого ты нас оставил...

...А в обовшивевших просторах российских лесных полей и болотных лесов, где избяная древесная снасть к тому, чтоб кочевать и бегать, — где люди, зарясь на огни заводов и стальных дорог вдали, говорят о леших-городах, о чумовых, об анчихристах из городов, — в безлобых под соломой поселках, люди с болотинами глаз и хвостами бород — приходили в советы в волость и недоумело спрашивали: можно ль отслужить заупокойную панихиду — за Ленина. — —

И потом, в день, когда земля в полдень была полночно темна, но в полночь светла как день и прозрачна, чтоб видеть далекие впереди созидания, когда сумерки начинали гнить четырьмя часами, — в воскресенье, когда ломается Рязанью-яблоком неделя, — —

— — заводы, заводы, заводы, бетон, сталь, Россия, города, Москва — сдвинутыми в гранит бровями, скулами, как сталь, миллионом толп, — замерли на пять минут, когда клали в братскую могилу и в вечность к земле труп, — замерли эти, рожденные октябрями, заморозками: ибо земная осень стала *человеческой* весной, эти отобранные октябрями, — *владимирствующие* изо всех болот Руси и Рассеи, — и гудели, гудели только заводы, сталь, бетон, шпалы — выли, гудели гудки всея России — —

— — победно, владимирствуя, над смертью, через смерть, потому что смерти не было, через гнилые сумерки — через Русь и Рассею — над Рассеей и Русью — гудели, гудели гудки, сталь, бетон — новой России, — гудели, чтоб —

что бы ни было — над буднями, над Гумом, над Расеей и Русью, — из Октября и с заводов, — утвердить:

— Человеческие революции машин и мира — идут! — —

— — и тем, третьим, десятым, коломенским, было понятно, почему вот, на Советской площади в Коломне упал в эти минуты четырех часов, упал в падучей *Иван Александрович Непомнящий*, статистик, и бросились к нему — Марья Ивановна и *Марья*-табунщица — —

Коломна — Никола-на-Посадьях,
Лондон — 20, Handel-Mansions,
Handel-str., Семеновская сторожка
в Кадомском лесничестве.
10 марта 1923 — 2 июня 1924 г.

П о в е с т и

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА

Эту мою повесть, отнюдь не реалистическую,
я посвящаю
АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ РЕМИЗОВУ,
мастеру,
у которого я был подмастерьем.
Бор. Пильняк.
Коломна, Ник.-на-Посадьях.
Петров день, 1922 г.

1.

О Т К Р Ы Т А
Уездным Отделом Наробраза
Вполне оборудованная
— БАНЯ —
(бывш. Духовное училище в саду)
для общественного пользования с пропускной способностью на 500 чел. в 8-ми час. рабочий день.

Р а с п и с а н и е б а н ь:
Понедельник — детские дома города (бесплатно).
Вторник, пятница, суббота — мужские бани.
Среда, четверг — женские бани.

П л а т а з а м ы т ь е:
для взрослых — 50 коп. зол.
для д е т е й — 25 коп. зол.
УОТНАРОБРАЗ.

С р о к и: Великий пост восьмого года Мировой Войны и гибели Европейской культуры (по Шпенглеру) — и шестой Великий пост — Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом, — когда Великая Россия великой революцией метнула по принципу метания батавских слезок, — Эстией, Латвией, Литвой, Польшей, монархией, Черновым, Мартовым,

Дарданеллами, — русской культурой, — русскими метелями, —

— и когда —

— Европа —

была:

— сплошным эрзацем —

— (Ersatz — немецкое слово,

значит наречие — *вместо*) —

М е с т о: места действия нет. Россия, Европа, мир, братство.

Г е р о и: героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверье, — культура, метели, грозы, образ Богоматери. Люди, — мужчины в пальто с поднятыми воротниками, одиночки, конечно; — женщины: — но женщины моя скорбь, — мне романтику —

— единственное,

прекраснейшее,

величайшая радость.

В России — в Великий пост — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут, после дневной ростепели, ручьи под ногами, — как в марте днем в суходолах, в разбухшем суглинке, — как в июне в росные рассветы, в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки), — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой, — так же тесно, как сердце в руке, — что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как сумерки великопостным звоном, как березовая горечь в июне) — одно: жизнь, чистота, молодость, нежность, хрупкая, как великопостные льдинки под ногою. Это мне — женщина. Но есть и другое. — В старину в России такие выпадали помещичьи декабрьские ночи. Знаемо было, что кругом ходят волки. И в сумерках в диванной топили камин, чтоб не быть здесь никакому иному огню, — и луна под-

нималась к полночи, а здесь у камина Иннокентием Анненским утверждался Лермонтов, в той французской пословице, где говорится, что самое вкусное яблоко — с пятнышком, — чтоб им двоим, ему и ей, томиться в холодке гостиной и в тепле камина, пока не поднялась луна. А там на морозе безмолвствует пустынная, суходольная, помещичья ночь, и кучер в синих алмазах, утверждающих безмолвие, стоит на луне у крыльца, как леший, лошадь бьет копытами: кучера не надо, — рысак сыплет комьями снега, все быстрее, все холоднее проселок, и луна уже сигает торопливо по верхушкам сосен. Тишина. Мороз. В передке, совсем избитом снежными глышками, стынет фляжка с коньяком. И когда он идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, дымящего паром, — они стоят на снежной пустынной поляне, — в серебряный, позеленевший поставец, — блеснувший на луне зеленым огоньком, она наливает неверными, холодными руками коньяк, холодный, как этот мороз, и жгучий, как коньяк: от него в холоде ноют зубы, и коньяк обжигает огнем коньяка, — а губы холодны, неверны, очерствели в черствой тишине, в морозе. А на усадьбе, в доме, в спальной, домовый пес-старик уже раскинул простыни и в маленькой столовой, у салфеток, вздохнул о Рождестве, о том, что женщин, как конфеты, можно выворачивать из платья. — И это, коньяк этих конфет, жгущий холодом и коньяком, — это: мне. —

— Ах, какая стена молчащая, глухая — женщина — и когда окончательно разобью я голову?!

2. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками.

Емельян Емельянович Разин, русский кандидат филологических наук, секретарь Уотнаробраза.

Пять лет русской революции, в России, он прожил в тесном городе, на тесной улице, в тесном доме, — каменном особняке о пяти комнатах. Этот дом простоял сто лет, холуйствовал без нужника столетье, и еще до революции у него полысела охра и покосились три несуразные колонки, подпирающие классицизм, фронтон и терраску в палисаде. Переулочек в акации и сиренях, — в воробьях, — был выложен кирпичными булыжниками, и переулочек упирался в церковь сорока святых великомучеников (в шестую весну русской революции, по-иному, по-новому в столетье — взглянули образа в этой церкви из-под серебряных риз, снятых для голодных, позеленевших и засаленных воском столетий). Вправо и влево от дома шли каменные заборы в охре. Против — тоже каменный, — стоял двухэтажный, низколобый, купеческий дом — домовина — в замках, в заборах, в строгости, — этот дом — тоже печка от революции: сначала из него повезли сундуки и барахло (и вместе с барахлом ушли купцы в сюртуках до щиколоток), над домом повиснул надолго красный флаг, на воротах висели по очереди вывески отделов — социального обеспечения, социальной культуры, дом гудел гулким гудом, шумел интернационалом коммунхоза, — чтоб предпоследним быть женотделу, последним — казармам караульной роты, — и чтоб дому остаться в собственной своей судьбе, выкинутым в ненадобность, чтоб смолкнуть кладбищенски дому: побуревший флаг уже не висел на крыше, остался лишь кол, дом раскорячился, лопнул, обалдел, посыпался щебнем, охра — и та помутнела, окна и двери, все деревянное в доме было сожжено для утепления, ворота ощерились, сучьи и даже крапива в засухе не буйничала, — дом долгое время таращился, как запаленная кляча. — В доме Емельяна Емельяновича в первую зиму, как во всем городе, на всех службах, задымили печи, и на другую зиму, как во всем городе, поползли по потолкам трубы железок, чтоб ползать им так две зимы, — чтоб смениться потом для дальнейшего мореплавания кирпичными — прочными мазанками, — в снежной России, как в бесснежной Италии. Емельян Емельянович каждое утро с десяти до четырех ходил на службу, и университетский его значок полысел от

трудов и ненадобности. В оконной раме сынишка выбил стекло (этого сынишку вскоре отвезли — навек — на кладбище), — окно заткнули старым одеялом, и тряпка зимовала много зим, бельмом. В столовой на столе была белая клеенка, с новой зимой она пожелтела, потом она стала коричневой и не была, собственно, клеенкой, ибо дыр на ней было больше, чем целых мест, — и на ней всегда кисли в глиняных мисках капуста и картошка, — хлеб убирался, когда был, в шкаф. Вечерами горели моргасы, нечто вроде лампад, заливаемые фатанафтолем; от них комнаты казались подвалами, и черной ниткой в темноте шли верейки сажи, чтоб не только мужу, но и жене стать к утру усатыми. Дом классической архитектуры, с кирпичными полами, был, в сущности, складным, ибо все кирпичи расшатались и, тщательно сохраняемые в положении первоначальном, посальнели от заботливых рук человеческих и от глины. — Все годы революции он, Емельян Емельянович Разин, провоевал с неведомыми во мраке некиими мельницами, пробыл у себя, нигде не был, — даже за городом, от трудов у него получалась картошка, — от юношеской ссылки к Белому морю остались пимы и малица, купленные у самоедов на память, — и на третий год революции он, Емельян Емельянович, надел их, чтоб ходить в Уотнаробраз: к тому времени все уже переоделись так, чтоб не замерзнуть и, чтоб не моясь по годам, скрывать чернейшее белье — —

— Открыта —
Уездным
Отделом Наробраза — вполне оборудованная —
— БАНЯ — —

У него, Емельяна Емельяновича Разина, не случайно осталось ощущение, что эти пять лет в России — ему — были сплошной зимой, в моргасном полумраке, в каменном подвале, пыли и копоти, четыре года были сплошной моргасной, бесщельной, безметельной, аммиачной зимой. Но он был филолог, окрест по селам исчезали усадьбы, ценности рушились, — и за Кремлем, на Верхнем базаре, рундуки, как клопов в каменном

доме, нельзя было вывести: и в той комнате, где окно было заткнуто одеялом, где покоились грузно на кирпичах копоть и грязь и все же кирпичи были в невероятнейших географических картах несуществующих материков, написанных сыростью, — все больше и больше скапливалось книг, памятников императорской русской культуры, хранивших иной раз великолепные замшевые запахи барских рук. Книги, через книги — жизнь, чтоб подмигивать ему сидя за ними ночами: конечно, он не замечал ватного одеяла в окне. У него выработалась привычка ходить с поднятым воротником — даже у пиджака, — потому что в России был постоянный сыпной тиф, и поднятый воротник — шанс, чтоб не заползла вошь, и еще затем, чтоб скрыть чернейшее белье. Жизнь была очень тесная: Емельян Емельянович не был горек своей жизнью, он был советским — так называлось в России — работником, он был фантаст, — он создал — графически — формулу, чтоб доказать, что закон — для сохранения закона — надо обходить: он мелом рисовал круг на полу, замкнутый круг закона, и показывал опытно, что, если ходить по этой меловой черте, по закону, — подметки стирают мел, — и, чтоб цел остался мел, — закон, — надо его обходить. Впрочем об этом потом. Емельян Емельянович был в сущности: —

— и Иваном Александровичем Каллистратычем, российским обывателем,

— и ротмистро-тензигольским Лоллием Кронидовым, российским интеллигентом.

Четыре года русской революции — Емельян Емельянович Разин — заполнил: —

сплошной
моргасной,
бесщельной,
пещерной, —
— безметельной, —
— зимой, —

в пимах и малице. В пятый год — он: спутал числа и сроки, он увидел метель — метель над Россией, хотя видел весну, цветущие лимоны. Как зуб из гнилой челюсти, — самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, — метельным январем, где-то в Ямбурге, на

границе РСФСР, — когда весь мир ощетинился злою собакою на большевистскую Россию, и отметывалась Россия от мира горящими поленьями, как у Мельникова-Печерского — золотоискатели — ночью в лесу — от волков, — его, Емельяна, выкинуло из пределов РСФСР: в ощетиненный мир, в фанерные границы батавских слезок Эстии, Литвы, Латвии, Польши, в спокойствие международных вагонов, неторопных станций, киркочных, ра́тушных, за́мочных городов. — Над Россией мели метели, заносили заносы, — в Германии небо было бледно, как немецкая романтика, и снег уже стаял, в Тироле надо было снять пальто, в Италии цвели лимоны. — В России мели метели и осталась малица, над Россией выли белые снега и черные ветры, снег крутился до неба, в небо выл, — здесь столики кафе давно были вынесены под каштаны, блестели солнце, море, асфальт, цилиндры, лаковые ботинки, белье, улыбки, повозки цветов на перекрестках. — В России мели метели и осталась малица. Неаполь — сверху, с гор, от пиний — гудел необыкновенной музыкой, единственной в мире, вечностью — в небо, в море, в Везувий. — В России мели метели, — и в марте, перед апрелем, — встретила вновь Россия — Емельяна — под Себежем, снегами, метелями, ветрами, снег колол гололедицей, последней злой перед Благовещением. Зубу, вырванному из челюсти, — не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин — все спутал, все съехало, — но метели — остались, — метели в тот час, когда расцветали лимоны, и метель не была зимою, ибо январь срезал зиму, снега, Россию, метель была всюду, — и метель спутала все, — казалось:

> лимонную рощу заметают русские стервы метельные, в сугробах цветут анемоны; в Вене в малице, — мчит самоед, в Неаполе сел в ратушу — тоже метель, — Исполком: Неаполь впер в Санкт-Петербург; Москва — сплошной Здравотдел, где сыпной тиф — метелями; — метель гудит Неаполем, Неаполь воет метелями, цветут апельсины, — весь мир ощетинился — не собаками — нибелунгами, нибелунги сгибли в метели, а метель — Россия, — над Россией

в метели мчат метельными стервами не метеленки: метеленками люди, избы, города, людьми мерзнут реки, города избами, и люди, и избы, и снег, и ветра, и ночи, и дни кроют, кроят, мчат, мечут — в Ямбургских лесах, в Себежских болотах, в людоедстве с Поволжья, — клеенка мчит ковром самолетным — для мух, — трубы печурочные — подзорные трубы в вечность — метель, — чертовщина, — все спутано, — не найдешь камертона, —

— это тогда, когда: —

— тропинка идет по скату Везувия, уже в запылившемся, высохшем вереске, через бестенную рощицу маслин, в неподвижные заросли цветущих олеандр; внизу город, гудящий необыкновенной, единственной в мире музыкой, и синее блистающее море, — сзади, выше — белый дымок Везувия, рядом белая церковь, которая служит раз в год. И когда-то, ослепительный и прекрасный, здесь лежал город, и люди в легких одеждах шли этой тропинкой к Везувию. — Те люди, тот город — погибли:

не от вулканического извержения —

— потому что древнюю эллинскую культуру уничтожила — европейская, чтоб погибнуть — потом — самой. — Метель.

3. Мужчины в пальто с поднятыми воротниками, — одиночки, конечно.

Мистер Роберт Смит, англичанин, шотландец.

В международном вагоне, как буржуа, от Парижа до Риги, в спокойствии, как англичанин, в купе, где

были мягкость голубого бархата, строгость красного дерева, фанер, рам и блестящая тяжесть меди, ручек, скреп, — на столике, в медной оправе, около бронзовой пепельницы, в солнце, в зеркальных окнах, — лежали апельсины, апельсинные корки, шоколад в бумаге, тисненой золотом, коробка сигар, резиновый порт-табак, прибор для чистки трубок, трубки. Поезд пересекал Германию, где небо было бледно, как немецкая романтика, но был весенний день, бодро светило солнышко, и в купе с окнами на юг, в солнце, был голубоватый свет, в бархате, в красной фанере, скрывающей мрамор умывальника. Солнце бодро дробилось в медных ручках, скрепах, оконных запорах, в бодрости красного дерева. В купе был голубой свет, нежнее, чем дымок сигары, но дымок сигары не мешал. Голубой свет был рожден голубой мягкостью бархатных дивана и его спинки, и стульчика у стола. Мистер Роберт Смит, как всегда, спал в пижаме, в туго подкрахмаленных, скрипящих простынях. В умывальнике была горячая и холодная вода. Проводник сообщил, что кофе готово, и оставил номерок места в ресторане. Мистер Роберт мылся и обтирался до ног одеколоном, делал голый гимнастику, брился, затем надел все свежее: шелковые голубые кальсоны до колен, черные носки на прорезиненных шелковых подвязках, охватывающих икру, — черные ботинки без каблуков с острейшими носками, — крахмальную рубашку, блестящую добродетелью. Над чемоданом с костюмами мистер Смит на момент задумался и надел синий — брюки, завернутые внизу, жакет с большим прорезом, с узкой талией и широкими полами. Но воротник он надел утренний, мягкий, чтобы не долго переодеваться перед обедом. Пришел проводник, француз, убрать купе. В ресторане перед мистером Смитом сидел русский, должно быть, ученый: мистер Смит это узнал потому, что господин был в визитке, но с серым галстуком, манжеты у него были пристяжные, и он за столиком — за кофе — разложил кипу немецких, английских и русских книг, — этого никогда б не сделал европеец. — В купе дробилось, блистало солнце, был голубой свет, проводник ушел, и пахло сосновой водой. Мистер Смит сел к окну, откинулся к спинке, в солнце, ноги положил на стульчик у столи-

ка, солнце заблистало в крахмаленной груди, переломилось на тугой складке брюк, кинуло зайчик от башмака ко многим другим зайчикам, от медных сдержек, от строгого лоска красных фанер. Волосы в бриллиантине, на прямой пробор, тоже блестели, — а лицо, в голубом свете, было очень бледным, почти восковым, до ненужного сухое, такое, по которому нельзя было определить возраста — двадцать восемь или пятьдесят. Мистер Смит сидел с час неподвижно, с ленивою трубкой, которая медленно перемещалась из губ в руки, вот-вот потухая. Потом он достал из чемодана дорожный блок-нот, развернул Mon-blanc, автоматическую ручку-чернильницу, и написал письмо брату. —

«Мой брат, Эдгар.

«Ты писал мне о, так называемой, гипотезе вечности и о том, что твое судно уже снаряжено, и на днях ты идешь в море к Северному полюсу. Быть может, это письмо дойдет до тебя из Лондона уже по радио. Сегодня я перееду границу прежней императорской и послезавтра — теперешней, советской России. Мы с тобой долго не увидимся. Ты прав, истолковывая ощущение вечности как фактор вообще всякой жизни: все мы, как и история народов, смертны. Все умирает, быть может, ты или я завтра умрем, — но отсюда не истекает, что человечество, ты, я — должны ожидать свое завтра, сложа руки. Все мы, конечно, ощущаем нашу жизнь как вечность, иное ощущение нездорово, — но мы знаем о предельности нашей жизни и поэтому должны стремиться сделать — дать и взять — от жизни все возможное. Я скорблю лишь о том, что у меня слишком мало времени. В этом я вполне согласен с тобой. Но я думаю сейчас о другом, которое мне кажется не менее важным: о человеческой воле, когда народы в целом, как ты и я в частности, волят строить свою жизнь. Ты уходишь со своим судном к Северному полюсу, я еду в Россию,

мы вместе, юношами, замерзали в северной Сибири. Ты у Северного полюса будешь отрезан от человечества, быть может, наверное, ты захвораешь цынгой, тебе придется неделями стоять среди льдов, очень возможно, что ты погибнешь в аварии или умрешь от холода или голода, полгода ты будешь жить в сплошном мраке, тебе покажется событием, если, быть может, посчастливится побывать в юрте самоеда, — все это ты знаешь лучше меня. Ты идешь на всяческие лишения, — и все же ты уходишь в море, хочешь уйти потому, что ты так волишь. Это свободная твоя воля. Ты волишь идти на страдания. Твои страдания, твои лишения — будут тебе даже радостью, потому что ты их волишь увидеть: это было б непереносимо, если бы это было против твоей воли. То, о чем я сейчас говорю, я называю волей хотеть, волей видеть. Эта воля, когда она объединена нациями, человечеством, его государствами, она есть — история народов. Иногда она почти замирает, тогда у государств нет истории, как у китайцев в последнее тысячелетие. Так нарождались и умирали мировые цивилизации. Мы переживаем сейчас смену последней — Европейской. Мы переживаем сейчас чрезвычайную эпоху, когда центр мировой цивилизации уходит из Европы и когда эта воля, о которой я говорил, до судороги напряжена в России. В Париже мне сообщали, что там найден способ борьбы с брюшным тифом и не могут приступить к изучению сыпного — за отсутствием во Франции сыпнотифозных экспонатов. Любопытно проследить вплотную историческую волю народа, тем паче любопытную в аспекте людоедства и заката Европейской культуры. Но вот что проистекает еще из этой воли видеть: холодность, жестокость, мертвенность, — людям, живу-

щим этой волей, не страшно, а только интересно смотреть — смерть, сыпной тиф, расстрелы, людоедство, все ужасное, что есть в мире. —

«Всего хорошего тебе, дорогой брат мой Эдгар, будь здоров.

Твой брат Роберт. — »

В Эйдкунене, на германской границе, надо было пройти через таможню. Были солнечные полдни, — и около Эйдкунена, когда поезд медлил, прощаясь с Восточной Пруссией, в канаве у шпал, после уже нескольких месяцев весны в Париже, здесь впервые перед Россией появился снег. Под стеклянным навесом у вокзала, на пустынном дебаркадере, было холодновато, и откуда-то — из полей — веял пахнущий землею, набухший, русски-мартовский ветерок. Из вагонов табунками вышли джентльмены, женщин почти не было. — Предложили сдать паспорта. Трегеры в тележках повезли вещи. Прошли в таможенный зал. Американцы в буфете пили коньяк. Мистер Роберт Смит прошел на телеграф и дал несколько телеграмм:

— Миссис Смит, Эдинбург. — Мама, сейчас я переезжаю границу. Прошу Вас, простите миссис Елисавет: она не виновата.

— Миссис Чудлей, Париж. — И еще раз я шлю Вам мое поклонение, Елисавет, и прошу Вас считать себя свободной. —

— Мистер Кингстон, Ливерпуль. — Альфред, все мои права и обязанности я оставляю Вам. —

— Английский королевский банк, Лондон. —
— — — № текущего счета — — —

— Лионский кредит, Париж. — — —
№ текущего счета — — —

— Министру Сарва, Ревель, Эстония — —

Мистер Смит вышел с телеграфа — в цилиндре, в черном пальто, — с приподнятым — случайно, конечно, — воротником. Поезд передавался в Вержболово, в Литву, трегер принес билеты, метрдотель из ресторана-вагона пригласил обедать. За столом подали виски. К вечеру солнце затянуло облаками, в купе помутнело,

на столе стояла бутыль коньяку, снег встречался все чаще, поезд шел лесами, — проводник распорядился затопить печи, застукал молоточек калорифера, вспыхнуло электричество, стало тепло. Метрдотель пригласил к чаю. — День прошел. На столе стояла вторая бутыль коньяку.

М у ж ч и н ы: — в пальто с поднятыми воротниками, — одиночки, конечно. Героев нет.

М е с т о: места действия нет. Россия. Европа, мир.

4. Россия, Европа: два мира.

Поезд шел из Парижа в Ригу — в Россию, где революция. В Берлине, на Александер-пляц, на Фридрихсби-хоф, в Цоо, — поезд останавливался на две минуты пятнадцать секунд. Международные вагоны тускло поблескивали голубиным крылом. Поезд ящерицей прокроил по крышам, под насыпями, по виадукам, через дома, над Шпрэ, над Тир-Гартеном, мутнея под стеклами крыш, в коридорах переулков, мешая дневной свет с электричеством, в гуле города. До Берлина международные вагоны были комфортабельным dolce far niente, — в Берлине исчезли дамы и миссис, сошел японский дипломат, впереди русский бунт, — поезд пошел деловым путешественником, подсели новые пассажиры, много русских. Из гама города, из шума автобусов, такси, метро, трамваев поезд выкинуло в тишину весенних полей, на восток: каждому русскому сердце щемит слово — восток. Вечером за ужином, в ресторане-вагоне, в электричестве, ужин был длинен, пили больше, чем следует, не спешили перед скучным сном. Обера и метрдотель были медлительны. Окна были открыты, ночь темнела болотной заводью, иногда ветер заносил запахи полей. Американцы из АРА, ехавшие в Россию, говорили только на английском, молчали, сидели табунками, породистые люди, курили трубки, пили коньяк, ноги закинули на соседние стулья, фривольность мужской компании. Большой столик заговорил, громко, по-русски и по-немецки — о России: — и это было допущено, такое неприличие, — впереди русская революция — впереди — черта, некая, страшная, где людоедство. Дипломатические курьеры — француз-

ские, английские, российские — сидели сурово. Русский профессор-путеец радостно познакомился с российским курьером, у курьера было лицо русского солдата, он был в американских круглых очках, у него болели зубы, он молчал: профессор — тоже в очках, заговорил таинственно об «аусфуре». Поезд подходил к польскому коридору. В той перекройке географических карт и тех, которыми гадают цыганки, — перекройка, швами которой треснула Европа, европейская война и русская революция, рубец польского коридора был очень мозолящим. В купе были приготовлены подкрахмаленные постели, открыты умывальники, — американцы и англичане пошли спать, сдав паспорта проводнику. Сторки были опущены. В коридоре негромко разговаривали русские. Одиночками у окон стояли немцы, обиженные коридором, — и одиноко, один единственный, стоял англичанин, с трубкою в зубах, перед сном. Русский профессор заспорил с латышом.

...— В России крепостное право, экономически изжитое, привело к людоедству. В России людоедство, как бытовое явление, — сказал латыш.

— Да, моя родина, моя мать — Россия, — сказал профессор: — каждому русскому Россия, нищая, разутая, бесхлебная, кладбищенская — величайшей скорбью была — и радостью величайшей, всеми человеческими ощущениями, доведенными до судороги, — ибо те русские, что не были в ней в эти годы, забыли об основном человеческом — о способности привыкать ко всему, об умении человека применяться: — Россия вшивая, сектантская, распопья, распопьи-упорная, миру выкинувшая Третий Интернационал, себе уделившая большевистскую смуту, людоедство, национальное нищенство.

Говорили почему-то оба: профессор и латышский капиталист, по-немецки, но слово — людоедство, — употребленное несколько раз, каждый раз именовали по-русски, понижая голос. Латышу, сраставшемуся с Россией детством и десятилетиями зрелой жизни, ему ведь часто ночами, спросонья, в полусне мерещились тысячи серых рук у глотки, высохшие груди из России, с плохой какой-то картинки, — тогда его мучила одышка, вспоминалась молодость, всегда необыкновен-

ная, ему было тоскливо лежать в простынях, он пил содовую и старчески уже думал о том, что он боится — не понимает — России, и отгонял мысли, ибо не понимать было физически мучительно.

В купе горели ночные фиолетовые рожки, светили полумраком. Англичанин выкурил трубку, ушел. Поезд замедлил ход. Въезжали в коридор, по вагонам пошли польские пограничники, позвякивая шпорами. Профессор заговорил об аусфуре. Пограничники ушли, за окнами в небе светила мутная луна, — коридор опустел, вагон затих. Едва пахло сигарами, фиолетовые рожки светили полумраком. Тогда по коридору бесшумно прошел помощник проводника, собрал у дверей башмаки и понес их к себе чистить, — у проводника за плотно притворенной дверью горело электричество, на столике стояла бутылка коньяка, на диване, против проводника, сидел джентльмен, французский шпион, составлял списки едущих в Россию. Разговаривали по-французски, — мальчишка чистил башмаки.

На другой день, к полдню, у Эйдкунена появился снег, — проводники распорядились к вечеру затопить вагоны. В Эйдкунене, на таможенный осмотр, американцы вышли в демисезонных пальто, в дорожных кэпи, с шарфами наружу, перекинутыми через плечо, в желтых ботинках и крагах; американцы на платформе немножко поиграли — в импровизированную игру вроде той, которою мальчишки в России и Норвегии занимаются на льду: катали по асфальту глышки, и тот, кому этой глышкой попадали в башмак, должен был попасть другому и бегать за глышкой, если она пролетала мимо. Русский профессор заговорил обеспокоенно об аусфуре — с российским курьером, у курьера болели зубы, он молчал, — профессор вез с собой кожаную куртку, коричневую, совершенно новую, купленную в Германии, — в сущности нищенскую — и у него не было разрешения на вывоз: латыш посоветовал выпороть с воротника клеймо фирмы, профессор поспешно выпорол; в таможенной конторе немцы, в зеленых фуражках, кланяющихся туда и обратно, сплошь с усами, как у императора Вильгельма II на карикатурах, осматривали вещи: затем каждый пассажир, кроме дипломатов, должен был пройти через будку для личного осмотра, — и в этой

будке у профессора, когда он вынимал из кармана портмоне и платок, выпал лоскутик клейма фирмы, — чиновник его поднял, — профессора окружили немцы в зеленых фуражках, профессор стал школьником. Поезд передали в Вержболово, — профессор отстал от поезда. Метрдотель пригласил к обеду, обед был длинен, ели и бульон с желтком, и спаржу с омлетом, и рыбу, и дичь, и телячий карбонат, — на столиках стояли водки, коньяки, вина, ликеры, — после обеда долго курили сигары, — за зеркальными окнами ползли дюны, леса, перелески, болота. Все больше попадалось снега, лежал он рыхлый, бурый, — а когда пошли песчаные холмы в соснах, — в лощинах тогда снег блестел в зимней своей неприкосновенности, как молодые волчьи зубы. Небо мутнело. — После обеда в комфортабельности, неспешности, долго курили сигары, пили коньяк, метрдотель и обера были в такте этой неспешности. Впереди Россия. —

— Впереди — Россия. —

— И через два дня, — поезд, — разменяв в Риге пассажиров, — сменив международные вагоны на советские дипломатические, выкинув из обихода вагон-ресторан, враждебный в чужой стране, с винтовками охраны у подножек, —

— исчезли англичане, французы, французские проводники, начальником поезда ехал курьер с больными зубами, очень разговорчивый, появились несуразно одетые русские, курьеры, дипломаты, сотрудники учреждений столь же необыденные, как их названия — Индел, Весэнха, Внешторг, Гомза, Профобр, Центрэвак, —

— прокроив болота и леса прежнего российского Полесья, спутав часы, запутанные российскими декретами о новом врамени, —

— все холоднее становилось, все больше снегу, все зимнее небо, и путалось время тремя часами вперед, чтобы спутать там дальше, в России — и ночи, и дни, и рассветы, — чтоб слушать американ-

цам в необыденные часы рассвета непонятную, азиатскую, одномотивную песню проводника, на многие часы, валявшегося у себя в тендере на гробах дипломатических ящиков с поленом и фуражкой в головах, — — поезд пришел в Целюпэ, к границе РСФСР.

В Целюпэ, на одинокой лесной станцийке, поезд нагнал эшелон русских иммигрантов из Америки в Россию. Небо грузилось, по-российски, свинцами, снег лежал еще зимний. Станция — станционные постройки и домики за ней — упиралась в лес, и лес же был напротив, вдали виднелся холм в сосновом бору, в лесу напротив шли лесные разработки, и станцийка была, как в Швеции, на северных дорогах, стояли елочки по дебаркадеру, дебаркадер был посыпан желтым песком. В деревенской гостинице, на скатертях, в складках из серого домашнего полотна, в плетеночках лежал черный хлеб, какого нет на материке Европы, и в комнатах пахло черным хлебом. Хозяйка в белом чепчике приносила деревенские жирные блюда, в тарелках до краев, и в клетке у окна пел чижик. В восемнадцати верстах была граница РСФСР, город Себеж, кругом были холмы и болота, и болота Полесья, в лесах. Иммигранты возвращались на родину — из Америки. Еще — последний раз — пограничники осматривали паспорта. К сумеркам пошел снег. К сумеркам пришел из России, с Себежа, паровоз — баба (в России мешочники подразделяли паровозы на мужиков и баб, по звуку гудка, — бабы обыкновенно были товарными). Баба потащила вагоны. Баба первая рассказала о русской разрухе, ибо у той дощечки, где сердце каждого сжималось от надписи — граница, — текла внизу речушка в синих льдах и были скаты холма, а вдалеке внизу лежал поселок с белой церковью, — баба

остановилась, и пассажирам предложили пойти грузить дрова. — —

И Себеж встретил метелью, сумерками, грязью, шумом мешочников, воплями и матершиною на станции. Метельные стервы кружились во мраке, лизали, слизывали керосиновые светы. Забоцали винтовками, в вагоны влезли русские солдаты. Американец вышел на минуту, попал ногою в человеческий помет на шпалах, и никак не мог растолковать, волнуясь, проводнику, чтоб ему продезинфицировали башмаки. Задубасили поленом в стену, проорали, что поезд не пойдет до завтра, осадили на запасный путь, снова завопили, побежали мешочники с мешками, баба кричала: — «Дунькя, Дунькя, гуртуйси здеся,» — у пассажиров тихо спрашивали: — «Спирту не продаешь ли?» — Метель казалась несуразной, снег шел сырой, на запасном, в тупике, когда толпа мешочников умчалась с воем, — стало слышно, как воет ветер, гудит в колесах, в тендере, как шарит сиротливо снег по стенам, у окон, шарахаясь и замирая. Американцы говорили о заносах в прериях. Приходившие стряхали мокрый снег. В вагонах стало холодно и сыро, новый примешался — над всей Россией веющий — запах аммиака, триметиламина, пота. Был поздний час, за полночь, никто не понимал, ложиться спать или нет? —

— И — тогда — пришли и сказали, что — в театре культпросвета комсомола — митинг, предложили сходить. — Вот и все. — Во мраке — первый — русский — сразу покатился под колеса, сорвавшись с кучи снега, сваленной на шпалы, встал и сматерщинил добродушно. Пошли в метель. У водокачки промочили ноги и слушали, как мирно льет вода из рукава, забытая быть завернутой. Не один, не два, а многие понесли на башмаках удушливые

запахи. Англичанин освещал себе путь электрическим фонариком. В вокзале на полу вповалку, мужчины, женщины и дети, лежали пассажиры. Был уже час за полночь. Когда спросили, где комсомол, — рукой махнули в темноту, сказали: — «Вон тама. — Нешь не знаешь?» — Долго искали, путаясь в шпалах, поленницах и мраке. В поленницах наткнулись на двоих, они сопели, англичанин осветил, — в поленнице совокуплялись солдат и баба, стоя.

Барак (у входа у барака была лужа, и каждый попадал в нее во мраке) был сбит из фанеры, подпирался изнутри столбами. В бараке был, в сущности, мрак. Плечо в плечо, в безмолвии, толпились люди. На сцене, на столе, коптила трехлинейная лампенка, — под стрешни в фанерном потолке врывался ветер, и свет у лампы вздрагивал. На заднем плане на сцене висел красный шелковый плакат: — «Да здравствует Великая Рабочая и Крестьянская Русская Революция». У лампы за столом сидели мужики в шинелях и овчинных куртках. Театр из фанеры во мраке походил на пещеру. Говорил мужик в шинели, — неважно, что он говорил.

— Товарищи! Потому как вы приехали из Америки, этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина — по трактеру. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего этого нету. У нас, товарищи, кто имеить пуд картошки про запас, — спокойный человек. Для вас не секрет, товарищи, что на Поволжьи люди друг друга едять. У нас колосональная разруха. — Н-но, — товарищи, — нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева. И нам известно, почему вы приехали из Америки, хоть у нас свиного сала и нет, — не то — чтобы

кататься на автомобилях. У нас теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Интернационал. Мы всех, товарищи, зовем идти с нами и работать, — н-но, — товарищи, — врагов наших мы беспощадно расстреливаем. — Вот, товарищи, какие дизгазы и проблемы стоят перед нами. — —

Что-то такое, так, гораздо длиннее, говорил солдат. Люди, плечо в плечо, стояли безмолвно. К солдатским словам примешивался вой ветра. Лампенка чадила, но глаз привык ко мраку, и лица кругом были строги. Театр был похож на пещеру. Солдат кончил. Вот и все. За ним вышел говорить старик эмигрант.

— Дорогие товарищи, я не уполномочен говорить от лица всех. Я девятнадцать лет прожил в Америке, — не кончил, зарыдал, — выкрикнул: — Россия. —

Его посадили к столу, плечи его дергались.

Двое — англичанин и русский филолог — вышли из театра — клуба комсомола, во мрак, в метель. Англичанин машинально пробрел по луже. — Да, иная Россия, иной мир. Англичанин поднял воротник пальто.

— Вас поразил митинг? — спросил англичанин.

— Нет. Что же — это советские будни, — ответил филолог.

Поезд стоял в тупике, — поезд впер в Россию. Вот и все.

Вот и все.

Впрочем — вот, чтоб закончить главу, как вступление: —

— о неметельной метели.

5. О неметельной метели.

Я не знаю, как это зовется в народе. Это было в детстве, в России, в Можае. Это был, должно быть, сентябрь, начало октября. Я сидел на окне. Напротив был

дом — купеческий, серый, дом Шишкиных, направо площадь, за нею собор, где ночевал Наполеон. Против дома Шишкиных, на углу стоял фонарь, на который в пожарном депо отпускалось конопляное масло, но который никогда не светил. Ветер был такой, что у нас повалился забор, у Шишкиных оторвало ставню и сорвало железо с крыши, фонарь качался: — ветер был виден, он был серый, — он врывался, вырывался из-за угла, нес с собой серые облака, серый воздух, бумажонки, разбитое решето, ветер гремел калитками, кольцами, ставнями — сразу всеми со всего переулка. Была гололедица, земля вся была в серой корке льда. Одежда на людях металась, рвалась, взлетала над головами, — люди шли, растопырив все конечности, — и у фонаря люди, сшибаемые ветром, — все до одного, — бесполезно стремясь ухватиться за столб, выкидывая ногами кренделя, летели вслед за решетом. Мой папа, доктор, пошел в земскую управу, на углу он вскинул ногой, рукой хотел было схватиться за столб, — и еще раз вскинул ногой, сел на землю и дальше пополз на четвереньках, головою к ветру: ветер был виден. Мальчишки, — Васька Шишкин, Колька Цвелев, — и тут нашлись: они на животах выползли в ветер, и ветер их тащил по ледяной корке. — Была гололедица, был страшный ветер, как Горыныч, — и все было серо, отливающее сталью: земля, небо, ветер, дома, воздух, фонарь. И ветер, — кроме того — был еще вольным. — Мама не пустила меня в тот день на улицу, мама читала мне «Тараса Бульбу». Тогда, должно быть, сочинились стихи, оставшиеся у меня от древнего моего детства:

— Ветер дует за окнами,
Небо полно туч.
Сидим с мамой на диване.
— «Ханша, ты меня не мучь». —

— Ханша —

это собака. —

---

1. С вышгорода — с Домберга, где старый замок, из окон Провинциального музея и из окон Польского посольства, виден весь город и совершенно ясны те века,

когда здесь были крестоносцы и здесь торговали ганзейские купцы. Из серого камня под откосом идет стена, она вбита в отвес холма: Калеево, народный эпос, знает, что эта гора снесена по горсти — пращурами — рыцарями. Стена из серого камня упирается в серую башню, и башня как женская панталонина зубцами прошивки кверху. Домберг высок, гнездо правителей. На ратуше, на кирках бьют часы полдень, башни кирок и ратуши, готика, как застывшая музыка, идут к небу. Там, за городом, во мгле — свинцовое море, древняя Балтика, и небо, седое как Балтика. —

— Этой ночью палили из пушек с батареи в бухте у маяка, ибо советский ледокол «Ленин» поднял якоря и пошел без таможенного осмотра — в море, в ночь: без таможенного осмотра, и пушки палили перед его носом — в учебной стрельбе, — как сказано было в ноте, пользуясь ночным часом, когда не ожидалось кораблей. В посольстве говорили о контрабандистах, рассказывали, что в море, в Балтийском море, бесследно погибло пять кораблей, один эстонский, два финских и два шведских, были улики пиратства, подозревали, что пиратствуют российские моряки, Кронштадт, — и тогда же шептали о восстании корелов против России. —

— С вышгорода видны были снежные поля. В башне, как женская панталонина, поэты, писатели и художники устраивали свой клуб, с именем древнего клича — Тарапита. В башне до поэтов жили совы. По стене шли еще башни, две рядом назывались — Тонкий Фауст и Толстая Маргарита: Толстую Маргариту, где была русская тюрьма, разгромили в 1917 году белой ночью, в мае. — В старом городе извозцы ездили с бубенцами, ибо переулки были так узки, что два извозчицы не разъехались бы. Каждый закоулок должно было бы снести в театр, чтоб играть Эрика XIV, и Бокаччио мог бы украшать «Декамерон» стилями этих переулков. На острокрыших домах под черепицею еще хранились годы их возникновения: 1377, 1401, и двери во всех трех — кононных — этажах открывались прямо на улицу, — а на доме клуба черноголовых, древней купеческой гильдии, до сих пор из-под угла крыши торчало бревно с блоком, ибо

раньше не было лестниц и во все три этажа поднимались с улицы по блоку на подъемной площадке, площадку на ночь оставляли под крышей и жили так: в нижнем этаже лавка и пивные бочки, в среднем — спальня и жена с детьми, в верхнем — склад товаров. — В полдень на кирках били колокола, из Домберга, из окон было видно, как помутнела Балтика и небо, и как идет метель на город. — Нет, не Россия. —

— В Толстой Маргарите была русская тюрьма. Россия правила здесь двести лет, — здесь, в древней русской Колывани. — Нет, не Россия: вместе с Россией несла все эти годы империи. Русский Октябрь хряпнул по наковальне 1917 года: — Великая Россия Великой Революцией метнула в те годы, теми годами, искрами из-под наковальни, — Эстией, Латвией, Литвой, — и Эстии, Латвии, Литве, в снегах, в морозах — суденышком, всеми покинутым, — поплыть в историю партизанствуя, отбиваясь друг от друга, от России, как от немцев, в волчьей мировой драке и русской смуте, возлюбить как Бельгия, себя, свои болота и леса. — Россия метнула Эстией, Литвой, Латвией, Монархией, — императорской культурой, — русской общественностью, — оставив себе советы, метели, распопье, сектантство и муть самогонки, — а здесь в древне-русской Колывани: —

— тор-го-вали ви-ном, маслом, мясом, сардинками, всем, хе-хе-хе, в национальном государстве, — совсем как десять лет назад в России. Историк, — размысли. Поэты кликнули клич — Тарапита!

Культура — финско-нормандская. Средневековье смешалось с сегодня. Здесь запоют еще Калевичи. Здесь есть рыцари-партизаны, которых чтут, которые своею кровью защищали свое отечество от немцев, от большевиков, от смуты. Здесь в башне Тарапита поэты, писатели и художники, рыцари в рыцарском зале — бокалом вина, бочкой пива величали на родном своем

языке, встречая русского, бежавшего от родины, писателя: они на родном своем языке говорили о своей нации, о своей борьбе за свой национальный быт и за демократию, — переводчик переводил, — русский писатель ответил по-русски, и его речь перевели, — тогда пили бокалы и кубки: —

— и все вместе потом стали русские петь студенческие песни о том, как «умрешь, похоронят» — —

— здесь женщины, чтобы помолодеть, мажут лицо какой-то змеиной едкой мазью, и с лица сходит кожа, растет новая, молодая, и женщина молодеет. —

— А где-то в другом месте, за тысячи верст и отсюда и от России, — от русской земли, — два человека, русских два писателя, — в воскресный день, в заполдни, — рылись в вещах, и они нашли коробочку, где была русская земля, — не аллегория, не символ, — а просто русская наша земля, — сероватый наш русский суглинок, увезенный в коробочке за тысячи верст: — и ах как тоскливо стало обоим, такая тоска по земле. Тогда перезванивали колокола на кирке, и они не слышали их: они были два русских изгоя. Хряпнул Октябрь не только октябрьскими слезками Эстии, Литвы и Латвии: если себе Россия оставила только советы и смуту, метель и распопщину, то те, кто не хочет русской мути, метели и смуты, кто ушел от России — тот вне России фактически. Имя им — изгои. В те годы было много Кобленцев. —
И: просто русский сероватый наш суглинок.

а — —

Ресторан, лакеи, фраки, смокинги, крахмалы, дамы, оркестр румын, —

— Встаааать. —

— Смиииирнааа. —
«Боже, царяа хрании, —
«Сииилы, державный — — —
в-с-d-е-f
h —
Улица, перекресток, там вдали клуб черноголовых, здесь ратуша, и на ней часы показывают одиннадцать дня, морозный день.
— Полковник Саломатин? — это басом, обветренным многими ветрами.
— Никак нет, изволите ошибаться.
— Оччень жаль, о-чень жаль! — хотя, впрочем, — очень приятно... — Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с! — он предатель отечества... С кем имею честь? — позвольте представиться: ротмистр русской службы Тензигольский. — Очень похожи на полковника Саломатина, — он предался большевикам! —
— Куда изволите идти? —
— Ах, пустяки, — надо зайти на перепутье выпить рюмку водки.
И потом в ресторане, после многих рюмок:
— Вы, конечно, коллега, заплатите?.. Э-эх, прос... Россию, все, все вместе, сообща. Что говорить. — И бас, обветренный всяческими ветрами, не умеет быть тихим, — а глаза, также обветренные, смотрят в стол. —
k-m — —
русская же ф, фита, отмененная, неотменимая новым правописанием в России, — будет, есть в конце русской абевеги. — —

2. Шахматы без короля.

В полдни с вышгорода видно, как идет метель. Полдни.

У крепостной стены, около шведской церкви из гранита, наполовину врытой в землю, — дом, в котором жили — когда-то — шведские гильдейцы. В этом доме гостиница теперь: «Черный Ворон». В последнем этаже гостиницы, где раньше гильдейцы-шведы хранили свой товар, — последние — за тридцать — номера, вход на чердак, комнаты для оберов и фрекен, потолок почти в уровень с головой и в узких окнах черепицы крыш соседних зданий. С полдня и всю ночь — из ресторана внизу — слышна музыка струнного оркестра. Здесь живет богема, гольтепа, все комнаты открыты. Здесь проживает русский князь-художник, три русских литератора, два русских офицера, художники из Тарапита, — здесь бывают студенты-корпоранты, партизаны, офицеры национальной и прежней русской армий, министры, губернаторы, поэты. — И в тридцать третьем номере, — в подштанниках, — с утра играют двое в карты и в шахматы, начатые вчера, — русский князь-художник и русский офицер. На столе у шахмат ужин на подносе, а на кровати, где свалены пальто, спит третий русский. На столике и под столом бутылки из-под пива, стаканы, рюмки, водка. Князь и офицер сидят, склонившись к шахматной доске, они играют с ночи, они долго думают, они долго изучают шахматную доску, их лица строги. На чердаке безмолвие, тепло, за окнами зима. Безмолвно иной раз проходит фрекен с ведерком и щеткой, в крахмальном белом фартучке, — и навощенный пол, и крашеные стены в морозном желтом свете блестят, как им должно блестеть в горнице у бюргера. Двое за шахматами безмолвны, они изредка — по глотку — пьют помесь пива с водкой.

Тогда приходит, запушенный снегом, ротмистр Тензигольский. Он долго смотрит в шахматную доску, бекешу сваливает на спящего, садится рядом с игроками и говорит недоуменно князю:

— Да как же ты играешь так?

— А что?

— Да где же твой король?

Ищут короля. Короля нет на шахматной доске: король вместо пробки воткнут в пивную бутылку. — Мешают шахматы, толкают спящего и расходятся по комнатам — ложиться спать. Фрекен убирает комнату —

моет, чистит, отворяет окна в ветер — каждый день из стойла превращает фрекен в комнату, в жилище, мирное, как бедный бюргер.

Ротмистр Тензигольский спускается по каменной лесенке, выбитой в стене, — вниз, в ресторане уже надрывается оркестр, и скрипки кажутся голыми, обера во фраках, бывшие офицеры русской армии, разносят блюда. Ротмистр Тензигольский у стойки, по привычке, пьет рюмку водки и идет в метель, в кривые тупички улиц, где трое расходятся с трудом. — Князь Паша Трубецкой, грузясь в мути сна, сквозь сон слышит, как в шведской церкви — не по-русски — медленно вызванивает колокол. — Во французской миссии Тензигольский долго ждет начальника контрразведки, скучает, а когда начальник приходит, рапортует ему о сысковом. Начальник пишет чек. — —

Есть закон центробежных и центростремительных сил, и другой закон, тот, что родящими, творящими будут лишь те, кто связан с землей, — с той землей, с суглинком, над которым плакали где-то два писателя. И еще: первейшая связь с землей у людей — есть дети и женщины, несущие плод. Но по закону центростремительной силы (метель кружит?) — откинуты те, единицы, которые весят и умеют весить больше других: историки «Истории Великой Русской Революции» в главе «Русская эмиграция» рассказали, что русский народ поистине богоносец и что подвижничество Серафима Саровского — было, было, пусть это и не главное, — а главное: —

— «Очень жаль! о-чень жаль! — хотя, впрочем, очень приятно. Я полковнику Саломатину должен дать в морду, — в морду-с! — он предался большевикам!»

Во французской контрразведке тайный агент ротмистр русской службы Тензигольский получил чек. Из французской контрразведки ротмистр Теннзигольский — трансформировавшись в полковника Саломатина — без всякой мистической силы из Тензигольского став Саломатиным — пошел в вышгород, в польскую контрразведку. Мальчишки на коньках и на шведских санках, на которых надо толкаться одной ногой, обго-

няли ротмистра-полковника Тензигольского-Саломатина. У поляков полковнику Саломатину говорят:

— Сюда приезжает из России красноармейский офицер, шпион, — Николай Расторов. — —

Глаза полковника Саломатина, обветренные многими ветрами, лезут из орбит.

— Как?! — так — слушаюсь. — —

3. Шахматы без короля.

Странные бывают совпадения — иному все совпадения полны мистического смысла. За Домбергом, за станцией, в стройных деревцах, в домике шведского стиля, — в перлюстрационном — черном — кабинете работали двое. Письма были обыденны, труд был обыденен, оба трудившихся были русские, русский генерал и российский почтово-телеграфный чиновник. Генерал, Сергей Сергеевич Калитин, наткнулся на посылку, в бандероли была серия порнографических открыток. Генерал прочел имя адресата — князь Павел Павлович Трубецкой, — генерал убрал открытки к себе в портфель, изничтожив бандероль. Павлу Павловичу Трубецкому был кроме того денежный пакет. Ротмистру Тензигольскому глухо сообщалось из России, что должен приехать Николай Расторов. Несколько писем было Лоллию Львовичу Кронидову и от Лоллия Львовича: брат писал о том, как восторженно встречали Врангеля в Белграде; Лоллий Львович писал брату, что в России людоедство, большевики деморализованы, власти на местах нет, власть падает, всюду бунты, восстание карелов превращается в национальный крестовый поход за Россию, в Балтийском море пиратствуют советские суда из Кронштадта, Россия же, где людоедство, оказалась некиим бесконечным пустым пространством, где на снегу, чуть прикрытые лохмотьями, были люди из каменного века, волосатые, с выросшими челюстями, с пальцами на руках и ногах, как прудовые каряги, причем около одних, сидящих, кроме ржаной каши и конины, лежали — у каждого по пять наганов, по пять винтовок, по пять пулеметов и по одной пушке, — другие же люди, безмерное большинство, лежали или ползали на четвереньках, разучившись ходить, и

ели друг друга. И еще Кронидов писал — в другом уже письме, — что ему выпало прекрасное счастье — полюбить, он встретил прекрасную девушку, чистую, целомудренную, милую. — —

— ...В России — в Великий пост — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут после дневной ростепели ручьи под ногами — как в июне в росные рассветы, в березовой горечи, — сердце кто-то берет в руки, — сердце наполнено, — сердце трепещет, и знаешь, что это мир, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой, так же тесно, как сердце в руке, — и мир, земля, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне) — одно: чистота. — Это — девушка.

Вот отрывки из письма о приезде Врангеля:

«Этот день был истинным праздником для Белграда. С утра начались хлопоты об освобождении от занятий в разных учреждениях, и к часу дня к вокзалу тянулись толпы народа. Российский посланник с чинами Миссии, члены Русского Совета Национального Центра, Штаб Главнокомандующего в сопровождении многочисленных генералов и офицеров, участников Крымской кампании, представители беженских организаций, русские соколы в качестве почетного караула, множество дам, — все явились на вокзал, все слились в общем сознании единства, вызываемом чувствами любви и уважения к Вождю Русской Армии П. Н. Врангелю». —

После двух, после службы, генерал Сергей Сергеевич Калитин пошел домой, за город, к взморью, в дачный поселок. Короткий день сваливал уже к закату, мела метель, дорогу, шоссе в липах, заметали сугробы, обгоняли мальчишки на шведских саночках, мчащиеся с ветром, спешили к морю кататься на буйках. Дача стояла в лесу, в соснах, двухэтажная, домовитая. Под

обрывом внизу было море, на льду, на буйках мчали мальчишки. У обрыва, у моря встретила дочь, — завидев, побежала навстречу бегом, ветер обдул короткую юбку, из-под вязаной шапочки выбились волосы, рожь в поле на закате щек: вся в снегу, в руках палка от лыж, девушки — девочка, как березовая горечь в июне рассвету. Семнадцатилетняя Лиза. Крикнула отцу:

— Папочка, — милый, — а я все утро — в лесу — на лыжах. — —

Море слилось с небом, горбом изо льдов бурел ледокол «Ленин». По берегу, за дачами, вокруг дач, стояли сосны, старшая дочь, Надежда, в пуховом платке, отперла парадное, запахло теплом, нафталином, шубами, к ногам подошел, ткнулся в ноги сенбернар. Свет был покоен, неспешен. В доме, в тепле не было никакой метели. Генерал по коврам прошел в кабинет, замкнул портфель в письменный стол. С сенбернаром вбежала Лиза, от резкого движения мелькнули панталоны.

— Папочка, милый, обедать мама зовет.

Генерал вышел в столовую, к высоким спинкам стульев, глава семьи.

4. Шахматы без короля.

— Слушайте, Лоллий Львович, ведь этот черт знает что. Вчера я был с визитом у министра, — сегодня об этом трезвон, как об карманном воровстве, — и мне уже отказано от дома у министра, потому что я был сегодня с визитом у русской Миссии.

— Не у русской, а большевистской.

— Ах, черт. Да нет же никакой другой России, Лоллий Львович.

— Нет, есть. Я — гражданин России, Великой, Единой, Неделимой.

— Да нет такой России, рассудите, Лоллий Львович.

— А третьего дня я был у эсеров и в русской Миссии мне намекали на это, что этого я делать не имею права. А у эсеров справлялись: не чекист ли я? Черт бы всех побрал. Дичайшая какая-то сплошная контрразведка.

И Лоллий Львович загорается как протопоп Аввакум. Он говорит, и слова его как угли.

— Да, гражданин Великой, Единой, Неделимой, — и пусть все уйдут, один останусь, — проклинаю!

— Нет, вы не правы. Вы, конечно, и большевик, и чекист, и предатель отечества. Это все одно и то же. Вы приехали с большевистским паспортом. Стало быть, вы признаете большевиков, — стало быть, вы их сообщник. Или еще хуже: вы отрицаете, что вы коммунист, вы скрываете, стало быть, вы — их тайный агент! Вы не отказываетесь от большевистского паспорта, а иметь его — позорно.

У Расторова глаза ползут на лоб, таращатся по-тензигольски, он ежится по-лермонтовски кошкой и — кричит неистово:

— Убью! Молчи! Не смей! — Пойми! Дурак, — я голод, разруху, гражданскую войну на своем горбу перенес. Я — сын русского губернатора. У вас свобода, — а свободы меньше, чем у большевиков.

И Лоллий:

— Вы были в армии Буденного?

— Да, был — и бил полячишек и всякую сволочь! К черту монархистов без царя и без народа.

Неспешная, под орех крашенная дверь на чердаке, где раньше был склад шведских гильдейцев, — умеет громко хлопать. Николай Расторов — в беличьей куртке и в кепке из беличьего меха, и ноги у него кривые, в галифе и лаковых сапогах, а голова — тяжелая, большая, — и глаза обветрены немалыми ветрами. — А Лоллий Львович, в халатике, с лицом, уставшим от халата, с бородкой клинышком, — человек с девичьими руками, — на диванчике в углу, один, — как протопоп Аввакум.

— И вы тоже — к черту — к черту — к черту — —

Пять дней назад, в Ямбурге, из России выкинуло человека, счастливейшего, — Николая Расторова! — офицера-кавалериста, обалдевшего от восьми лет войны, ибо за эти годы он был и гусаром его величества, и обитателем московского манежа, и командиром сотни корпуса Буденного, и сидельцем Вечека — кандидатом в Энчека — чрезвычайную комиссию небесную, — но в России Лермонтовы — повторяются ведь, и он, романтик, казался хорошим Лермонтовым. В «Черном Вороне» у шведской церкви было тепло, за окнами, за че-

репитчатой крышей, высилась шведская кирка, и звон колокольный грузился в муть. Лоллий Кронидов, человек с девичьими руками, долго сидел над кипой газет, составляя телеграммы.

5. Пятьсот лет.

а. — За Толстой Маргаритой, — как женская панталонина зубцами прошивки кверху, — где склонился к Толстой Маргарите Тонкий Фауст, за серой каменной городской стеной у рва, в проулочке, столь узком, что из окна в окно в третьих этажах — через улицу — можно подать руку (там, наверху, за острокрышими черепицами, белое небо), — в проулочке здесь — древний дом. Дубовая дверь, кованая железом, открывается прямо в проулок; за дверью, выбитая в стене, идет каменная лестница во все три этажа. Дом и дубовая дверь позеленели от времени. Черепитчатая крыша буреет. Дом сложен из гранита. В этом доме — в этом самом доме — пятьсот лет подряд ежедневно, еженощно, пятьсот лет день в ночь и ночь в день (об этом написана монография) был и есть публичный дом. Об этом написана целая монография, — это, конечно, тоже культура. Внизу в доме всего одна комната — рыцарский зал со сводчатыми потолками; в других двух этажах — стойльца девушек и по маленькому зальцу. В стрельчатых окнах решетки, и стекла в окнах оранжевые. Этот дом прожил длинную историю, он всегда был аристократическим, и в древности в него пускали только рыцарей и купцов первой гильдии: в нижнем, в рыцарском зале, у голландской печи, добродетельной и широкой, как мать добродетельного голландского семейства, в изразцах, изображающих корабли и море, еще сохранились те медные крюки, на которые вешали рыцари для просушки — свои ботфорты, коротая здесь длинные ночи — за костями, за картами, за бочкой пива. У стены, где, должно быть, был прилавок, еще осталась решетка, куда ставили шпаги. Здесь был однажды с вельможею своим Меньшиковым русский император Петр I. Из поколения в поколение, почти мистически, сюда приводились девушки в семнадцать лет, чтоб исчезнуть отсюда в неизвестность к тридцати годам. Этот гранитный дом жил нео-

быденной жизнью. Днем, когда через оранжевые стекла шел желтый свет, он был мирен и тих, как мирный бюргер, почти весь день в нем спали. Иногда здесь задневывали мужчины или заходили днем, чтоб донести долг: тогда они ходили по всем трем этажам, рассматривали памятники старины, толковали товарищески с проститутками, проститутки, как добрые хозяйки, приглашали выпить кофе, уже бесплатно, показывали фотографии своих отцов и матерей и рассказывали историю дома, так же знаемую, и столь же поэтическую, как фотографии отцов и матерей. Стародавние времена прошли, публичный дом в пятьсот лет крепким клыком врос в нумизматику столетий, рыцари и гильдейцы исчезли, остались лишь крюки для рыцарских ботфортов, и в этом публичном доме их заменила богема. —

— Романтикам: романтизировать. Мистикам: мистифицировать. Поэтам: петь. Прозаикам: трезветь над прозой. —

— Публичный дом в пятьсот лет. Сколько здесь было предков, дедов, отцов, сыновей — и — внучат, правнуков? — Сколько здесь девушек было? — Пятьсот лет публичного дома — это, конечно, и культура, и цивилизация, и века.

b. — А над древнею русскою Колыванью, над публичным домом в пятьсот лет, над «Черным Вороном» — метель. Ветер дует с Балтики, от Финского залива, от Швеции, гудит в закоулках города, который надо, надо бы взять в театр, чтоб играть Эрика XIV и которым мог бы Бокаччио украшать «Декамерон». — Это знают в польской миссии. — Ветер гудит в соснах, у взморья. Город сзади, здесь — сосны, обрыв и под обрывом мутный, тесный простор Балтики. — Лиза Калитина — в доме, в зале (в зале линолеумовый пол, в нем — холодком — отражаются белые окна) — Лиза Калитина стоит среди комнаты, девушка, как березовая горечь в июне в рассвете, волосы разбились, руки в боки, носки туфлей врозь, — что же — молодой зеленый лук? или шахматная королева на шахматной доске квадратов линолеума? — горький зеленый лук. — Старшая Надежда, в шали на плечах и с концом шали по полу, с книгой в руке, идет мимо. Лиза говорит:

— Наденька, — метель. Пойдем к морю.

И Лиза Калитина одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: — здесь под обрывом льды — там далеко свинцы воды, — и там далеко над морем мутный в метели красный свет уходящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. По колена в снегу, ног в снегу и под юбкой не видно: чтобы срастись со снегом. — «Это я, я». — — Снег не комкается в руках, его нельзя кинуть, он рассыпается серебряной синей пылью. — Разбежаться: три шага, вот от этой корявой сосны, — и обрыв, упасть под обрыв, на льды. — —

— В «Черном Вороне», князь Павел Павлович Трубецкой, проснувшись в 31-м своем номере, в пижаме, тщательно моется, бреется, душится, разглаживает редеющий свой пробор, чуть-чуть кряхтит, шнуруя ботинки, — и лицо его сизеет, когда он ловит запонку, чтобы застегнуть воротничок. Князь вспоминает о партии в шахматы без короля. Князь звонит, просит сельтерской: в тридцать девятом номере, напротив, — громкий спор о России. Сельтерская шипит, охлаждает.

— Какая погода сегодня?

— Метель, ваше сиятельство.

— Ах, метель, хорошо. Ступайте. —

Шведская церковь мутнеет в метели, в сумерках. Лоллий Кронидов проклинает Россию, страну хамов, холуев и предателей, гудят незнакомые басы: клуб и хождение в третьем этаже уже начались. Князь перелистывает «Ноа-Ноа» Поля Гогена: — ту работу, которую князь начал полгода назад, нельзя кончить, потому что не хватает дней. За стеною — кричат, несколько сразу, злобно, о России. Князь идет вниз, в ресторан, выпить кофе. Оркестр играет аргентинский танец, скрипки кажутся голыми. Уже зажгли электричество. Обер — русский офицер — склоняется почтительно. Князь молчалив. — —

— Надежда Калитина, старшая, идет по всем комнатам, таща за собой шаль и книгу, в кабинете спит отец, надо будить к чаю; — из мезонина — в сумерках — видны мечущиеся верхушки сосен. — «Все ерунда, все ерунда». — —

— По сугробам, зарываясь в снегу, — к обрыву, — к Лизе, — бежит сенбернар, Лизин друг. Лиза треплет его уши, он кладет лапы ей на плечи и целит лизнуть в губы. Они идут домой, Лиза стряхивает снег — с шубки, с платья, с ботинок, с шапочки. — Дом притих в первой трети вечера. Внизу, в гостиной на диване вдвоем сидят старшая Надежда и князь Павел Павлович Трубецкой. Лиза кричит:

— А-а, князь, князенька! я сейчас, — и бежит наверх, снять мокрое белье и платье.

Надежда знает, что губы князя — терпкое вино: самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком. Разговор, пока Лиза наверху, короток и вульгарен. Здесь не было камина и помещичьей ночи, хоть и был помещичий вечер, коньяк не жег холодом, от которого ноют зубы и который жжет коньяком, — здесь не утверждался — Иннокентием Анненским Лермонтов, но французская пословица — была та же.

— Ты останешься у нас ночевать? — Останься. Я приду.

— Знаете, Надин, все очень пошло и скучно. Мне все надоело. Я запутался в женщинах. Я очень устал. — —

Лиза сбегает, — ссыпается — с лестницы.

— Лиза Калитина, здравствуйте.

— Здравствуйте, князька! — а я была у обрыва, — как там гудит ветер! После ужина пойду опять, — пойдемте все! Так гудит ветер, так метет, — я вспомнила нашу нижегородскую.

Надежда сидит на диване с ногами, кутается в шаль. Лиза садится в кресло, откидывается к спинке, — нет, не шахматная королева, — зеленая стрела зеленого горького лука. Князь расставил ноги, локти опер о колени, голову положил на ладони.

— Я задумал написать картину, — говорит князь, — молодость, девушка в саду, среди цветущих яблонь, — удивительнейшее, прекрасное — это когда цветут яблони, — девушка тянется сорвать яблоневый цвет, и кто-то, негодяй, вожделенно, — смотрит на нее из-за куста: — полгода, как задумал, сделал эскиз — и не хватает времени как-то... Очень все пошло...

— Обязательно пойдем после ужина к обрыву, — это Лиза.

— Что же, пойдемте, — это князь.

Из кабинета приходит генерал, кряхтит — добрый хозяин — здоровается, шутит: — давно не виделись, надо выпить коньячишка, — Лизе надо распорядиться, чтобы мама позаботилась об ужине повкуснее. За ужином князь чувствует, как тепло водки разбегается по плечам, по шее, — привычное, изученное тепло алкоголя, когда все кругом становится хрупким и стеклянным, чтобы потом — в онемении — стать замшевым. Генерал шутит, рассказывает, как мужики в России лопатки, те, что на спине, называют крыльями: от водки всегда первым делом тепло между крыльями; Лиза торопит идти к обрыву, — и князю нельзя не пойти, потому что в метели есть что-то родное яблоневому цвету — белым снегам цветения яблонь. Генерал недовольно говорит, что ему надо посекретничать с князем. Надежда повторяет: — «я иду спать, пора спать» — —

Сосны шипят, шумят, стонут. Ничего не видно, снег по колено. У обрыва ветер, невидимый, бросается, хватает, кружит. С моря слышно — не то воет сирена, не то сиреною гудит ветер. Князь думает о яблоневом цвете, гуляет тепло алкоголя между обескрыленных крыльев. Там у обрыва стоят молча. Слушают шипение сосен. Лиза стоит рядом, плечо в плечо. Лиза стоит рядом, князь берет ее за плечи, поднимает ее голову, заглядывает в глаза, глаза открыты, Лиза шепчет: — «Как хорошо» — князь думает минуту — минута как вечность, князь тоже шепчет: «моя чистота» — и целует Лизу в губы, губы Лизы теплы, горьковаты, неподвижны. Они стоят молча. Князь хочет прижать к себе Лизу, она неподвижна, — «моя милая, моя чистота, мое целомудрие» — —

— Пойдемте домой, — говорит Лиза громко, глаза еще широко раскрыты, — я хочу к маме.

Лиза идет впереди, почему-то очень деловито. Из прихожей генерал зовет князя к себе в кабинет. Лиза проходит наверх. Надежда стоит у окна в ночном халатике.

— Князь пошел спать? — спрашивает Надежда.

Генерал закрывает двери кабинета поплотнее, крякает.

— Видите ли, князинька, хочу вам показать — не купите ли — —

Генерал показывает князю серию порнографических фотографий, где мужчины и женщины в масках иллюстрировали всяческие человеческие половые извращения, — и князь краснеет, сизеет мучительно, ибо на этих фотографиях он видит себя, тогда в Париже, после Константинополя и Крыма, спасшего себя этим от голода. — —

Генерал говорит витиевато:

— Видите ли — нужда — жалованья не хватает — дети, дочери — вам — художнику — —

Лермонтов не подтверждается Анненским этой метельной ночью. На самом ли деле самое вкусное яблоко — это то, которое с пятнышком — —

Лиза — наверху в мезонине — говорит Надежде, — Лизу Калитину впервые поцеловал мужчина, Лиза Калитина, как горечь березовая в июне, — Лиза говорит Надежде, — покойно, углубленно, всеми семнадцатью своими годами:

— Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю.

У Надежды, — нет, не ревность, не оскорбленность женщины, — любовь к сестре, тоска по чистоте, по правде, по целомудрию, по попираемой — кем-то — какой-то — справедливости — сжали сердце и кинули ее к Лизе — в объятия, в слезы —

a — b — —

c —

Нет, не Россия. Конечно культура, страшная, чужая, — публичный дом в пятьсот лет, за стеной у Толстой Маргариты и Тонкого Фауста. Внизу, у печки, еще хранятся медные крюки для рыцарских сапог. В «Черном Вороне» — была же, была шведская гильдейская харчевня. —

— Над городом метель. В публичном доме тепло. Здесь — богема теперь, вместо прежних рыцарей. Две девушки и два русских офицера разделись донага и танцуют голые ту-стэп: голые женщины всегда кажутся слишком коротконогими, мужчины костлявы. Музыки нет, другие сидят за ликером и пивом, воют мотив ту-стэпа и хлопают в ладоши, — там, где

надо хлопать смычком по пюпитру. Час уже глубок, много за полночь. — Иногда по каменной лестнице в стене парами уходят наверх. Поэт на столе читает стихи. И народу, в сущности, немного, — в сущности, сиротливо, — и видно, как алкоголь — старинным рыцарем, в ботфортах — бродит, спотыкаясь, по сводчатому несветлому залу. — Ротмистр Тензигольский сидит у стола молча, пьет упорно, невесело, глаза обветрены — не только ветрами, и ночи трудились в обветривании. Местный поэт с русским поэтом весело спорят о фрекен из «Черного Ворона», — русский поэт, на пари, заберется сегодня ночью к ней: к сожалению, он не учитывает, что в «Черный Ворон» вернется он не ночью, а утром, после кофе у Фрайшнера. — Николай Расторов еще с вечера угодил в этот дом, с горя, должно быть, — и как-то случайно уснул возле девушки в нижней рубашке, в помочах, в галифе и женских туфлях на ногах, он спускается сверху, смотрит угрюмо на голоспинных и голоживотых четверых танцующих, подходит к поэтам и говорит:

— Ну, и черт. Это тебе не Россия. Заснул у девки, а карманы — не чистили. Честность. — Сплошной какой-то пуп-дом. Я успел тут со всеми перепиться — и на ты, и на мы, и на брудер-матер. Не могу. Собираюсь теперь снова выпить на вы, послать всех ко — е — вангелейшей матери и вернуться в Москву. Не могу, — самое главное: контрразведка. Затравили меня большевиком. Честность...

— Ну, и черт с тобой, — брось, выпей вот. На все — наплевать. — Даешь водки.

Ротмистр Тензигольский встает медленно, — трезвея, должно быть, — всползая вверх по изразцам печи, — ротмистр царапает затылок о крюк для ботфортов, глаза ротмистра — растерянны, жалки, как головы галчат с разинутыми ртами.

— Сын — Николай...

И у Николая Расторова — на голове галчонка: — тоже два галчонка глаз, удивленных миру и бытию.

— О-отец?.. Папа. — —

— Утром в публичном доме, в третьем этаже, в маленькой каменной комнате, как стойло, — желтый свет. Здесь за

пятьсот лет протомились днями в желтом свете тысячи девушек. В каменной комнате — нет девушки, здесь утром просыпаются двое, отец и сын. Они шепчутся тихо.

— Когда наступала северо-западная армия: я ушел вместе с ней из Пскова. Запомни, — губернатор Расторов убит, мертв, его нет, а я — ротмистр Тензигольский, Петр Андреевич. Запомни. — Что же, мать голодает, все по-прежнему на Новинском у Плеваки? — А ты, ты — в Че-ке работаешь, чекист? —

— Тише... Нет, не в Че-ке, я агент Коминтерна, брось об этом. Мать — ничего, не голодает. О тебе не имели сведений два года.

— Ты, что же, — большевик?

— Брось об этом говорить, папа. Сестра Ольга с мужем ушла через Румынию, — не слыхал, где она?

— Оля, — дочка?.. о, Господи!

Пятьсот лет публичному дому — конечно, культура, почти мистика. Шепот тих. Свет — мутен. Два человека лежат на перине, голова к голове. Четыре галчонка воспаленных глаз, должно быть, умерли — —

Ночь. И в «Черном Вороне», в тридцать девятом номере — тоже двое: Лоллий Львович Кронидов и князь Павел Павлович Трубецкой. В «Черном Вороне» тихо. Оркестр внизу перестал обнажаться, только воют балтийские ветры, седые, должно быть. Лоллий — в сером халатике, и из халата клинышком торчит лицо, с бородою — тоже клинышком. Князь исповедывается перед протопопом Аввакумом, князь рассказывает о Лизе Калитиной, о парижских фотографиях, о каком-то конном заводе в России. — —

...Где-то в России купеческий стоял дом — домовина — в замках, в заборах, в строгости, светил ночам — за плавающих и путешествующих — лампадами. Этот дом погиб в русскую революцию: сначала из него повезли сундуки с барахлом (и вместе

с барахлом ушли купцы в сюртуках до щиколоток), над домом повиснул красный флаг и висли на воротах вывески — социального обеспечения, социальной культуры, чтоб предпоследним быть женотделу (отделу женщин, то есть), — последним — казармам, и чтоб дому остаться, выкинутому в ненадобность, чтоб смолкнуть кладбищенски дому: дом раскорячился, лопнул, обалдел, все деревянное в доме сгорело для утепления, ворота ощерились в сучьи, — дом таращился, как запаленная лошадь. — —

— И нет: —

это не дом в русской разрухе, — это душа Доллия Львовича — в «Черном Вороне», ночью. — Но в запаленном, как лошадь, каменном доме — горит лампада:

— В Великий пост в России — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, — как в июне в росные рассветы в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает (зеленеет в глазах свет и кажется, что смотришь на солнце через закрытые веки) — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это мир, что сердце в руки взяла земля, что ты связан с миром, с его землей, с его чистотой. —

— Эта свечка: Лиза Калитина.

Ночь. Мрак. «Черный Ворон».

— Ты понимаешь, Доллий, она ничего не сказала. Я коснулся ее как чистоты, как молодости, как целомудрия; целуя ее, я прикасался ко всему прекрасному в мире. — Отец мне показал фотографии: и меня мучит, как я, нечистый, — нечистый, — посмел коснуться чистоты...

— Уйди, Павел. Я хочу побыть один. Я люблю Лизу. Господи, все гибнет... — Доллий Львович был горек своей жизнью, он был фантаст, — он не замечал

сотен одеял, воткнутых во все его окна, — и поднятый воротник — даже у пальто — шанс, чтоб не заползла вошь. Но — он же умел: и книгам подмигивать, сидя над ними ночами, — книгам, которые хранили иной раз великолепные замшевые запахи барских рук. — —

Ночь. Мрак. «Черный Ворон».

Фита. — —

В черном зале польской Миссии, на Домберге, — темно. Там, внизу, в городе — проходит метель. В полях, в лесах над Балтикой, у взморий — еще воет снег, еще кружит снег, еще стонут сосны, — не разберешь: сирена ль кричит на маяке или ветер гудит, — или подлинные сирены встали со дна морского. Муть. Мгла. И из мути так показалось — над полями, над взморьем, как у Чехова черный монах, — лицо мистера Роберта Смита, как череп, — не разберешь: двадцать восемь или пятьдесят или тысячелетие: на ресницы, на веки, на щеки — иней садится как на мертвое: лицу леденить коньяком — в морозе черепов и коньяк — пить из черепа, как когда-то Олег. —

— В черном зале польской Миссии темно. Полякам не простить — Россию: в смутные годы, смутью и мутью, — сходятся два народа делить неделимое. В Смутное время воевода Шеин бил поляков под Смоленском, и в новую Смуту в Россию приходили поляки к Смоленску. Не поделить неделимое и — не найти той веревочки, которой связал Россию и Польшу — в смутах — черт. В черной Миссии, — в черном зале в вышгороде — в креслах у камина сидят черные тени. О чем раговор?

В публичном доме, которому, как мистика культуры, пятьсот лет — танцует голая девушка, так же, как — в нахт-локалах, — в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Риме, — тоже так же танцевали голые девушки под музыку голых скрипок, в электрических светах, в комфортабельности, в тесном круге крахмалов и сукон мужчин, под мотивы американских дикарей, ту-стэп, уан-стэп, Джимми, фокстрот. Как собирательство марок с конвертов, промозглую дрожь одиночества таили

в себе эти танцы, в крахмалах и сукнах мужчин, — недаром безмолвными танцами на асфальте улиц началась и кончилась германская революция, чтоб к пяти часам во всей Европе бухнуть кафе, где Джимми и где женщины томили, топились в узких рюмках с зеленым ликером, в плоти, в промозглости ощущений, чтоб вновь разбухнуть кафе и диле к девяти, — а в час за полночью, в ночных локалах, где женщины совсем обнажены, как Евы, в шампанском и ликерах, — чтоб мужчинам жечь сердца, как дикари с Кавказа жарят мясо на шашлычных прутьях, пачками, и сердца так же серы, как баранье шашлычное мясо, политое лимонным соком. Ночные диле были убраны под дуб, днем мог бы заседать в них парламент, но по стенам были стойльца и были диваны, как в будуарах, ярко горело электричество, — были шампанское, ликеры, коньяки, — в вазах на столах отмирали хризантемы, оркестранты, лакеи и гости-мужчины были во фраках, — и было так: голая женщина с подкрашенным лицом, с волосами, упавшими из-под диадемы на плечи, — матовы были соски, черной впадиной, — лобок и чуть розовели колени и щиколотки, — женщина выходила на середину, кланялась, — было лицо неподвижно, — и женщина начинала склоняться в фокстроте — голая, — в голом ритме скрипок: голая женщина была, в сущности, в сукнах фраков мужчин. — —

— И еще можно видеть голых людей — так же — даже — ночами. В Риме — Лондоне — Вене — Париже — Берлине — в полицей-президиумах — в моргах — лежали на цинковых столах мертвые голые люди, мужчины и женщины, дети и старики, — в особых комнатах на стенах были развешаны их фотографии. Все неопознанные, бездомные, нищие, без роду и племени, — убитые на проселках, за городскими рвами, на перекрестках у ферм, умершие на бульварах, в ночлежках, в развалинах замков, выкинутые морем и реками, — были здесь. Их было много, еженощно они менялись. — Это задворки европейской цивилизации и европейских государств, — задворки в тупик, в смерть, где не шутят, но где последнего даже нет успокоения, где одиноко, промозгло, страшно, — нехорошо, — но, быть может, в этом тоже свой фокстрот и

ужимки Джимми? — неизвестно. Здесь социальная смерть. В морг идти слишком страшно, там пахнет человеческим трупом, запахом, непереносимым человеком, так же, как собаками — запах собачьего трупа, — там во мраке бродят отсветы рожков с улиц, — в моргах рядами стоят столы и мороз, чтобы не тухнуло — медленно тухнуло — мясо. — Вот с фотографии смотрит на тебя человек, фотография выполнена прекрасно, глаза в ужасе вылезли из орбит и он ими смотрит — в ужасе — на тебя: — глаза кажутся белыми с черной дырой зрачка, — так выполз белок из орбит. Вот — молодая женщина, у ней отрезана левая грудь, кусок груди — мяса — лежит рядом на цинке. Вот лежит юноша, и у юноши нет подбородка: там, где должен быть подбородок, — каша костей и мяса — и первого пушка усов и бороды. — Но фотографии воспроизводят не только морг, фотографии запечатлевают и место, и то, как и где нашли умерших. — Вот — в зáмочном, кирошном и ратушном городке — за стеной во рву лежит человек, головою в ров, ногами на шоссе; человек смотрит в небо, и на нем изодранный пиджачишко, человек — бродяга. Почему у убиваемых всегда открыты глаза? — и не столкнешь уже взора мертвых с той точки, куда он устремлен. — Здесь социальные задворки государств, они пахнут тухлым мясом. — Ночь. Мороз. Нету метели. Пахнет запахом человеческого трупа, непереносимым человеком, так же, как собаками — собачий трупный запах. Их много, этих голых мертвецов в Европе, их собирают, убирают, меняют ночами. Они тоже пляшут в этой своей череде уборок, про них никто не помнит, их никто не знает. — — Ах, какое промозглое, продроглое одиночество — человечески-собачье одиночество — испытывать, когда женщина, девушка, самое святое, самое необыкновенное, что есть в мире, несет бесстыдно напоказ сукнам мужчин с жареным шашлыком сердец, — когда она, женщина, девушка, должна — должна была бы прийти к одному, избранному, — не ночью, а днем в голубоватом свете весенних полдней, в лесу, около сосен на траве. — Помните? —

— — ...В черном зале польской Миссии — бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. За окнами — газовый фонарь, и газовые рожки броса-

ют отсветы на колонны и на лепной потолок. В колонном зале — ночное совещание — враги, мистер Смит, министр Сарва, посол российский Старк и — хозяин — польский консул Пиотровский. Враги. И разговор их вне политики, — выше, — над — — Иль это только бред? — Колонный зал безлюден, — кресла спорят? — докладчик: Питирим Сорокин.

— Милостивые государи, — не забудьте, что в Европе восемь лет подряд была война. Шар земной велик: не сразу вспомнишь, где Сиам и Перу. В мире, кроме белой, есть желтая и черная человеческие расы. Последние две тысячи лет мир на хребте несла Европа, человеческая белая раса, одноженная мужская культура. Людей белой расы не так уже много. — Милостивые государи! война унесла тридцать три миллиона людей белой расы, — желтая и черная расы почти невредимы. Тридцать три миллиона — это больше, чем половина Франции, это половина Германии, это Сербия, Румыния и Бельгия вместе. Но это не главное: не главное, что вся Европа в могилах, что нету семьи, где не было бы крепа, — не главное, что мир пожелтел от войны, как европейцы пожелтели в преждевременной дряхлости, от страданий и недоедания. — Милостивые государи! — Равенство полов нарушилось, ибо война мужской агрегат, и гибли мужчины, носители мужской европейской культуры — за счет одиночества, онанизма, проституции и иных половых извращений. Но война унесла в смерть самых здоровых, самых работных — и физически и духовно, — оставив жить человеческую слякоть, идиотов, преступников и шарлатанов, скрывавшихся от войны. Но война унесла, кроме самых лучших физически и духовно, и мозг народов; — это касается не только России, — Россия — страна катастрофическая; — Англия — богатая страна, — на тысячу населения в Англии два университетских человека, — едва ли после войны осталось на тысячу полчеловека: студенты Кембриджа — все — пошли на войну офицерами — и к маю 1915 года живыми из них осталось лишь 20%. Европа обескровлена. Мозг ее высушен. Остались жить и плодиться: больные и калеки, старики, преступники, шарлатаны, трусы безвольные. Но это не все. «По векселям войны платят после нее», — это

говорил Франклин, и он был прав. Каковы семена, таковы и плоды, такова и жатва. Война уничтожает не только лучших, но и их потомство. Война унесла не только лучших, но вообще мужчин. Новые семена будут сеяться в дни развала семьи, половых извращений. Те мужчины, что вернулись с фронтов, навсегда понесут в себе разложение смерти. Где-то Наполеон сказал об убитых в сражении: «Одна ночь Парижа возместит все это». — Нет, Sir был не прав: тысяча ночей Парижа, и Лондона, и Рима не возместят эту гибель лучших производителей, — количественное возмещение — это не значит еще — качественное, а новый посев будет посевом «слякоти». — Милостивые государи! Вы все знаете старую истину, — что совершенство государственной организации, исторические ее судьбы, — находятся в исключительной, в единственной зависимости от культуры, быта и особенностей народности этого государства: каков поп, таков и приход, — русский император Николай II в Англии должен был бы быть парламентским королем, а английский Георг VII стал бы в России деспотическим императором, — — восстановятся разрушенные фабрики, заводы, села и города, задымят трубы, — но человеческий состав будет окрашен человеческой слякотностью. — Милостивые государи! Мало нового под луной. В Европе много могил, если помнить историю Европы, — под Лондоном, Римом, Парижем гораздо больше человеческих костяков, чем живых людей, — но за две тысячи лет гегемонии Европы над миром, — впервые теперь центр мировой культуры ушел из Европы — в Америку и к желтым японцам. В Европе много кладбищ. В Европе не хватает моргов. Вы знаете об этом жутком помешательстве Европы на танцах дикарей. И еще надо сказать о России. Эстия, Латвия, Литва — отпали от России. Вместе с Россией они несли все тяготы, но у них нет советов, разрухи и голода, как в России, потому что у них нет русской национальной души, русско-сектантского гипноза. Я констатирую факт. — —

В черном зале польской Миссии бродят тени, мрак. Ночь. Мороз. Нету метели. — И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова. В белом

зале — серые тени, в белом зале пусто. За истопником идет уборщик. В печи горит огонь. Уборщик курит трубку, закуривая угольком, — и истопник закуривает сигаретку. Курят. Тихо говорят. — За окнами, под крепостной стеной внизу — ганзейский, древний город, серый день, синий свет, — где-то там вдали, с востока, из России мутное восстает, невеселое солнце. —

— И в этот час, в рассвете, под Домбергом идут (— в те годы было много изгоев, и — просто, русский наш, сероватый суглинок) офицеры русской армии из бараков, те, что не потеряли чести, — за город, к взморью, в лес — пилить дрова, лес валить, чтобы есть впроголодь. Впереди их идет с пилой Поллий Кронидов, среди них много Серафимов Саровских и протопопов Аввакумов, тех, что не приняли русской мути и смуты. Они не знают, что они лягут костьми, бутом в той бути, которой бутится Россия, — они живут законом центростремительной силы. Благословенная скорбь. —

— Но в этот миг в Париже — еще полтора часа до рассвета, ибо земной шар — как шар, не всюду сразу освещен, в Париже шла страшная ночь. Нация французов, после наполеоновских войн понизилась в росте на несколько сантиметров, ибо Наполеон был неправ, говоря об «одной ночи Парижа» и — ибо после Наполеона осталась слякоть человеческая. — В эту ночь еще с вечера потянулись толпы людей на метрополитенах, на автобусах, на таксомоторах, на трамваях и пешком: на такую-то площадь, у такой-то тюрьмы, у такого-то бульвара. Все кафе были переполнены и не закрывались всю ночь. В три часа ночи толпа прогудела о том, что приехала гильотина. Гильотину стали безмолвно собирать у ворот тюрьмы, в пятнадцати шагах от ворот, против ворот, на площади, чтобы толпа могла видеть, как будут резать голову. Полиция все время просила толпу быть бесшумной, ибо тот, которому через час отрежут голову, — спал и должен был ничего не знать о приготовлениях к отрубанию головы. Казнь, по закону, должна была быть до рассвета. В тюрьме — в такой-то тюрьме,

у такого-то начальника тюрьмы — прокурор, защитник, священник и прочие начальники томились от неурочного бездействия и пили глинтвейн, на минуту заходил палач, в черном сюртуке, в белых перчатках и белом галстуке. Имя палачу — такое-то. Имя палача — такое-то — было во всех газетах, вместе с его портретом. — А когда пришли к тому, которому должны были отрубать голову, он на самом деле спал. Прокурор разбудил его, коснувшись плеча.

— Проснитесь, Ландрю, — сказал прокурор, и заговорил о законах Французской Республики.

Ландрю попросил уйти всех, пока он вымоется и переоденется. — Священнику он сказал, когда тот хотел его исповедывать, — что ему не надо посредников, тем паче, что он очень скоро будет у Бога. Ландрю тщательно оделся, надел высокий крахмальный воротничок, выпил стакан кофе. Прокурор спросил и Ландрю ответил, что он не считает себя виновным. Внизу в парикмахерской палач остриг Ландрю и тщательно обрезал ворот рубашки вместе с крахмальным воротником, обнажив шею: — концы галстука упали за жилет. Батюшка вторично приступил к молитвам. Из парикмахерской было слышно, как морским прибоем гудит на площади толпа: в гул человеческих вскриков и слов врезывались бестолково гудки автомобилей. Но когда ворота открылись и вместе с прокурором, защитником, батюшкой и прочими палачами и сволочью Ландрю вышел к гильотине, к палачу, в белом галстуке, — толпа смолкла. —

Мерзко, знаете ли, братцы! —

Фита.

Но эта фита не из русской абевеги.

В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих портах портились в тот год корабли за бездействием и бестоварьем. В Лондоне, Ливерпуле, Гавре, Марселе, Триесте, Копенгагене, Гамбурге и прочих городах, на складах, в холодильниках, в элеваторах, подвалах — хранились, лежали, торчали, сырели, сохли, — ящики, бочки, рогожи, брезенты, хлопок, масло, мясо, чугун, сталь, каменный уголь. Сколько квадрильонов штук крыс в Европе?! — —

Обстоятельство первое.

«Гринок», судно Эдгара Смита, идет на полрумба к северу. Судно находится 70°45' северной широты. Льды, которые обязательно должны были бы быть здесь, не видны. Над волнующейся свинцово-серою поверхностью нет уже никаких живых существ кроме обыкновенных чаек, буревестников да изредка темных чаек-разбойников, которые бросаются на простых чаек, только что поймавших в воде рыбу. Морская тишь оглашается тогда жалобным криком обижаемой птицы. Весьма возможно, что, когда судно войдет во льды, лоцману посчастливится высмотреть из обсервационной бочки белого медведя. К одиннадцати часам вечера светлело как днем. Телеграфист шлет радио. Динамо гудит все сильнее и сильнее, жалобные призывы уносятся с антенн в небесный простор, упорно повторяясь через ровные промежутки. Динамо останавливается, и телеграфист прислушивается к ответу. Югорский шар ответил, передали письма.

К часу пополуночи — синее небо, открытое море и полный штиль. Солнце начинает золотить небо и скоро появится над горизонтом. Море совсем покойно и кажется таким безбрежным, что в три часа «Гринок» меняет курс, повернув почти на норд-норд-ост, чтобы пройти Белый Остров. Твердо уверенный, что это удастся, капитан мистер Эдгар Смит, начальник экспедиции, пошел спать.

Но в шесть часов капитан Смит проснулся от толчка. Стало быть, опять лед. Оказывается, лед уже давно виднелся с севера, но теперь появился и впереди. Судно наткнулось на небольшую льдину, не повредив даже обшивки. Кругом полосами полз синий, как датский фарфор, туман, его уносил утренний восточный ветер. Все оказалось пустяками, и мистер Смит собирался уже вернуться в рубку. Но тогда прибежал полуодетый телеграфист с лицом, покрасневшим и побледневшим пятнами и с разбитой прической: от толчка провод сильного тока упал на изоляционные катушки, пробил изоляционные обмотки, и радио-аппарат был испорчен

непоправимо. «Гринок» оказался отрезанным от мира. Небо на севере сильно бледнело, стало быть, там был сплошной лед. Солнце блистало так, что надо было надеть предохранительные очки.

Телеграфист озабоченно рассматривал погибшие катушки, поправить погибшее возможности не было. Динамо гудит все сильнее и сильнее, антенны выкидывают в небесный простор призывы — и безмолвно: судно и люди на нем отрезаны от мира. Последнее радио было от матери мистера Смита, — мать, по обыкновению, благословляла сына и писала о том, что даже в канонной Шотландии разрушалась семья и земное счастье. Неконченным, недопринятым было письмо брата, из Москвы.

«— Москва — это азиатский город, и только. Ощущения, которые вызывает она, аналогичны тем, которые остались у меня в памяти от Пекина. Но кроме этого здесь чрезвычайно тщательно сектантское — — —»

— и на этом оборвалось радио.

Капитан Смит, начальник экспедиции, спустился в салон. Стюарт готовил кофе. Пришли врач и лоцман. Телеграфист не явился. Лоцман сумрачно сообщил, что ему совершенно не нравится быть отрезанным от вселенной. Туман окончательно рассеялся. Кругом были ледяные поля. Весь день дул слабый бриз, сначала с северо-запада, потом с запада, затем снова с северо-запада. К вечеру ветер посвежел, и небо покрылось тучами. Течение по-прежнему шло заметно к югу, но было слабо. Смит и врач играли в шахматы. Судно стояло. Лоцман занимался фотографией. Вечером стюарт особенно заботливо накрыл стол, раскупорил несколько бутылок рому. — К рассвету льды рассеялись. Капитан спал в своей каюте, его разбудили, и судно двинулось. Телеграфисту было поручено вести дневник.

Обстоятельство второе.

Мистер Роберт Смит — в России, в Москве, ночью. Мистер Смит с вечера перед сном сделал прогулку по городу, спустился по Тверской ко Кремлю, возвращался

улицей Герцена и затем прошел бульварным кольцом. И ночью, должно быть, перед рассветом, в пустынной своей большой комнате — он проснулся в липкой испарине, в страхе, в нехорошем одиночестве, в нехорошей какой-то промозглости. Это повторялось и раньше, когда, в старости уже, сердечные перебои кидали кровь к вискам, а сердце, руки и ноги немели. Сейчас же, проснувшись, Роберт Смит первой мыслью, первым ощущением осознал совершенно ясно, промозгло-одиноко, что он — умрет. Все останется, все будет жить, — а его дела, его страдания, его тело — исчезнут, сгниют, растворятся в ничто. Это осознание смерти было физически-ощутимым, и пот становился еще липче, ничего нельзя было сделать. Обезьяной вылезла другая мысль — та, что все же у него осталось еще пятнадцать, двадцать лет, и — вновь физическое ощущение — надо — надо сейчас же: делать, работать, не потерять ни минуты.

В окна сквозь гардины шел мутный свет. Роберт Смит вставил ноги в ночные туфли, у ночного столика налил воды в стакан. Заснуть возможности уже не было. В доме было безмолвно. Дверь в кабинет, под портьерой, была полуоткрыта, — из кабинета шла дверь в зимний сад с пальмами и фонтаном. Костлявое тело в пижаме волочилось беспомощно. Мистер Смит сел в кресло у окна, отодвинул гардину. По улице шли оборванцы Российской республики, женщины, одетые по-мужски и мужчины в женском тряпье, прошли солдаты в остроконечных шапках, как средневековые. Мистер Смит прошел в зимний сад, фонтан плескался тихо, пальмы в углах сливались с мраком.

«Верноподданный, гражданин Соединенного Королевстсва, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только как умирали три тысячи лет назад и будут умирать еще через три тысячи, а вот так, как умирают сейчас, сию минуту — вот в этой страшной, невероятной стране, где людоедство». Учитель русского языка, господин Емельян Емельянович Разин, объяснил однажды, — что «с.с.» — два «с» с точками после них обозначают русское ругательство — сукин сын, сын самки-собаки; мистер Смит тогда разложил в уме свою фамилию: С-мит, но мит, по-немецки, тоже «с», — и мистер Смит сказал сейчас вслух:

— Конечно, в смерти мы равны собакам.

В кабинете на столе лежал блокнот дневника, — простыни на кровати остыли. Мистер Смит был в Китае, в Индии, в Сиаме и еще в Англии, перед отъездом в Россию, он прочел Олеария. И когда он въехал в Россию, его поразило сходство — и с теми описаниями, — что есть у Олеария, что сделаны триста лет назад, — и с Азией. На вокзале в Москве ему прочли объявление: — «Остерегайтесь воров». Кругом галдела толпа ненормальных людей, никто не шел, но все бежали. У мистера Смита вырезали бумажник (через неделю вор почтительнейше прислал документы). Костюмы мужчин и женщин были почти неотличимы, особенно когда мужчины подпоясывали пальто веревками, а женщины были в картузах, кожаных куртках и сапогах и в мужских брезентовых пальто; несколько женщин, из внутренней охраны, были с винтовками и в солдатских штанах; все же мужчин в юбках не было. Сейчас же за вокзалом, где толпились и ругались друг с другом кули, извозчики и ломовики, — был поистине азиатский базар: на столиках, на повозках, в палатках торговали жареной колбасой из конского мяса, кипели самовары и кофейники, жарились блины; тут же продавалась и мука в мешках, и куски ситца, и мыло, и сломанный велосипед; мальчишки сновали с пачками папирос и спичек; за столиками в ряд стояли стулья, на стульях сидели мужчины и цирюльники брили им усы и бороды, — когда стулья пустели, цирюльники зазывали желающих бриться специальными окриками; и, как во всех азиатских городах, — стоило одному провопить громче, чем вопила вся толпа, или неподвижно уставиться взором в небо, — как около него возникала толпа, сначала мальчишек, потом женщин и наконец мужчин: но тогда приходили мужчинообразные женщины или женообразные мужчины и начинался митинг, — где обсуждался Карл Маркс. — Мистеру Смиту тогда на вокзале не сразу подали автомобиль, — мимо него на носилках пронесли несколько десятков мертвецов, умерших от голода, тифов и убитых, снятых с поездов, найденных на складах, в цейхгаузах, в бараках. Потом автомобиль повез мистера Смита по истинно-азиатским улицам Москвы с несуразными палатками на углах и с коврами плакатов на стенах, по кривым

переулкам и тупикам, со сбитыми мостовыми и тротуарами, с кривыми подворотнями, с пустырями, заросшими деревьями; со дворов веяло запахом человеческого навоза. Затем — за пустынными площадями — стал Кремль, единственный в мире по красоте. — — По площади у театров солдаты вели русских священников, платье русских священников в неприкосновенности сохранилось от древних веков, и цирюльники убирали шевелюры священников так, чтобы они походили на Бога-отца, изображаемого на русских иконах, или на Иисуса Христа. У древнейшей русской святыни, у иконы Иверской Божьей матери, несмотря на революцию, толпились оборванцы, а напротив, на стене красного здания было намалевано:

«Религия — опиум для народа».

Мистер Роберт Смит поселился в России, как англичане поселялись в Капштадте, Калькутте, Сирии, Дамаске. Россия для него была чужой страной, он был в ней, как в колонии. Мистер Смит поселился в особняке изгнанного из России фабриканта, он никогда раньше не жил так роскошно, как теперь. Это объяснялось двумя причинами, — во-первых, курсовой разницею валют, благодаря которой жизнь в России была дешевейшей в Европе, и во-вторых, — исконною особенностью России: Россия всегда была промышленно и политико-экономически дикой страной, неофициальной колонией сначала англосаксов, затем германского капитала; и предприниматели в России могли строить себе особняки, как нигде в Европе — — —

Соплеменники Роберта Смита, жившие с ним вместе, сплошь мужчины, проводили время, как всегда англосаксы в колониях, — по строжайшему английскому регламенту плюс все те необыкновенности, что дает колония. Вечерами они были всегда вместе, до сизой красноты накуриваясь сигарами и напиваясь коньяком и ликерами, часто на автомобиле уезжали в злачные места и тогда пропадали целые ночи, — изредка устраивали у себя вечеринки, с отменными яствами, и на эти вечеринки приглашались только рус-

ские женщины, чтобы можно было вспомнить древнюю Элладу, которая часто и осуществлялась. —

Потом Роберт Смит увидел русский Кремль, русскую революцию. —

— Ложь? — Что, — ложь? — Во имя спасения? Нет. Во имя чего? — Во имя веры? — Да. Нет.

Где-то внизу, должно быть, на парадной лестнице, послышались шаги, — должно быть, лакея.

«Верноподданный, гражданин Соединенного Королевства, шотландец, Роберт Смит умрет так же просто и обыкновенно, не только, как умирали три тысячи лет назад и как будут умирать еще через три тысячи, — а вот так, как умирают сейчас в этой страшной, невероятной стране, где людоедство и где новая религия. Но ведь, если бы у Роберта Смита не было ушей, он не слышал бы ничего и был бы нем, если бы не было глаз — он ничего не видел бы, — если бы не было его — ничего бы не было, — и ничего не будет тогда, когда не будет его. Цирюльники убирают шевелюры русских священников так, чтобы они походили на Бога-отца, изображаемого на русских иконах, — но почему же на них похож и Карл Маркс, цитаты из которого на всех заборах в России — ?»

Лакей прошел в кабинет, бесшумно убирается.

— «История иногда меняет свою колесницу на иные повозки. Сейчас история впряглась в русскую телегу, древнейшую, как каменные бабы из русских — пооксских раскопок. Две тысячи лет назад тринадцать чудаков, причем один из них был сыном Бога-отца, похожие на Карла Маркса, перекроили историю и человеческую культуру — не потому, конечно, что они несли новую правду, а потому, что их семена упали — на новую землю и: у них была воля творить, воля видеть — не видя. В Европе пели песнь о Роланде и песни нибелунгов, по Европе ходили и крестоносцы, и гугеноты, и табориты, — и шел на костер Ян Гус, — а теперь кафе и диле заменяют бани, в танцах дикарей, и ломятся киношки в сериях из жизни негров и американских индейцев, — не случайно гуситствует Штейнер и лойольствует Шпенглер: телега, дроги истории поползли по корявым колеям и ухабам валютных и биржевых жульничеств, когда выгоднее было продавать и поку-

пать вагоны теплых слов, чем создавать ценности, когда щетинились баррикады границ и виз, когда разваливались государства, религия, семья, труд, пол, — когда Европа походила на старую-старую суку английской породы, всю в лишаях. — — Тогда не было уже в Европе Турции и единственная Азия оставалась — Россия. Пять с половиной веков назад в Галиполи впервые появились турки, и ислам через Балканы и венгерские равнины дошел до стен Вены, где он был отбит соединенными силами погибшей тогда Габсбургской империи и вновь воскресшей Польши. Турции теперь нет в Европе. Много государств и народов погибло и воскресло вновь за эти пять с половиной веков. В Анатолии, в Галиполи (где впервые появились турки) — умирали в тот год русские изгои. В тот год по Европе, как некогда в России, было много черт оседлости, — и русские изгои хорошо узнали, что значит быть евреем, а в Палестине вновь, после тысячелетий возникло еврейское государство. Глухо зачахли в те годы Армения, Сирия, Палестина, Аравия — — к чему бы?» —

— но это говорит не мистер Роберт Смит, это говорю я, Пильняк. Мистер Смит знал иное.

— «Религия, семья, труд, пол» — Мистер Смит знал как в тихой Шотландии — даже в тихой Шотландии в те годы перепряжек истории, когда мужчины шли, шли, шли убивать друг друга, разваливалась семья. Мужчине, европейцу, англичанину — Бог уделил господство над миром, искание и труд — и каждому мужчине Бог уделил еще — интимное, уютное, властное безвластие у сердца страшного зверя женщины.— Уже совсем рассвело: раньше в России Олеги пили брагу из вражьих человечьих черепов. В полумраке, Роберт Смит взглянул в зеркало, волосы сбились на лоб, лицо показалось лошадиным. Во рту, от недоспанного сна, ощутился привкус свинцовой горечи. — Смерть. Смерть. — И все же мистер Смит не поспешая принимал ванну, натягивал на повлажневшие костлявые ноги шелковые тугие кальсоны, тщательно заправлял рубашку с негнущеюся крахмаленой грудью, выбирал в гардеробе костюм, избрал черный и затягивал сзади у брюк хлястик, защелкивал пряжки у ботинок. — Лакей принес

кофе, в необыденный ранний час. — Смерть. Смерть. — Телеграммы:

— Миссис Смит, Эдинбург: — мама, прошу Вас, встретьтесь с миссис Елисавет, она не виновна.

— Миссис Чудлей, Париж: — миссис Елисавет, встретьтесь с моей матерью.

— Мистеру Кингстон, Ливерпуль: — — —

— Индийский банк, Лондон: — — — —

Обстоятельство третье.

Мистер Роберт Смит получил воспитание, такое же, как все англичане. В детстве — мать, мисс и церковь. Затем колледж в своем приходе, в Эдинбурге, гольф, теннис, парусная лодка, кружевной воротничок и штаны до колен. Потом Оксфорд, сюртук, бокс, футбол, виски, француженка — впервые и единственный раз до женитьбы. Затем годы путешествий, в Камеруне, в Австралии, в Сибири, — банки, онкольные счета и фунты — и где-то — никогда не видимые, но прекрасно знаемые и изученные — товары. Тогда — у себя в Эдинбурге, в за́мке у моря, — любовь. Она — Елисавет — хрупкая девушка в белом платье с волосами, как закат в тумане, и с глазами, как море в облачный день. В пять часов, когда он делал визиты, она разливала чай, они играли в теннис. Он пригласил ее однажды поплыть с ним в море на боте, под парусом, — она отказалась испуганно, и он плавал в заливе один, всю ночь. Она стала его женой. Венчание было в двенадцать часов дня, в этот же день они уехали в замок, чтобы побыть несколько дней наедине перед поездкой в Италию и Египет, — и в первую же ночь, в холодной огромной спальне, — она отдалась ему, сжав губы от боли и наблюдая не за ним, а за собой. Так Роберт Смит прожил год. — И тогда пришла война. Женщины на улицах одаряли мужчин белыми лентами, значащими, что этот мужчина добровольцем идет на фронт. Футбольными командами мужчины уезжали обучаться военному ремеслу. Мистер Роберт Смит поехал во Францию, рядовым, в одном из первых полков. —

— В Шампани, после недели пребывания в окопах, их роту отвели в тыл, на

отдых. Их взвод расположился в сарае фермы. В те годы все европейцы — мужчины знали, что такое: окоп, с единственной, промозглой, затаенной мыслью-ощущением: — «не меня, не меня, не я — — ». И все знали, что такое — отдых в тылу, когда весь мир — мой и я — бесконечно. У германцев всех проституток мобилизовали на фронт, и солдаты на отдыхе получали от врачей ордера к проституткам. — Тогда был весенний вечер весь в золотом закате солнца, взвод играл перед сараем в футбол, Роберт Смит писал письма, ему захотелось выпить вина, и он пошел на кухню, около фермерского домика. Ферма жила так, будто никакой войны не было. В кухне мыла посуду молодая девушка, работница, с тупым веснушчатым лицом. Она улыбнулась мужчине, не умеющему говорить на родном ее языке, и принесла бутылку красного вина. Роберт Смит, совсем юный в военной форме, жестом предложил ей выпить, — она заулыбалась и принесла еще стакан. Вечером, когда уже стемнело, она прошла около сарая в виноградник и сейчас же вернулась оттуда. Поднималась луна, Роберт Смит знал, что она прикрыла ставни у кухни и одна ушла туда. Роберт Смит сделал большой круг по винограднику, уйдя из сарая в противоположную сторону от кухни, и он оказался у кухни. Он постучал. Девушка что-то спросила из-за двери. Он постучал еще раз, тогда она отперла; она стояла в ночной рубашке, из грубого полотна, почему-то очень короткой, прикрыв грудь рукою. Он хотел только попросить вина, но на пороге вдруг блеснула под луной железка скребка, — он сделал большой шаг и вошел в кухню. В кухне пахло свежим хлебом. Она, эта француженка-работница, оказалась девственницей, — когда Роберт Смит вновь отворил дверь, он заметил, что в тени у кухни жмется солдат-француз, француз сейчас же за Смитом юркнул в дверь кухни. Утром девушку нашли в кухне мертвой, ночью был дождь, и пол кухни был затоптан грязными ногами, точно здесь прошел полк. —

— Роберт Смит, — знал ли тогда он, что в мире есть старенький, — не моральный, а физический, почти механический — закон: «Мне отмщение, и Аз воздам», — что человеческий мир складывается — из че-

ловеческих единиц, только, — что есть вина разных культур, что европейской культуры, романо-германской, одноженной, — вино, и вино и уксус, — однолюбность, а одна функция всегда — не может не влечь за собой другую? — Но однолюбность: есть всегда — созидание, порой горькое очень. — — Мистер Роберт Смит много женщин познал, многих национальностей, и молодых, и старых, и целомудренных, и извращенных, пока не узнал старенькой этой истины, той, что человек самое ценное — и любовь: единственное — в этом мире. Другого же мира человеку — нет. —

— В Эдинбурге уходили мужчины на фронт. Несколько раз над тихими улочками Эдинбурга, в ночи, во мраке, летали цеппелины, тогда люди прятались по домам, а в небе ножницы прожекторов кроили темноту, и всем было нехорошо, одиноко и сиротливо. Потом открылись лазареты, и появились искалеченные на фронтах люди, жаждущие жить, и они были с большими деньгами, которых не жалели. На тихих улочках, вне центра города, где дома все, как один, появились кафе и кабаре, и кинематографы стали ломиться от посетителей, театры опустели. Появились гигантские, несуразные, беспокоящие плакаты о войне. Миссис Смит — старуха — знала, что церкви пустеют, и еще она знала — старухи в квартале шептались озабоченно и испуганно — молодые женщины стали сестрами милосердия — девушки очень охотно уплывали в море на ботах под парусом — вон в том доме, напротив, № 27, девушка ходила к акушерке на street в другом конце города, — а в этом доме видели, как на рассвете из окна выпрыгнул офицер, у офицера рука была в белой повязке, кинематографы ломились от пар. — Миссис Смит — жена Роберта — стала сестрой милосердия; старуха не знала, что раз в ночное дежурство, после обхода израненных мужчин у молодой закружилась, закружилась голова и в этот момент в комнату, в дежурку, где была она одна, вошел рыжий ирландец, замкнув дверь, как раз тот, которому она улыбнулась несколько раз вечером и которого она видела однажды во сне: молодая тогда очнулась, разобралась в ощущениях только утром, она поразилась, как все это просто и она другими, упрощенными, глаза-

ми увидела свет, мужчин, своих подруг, матерей. Над Эдинбургом летали — изредка — ночами немецкие цеппелины. — После года отсутствия, после контузии приехал муж, Роберт, — и в первую же ночь муж испугал жену, тогда еще наивную, тем, что он не мог уже удовлетвориться естественной страстью, и то, что он делал, показалось ей мерзостью; но когда муж уехал снова на фронт и у нее был любовник, на десятом свидании она захотела, чтоб любовник сделал с ней то же, что делал ее муж. — —

— Потом было все, что нужно для того, чтоб они разошлись, чтоб жена миссис Смит вновь стала миссис Чудлей. Тогда уже взорвала Европу Россия русской революцией и советская революция умирала в Венгрии. Германию карнали во имя революции и мозгового оскудения Версальского мира, мятежничала вновь и вновь Ирландия, вымирала Франция. — — Мистер Смит понял тогда, что значит «Мне отмщение, и Аз воздам», — но случилось так, как должно случиться: мир заслонил любовь, и — как часто случается: Роберт Смит не мог примириться с любовью к ушедшей жене. Она очень скоро применилась, она уехала в Париж.

Роберт Смит знал: —

— В Великий пост в России — в сумерки, когда перезванивают великопостно колокола и хрустнут ручьи под ногами, — как в марте днем в суходолах в разбухшем суглинке, — как в июне в росные рассветы в березовой горечи, — как в белые ночи, — сердце берет кто-то в руку, сжимает, зеленеет в глазах свет, и кажется, что смотришь на солнце сквозь закрытые веки, — сердце наполнено, сердце трепещет, — и знаешь, что это есть мир, что сердце в руки взяла земля, — что ты связан с ее чистотой так же тесно, как сердце в руке, — что мир, земля, человек, кровь, целомудрие (целомудрие, как березовая горечь в июне) — одно: чистота, девушка, Лиза Калитина. — —

Миссис Смит знала: —

— Самое вкусное яблоко это то, которое с пятнышком, — и, когда он

идет по вожже к уздцам рысака, не желающего стоять, — они стоят на снежной пустынной поляне, — неверными, холодными руками она наливает коньяк, холодный как лед, от которого ноют зубы, и жгучий, как коньяк, — а губы холодны, неверны, очерствели в жестокой тишине мороза, и губы горьки, как то яблоко с пятнышком. А дома домовый пес-старик уже раскинул простыни и подлил воды в умывальник. — —

Роберт Смит никогда не познал, никогда: — как —

— Лиза Калитина, одна, без лыж, пробирается по снегу, за дачи, за сосны. Обрыв гранитными глыбами валится в море. Буроствольные сосны стоят щетиной. Море: — здесь под обрывом льды — там далеко свинец воды, — и там далеко над мутью и в метели красный свет уходящей зари. Снежные струи бегут кругом, кружатся, около, засыпают. Сосны шумят, шипят в ветре, качаются. — «Это я, я». — Снег не комкается в руках, его нельзя смять, он рассыпается серебряной синей пылью — «Надя, сейчас у обрыва меня поцеловал Павел. Я его люблю». —

Телеграф.

Телеграф — это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами, и в осени, — сиротливо, потому что — кто знает, что, о чем гудят они? — в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам: — —

Телеграф выкинул из России в Европу телеграммы — миссис Смит, миссис Чудлей, мистеру Кингстону. — —

Россия — Европа: два мира? —

В колонном зале польской Миссии — на Домберге — парламент Миссии. Древнюю Колывань осаждал когда-то Иван Грозный, — публичному дому тогда было уже полтораста лет. Здесь все, кто вне России, кто

глядит в Россию. Свет черен — непонятно, ночь иль окна в черных шторах. Парламент мнений. Здесь все. Сорокин и Пильняк — не явились. У секретарского столика Емельян Разин и Лоллий Кронидов. Ротмистр Тензигольско-Саломатино-Расторов сел на окне, без шпаги. Рядом стала седая старушка — мать — миссис Смит. Генерал Калитин не может объясниться по-английски с мистером Кингстоном из Ливерпуля. Министр Сарва, посланник Старк сторонятся Ллойд-Джорджа. В зале нет миссис Чудлей. — Иль это только бред, иль это только муть, туман, наважденье? — в зале только истопник, и кресла, и тишина — над мертвым городом, — а где-то там, во мгле лежит — Россия, — где с полей, суходолов, из лесов и болот — серое, страшное, непонятное, — что? — ...Докладчик, кто докладчик? —

— В зале нет миссис Чудлей —

— И Париж. Автобусы, такси, трамваи, мотоциклы, велосипедисты, цилиндры, котелки, женские шляпки. В Париже нет извозчиков. На углу, где скрещиваются две улицы, люди, как сор в воронку, проваливаются в двери метрополитена. Гудит, блестит, — мчит город — в солнце, в лаке, в асфальте. Оказывается, женщин надо, как конфеты, из платья выворачивать. Дом там, против бульвара — весь в оборках жалюзи, — и миссис Чудлей, в прохладной тени, идет из одной комнаты в другую: — кружево, кружево, шелк, пеньюар — утро. В умывальнике в ванной — горячая и холодная вода. Миссис Чудлей у зеркала — миссис Чудлей в зеркале, — и губы пунцовеют в кармине, бледнеют щеки и нос, а глаза как море в облачный день, и под глазами синяки, такие наивные, такие печальные. И плечи — чуть-чуть припудрены. Она знает, что женщину, как конфетку, надо из платья выворачивать. Она идет по комнате, ее мопс бежит за ней. Уже поздний час. Она знает: — как у нее, так у всех парижанок, у немок, у англичанок, — у всех или визитная

карточка, или блокнот (в черепаховой оправе), — и так легко добиться этой карточки, чтоб там был указан час, и к этому часу, конечно, пусть это днем или ночью, в ванне — теплая вода, простыни и полотенца. В комнате за жалюзи — прохладно, и на улице — за жалюзи — котелки, цилиндры, лак ботинок. — Миссис Чудлей в белом платье, в белом пальто, с сумкой в руках. Лифт мягок, лифт скидывает вниз. На тротуарах, в жестяных пальмах — кафе. За углом в переулке, где тихо, — парикмахер. Миссис Чудлей идет делать прическу, маникюр и педикюр. — И вот —

— и вот, когда миссис Чудлей сидит в кресле, за стеной, где живет джентльмен-парикмахер, — плачет ребенок, мальчик девяти лет, мальчик плачет неистово. — В чем дело? — Мальчик потерял грифель от аспидной доски, и его завтра накажет розгами учитель в школе. — Потом, когда джентльмен-парикмахер склонялся у ног, мальчик неистово ворвался сюда и завертелся неистово, в счастии, — потому что он нашел грифель и его не будет бить учитель. Перед этим мальчик неистово плакал, его побили бы. —

— Миссис Чудлей идет по бульвару, в кафе, — ее джентльмен, с тростью в руках, уже был утром на бирже, он в курсе, как пляшут доллары, фунты и франки, он уже потрудился. Ах, должно быть, должно быть, она даст ему свою визитную карточку. — Он бодр, он весел, он шутит, — но он немного устал. Он говорит: — «Pardon, madame», — и заходит в писсуар, от удовольствия он бьет тросточкой по стене. Она идет медленнее. В кафе пустынно. День. — Ну-да, в пять часов разбухнут кафе от кавалеров и дам, и будут острить, что костюм дам состоит — из кавалера впереди и из ничего сзади: это совсем не потому, отчего

в России и мужчины и женщины ходят кругом голые. И тогда из пригородов, из подворотен казарм, с фабричных дворов — выйдут — пойдут — черные блузники — и где-то соберутся еретики, фантасты и отступники — поэты — и художники. — В этот день миссис Чудлей принесли телеграмму. — —

— Ну, вот миссис Чудлей но было в колонном зале польской Миссии, — но неистовый плач того мальчика, ребенка, которого будет драть педагог за утерянный грифель, — этот плач был в этом зале. Детский неистовый плач стал рядом с миссис Смит, около ротмистра-губернатора Тензигольского. Поэты, художники, еретики и блузники пришли потом. — В тот год — в те годы — не знали еще в Европе, что это пришло: кризис или крах — или нарождение нового? — В Ливерпуле в порту толпились корабли, титаники, дредноуты, над мутной водою, в нефти — в порту — с каменных глыб набережных свисали гигантские грузоподъемные краны, горами валялся уголь, лежали бочки, хлопок, под брезентами, высились нефтяные баки, каре кварталов элеваторов, складов и холодильников замыкали порт кругом. Кругом все было в саже, в дыму, в каменноугольной пыли, звенели и дребезжали лебедки, вагонетки, вагончики, вагоны, гудели паровозы и катера, гонимые человеческой волей. — Там дальше был город контор, банков, фирм, магазинов. Здесь толпилась толпа — людей всех человеческих национальностей, — туда в город контор автомобили, трамваи и автобусы увозили только тех, кто был в цилиндрах, котелках и крахмалах. — В элеваторах, складах и холодильниках, должно быть, конечно, было много крыс. — И в конторе мистера Кингстона, как во многих конторах Королевского банка, знали — вот — что, не о крысах —

— В тот год — в те годы — никто не знал, что пришло в Европу: — гибель, смерть или рождение нового. Но мистер Кингстон, как многие, кто научился читать цифры, знал — — Впервые за две тысячи лет гегемония над миром ушла из Европы. Уже прошли годы человеческих бойнь, но народы, как звери,

зализывая болячки, жили военными поселениями, глухо готовясь к новым и новым войнам. Вся Европа, и победители, и побежденные, страны, которые грабят, и которых грабят, — вышли из войны — побежденными. Во всех странах, у всех народов пустели университеты, вымирала интеллигенция — мозг народов, пылились, разваливались, разветривались музеи, картино- и книгохранилища, — народами управляли солдат, мудрый, как казарменная вахта, и шибер, энергичный, как кинематограф, полагавший, что вся промышленность и экономическая жизнь народов — есть только: биржа и жульничество на высоких и низких валютах: не поэтому ль в Англии, Франции, Италии — не дымились домны, заводы и фабрики — и заливались водой каменноугольные, железорудные шахты, извечно черные и пыльные, и одни за другими, сотни, тысячи, лопались, банкротились — фирмы, торговые конторы, банки, предприятия, — а рабочие, десятки, сотни тысяч, миллионы, — безработные — люмпен-пролетариат — шли в больших городах от одной профессиональной конторы к другой фабричной конторе, в штрейкбрехерстве, — ночуя неизвестно где, потому что вот уже много лет ничего не строилось в Европе, и в одной Англии необходима была постройка миллиона домов, — не потому ли тогда ощетинились нации баррикадами виз и таможен, и даже Англия, великий торговец, изменив столетию своего фритредерства, построила заборы таможен — для побежденного врага, Германии, которая нонсенсом затуманила смысл побед и Версалей и за Версалем оставила одно лишь — разбойничество — —? Тогда говорили в Европе, что это промышленный экономический кризис. — И, хотя государства грозились заборами таможен, как баррикадами, все же были люди, которые видели гибель Европы в уничтожении международного братства, и тогда учинялись Канны, Генуя, — и там фельдфебеля хотели учинить новый Версаль, — и эти глядели на Россию — в Россию, чтобы утвердить равновесие мира — новой колонией. Но государства еще жили и властвовали, как на войне, разъединяя, кормя и — властвуя: тогда многие в Европе разучились знать, как достается хлеб, но многие и многие поля в те годы были засеяны не пшеницей, а карте-

чью, — об этом хорошо знал европейский крестьянин, мужик, — и многие и многие те, для которых не хватало моргов, разучились есть хлеб: ведь едали же в Лондоне и Берлине дохлых лошадей и собачину. И хозяйственный кризис все рос и рос, все новые останавливались заводы, все новые рушились фирмы, все новые товары оказывались ненужными миру — медь, олово, хлопок, резина, — и новые миллионы людей шли — в морги. Но киношки, но кафе, диле и нахт-локалы были полны, женщины всегда имели визитные карточки. — И эти глядели на Россию — в Россию, чтобы утвердить равновесие мира: колониальной политикой. —

— Но в Европе были и еретики, и безумцы, и поэты, и художники, которые — — —

— Но Епропа мала; — Европа, кошкой изогнувшаяся на земном шаре, где старая кошка нюхает молоко Гибралтара, где Пиренейский полуостров — голова, а нога — Апеннинский полуостров —

— и гегемония над миром ушла из Европы, с Атлантики — к Тихому океану: —

— В Америке сытно, обутно и одетно, в Соединенных Штатах на каждых четырнадцать человек — автомобиль и половина мирового золота там, и доллар чуть ли не выше своего паритета, и ее тоннаж, в четверть мирового тоннажа, догоняет Англию. В Японии дымят заводы, снуют основы и челноки, и японскому флоту — ближе до Австралии, чем английскому. В Китае, который спал шесть тысяч лет, — полезли китайцы под землю за каменным углем, за залежами железных, оловянных, медных руд, — в Китае загорелись домны. — В Австралии теперь — свои заводы. — Тихий океан — он же Великий — Аргентина, Боливия, Перу — краснокожие, желтолицые, негры — — но Европа —

Европа — —

— Докладчик мистер Кингстон сходит с кафедры. В черном зале польской миссии темно. Иль это бред и подлинен один лишь дет-

ский — горький плач? — Мистера Кингстона сменяет другой докладчик, Иван Бунин, — иль это только бред, поэма, метель над Домбергом — ? — Корабль мирно идет из Америки в Европу. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий», Апокалипсис. — Это эпиграф. —

— «... почти до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно и даже без качки, пассажиров на пароходе оказалось много. И все люди крупные, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на самый дорогой европейский отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала по самому высшему регламенту: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодною свежестью океана, или играть в шеффль-борд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газеты и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху: все палубы заставлены были тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и

повеселевших, поили крепким, душистым чаем с печеньями; в семь оповещали трубным сигналом об обеде из девяти блюд... По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных складах с особенной лихорадочностью. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека, чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появляющегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в огромной двухсветной зале, отделанной мрамором и устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями хрустальных люстр и золоченых жирандолей, переполненной декольтированными дамами в бриллиантах и мужчинами в смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр... Обед длился целых два часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, задрав ноги, решали на основании последних политических и биржевых новостей судьбы народов и до малиновой красноты лица накуривались гаванскими сигарами... — Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях... — в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного нап-

ряжения внимания вахтенные на своей вышке — — — ».

Телеграф.

Телеграф — это столбы и проволоки, которые сиротливо гудят в полях, гудят и ночью и днем, и веснами и осенями, — сиротливо, потому что — кто знает, что, о чем гудят они? — в полях, по оврагам, по большакам, по проселкам. — — В Эдинбурге у матери Смит в пять часов было подано кофе, блестел кофейник, сервиз, скатерть, полы, филодендроны, — в Париже у миссис Чудлей разогревалась ванна, чтоб женщину, как конфетку, из платья выворачивать, — и тогда велосипедисты привезли телеграммы.

— «Мистер Роберт Смит убит
в Москве». —

Фита.

Но в Европе ведь были — еретики, безумцы, поэты и художники, которые — — В Европе гуситствовал Штейнер и лойольствовал Шпенглер — — В Ливерпуле, Манчестере, Лондоне, Гавре, Париже, Брюсселе, Берлине, Вене, Риме, — в пригородах, на фабричных дворах, из подворотен, в дыму, копоти и грязи, на рудниках, шахтах и заводах, в портах, — в элеваторах, — поди много крыс, — рабочие, безработные, их матери, жены и дети — правой рукой — сплошной мозолью, выкинутой к небу, и обожженными глотками —

— и с ними еретики,
безумцы, поэты и художники —

— вчера, третьего дня, завтра — ночами, восходами, веснами, зимами, осенями — в туманы, в непогодь и благословенными днями — одиночками, толпами, тысячами, — обожженными глотками, винтовками, пистолетами, пушками —

— кричали:

— Третий
Интернационал! — — —

В черной зале польской Миссии — бред. Маленький мальчик горько плачет в польской Миссии, потому что

он потерял грифель, и педагог будет его бить. Лиза Калитина — в польской Миссии. Метель в польской Миссии. Но вот идут еретики, поэты, художники, безумцы, рабочие, все, для кого морги. Ротмистр Тензигольский — обветрен многими ветрами, — Ллойд-Джордж — вместе с Тензигольским — расстрелян. Бред — ерунда — глупость — вымысел. В черном зале польской Миссии бродят тени, мрак, ночь. Мороз. Нету метели. — И вот идет рассвет. Вот по лестнице снизу идет истопник, несет дрова. —

В Москве, с Николаевского вокзала — из колонии, имя которой Россия, — уходил вагон за границу, в метрополию, он должен был дойти до порта Таллина. Он должен был уйти в 5.10, но ушел в 1.50, — это по-российски. На вокзале, ибо в эти часы не было поездов, было пустынно. В вагоне ехали эсты. Русские понимали по-эстонски только два слова: куррат — черт, и якуллен — слушаю; слушали друг друга — и русские носильщики с усмешкой, и эстонские курьеры дипломатически-вежливо — «якуллен», — но не понимали. Уборная в вагоне обозначалась по-эстонски, что не изменяло, конечно, ее назначения, как это бывало в России. Вагон грузили ящиками в пломбах, похожими на гроба, которые именовались дипломатическими пакетами. Потом, вместе с людьми, запломбировали вагон. Ночью вагон ушел. Ночью было холодно в вагоне. — Во всем вагоне оказалось пять человек, причем двое из них — русские, — впрочем, был еще шестой: в одном из дипломатических пакетов находился труп Роберта Смита. Ночью в вагоне на дипломатических гробах горели свечи. Стены вагона, деревянные, были крашены серым, вагон был невелик, окна были замазаны известью, при остановках и толчках в дипломатических пакетах перекатывались бутылки, все пятеро были в енотовых шубах, пахло нафталином и сардинками, — и вагон походил на общую каюту третьего класса внизу, в трюме, плохонького морского пароходика: бутылки из-под шампанского, которые перекатывались в дипломатических гробах, напоминали звон рулевых цепей, и как в трюмах — в окнах ничего не было видно. Так заграница подперла к самой Москве, так уходил вагон

из колонии. Утром и весь день ничего из вагона не было видно: окна были хорошо закрашены. Двое русских все же успели за ночь обжить свое купе и свои гроба — окурками, бумажками и разговорами подушам. Вечером в вагоне запахло трупным удушьем — от трупа Роберта Смита.

Если ехать первый раз в жизни, — в годы Великой Мировой разрухи — переехать русскую границу, где ломаются два мира, — не просто. И вагон переезжал границу ночью. В Ямбурге, на русской границе, все пошли с чемоданчиками в таможенную будку, — и ночь была такая, как и должно ей быть на границе, где контрабанда и иные темные дела: на шпалах, на рельсах, на деревьях мылилась луна, и казалось, что луна — едва слышно — звенит в одиночестве, — и у таможенной избы, сшитой из фанеры, окна были замазаны известью, смотрела — мазала известь на стеклах — луна. Было четыре часа ночи. — Потом опять вернулись в вагоны, поезд тронулся и через полчаса пришли уже другие пограничники, в нерусской форме, — они поздравляли с приездом в Европу. В сущности, это было очень нище. Так пришел вагон из колонии в Европу, — еноты не прятались: — кто знает, сколько было вывезено из колонии платины, камней, картин, икон? — вместе с дипломатической почтой? —

Так выбыл из России — запечатанный в дипломатическом пакете — мистер Роберт Смит.

И другой поезд вполз в Россию, чтоб сщемить сердце каждого русского, —

— чтобы услышать дубасы в вагоны, шум, гам и вой, крики и вопли мешочников и мешков в матерщине, чтоб хлестнул по носам всероссийским запахом триметиламина, аммиака и пота, — чтоб никак не объяснить американцу про недезинфицированный башмак и никак не понять, когда день, когда ночь, когда что: —

— Но над Россией — весна, Великий пост, — когда ветрено, ручейно, солнечно, облачно и когда бухнет полднями сердце, как суглинок, — когда хрустнет хрусталь печали, как льдинка под но-

гой, — и поют когда мужики русские песни, тоскливые, как русские века: ветер потрошит души русских, как бабы потрошат кур, — и все же ветрено, ручейно, облачно и солнечно по весне в России.

1) В поезде был вагон детских сосков, закупленных за границей российским внешторгом: впоследствии выяснилось, что вместо сосков оказалась в вагоне другая резина.

2) В Себеже, что ли, в Великих Луках, или где-то еще: — баба кричала истошно: «Дунькя, Дунькя-а, — гуртуйси здеся.» — И с воем мчались по базару мешочники. В Себеже, что ли, или в Великих Луках, по шпалам ходил стрелочник, переводил стрелки рельс; на голове у него была шляпа, за поясом две палочки красного и зеленого флагов, а у пояса в котомке — две книги, — Евангелие и Азбука Коммунизма, — на ногах у него, по-весеннему, ничего не было; звали стрелочника Семенов. Семенов ходил по шпалам, — мешочники уже умчались, ибо поезд ушел. Семенов вынул тогда из котомки Азбуку Коммунизма и стал зубрить, как вызубрил некогда Евангелие, — Азбуку же Коммунизма зубрил к тому, чтобы примирить Азбуку с Евангелием, ибо находил в этом великую необходимость для души.

3) В Себеже, что ли, или в Великих Луках, — на базаре за станцией, в базарный день, стоял с возом степеннейший русский мужик, продавал восемь пудов ржи. Мимо шли рысцой покупатели и продавцы. Как соловьи в майскую ночь, оглашали базар удивлением миру — громчайшим визгом — поросята, — и вопил базар очень громко — в синее небо, соборной толпою. К мужику подошел человек.

— Что продаешь?

— Рожь продаем мы, обмениваем, значит. Деньги нам, значит, не надо — обклеивать избу.

— Так. А почем?

— Мы не на деньги — обклеивать избу. Керосинчику нам бы...

— А на что тебе керосин? Для свету?

— Керосин нам для свету, — чтобы морду не расшибить, значит, в потемках, либо к скотине выйтить, а то — бойся.

Обыватель сказал мужику:

— У нас теперь электризация произошла, — горит сколько тебе хошь — без керосину, — и опять пожару не может быть — не жгет. Лампа такая стеклянная, вроде груши, и проволока в ей, а от ей идет другая проволока в загогулинку на стенке. Хошь, продам?

— А не вре?

Мужик поехал к человеку, посмотреть электричество. Воз на дворе оставил, вошли в дом. Человек объяснил:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот шнурок. Видишь: я конец шнурка, штепсель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и — горит.

Действительно, засветило. Мужик охнул, посмотрел, потрогал, понюхал.

— И без керосину, значит? А какая же в ем сила?

— Сила в ем от земли.

— О!

— Теперь. Видишь: крантик этот я заворачиваю, — не горит. Вынимаю штепсель из загогулины, иду в кухню, там втыкаю в загогулину, поворачиваю и — горит, как твоих двадцать лампов. — И желаю я за все, за лампу, за подставку и за загогулину — восемь пудов ржи. Дешевле никак нельзя.

Мужик заторговался, — поставили самовар, — столковались на семи, свешали, поменялись из полы в полу. Честь-честью. — «А загогулину тогда к стенке гвоздиком приколотишь, что ли».

Мужик приехал домой к вечеру, в избу вошел гоголем. Сказал бабам:

— Грунька, сбегай к Авдотье, а ты, Марья, к Андрею, — чтобы пришли скореича, значит. Еще кого позовите.

Народ пришел. Мужик, молча, осмотрел всех, — отодвинул локтем сынишку от стола. Топором — двумя гвоздиками — приколотил к стене загогулину. Сказал:

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот — снурок. Видишь: я конец снурка, стесель, втыкаю в стену, в эту вот загогулину. Видишь: теперь я на подставке поворачиваю крантик и — —

Ничего не загорелось. — —

— Постой. Погоди

— ?

— Видишь: вот лампа, вот ее подставка, а вот — снурок. — Видишь: я конец снурка, стесель —

Ничего не загорелось. — —

4) Человек же в городе шесть пудов ржи спрятал под кровать, а седьмой пуд сменял на самогон — у самогонщика-трезвенника стрелочника Семенова. К вечеру он лежал за базаром, за железнодорожной линией в канаве, — пуговица у его штанов лопнула, он дрыгал ногами и говорил:

— Пусти, ос-тавь... Не трожь, т-това-рищ. Не замай. — Он немного молчал, потом начинал вновь: — отвяжись, ч-черт, п-пусти ноги... ос-ставь, ты — не — гарни-турься. — —

Наконец, одна штанина свалилась с ноги. Он почувствовал облегчение: — «Аа, пустил, дьяволюга» — перевалился со спины на живот, пополз на четвереньках, затем встал на ноги, упал. Шагов через пятнадцать свалилась и вторая штанина. Тогда пошел тверже. — —

5) И еще где-то в другом конце России, и тремя месяцами раньше: — в том помещичьем доме, где когда-то справляли помещичьи декабрьские ночи. — —

— Знаемо было, что кругом ходят волки, и луна поднималась к полночи, и там на морозе безмолвствовала пустынная, суходольная, — непомещичья — советская ночь —

— В доме многое было, и коммуна, и трудармейские части, и комсомол, и совхоз, и детская колония, дом как следует покряхтел.

— — В том помещичьем доме организован был здравотделом дом отдыха. В честь открытия дома устроен был бал и ужин. Все было отлично сервировано. И вот на балу, за ужином — украдены были со стола тарелки, ложки и вилки, а из танцевального зала украли даже несколько стульев, — хоть и присутствовал всем синклитом на балу Исполком. — —

6) И последнее, о людоедстве в России. Это рассказал Всеволод Иванов — «Полой (почему — не белой?)

Арапией. Еще три месяца скинуты со счетов, — в третьем углу России». —

— Всеволод Иванов рассказал, как сначала побежали крысы, миллионы крыс: «деревья росли из крыс, из крыс начиналось солнце». Крысы шли через поля, деревни, села. «Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце». Тучными животами выпячивались тучи. — Оглоданные земли. От неба до земли худоребрый ветер. От неба до земли жидкая голодная пыль»... «Крысы все бежали и бежали на юг». Тогда крыс начали бить, чтобы есть. Их били камнями, палками, давили колесами телег. «К вечеру нагребли полтелеги». Заночевали в поле. «Наевшись, Надька сварила еще котелок и отправила с ним Сеньку к матери, в деревню». Вернулся он утром, — подавая котелок, сказал:

— «Мамка ешшо просила».

Крысы шли через поля, деревни, села. На деревне, в избе крысы отъели у ребенка нос и руку. «За писком бежавших крыс не было слышно плача матери». Потом пришел сельский председатель: пощупал отгрызенную у ребенка руку, закрыл ребенка тряпицей и, присаживаясь на лавку, сказал:

— «Надо протокол. Може вы сами съели. Сполкому сказано — обо всех таких случаях доносить в принадлежность».

«Оглядел высокого, едва подтянутого мясом, Мирона».

— «Ишь, какой отъелся. Може он и съел. Моя обязанность — не верить. Опять, зачем крысе человека исть?» —

Потом побежали люди. «Жирное, объевшееся вставало солнце. Тучными животами выпячивались тучи. — От неба до земли худоребрый ветер». — И была еще — тишина. Надька — «плоская, с зеленоватой

кожей, с гнойными, вывернутыми ресницами» — говорила Мирону:

— «Ты, Мирон, не кажись. Очумел мужик, особливо ночью — согрешат, убьют... Ты худей лучше, худей».

— «Не могу я худеть, — хрипел Мирон. — Раз у меня кость такая. Виноват я? — Раз худеть не могу. Я и то ем меньше, чтобы не попрекали. Омман один это, вода — не тело. Ты щупай».

— «И то омман, разве такие телеса бывали? Я помню. А ведь не поверют — прирежут, не кажись лучше». —

Вскоре, когда пошли, все лошади передохли: «Кожу с хомутов съели».

«Раз Надька свернула с дороги и под песком нашла полузасохшую кучу конского кала. Сцарапнула пальцем полузасохшую корку, позвала Егора:

«— С овсом... Иди». —

«Ночью Мирону пригрезился урожай. Желтый, густой колос бежал под рукой, не давался в пальцы. Но вдруг колос ощетинился розоватыми усиками и пополз к горлу... — Здесь Мирон проснулся и почувствовал, что его ноги ощупывают: от икр к пахам и обратно. Он дернул ногой и крикнул:

«— Кто здесь?»

«Зазвенел песок. Кто-то отошел. Проснулась Надька.

«— Брюхо давит.

«— Щупают... Мясо щупают.

«— Умру... Мне с конского... давит. В брюхе-то, как кирпичи с каменки каленые... И тошнит. Рвать не рвет, а тошнит комом в глотке. Тогда закопай.

«— Выроют.

«Надька умерла. — Перед смертью Надька молила:

« —Хлебушко-то тепленький на зубах липнет, а язык-то... Дай, Мироша, ей Богу

не скажу. Только вот на один зубок, хмм, хи... кусочек. А потом помру, и не скажу все равно.

«Деревня поднялась, двинулась.

«— Схоронишь? — спросил Фаддей, уходя. —

«Поодаль на земле сидел Егорка, узкоголовый, отставив тонкую губу под жестким желтым зубом.

«— Иди, — сказал ему Мирон. — Я схороню.

«— Егорка мотнул плечами, пошевелил рукой кол под коленом. Сказал:

«— Я... сам... Не трожь... Сам, говорю... Я на ней жениться хотел... Я схороню... Ступай. Иди.

«У кустов, как голодные собаки, сидели кругом мальчишки.

«Егорка махнул колом над головой и крикнул:

«— Пшли... ощерились... пшли.

«Пока он отвертывался, Мирон сунул руку к Надьке за пазуху, нащупал там на теле какой-то жесткий маленький кусочек, выдернул и хотел спрятать в карман. Егорка увидел и, топоча колом, подошел ближе.

«— Бросай, Мирон, тебе говорю... Бросай... Мое... Егорка махнул колом над головой Мирона. Тот отошел и бросил потемневший маленький крестик. Егорка колом подкинул его к своим ногам.

«— Уходи... мое... я схороню... — в лицо не смотрел, пальцы цепко лежали на узловатом колу.

«Мирон пошел, не оглядываясь. Мальчишки, отбегая, кричали:

«— Сожрет. — —

«Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце. Тучными животами выпячивались тучи. — Огненные земли. От неба до земли худоребрый ветер». — —

Заключение второе.

ОТКРЫТА
Уездным Отделом Наробраза вполне оборудованная
— — БАНЯ — —
(быв. Духовное училище в саду) для общественного пользования с пропускной способностью на 500 чел. в 8-час. рабочий день:

Расписание бань:
Понедельник — детские дома города (бесплатно).
Вторник, пятница, суббота — мужские бани.
Среда, четверг — женские бани.

Плата за мытье:
для взрослых — 50 коп. зол.
для детей — 25 коп. зол.

УОТНАРОБРАЗ.

Сроки: Великий пост восьмого года Мировой Войны и гибели Европейской культуры — и шестой Великий пост Великой Русской Революции, — или иначе: март, весна, ледолом —
Место: место действия — Россия.
Герои: героев нет.

Пять лет русской революции, в России, Емельян Емельянович Разин, прожил в тесном городе, на тесной улице, в тесном доме, где окно было заткнуто одеялом, где сырость наплодила на стенах географические карты невероятных материков и где железные трубы от печурок были подзорными трубами в вечность. Пять лет русской революции были для Емельяна Разина сплошной, моргасной, бесщельной, безметельной зимой. Емельян Емельянович Разин был: и Лоллием Львовичем Кронидово-Тензигольско-Калитиным, — и Иваном Александровичем, по прозвищу Калистратычем. — Потом Емельян Емельянович увидел метель: зубу, вырванному из челюсти, не стать снова в челюсть. Емельян Емельянович Разин узрел

метель, — он по-иному увидел прежние годы: Емельян Емельянович умел просиживать ночи над книгами, чтоб подмигивать им, — он был секретарем Уотнаробраза, — он умел — графически — доказывать, что закон надо обходить. —

— И вот он вспомнил, что в России вымерли книги, журналы и газеты, — замолкли, перевелись, как мамонты, писатели, те, которым надо было подмигивать, потом писатели, книги, журналы и газеты народились в Париже, Берлине, Константинополе, Пекине, Нью-Йорке, — и это было неверно: в России стало больше газет, чем было до революции: в Можае, в Коломне, в Краснококшайске, в Пугачеве, в Ленинске, в каждом уездном городе, где есть печатный станок, на желтой, синей, зеленой бумагах, на оберточной, на афишной, даже на обоях, — а в волостях рукописные — были газеты, где не писатели — неизвестно кто, — все — миллионы — писали о революции, о новой правде, о Красной армии, о трудовой армии, об Исполкомах, советах, земотделах, отнаробах, завупрах, о посевкомах, профобрах, — где в каждой газетине были стихи о воле, земле и труде. Каждая газетина, — миллионы газет — была куском поэзии, творимой неизвестно кем, в газетах писали все, кроме спецов-писателей, — крестьяне, рабочие, красноармейцы, гимназисты, студенты, комсомольцы, учителя, агрономы, врачи, сапожники, слесаря, конторщики, девушки, бабы, старухи. Каждая газета — пестрая, зеленая, желтая, синяя, серая на обоях — все равно была красная, как ком крови. — В России заглохли университеты. — И в каждой Коломне, Верее, Рузе, в каждом Пугачеве, Краснококшайске, Зарайске, — в каждой волости — во всей России — в домах купцов, в старых клубах и банкирских конторах, в помещичьих усадьбах, в волисполкомах, в сельских школах — в каждой — в каждом — было — были: политпросветы, наробразы, пролеткульты, сексоцкультуры, культпросветы, комсомолы, школы грамотности и политграмотности, театральные, музыкальные, живописные, литературные студии, клубы, театры, дома просвещения, избы-читальни, — где десятки тысяч людей, юноши и девушки, девки и парни, красноармейцы, бабы, старики, слесаря, учителя, агрономы — учили, учились, творчествовали, читали, писали, играли, устраива-

ли спектакли, концерты, митинги, танцульки. Емельян Емельянович был секретарем наробраза: он видел, увидел, как родятся новые люди, мимо него проходили Иваны, Антоны, Сергеи, Марьи, Лизаветы, Катерины, они отрывались от сохи, от сошного быта, они учились, в головах их была величайшая неразбериха, где Карл Маркс женился на Лондоне, — почти все Иваны исчезали в Красную армию бить белогвардейцев, редкая Марья не ходила в больницу просить об аборте; выживали из Иванов и Марьев те, кто были сильны. Иваны проходили через комсомолы, советы и Красную армию, — Марьи через женотделы, — и потом, когда Иваны и Марьи появлялись вновь после плаваний и путешествий по миру и шли снова на землю (велика тяга к земле) — это были новые, джек-лондоновские люди. —

— Емельян Разин увидел метель в России, — и прежние пять лет России он увидел, — не сплошною, моргасной, бесцельной, безметельной зимой, — а — метелью в ночи, в огнях, как свеча Яблочкова. — Но над Россией, когда вновь его вкинуло после Неаполя в старую челюсть тесного города, — над Россией шла весна, доходил Великий пост, дули ветры, шли облака, текли ручьи, бухнуло полднями солнце, как суглинок в суходолах. — — И Емельян Разин увидел, как убога, как безмерно нища Россия, — он услышал все дубасы российские и увидел одеяло в окне, — он увидел, что жена его еще донашивает малицу: — он не мог простить миру стоптанные башмаки его жены. Не всякому дано видеть, и ныне, кто видит, — безумеют — —

— Этот тесный город, куда приехал Разин, был рядом с Москвой, он не считался голодным. Дом напротив, как запаленная лошадь, из которого давно уже ушли вместе с барахлом купцы, — за зиму потерял крышу. Направо и налево, через один дом, в двух не ели хлеба и жили на картошке. Через дом слева жил паспортист с женой и дочерью-гимназисткой, который был паспортистом и при монархии, и при республике. Дочь-гимназистку звали Лизой, ей было пятнадцать лет, шел шестнадцатый год, она была как все гимназистки. А рядом в доме, в подвале, жил «сапожник Козлов из Москвы» — Иван Александ-

рович, по прозвищу Калистратыч, — жил много лет с женой — Дашей-поломойкой, детьми, шпандырем и самогонкой; на лоб, как подобает, он надевал ремешок, и было ему за сорок: — ну, так вот, Калистратыч, не прогоняя даже жены, взял себе в любовницы Лизу, за хлеб, за полтора, что ли, пуда; Даша-поломойка раза два таскала всенародно Лизу за косы, тогда Калистратыч таскал — тоже всенародно — Дашу-поломойку, а мальчишки с улицы кидали во всех троих камнями. — Через дом справа жил телефонный надсмотрщик Калистрат Иванович Александров с женой, четырьмя детьми и матерью; Калистрат Иванович получал паек и запирал паек на ключ, ничего не давая семье; сынишка — тоже электротехник, должно быть, — подделал ключ: Калистрат Иванович прогнал всех из дома и потребовал от жены браслетку, которую подарил женихом; жена из дома не пошла, а позвала милицию; Калистрат Иванович показал милиции, что семья его живет воровством, жена показала, что Калистрат Иванович ворует электрические катушки с телеграфа; дети показали, что отец не кормит их и каждую ночь истязает мать и жену; милиция рассудила мудро: ворованное отобрала, а им сказала, что — до первого разу, если кто из них еще пожалуется, тогда всех в холодную до суда и дела. — Кругом все — друг друга — друг у друга — обворовывали, обманывали, подсиживали, предавали, продавали. — Приходила весна, и город был, в сущности, деревней безлошадных: все закоулки, пустыри, ограды выкапывались руками, все балдели в посевах капусты, свеклы, моркови — все изнемогали и завидовали друг другу, чтоб потом — по осени — приступить к поголовнейшему обворовыванию соседских огородов, друг друга. —

— Емельян Емельянович Разин не выставлял окон в доме, в доме пахло зимой, аммиаком и копотью, и мухи жужжали, как в банке. Емельян Емельянович увидел метель, — Емельян Емельянович физически не мог переносить стоптанных башмаков жены, — и для него очевиднейшим были уже те книги, над которыми он мог подмигивать раньше Лоллием Львовичем и которые хранили замшевые запахи барских рук. —

— И Емельян

Разин — метелинкой — в одну ночь — как

сумасшедший — собрался и бежал из этого городка — куда глаза глядят — к черту — от метели. —

— Он оказался в Москве, на Средней Пресне, вместе с женой. —

Заключение третье. — Фита предпоследняя.

По Европе и по Азии уже столетия, как ходили индийские фокусники, гипнотизеры, — индийские маги и йоги. В России они чаще всего назывались Бен-Саидами. Они, Бен-Саиды, маги, глотали огонь, прокалывали себя иглами, жгли, у них на глазах у зрителей одна рука вырастала раза в полтора больше, чем вторая, на них клали двадцатипудовые камни и били камни молотками так, что летели из камней искры, — они, Бен-Саиды, усыпляли желающих из зрителей, и эти усыпленные, загипнотизированные выполняли во сне все, что вздумается почтенным зрителям: старухи пели и плясали, девушки каялись в грехах, — но Бен-Саид продолжал сеанс уже дальше, просил публику дать вещь или загадать, что должен сделать загипнотизированный, и спящий, причем этого не знал даже и он, делал то, что заказывали почтенные зрители. Эти индийские маги и йоги, Бен-Саиды в России — всегда были нищи, они выступали в передвижных цирках, в палатках, в пожарных депо, передвигаясь из одного города и местечка до другого — с двумя-тремя своими помощниками и несчастной женой, убежавшей от отца-буржуа, — редко в третьем классе поезда и часто пешком, по большакам. Но каждый раз, когда зрители после сеанса расходились по домам, в ночь, — многим из зрителей бывало одиноко от того непонятного и сверхъестественного, что есть в мире. —

— Мистер Роберт Смит, который научился уже читать по-русски, прочел афишу на заборе, в Москве:

ТАЙНЫ ИНДИЙСКОЙ МАГИИ
РАСКРОЕТ
ИНДИЙСКИЙ ЙОГ БЕН-САИД
— В СВОИХ СЕАНСАХ —

Мистер Смит пошел на этот сеанс. С ним вместе пошел Емельян Емельянович Разин, его учитель. В цирке было очень много народа. На арене стоял человек в сюртуке и лаковых ботинках, на столе около него горела керосинка и лежали снадобья, рядом со столом горел костер, лежали молотки и двадцатипудовый камень, в лесенку были вставлены ножи, по которым Бен-Саид должен ходить, в ящике валялось битое стекло. Бен-Саид сказал вступительное слово, где приветствовал советскую власть, борющуюся с мраком и косностью, сообщил, — что он, Бен-Сиад, совсем не Бен-Саид и не индус, — а крестьянин Самарской губернии, Пугачевского уезда, трудовой сын республики и никогда в Индии не был, — что он сейчас покажет опыты индийской магии и докажет, что это совсем не какая-либо таинственная сила, а только фокус, ловкость рук, тренировка и выносливость, — что раньше магией пользовались сильные мира, чтоб закабалять в темноте народ. Бен-Саид и доказал многое из этого на деле, как глотать огонь, есть раскаленное железо, ходить по гвоздям, быть наковальней в «адской кузнице», — но он, самарский сын трудовой республики, окончательно запутался в объяснении гипнотизма, хоть и гипнотизировал направо и налево, десятком, разохотившихся девиц. На этом сеанс и закончился, чтоб повториться завтра на площади, на Смоленском рынке, — чтоб рассеять мрак в народе.

Емельян Емельянович Разин был переводчиком мистера Смита. У подъезда цирка их ожидал автомобиль. Они поехали. Емельян Емельянович не покидал мистера Роберта Смита. Емельян Емельянович в своем европейском костюме, в круглых роговых очках был очень странен, он казался трансформатором, его коричневый костюм походил на ларчик, и думалось, что Емельян Емельянович может каждую минуту спрятать голову в воротник пиджака, за манишку, чтобы квакнуть оттуда по-лягушечьи. У подъезда дома мистера Смита, мистер Смит хотел было распрощаться с Емельяном Емельяновичем, — но этот позвонил первым и первым вошел в парадное. Лакей включил только одну лампочку, лестница, идущая к зимнему саду, едва осве-

тилась. Мистер Смит попросил принести виски. Это была решающая ночь в жизни Роберта Смита. Разговор был незначителен. Мистер Смит чувствовал себя устало. Сельтерская была тепла.

Разговор велся о пустяках, и только четыре отрывка разговора следует отметить. Говорили о России и власти советов. Мистер Смит, изучавший русский язык, в комбинации слов — власть советов — нашел филологический, словесный нонсенс: совет — значит пожелание, чаще хорошее, когда один другому советует поступить так, а не иначе, желает ему добра, советовать — это даже не приказывать, — и, стало быть, власть советов — есть власть пожеланий, нонсенс. — Емельян Емельянович походил на лягушку в своих очках, он был очень неспокоен. — Он высказал мысль о том, что исторические эпохи меняются, что сейчас человечество переживает эпоху перелома, и перелома, главным образом, духовной культуры, морали; люди старой эпохи, и он в том числе, должны погибнуть, но они — имеют же человеческое право дожить свой век по-прежнему и доживут его, конечно. Емельян Емельянович рассказал, что у его знакомого, бывшего генерала, сохранилась княжеская коллекция порнографических открыток, которая продается. Мистер Смит отказался от покупки. — Затем, перед самым уходом, Емельян Емельянович рассказывал о быте, нравах и этнографических особенностях русских крестьян, — о том, что сейчас, весной, крестьянские девушки и парни, ночами на обрывах у рек и в лесах, устраивают игрища, моления языческим богам, как тысячу лет назад, — и он, Емельян Емельянович, пригласил мистера Смита завтра поехать за город посмотреть эти игрища, — Роберт Смит согласился. — Сейчас же после этого разговора Емельян Емельянович заспешил и ушел, спрятав голову в грудь пиджака. Мистер Смит сам отпер ему парадное, — была ясная апрельская ночь, уже за полночь, над домом напротив светил месяц, в последней четверти. Шаги Емельяна Емельяновича мелким эхом заглохли в проулке. Обыденный час сна прошел, и мистер Смит почувствовал, что ему не хочется спать, что он очень бодр, что ему надо пройтись перед сном. Мистер

Смит прошел проулками, улицей Герцена — древней Никитской — к Кремлю. Улицы были пустынны, пахло навозом и весенней прелью, был едва приметный мороз. Звезды были четки и белы. Меркнул месяц в очень синем небе. Из-за деревьев Александровского сада Кремль выглянул русской Азией, глыбой, оставшейся от древности. От Кутафьи-башни мистер Смит пошел Александровским садом, у Боровицких ворот заметил двух всадников в шапках как шлемы, один сидел на лошади, другой стоял, опираясь на луку, лошади были маленькие и мшистые, сторожевые в шлемах, с пиками и винтовками — громоздки, — и опять подумал о русском древневековьи. Тоскливо перекликались ночные сторожевые свистки. Мистер Смит повернул обратно, шел переулками. Пели на дворах, в переулках петухи и лаяли собаки по-весеннему гулко и заунывно, как в Константинополе. — Дом, где жил мистер Смит, безмолвствовал. Мистер Смит прошел в кабинет, свет месяца падал на стол и ковры, — и тогда Роберт Смит вдруг — не понял, а почувствовал, — что ключ к пониманию России и Революции Русской, — и к миру — найден. Показалось, что йог Бен-Саид вошел в кабинет, и он, йог, крестьянин Самарской губернии, объяснивший тайны черной магии, как глотать огонь, ходить по гвоздям, отрезать себе палец, быть наковальней, — и не объяснивший тайн гипнотизма, — йог Бен-Саид, в сюртуке и лаковых ботинках, — и был ключом.

Мистер Смит записал в дневник, — с тем, чтоб записи эти потом обработать и послать в письме к брату: —

«Сегодня я был на русском народном цирке. Завтра я поеду с мистером Разиным за город в лес смотреть народные русские игрища. — Вот, что такое Россия, коротко: — Разрушены семья, мораль, религия, труд, классовое сознание всех групп туземного населения, ибо борьба за существование, голодная смерть (а голодала вся Россия без исключения) — вне морали и заставляли быть аморальными. Производительность труда пала так, что производство единицы товара, равной, положим, по ценности грам-

му золота, обходится две единицы этого товара, то есть два грамма золота; — и это вызвало взяточничество, воровство, обман, деморализацию нации, деклассирование общественных групп и катастрофическое обнищание страны, доведенное до людоедства. Крестьяне платили налоги в двадцать пять раз больше, чем до революции. Надо не забывать, что Россия все годы революции вела жесточайшую гражданскую войну во всех концах государства. — Все это примеры, которые не исчерпывают быта России, но которые являются факторами быта. — Казалось бы, нация, государство — погибли. Но вот еще один факт: ложь в России: я беру газеты (их не так мало, если принять во внимание те газеты, которые выходят в каждом уездном Исполкоме) и книги, и первое, что в них поражает — это игра отвлеченными, не существующими в России понятиями — и, самое главное, ложь. Газеты — частность, я говорил с общественными деятелями; с буржуа, с рабочими — они тоже не видят и лгут: ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это? — массовый психоз, болезнь, слепота? Эта ложь кажется мне явлением положительным. Я много думал о воле видеть и ставил ее в порядке воли хотеть; оказывается, есть иная воля — воля не видеть, когда воля хотеть противопоставляется воле видеть. Россия живет волей хотеть и волей не видеть; эту ложь я считаю глубоко положительным явлением, единственным в мире. Вопреки всему, наперекор всему, в крепостном праве, в людоедстве, в невероятных податях, в труде, который ведет всех к смерти, — не видя их, сектантская, подвижническая, ази-

атская Россия, изнывая в голоде, бунтах, людоедстве, смуте, разрухе — кричит миру, и Кремлем, и всеми своими лесами, степями и реками, областями, губерниями, уездами и волостями — о чем кричит миру Россия, что хочет Россия? — Сейчас я проходил мимо Кремля, Кремль всегда молчалив, ночами он утопает во мраке; русский Кремль стоит несколько столетий, сейчас же за Москвой, в десяти верстах от нее, за горами Воробьев и за Рогожской заставой, начинаются леса, полные волков, лосей и медведей: за стеной в Кремле были люди, уверовавшие в Третий Интернационал, а у ворот стояли два сторожевых, в костюмах как древние скифы, — тот народ, который в большинстве неграмотен. Сегодня в цирке йог показывал, как делаются индийские фокусы, как они: делаются, — он единственный в России — не лгал. Это решает все. Кто знает? — две тысячи лет назад тринадцать чудаков из Иерусалима перекроили мир. Конечно, этому были и этические, и экономические предпосылки. — Я изучаю русский язык, и я открыл словесный нонсенс, имеющий исторический смысл: власть советов — власть пожеланий. В новой России женщина идет рядом с мужчиной, во всех делах, женщина... — »

В колониях можно было жить, отступая от житейского регламента. Мистер Смит не кончил записей в дневник, ибо у подъезда загудел автомобиль, потом второй. По лестнице к зимнему саду зашумели шаги. В дикой колонии, имя которой Россия, все же были прекрасные женщины, европейски-шикарные и азиатски-необузданные, и особенно очаровательные еще тем, что с ними не надо, нельзя было говорить, из-за разности языков. В кабинет мистера Смита вошли его соотечественник и две русские дамы.

— Мы сегодня веселимся, — сказал соотечественник, — мы были в ресторане, там познакомились с

компанией очаровательных дам и с новыми нашими спутницами ездили за город, к Владимирской губернии, — там в лесу водятся волки, мы пили коньяк. Вас не было дома. Сейчас мы будем встречать русский рассвет, — соотечественник понизил голос, — одна из этих дам принадлежит вам.

В концертном салоне заиграли на пианино. В ночной тишине было слышно, как в маленькой столовой накрывали стол. Англичане провели дам в уборную, пошли переодеваться. Женщин, конечно, как конфеты, можно выворачивать из платья. Старик лакей заботливо занавешивал окна, чтоб никто не видел с улицы, что делают колонизаторы. Было приказано никого не пускать — —

Мистер Смит заснул уже на рассвете. Снов он не видел. Только перед тем, как проснуться, ему пригрезилась та страшная ночь, — та, когда он встретился в дверях спальни жены с братом своим Эдгаром.

Емельян Емельянович заходил утром к мистеру Смиту. Его не пустили. Он зашел через час и оставил записку, что заедет перед поездом. Дома эту ночь Емельян Емельянович не ночевал: сейчас же от мистера Смита он пошел на вокзал и ездил на Прозоровскую, рассвет там провел в лесу,— оттуда вернулся как раз к тому часу, когда заходил в первый раз утром. — Перед поездом мистер Смит распорядился, чтоб подали автомобиль, но Емельян Емельянович настоял, чтоб пошли пешком; потом они наняли извозчика. На Прозоровскую они приехали, когда уже темнело. Дорогой, несколько раз, случайно, Емельян Емельянович спрашивал, захватил ли мистер бумажник. От полустанка они пошли мимо дач, лесной просекой, вышли на пустыри, в поле, за которым был лес. Мистер Смит шел впереди, высокий, в черном пальто, в кепи. Было немного прохладно, и у обоих были подняты воротники. Уже совсем стемнело. Шли они без дороги, и когда подходили к лесу, Емельян Емельянович выстрелил сзади, из револьвера, в затылок Роберту Смиту. — Через час после убийства Емельян Емельянович был на квартире мистера Смита,

в Москве, где спрашивал, дома ли мистер Смит? — и оставил ему записку, в которой сожалел о неудавшейся поездке.

Через два дня агенты русского уголовного розыска арестовали гражданина Разина, он был увезен. — Через месяц на суде, где судили бандитов, Разин говорил в последнем своем слове:

— Я прошу меня расстрелять. Я все равно мертв. Я убил человека, потому что он был богат, а я не мог — физически, органически не мог видеть стоптанных ботинок жены. Я, должно быть, болен: весь мир, все, русская революция, отовсюду, от столов, из-под нар, из волчка на меня глядит черный кружок дула ружья, тысячи, миллионы, миллиарды дул — на меня, отовсюду. Я все равно мертв.

Гражданин Разин был расстрелян. — —

— — Фиты из русской абевеги — нет, не может быть. Есть абевеги без фиты. Емельян Емельянович Разин — был мистером Смитом — но и ижицы — нет. Я кончаю повесть.

Б о г о м а т ь.

Я, Пильняк, помню день, выпавший мне в дни писания этой повести, весной, в России, в Коломне, у Николы-на-Посадьях, — и помню мои мысли в тот день. Сейчас я думаю о том, что эти мысли мои неисторичны, неверны: это ключ, отпирающий романтику в истории, позволивший мне крикнуть:

— Место — места действия нет. Россия, Европа, мир, братство. —

— Герои — героев нет. Россия, Европа, мир, вера, безверие, культура, метели, грозы, образ Богоматери. — —

1) К соседям приехал из голодной стороны, — год тому назад она называлась хлебородной, — дворник.

На Пасху он ходил в валенках, и ноги у него были, как у опоенной лошади. Дворник был, как дворник: был очень молчалив, сидел, как подобает, на лавочке около дома и грелся на солнце, вместо того, чтобы подметать улицу. Никто на него, само собою, не обращал внимания, только сосед раза два жаловался, что он темнеет, когда видит хлеб, мяса не ест совершенно, а картошки съедает количество невероятное. — И вот он, дворник, третьего дня — завыл, и вчера его отвезли в сумасшедший дом: дворник пришел, здесь у нас, в какое-то нормальное, человеческое состояние и вспомнил, рассказал, что он — съел — там, в хлебородной — свою жену.

Вот и все. Это голод.

О голоде говорить нечестно, бесстыдно, нехорошо. Голод — есть: го-лод, ужас, мерзость. Тот, кто пьет и жрет в свое удовольствие, конечно, участник, собутыльник, состольник того дворника, коий съел свою жену. Вся Россия вместе с голодной голодает, вся Россия стянула свои гашники, чтоб не ныло брюхо: недаром в России вместе с людоедством — эпопея поэм нарождения нового, чертовщин, метелей, гроз, — в этих амплитудах та свеча Яблочкова, от которой рябило глаза миру.

2) Но в те дни я думал не об этом. — Вот о чем. —

Двести лет назад император Петр I, в дни, когда запад, северо-запад, Украина щетинились штыками шведов, на Донщине бунтовали казаки, в Заволжьи — калмыки, на Поволжьи — татары, — когда по России шли голод, смута и смерть, — когда надвое кололась Россия, — когда на русских, мордовских, татарских, калмыцких костях бутился Санкт-Питер-Бурх — в ободранной, нищей, вшивой России (Россия много уже столетий вшива и нища), в Парадизе своем — дал указ император Петр I, чтоб брали с церквей колокола и лили б из тех колоколов пушки, дабы бить ими — и шведов, и разруху, и темень российскую. —

Как ни ужасен был пьяный император Петр, — дни Петровской эпохи останутся в истории русской поэмой,— и глава этой поэмы о том, как переливались колокола на пушки (колокола церковные, старых цер-

квей, многовековых, со слюдяными оконцами, с колокольнями, как шатры царей, — на пушки, чтоб развеивать смуту, муть и голод в России), — хорошая глава русской истории, как поэма. — И вот опять, шестой уже год, вновь колется Россия надвое. Знал, Россия уйдет отсюда новой: я ведь вот видел того дворника, который съел свою жену, он не мог не сойти с ума, но мне не страшно это, — я видел иное, я мерил иным масштабом. Новая горит свеча Яблочкова, от которой рябит в глазах, — шестой уже год. Знаю: все живое, как земля веснами, умирая, обновляется вновь и вновь.

3) Вот, вчера, третьего дня, неделю, месяц назад — и неделю и месяц вперед — по России — по Российской Федеративной Советской Республике — от Балтики до Тихого Океана, от Белого моря до Черного, до Персии, до Алтая — творится глава истории мне — как петровские колокола. — Утром ко мне пришел Смоленский и сказал, что в мужском монастыре сегодня собирают серебро, золото, жемчуга и прочие драгоценности, чтоб менять их на хлеб голодным. Мы пошли. — —

В старенькой церкви, вросшей в землю, с гулкими — днем — плитами пола и с ладанным запахом — строго — днем в дневном свете и без богослужения, — за окнами буйствовал весенний день, — здесь был строгий холодок, оставшийся от ночи. Мне — живописцу, — — художнику — жить от дать до дать, от образа к образу. — В иконостасе, у церковных врат, уже века, в потемневших серебряных ризах хранился образ Богоматери, и видны были лишь лицо и руки и лицо ребенка на коленях. Все остальное было скрыто серебром: к серебру оправы я привык, к тому, что серебро залито воском и на сгибах чуть позеленело. —

— И это серебро с иконы сняли и этот образ Богоматери без риз мне, отринувшемуся от Бога, предстал иным, разительным, необычайным, в темных складках платья ожившей Матери господней. Матерь Божья предстала не в парче серебряной, засаленная воском, а в нищем одеянии. Образ был написан много сотен лет назад; образ Богоматери создала Русь, душа народа, те безымянные иконописцы, которые раскиданы по Суз-

далям: Богоматъ — мать и защитница всех рождающих и скорбящих. — Мне — художнику — Богоматъ, конечно, только символ. — —

...А за монастырем, за монастырскими стенами, под кремлевским обрывом текла разлившаяся Москва-река и шли поля с крестами сельских колоколен. И был весенний буйный день, как века, как Русь. Образ Богоматери — в темной церкви — звено и ключ поэмы. — В сумерки ко мне пришел сосед, курил, и, между прочих разговоров, он сказал, что дворник в сумасшедшем доме — повесился. — А ночью пришла первая в тот год гроза, гремела, рокотала, полыхала молниями, обдувала ветрами, терпкими запахами первых полевых цветов. Я сидел — следил за грозой — на паперти у Николы, — у Николы-на-Посадьях, где некогда венчался и молился перед Куликовым полем Дмитрий Донской. — Была воробьиная ночь. Гроза была благословенна. —

— А ночью мне приснился сон. Я видел метель, мутный рассвет, Домберг, — то, как под Домбергом, толпой оборванцев шли наши эмигранты за Катринталь, в лес к взморью, — шли из бараков — пилить дрова, валить лес, чтобы есть впроголодь своим трудом: эти изгои, этот бунт русской революции не потерял чести. И там в лесу трудился, обливаясь потом, Лоллий Кронидов, протопоп Аввакум, Серафим Саровский, — во имя центростремительных сил. Была страшная метель. Мутное, красное вставало солнце из России. — —

— Ну, конечно:

— все это неверно, неисторично, все это только ключ, отпирающий романтику в истории. — —

Я, Пильняк, кончаю повесть. —

— И идут:
июль,
август,
сентябрь —
годы. — —

К о н е ц.

...И где-то, за полярным кругом, в льдах, в ночи на полгода бодрствует мистер Эдгар Смит. Льды выше мачт. И ночью и днем, ибо нет дней, на небе, над льдами горит северное сияние, вспыхивают, бегут, взрываются синие, зеленоватые, белые столбы беззвучного огня. Льды, как горы, направо, налево, на восток, на запад (и восток, и запад, и север, и юг смешаны здесь) на сотни верст одни льды. Здесь мертво, здесь нет жизни. Здесь северный полюс. Уже много месяцев судно не встречало ни одного живого существа, — последний раз видели самоедов и среди них русского ссыльного, сосланного и закинутого сюда еще императорской властью, — этот русский ничего не знал о русской революции. Уже много месяцев, как Эдгар Смит ничего не знает о том, что делается в мире, и телеграфист с погибшего радио, ставший журналистом, спит двадцать часов в сутки, в безделии, ибо вся жизнь стала. — Но жизнь капитана Эдгара Смита идет по строжайшему английскому регламенту: так же, как в Англии, в семь обед, — и безразлично, в семь дня или ночи, ибо все время ночь и нельзя спать, как телеграфист. Перед обедом приходит стюарт, говорит меню и спрашивает о винах. Все судно промерзло, сплошная льдышка. После обеда, после сигары, Эдгар Смит поднимается на палубу, в полярный мороз: над головой безмолвствует, горит северное сияние, выкидываясь с земного шара, в межпланетное пространство. Мистер Смит гуляет по палубе. Он бодр. До утреннего завтрака в четверть первого, перед сном в постели, мистер Смит думает, вспоминает: все уже прочитано. Капитан Смит редко уже думает о Европе, о революциях и войнах. Он часто вспоминает о детстве и много думает — о женщине: он знает, что в немногом, что отпущено человеку на тот недлинный его путь, который вечность ограничивает рождением и смертью, — самое прекрасное, самое необыкновенное, что надо боготворить, — величайшая тайна — женщина, любовница, мать: изредка он вспоминает ту страшную, осклизлую ночь, когда его брат Роберт застал его с миссис Елисавет; — он знает, что единственное в мире — чистота. Все же иногда он думает не о человеке, а о человечестве,

и ему кажется, что в этой неразрешимой коллизии нельзя жертвовать человеком и единственные революции истинны, — это те, где здравствует дух. — Мир капитана Смита ограничен: вчера на собаках уехали матросы, взбунтовавшись, в надежде пробраться на юг, на Новую Землю, — капитан Смит знает, что они погибнут. Приходит стюарт, говорит об обеде. Капитан заказывает коньяку не больше, чем следует. — Сигара после обеда дымна и медленна. — И там на палубе безмолвствует мороз, воздух так редок и холоден, что трудно дышать, и горит, горит в абсолютном безмолвии сияние, выкидывая земную энергию в межпланетную пустоту.

Коломна, Никола-на-Посадьях,
Красная горка — Петров день 1922 г.

ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, — едва был знаком с ним, видев его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, — и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. — Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц.

Бор. Пильняк

Москва
28 января 1926 г.

Воронскому, скорбно и дружески

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете, — указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, медленно, — один, два, три, много, — сливались в серый над городом вой: это, в этот притихший перед рассветом час, гудели заводы, — но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов, — и было совершенно понятно, что эти-

ми гудами воет город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью. — В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре — со дворов экспедиций — по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами; один-другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотки, так, как будет кричать весь день:

— Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!

В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд, в конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших, роскошествуя, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, не шумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных, с ромбами на рукавах, пришли к салон-вагону. Люди там обменялись честями, — эти трое постояли у подножки, часовой шептал что-то внутри вагона, — тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились, у вагона и под крышей вагона проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону, в демисезонном стареньком пальто и — не по сезону — в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, — он сказал:

— Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов.

Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил:

— Товарищ командарм еще не вставали.

Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на «ты», сказал дружески:

— Ну ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов.

Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. — В салоне, потому что опущены были занавеси и горело электричество, застряла ночь. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг: пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком, — пахло хорошим благословеньем полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей, — за кашей — расстегнутый кобур кольта, с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, навытяжку, — безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола; бутылки поставил куда-то в угол; смел на подносик корки гранатов; — постелил на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом, рюмку для яиц; принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами; отогнул угол портьеры, посмотрел на утро, — раздвинул портьеры на стеклах окон, шнурки портьер прожикали сиротливо, — потушил электричество: и в салон залезло серое, в измороси осеннее утро. Все стало очень обыденно, можно было разглядеть в углу ящик с вином и трубкою свернутый ковер. Проводник монументом стал в дверях, неподвижный, с салфеткой в руках. Лица у всех в этом мутном утре были желты, — жиденький водянистый свет походил на сукровицу. В дверях, рядом с проводником, стал ординарец: походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон.

Тогда из купе-спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками указы-

вали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, — о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, — о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, — который командовал победами, смертью: порохом, дымом, ломаными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамен и многотысячными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь мир, — теми победами, после которых — на российских песчаных полях — рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать. Сейчас в салон прошел невысокий, широкоплечий человек, с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара. Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт: для них это был человек — рулевой той громадной машины, которая зовется армией, — человек, который командовал их жизнью, главным образом их жизнью, преуспеваниями, карьерой, неудачами, жизнью, но не смертью. Командарм приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты: каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал — «во вверенном мне» — «служба революции». — Каждому отрапортовавшему командарм жал руки, по порядку (должно быть, не слушая рапортов). Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чая. Командарм взял яйцо.

— Как дела? — спросил попросту, без рапортов, командарм.

Один из троих заговорил, сообщил новости, и тогда спросил в свою очередь:

— Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?

Лицо командарма сделалось на минуту чужим, он сказал недовольно:

— Вот был на Кавказе, лечился. Теперь поправился. — Помолчал. — Теперь здоров. — Помолчал. — Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще... — Помолчал. — Вы свободны, товарищи.

Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку, — те вышли из салона бесшумно. — Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему, — взял книгу и отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. — Когда штабисты ушли, — не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова:

— Хочешь чаю, Алеша, или вина?

Но Попов не успел ответить, потому что вперед выступил ординарец, зарапортовал, — «товарищ командарм», — о том, что автомобиль снят с платформы, в канцелярию поступили пакеты, — один пакет из дома № первый, привез его секретарь, секретный пакет, — о том, что квартира приготовлена в штабе, — что кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. — Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. — Командарм приехал сейчас не к армии, но в чужой город: его город, где была его армия, лежал отсюда в тысячах верст, — там, в том городе, в том округе, остались его дела, заботы, будни, жена. — Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму.

— Как твое здоровье, Николаша? — спросил Попов, заботливо, так, как спрашивают братья.

— Здоровье мое — как следует, совсем наладилось, здоров, — а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле, — ответил Гаврилов не то шутя, не то серьезно: во всяком случае — невеселой шуткой.

Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике, тогда далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами; там в юности затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики: там была голоштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями «Донской Речи», — с «Искрой», как Евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, — с широкой площадью у станции, где в пятом году свистали над рабочими толпами казачьи пули и плетки; потом была — совместная — Богородская тюрьма, — и дальше — бытие революционера-профессионала — ссылка, побег, подполье, таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго; — и тогда тучи четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург, — и тогда: гроза семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над московским Кремлем, и — один начальник штаба Красной гвардии в Ростове-на-Дону, а другой — предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда — войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями, — для другого — Губкомы, Исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады: для обоих — все, вся жизнь, все мысли — во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но навсегда один другому — Николаша, — один другому — Алексей, Алешка, — навсегда товарищи, — ткачи, без чинов и регламентов. —

— Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье? — спросил Попов.

— Видишь ли, у меня была, а может быть, и есть, язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные, — так, гадость страшная, — командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. — Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина... — Командарм перебил себя: — Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой, — я привез тебе ящичишко, откупори! —

Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил:

— Нет, я с утра не пью. Ты говори.

— Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке. — Командарм помолчал. — Скажи, Алешка, — зачем меня вызвали сюда, не знаешь?

— Не знаю.

— Пришла бумага, — выехать прямо из Кавказа, — даже к жене не заезжал. — Командарм помолчал. — Черт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего... — А ты бывал на Кавказе? — Вот на самом деле замечательная страна, — поэты у нас ее называют — полуденная — я не понимал, к чему такое слово: побыл, — правильно, — полуденная! — Граната съешь, Алеша, — мне нельзя, ординарцев угощаю. — Как дела? —

Командарм говорил об армии, он переставал быть ткачом и становился полководцем и красным генералом Красной Армии; командарм говорил об Орехово-Зуеве и орехово-зуевских временах, — и не замечал, должно быть, как становился он ткачом, — вот тем ткачом, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался, — купил для нее фантазию с бантом и шляпу а-ля-черт-побери, — и все же дальше разговоров о книжечках никуда с училкой не забрел, не вышло у них романа, отвергла его учительша. Командарм-ткач был уютным, хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное, — и он шутил, разговаривая с другом; — лишь изредка спохватывался командарм, делался непокойным: вспоминал о непонятном вызове, неловко двигался и говорил тогда здоровым ткачом о больном командарме: — «Вельможа, фельдмаршал, сенатор, — тоже, — а гречневой каши есть не могу... да, брат, цека играет человеком, — из песни слова не выкинешь», — и отмалчивался.

— Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь? — сказал Попов. — Что это ты болтал про почетный караул? —

Командарм ответил не сразу, медленно:

— В Ростове я встретил Потапа (он — партийной кличкой — назвал крупнейшего революционера из

«стаи славных» осьмнадцатого года), — так вот, он говорил... убеждал меня сделать операцию, вырезать язву, или зашить ее, что ли, — подозрительно убеждал... — Командарм смолк. — Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу, — та́к поправлюсь. Болей ведь нет уже никаких, и вес увеличился, и... черт знает, что такое, взрослый человек, старик уже, вельможа, — а смотрю себе в брюхо. Стыдно. Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. — Толстого читаю, старика, «Детство и отрочество», — хорошо писал старик, бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... а операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут... Хорошо старик про кровь человеческую понимал. —

Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал, — о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома № первый, просят пожаловать туда, — что новые пришли телеграммы, — что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: — «Приезд командарма Гаврилова», — и вот на третьей странице было сообщено, что «сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии, для того, чтобы оперировать язву в желудке». В этой же заметке сообщалось, что «здоровье товарища Гаврилова вызывает опасение», но что «профессора ручаются за благоприятный исход операции».

Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью, — Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал:

— Алешка, слышишь? — это неспроста. — Д-да. Что же делать? — и крикнул: — Вестовой, шинель.

Это был уже одиннадцатый час дня, когда по городу расползлась зеленоватая муть дня, — когда, собственно, не было видно этой зеленой мути, ибо над тем

клочком земли, где выстроились дома, заработала машина города, большая, очень сложная, завертевшая, завинтившая все в этом городе от ломовиков, трамваев и автобусов, от неприбранных постелей в домах, — до солдат, марширующих на набережной, до торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал и наркоматских кабинетов, — сложная машина города, реками погнавшая людей за станки, за столы, за конторки, в автомобили, на улицы, — машина, за которой незаметны были серенькое небо, изморось, слякоть, зеленая муть дня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На перекрестке двух главных улиц города, там, где беспечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики, — стоял за палисадом дом с колоннами. Дом верно указывал, что так, за палисадом, подпертый этими колоннами, молчаливый, замедленный палисадом, — так простоял этот дом столетье, в спокойствии этого столетья. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день, газетчики, люди с портфелями, женщины в юбках до колен и в чулках, обманывающих глаз так, что ноги женщин голы; — за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. — И другой стоял дом в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Этот дом стоял на краю города, перед ним расстилалась площадь, и над площадью вставало серое, в этой части города просторное небо, две заводские трубы, антенны, телеграфные провода. На дворе, на куртинах у этого дома вместо цветов и сирени выросли березы, ныне, в осеннем дне, облетевшие, мокрые, пониклые. За двором и домом падал обрыв, и там текла река и на лугах за рекой опять ложились — серое небо, фабричные трубы, поселки, церквенка; обрыв оброс березами, ограбленными летним буем. Ворот к этому дому было двое, на воротах

корчили рожи фавны, у ворот разместились сторожки, и на скамейках у сторожек сидят сторожа, в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью — «скорая помощь».

В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось — «к трехлетию червонной валюты», — указывалось, что твердая валюта может существовать «только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему». — Крупным заголовком стояло: «Борьба Китая против империалистов». — В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. — Была напечатана — подвалом — большая статья: — «Вопрос о революционном насилии». — И было две страницы объявлений, где печаталось крупнейше: — «Правда жизни — сифилис». — Новая книга С. Бройде «В сумасшедшем доме».

Впрочем, в этом же номере газеты был напечатан добрый один-другой десяток программ театров, варьете, открытых сцен, кино, — и — если день труда, тумана, очередей, приемных, торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал, стрекота ткацких станков на бумаго- и шерстоткацких фабриках, грома молотов на заводах и кузнях, свистов уходящих и идущих паровозов, ревов автобусов и автомобилей, чечетки трамвайных звонков, телефонных звонков, звонков у подъездов, плача радио, — день машины города, — людей, мужчин, женщин, детей, стариков, зрелых людей, — — если забежать вперед и сменить день труда и дела на вечер, как это и сделало время, загрузив день сумерками, разлив по улицам светы фонарей, в измороси похожих на заплаканные глаза, — уничтожив небо. —

Вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки и пивные — пошли десятки тысяч людей. Там, в местах зрелищ, показывали все, что угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда не были, ассиров, такими, какими

они никогда не были, — никогда не бывалых евреев, американцев, англичан, немцев — угнетенных, никогда не бывалых китайцев, русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Стеньку Разина; кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или плохие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь; кроме того, показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не случается в буденной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотрели, слушали, хлопали в ладоши и, выливаясь по светлым лестницам театров на мокрые улицы, наспех комментировали, всегда стараясь быть умными. Улицы тогда пустели, чтобы отдохнуть в ночи, и ночью, у заполночи, в тот час, когда в деревнях первые поют петухи, по домам в постелях, мужья и жены, любовники и любовницы, в огромном большинстве случаев одинокими парами отдавались тому, чем звери, птицы и насекомые занимаются в рассвете и закате дня.

Но день шел своим порядком, отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах. Многажды начинал падать дождь и многажды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина города работала, как подобает, как всякая машина.

В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый «ройс». Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм. — В бою, когда люди бегут в атаку, шумят больше, чем в час, когда бьет артиллерия, — артиллерия ревет громче, чем полк на бивуаке, — в полковых штабах шумнее, чем в дивизионных: в штабах армий должна быть жесткая тишина — — на митингах кричат громче, чем в президиуме, — еще тише на заседаниях президиума Губисполкома. —

В этом доме улеглась бесшумная тишина, глухо звонили телефоны, не шумели счеты, бесшумно ходили люди, не волновались люди, не горбились люди, прямо стояли стены в плакатах, заменивших картины, красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. — В кабинете в дальнем конце дома

окна были полуприкрыты гардинами, — и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете, — на красном сукне — стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями; три телефонных аппарата — три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный из бронзы стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете, за письменным столом, был проложен радиоприемник с двумя парами наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков — от звонка в приемную — до звонка «военной тревоги». Против письменного стола стояло кожаное кресло. — За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, — и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени.

Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло.

Первый, негорбящийся человек:

— Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо, — к сожалению, я полагаю, — в очень большой мере движется смертью и кровью, — особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав.

Второй, командарм:

— Эк, как ты тут обставился, совсем министр, — у тебя здесь курить можно? — Я окурков не вижу. —

Первый:

— Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю.

Второй, — строго, быстро:

— Говори без предисловий, — зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори!

Первый:

— Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал.

Второй:

— Ты как хочешь, а я все-таки закурю. — Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу.

Первый — сунул руку назад, нащупал на стене кнопку — звонка, позвонил, — вошел бесшумный секретарь, — первый спросил: «есть ли на очереди к приему», — секретарь ответил утвердительно. Первый ничего не ответил, отпустил секретаря.

Первый:

— Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал. — Через три недели ты будешь на ногах. Ты извини меня, я уже отдал приказ.

Зазвонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего каких-нибудь тридцать — сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал: — «Ноту французам, — конечно, официально, как говорили вчера. — Ты помнишь, помнишь, мы ловили форелей, — французы очень склизкие. — Как? — Да, да, — подвинти. — Пока».

Первый:

— Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов.

Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам, — поднялся из кресла.

Командарм:

— Прощай. —

П е р в ы й:

— Пока. —

Командарм красными коврами вышел к подъезду, «ройс» унес его в шум улиц. — Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь, сидел он над бумагами, с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил, — вошел секретарь, — он сказал: — «распорядитесь убрать окурок, вот отсюда, из этой подставки». И опять безмолвствовал над бумагами, с красным карандашом в руках. Прошли час и другой, человек сидел за бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: — «Два миллиона рублей галошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы заткнуть бестоварную дыру. — Да, само собою. Да, валяй. — Пока». — Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. — Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: — «секретная сводка готова?» — И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит- и Экономотделов ОГПУ, Наркомфина, Наркомвнешторга, Наркомтруда. — Тогда в кабинет вошли — один и другой, — люди из той тройки, которая вершила. — —

Над городом шел желтый в туманной мути день. К трем начали синеть, сереть переулки и небо. Небо — огромной фабрикой — занялось покупкой и продажей стеганых одеял, просаленных до серого лоска.

В четыре часа, когда город заплакал мокрыми стеклами фонарей, подведенных, как глаза проституток, когда особенно много людей на улицах, ревут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда, и трещат трамваи, — к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. Те окна дома, что выходили к заречному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за этим простором, эта щель точила, истекала запекшейся, полиловевшей кровью. — У ворот дома стали два милиционера рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали два милиционера. Краском, с двумя орденами Красного Знамени, гибкий как лозина, — с дву-

мя красноармейцами, — вошел в подъезд. В доме шел час отдыха, было тихо, только где-то далеко пела хожалка негромкую песню о том, как «выйдет она на реченьку, поглядит на быструю». Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в белом халате. — «Да-да-да, знаете ли», — и тогда смолкла заречная песнь хожалки. — В приемной окна выходили на заречный простор. Здесь окна были без гардин. Здесь стены были выкрашены белой краской и с потолка здесь падал белый электрический свет. Телефонов здесь не было. Комната была велика и пуста. Посреди нее расставился стол в белой клеенке и вокруг стола стояли — казенного образца, как на железных дорогах, — клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней, у дивана деревянный табурет. В углу над раковиной, на стеклянной полке, расставлены были пузырьки с разными номенклатурами, бутылища с сулемой, банка с зеленым мылом, — висели около желтые, неподсиненные полотенца. — С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах; эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты. — Сукровица заречного заката в окнах умерла. — Люди входили, здоровались, — встречал их — хозяином — высокий человек, бородатый, добродушный, лысый. Люди науки, медицины, в частности, в огромном большинстве случаев почему-то очень некрасивы: или у них не доросли скулы, или гипертрофировались скулы так, что скулы расставлены шире ушей; глаза у них почти всегда под очками, или сели на висках, или залезли в самые углы глазниц; судьба одних лишила благословения волосами, и реденькая бороденка растет у них на шее, — у других же волос прет не только на скулах и подбородке, но и на носу, и на ушах; — и, быть может, это обстоятельство создало в среде ученых обычай чудачества, когда каждый ученый обязательно чудак, причем чудачество его — увеличивает его ученость. — Впрочем, сейчас в этой приемной чудачеств, должно быть, не было. — Тот, который встречал хозяином, хирург, профессор, заросший волосами так, что во-

лосы росли на носу, — чудачествовал только обильным этим бурным волосом, на котором сидели маленькие очки, — и чудачеством блистала его лысина. — К нему навстречу прошел профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенсне с прямою перекладиной, с глазами влезшими в углы глазниц. —

— Да-да-да, знаете ли.

Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел, — опять поправил очки, недоуменно передал лист третьему. — —

Бритый человек, торжественно:

— Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете.

Первый, второй, третий — отрывки разговоров, негромко, поспешно:

— При чем же тут консилиум?—

— Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета. — —

— Командарм Гаврилов, — знаете, тот, который. — —

— Да-да-да, знаете ли, — революция, командир армии, формула, — и — пож-жалуйте. — —

— Консилиум.

— Вы его видели, господа, — товарища Гаврилова, — что за человек?

— Да-да-да, знаете ли, батенька. — —

Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. — Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись. — Тогда: — громко, медленно, покойно — один, другой, третий:

— Доклад профессора Оппеля о внутренней секреции на съезде хирургов. Я оппонировал — двенадцатиперстная кишка. — —

— Сегодня в Доме ученых. — —

— Спасибо, жена здорова, немного старший колитом. — А как Екатерина Павловна? — —

— Павел Иванович, ваша статья в «Общественном Враче».

Тогда: — в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки, — красноармейцы умерли в

неподвижности; в дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного Знамени на груди, гибкий как хлыст, стал во фронт перед дверью, — и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, — сказал:

— Здравствуйте, товарищи. — Прикажете раздеваться?

Тогда: — профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямыми пенсне вросли в глазницы, сказал волосатому:

— Павел Иванович, вы, как primus inter pares, я полагаю, не откажетесь председательствовать. —

— Прикажете раздеваться? — спросил командарм и взялся рукой за ворот.

Председатель консилиума, Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место:

— Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного. —

...От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком, причем бумага была желта, без линеек, плохо оборванная, — бумага из древесного теста, та, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в семь лет.

> Протокол консилиума, в составе проф. такого-то, проф. такого-то, проф. такого-то (так семь раз).
>
> Больной гр. Николай Иванович Гаврилов поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты, — не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц.
>
> Status praesens. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие — N. Со

стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме neurastenia. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется ulcus ventriculi и его необходимо оперировать.

Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмичу Лозовскому. Проф. Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции.

Город, число, семь подписей профессоров. —

Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей, — но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не настаивая на нем после возражения коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в Дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: — «ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции», — на что профессор Лозовский ответил: — «Да, конечно, но... но, ведь, операция безопасная...» — Автомобиль зашумел, пошел. Лозовский уселся поудобнее, поправил фалды пальто, наклонился к Кокосову, сказал шепотом, так, чтобы не слышал шофер:

— А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона, — «прикажете раздеваться? — я, видите ли, считаю операцию излишней, — но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции». — Точно и коротко.

— Да-да-да, батенька, знаете ли, — большевик, знаете ли, ничего не поделаешь, — сказал Кокосов. — —

Вечером в этот день, в тот час, когда в кино, в театрах, варьете, в кабаках и пивных толпились тысячи

людей, когда шалые автомобили жрали уличные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей, — когда в театрах, спутав время, пространства и страны, небывалых греков, ассиров, русских и китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими способами заставляли зрителей неистовствовать или рукоплескать, — в этот час над городом, над лужами, над домами поднялась ненужная городу луна; облака шли очень поспешно, и казалось, что луна испугана, торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не опоздать, белая луна в синих облаках и в черных провалах неба.

В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами. Вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетия; человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках, — он писал — по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком Lainen-Post. Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти. —

В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, — быть может, чуть-чуть черство, — но во всяком случае очень сосредоточенно и никак не утомленно; человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил, и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были — СССР, Америка, Англия, — земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, — американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки; — человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой. —

Над городом шла луна.

В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, заселенной исключительно коммунистами, поселившимися здесь в восемнадцатом году, когда в дыму восстаний необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но как все номера всех гостиниц,

указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противную уюту. Их сидело трое — Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова, Наташка. Попов валялся на диване, Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, — и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, — нельзя не склонить голову перед тем таинственным, что самою собою несла Наташа. — Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: — «ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь», — и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же:

— Пришел козел, сказал:
«а ты спи, спи, спи, спи, спи», —

улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов «спи, спи, спи», — запел:

— Пришел козел, сказал:
«А ты спи, спи, спи, спи, спи...
Но не пис, пис, пис, пис, пис»...

Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа.

Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Попов с красным чайником, на котором белой эмалью было написано: — «товарищу Попову от рабочих и работниц завода Лысова в день Пятой Годовщины Октября», с этим чайником ходил на кухню к кубу за кипятком. На газете он расставил стаканы, тарелки с маслом и сыром, в кульке был сахар, в другом кульке был хлеб. — Попов спрашивал: «не сварить ли тебе, Николка, манной каши?»

Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много, Гаврилов пил с блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей, о том, о сем, за четвертым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал:

— Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне неохота, не хочу мараться плохими словами, — а, все-таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня и не любила, а содержанилась из-за моего положения, — но, все-таки, так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, из-за духов, там, и пудры. И самому мне стыдно, подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел человека, — а он оказался барынькой, — проглядел человека, который со мной пять лет прожил... — И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей жене, которая уже постарела и, все же, единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой — ну, вот, — как с ней поступить Попову, когда он и на горшочек, как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. — книги показывал Попов, Водовозова, Монтессори, Пинкевича, — разводил руками, и — чай все время пили остывшим.

Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, а в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли — мужья, жены, любовники, любовницы — в постели, Гаврилов уходил от Попова.

— Ты мне дай почитать чего-нибудь, — только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях и простой человеческой радости — такой книги не нашлось у Попова.

— Вот тебе и революционная литература, — сказал, пошутив, Гаврилов. — Ну, ладно, я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу. — И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: — Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству, и в больнице, у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! — и Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова.

У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил: — «домой, в вагон», — и машина пошла в переулки. На запасных путях луна скользила по рельсам; прибежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник, — вспыхнуло в вагоне электричество, — и такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, — позвонил, — «чаю». — Прошел в салон, сел к настольной лампе, проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой «Детство и отрочество», читал, думал над книгой. Тогда командарм сходил в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал вестовому, — «чернил, пожалуйста» — и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал, торопясь, — запечатал не перечитывая. В вагоне немотствовала тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: — «вскрыть после моей смерти». — И будничио поднялся, чтобы пойти спать;

снял в спальне гимнастерку, ходил мыться перед сном, раздевался, лег, потушил гнет. — И часа три четверти вагон пребывал во мраке и безмолвии. Это был час третьих петухов. Если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там, неожиданно для себя, в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы, — неожиданно для себя потому, что обыкновенно командарм не курил.

И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику.

Командарм говорил голосом полководца:

— Одеться. Теплую шинель. Позвонить в гараж, — гоночную, открытую, двухместную, — править буду сам. Соединить с Домом Советов, с номером Попова.

В телефон к Попову командарм сказал:

— Алексей. Я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду. Говорит Гаврилов. Не замедли.

Беговая, двухместная, стосильная рванула с места сразу на второй скорости, веером, разворачиваясь, кинула снопы белого света, — шофер отбежал в сторону — у руля сидел командарм, — рявкнул гудок, — машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений, рвущая ветер и пространство. — Попов стоял недоумевающий, заспанный. — Машина, должно быть, здорово порвала резину шин, сломав скорость перед подъездом Дома Советов, — Попов сел молча. — И машина стала отбрасывать назад улицы, переулки, плеск луж, свет фонарей. Воздух все твердел и твердел, прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим, — фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали стремглав, бросались назад, — один, другой просвистели милиционеры. — Но машина уже вырвалась из груд домов и улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных линиях, — потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе, — лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над

землей и несколько саженей летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз, и два, и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В лощине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пургой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем, вниманье, точность и расчет, — и все вперед, вперед, сильней, сильней, быстрее — гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. — Так, в срок меньше часа, машина прорвала расстояние верст в сто. — Там, на опушке какого-то старого леса машина потеряла свои скорости, обессилела, замолкла, отпустила на покой ветры, холод, — мчащую, косую изморось поставила на ноги, в отвес, — машина стала, Попов сел на место. Гаврилов сказал:

— Дай папироску, Алешка.

Попов ответил:

— Ну тебя к черту с этими фокусами, у меня все печенки в пятки переселились. — На, кури, черт бы тебя побрал.

Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку, раздумчиво сказал:

— Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я помню все до одного эти мчания. И помню все до мелочей, что было в этих мчаниях, все разговоры, все фразы, до интонации голоса, до того, как светится окурок. У меня плохая память, я все забываю, — я не помню даже того, что было в самые ответственные дни боев, — мне об этом рассказывали потом. Но эти мчания я помню абсолютно. Я сейчас машину вел безумно, с девяноста девятью шансами разбиться, — но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятным опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Давай говорить.

Гаврилов энергическим жестом отбросил окурок, выпрямился на сиденье, замолчал, должно быть, при-

слушиваясь к себе, — замолчал торжественно в гордости.

— Впрочем, молчи, — мы еще поговорим. Сиди! Мы еще помчим. Мне хорошо, потому что это мчание, это стремление есть то, ради чего надо жить, стоит жить, — ради чего мы живем. Мы друг другу все сказали нашими жизнями. Сиди! Надо иной раз помолчать! — с гордостью сказал Гаврилов.

И машина зарвала пространство — обратной дорогой, зашарашила ветер, время, туманы, деревни, заставила туманы и время плясать, кричать и бежать, — с тем, чтобы вновь загнать Попова на четвереньки, зацепить его руки за что попало, что покрепче, — чтобы зажмурить его глаза в страхе и переселить печенки в пятки.

С холма над городом виден был на несколько моментов весь город, — там, внизу, в тумане, в мутных огнях и отсветах огней, в далеком рокоте и шуме, — город показался очень несчастным.

К заставам машина подходила в тот час, в рассветный серый час, когда над городом гудят заводские гудки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СМЕРТЬ ГАВРИЛОВА

Первый снег, тот снег, что выводит землю из осени в зиму, всегда падает ночами, чтобы положить рубежи между осенней слякотью, туманом, изморосью, палыми листами и уличным сором, что были вчера, — и между белым бодрым днем зимы, когда исчезли все трески и шумы и когда в тишине надо подтянуться человеку, подумать внутрь и никуда не спешить.

Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегом.

Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции. — Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукой к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос,

вправив стекла в волосы. За окном на березе сорилась снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную. Потолки в квартире профессора Кокосова были низки, провинциально, — в этой квартире профессор, должно быть, прожил лет двадцать, потому что — по меньшей мере двадцатилетию надо потратить свои досуги на тщательно протертую и втертую пыль, на пожелтевшие занавесочки, на выцветшие картинки, на кожаные книги, на то, чтобы продавить диван, чтобы до ненужного приладить каждую вещь в доме и на письменном столе, от именной (подарок студентов) спичечницы, от истлевшей ручки для писания, обтянутой оленьей кожей и сделанной в виде оленьей ноги (память Швейцарии), — до ночного под кроватью горшка, полупившего уже эмаль. — В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся, — но когда он, крякая, выходил из ванной, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях.

— Доброе утро, Павел Иванович, — сказала жена.

— Доброе утро, Екатерина Павловна, — сказал муж.

Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки, — и тогда за стеклами очков стали видны небольшие, поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые, — и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно, — встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо:

— Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело?

В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половину девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь, не надо ли прислать за профессором ав-

томобиль. — И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал:

— ...Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, — да, — да, — да, знаете ли, батенька, — и в клиники езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае.

Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы, — и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо:

— Захворает в деревне Дракины ЛуПи мужик Иван, будет три недели лежать на печи, покряхтит, посоветуется со всей родней и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана пятнадцать лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти пятнадцать лет полторы дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже, мальчишке, уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает, — и, если надо, сделает операцию, тихо, спокойно, толково и — не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставят, и все... Или даже ко мне — придет обыватель, Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до седьмого пота. Я его просмотрю и пересмотрю семь раз, изучу его и — скажу ему, — «идите, мол, батенька»... Если скажет мне «сделайте операцию» — сделаю; если не хочет, — никогда не стану делать.

Профессор помолчал.

— Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Комплименты говорим друг другу и ученость показываем, а больной неизвестно при чем, точно на большевистских показательных процессах, парад с музыкой, — никто больного как следует не знает, — «видите ли, Анатолий Кузьмич, — видите ли, герр Шиман»...

Профессор помолчал.

— Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командармом Гавриловым.

— Это тот, который, — сказала Екатерина Павловна, — который... ну, в большевистских газетах... ужасное имя! — А почему не вы оперируете, Павел Иванович?

— Ну, ничего особенно ужасного нет, — конечно, — ответил профессор, — а почему Лозовский, — сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо. А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов, хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши заменитости. А самое главное, — человека не знают, не с человеком имеют дело, с формулою — генерал № такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделать операцию как-нибудь не так, — по всем Европам протащат, отца позабудешь.

Профессор опять рассердился, засопел, зафыркал, спрятал глаза в волосы, поднялся из-за стола, крикнул в дверь, ведущую в кухню: — «Маша, сапоги!» — и пошел в кабинет одеваться. Расчесал брови, бороду, усы, лысину, — надел сюртук, засунул в задний — в фалде — карман свежий носовой платок, — обулся в сапоги с самоварно начищенными головками и рыжими голенищами, — посмотрел за окно: подана ли лошадь? — лошадь у парадного уже стояла, кучер Иван, двадцать лет проживший у профессора Кокосова на кухне, смахивал с сиденья снег.

Комната профессора Анатолия Кузьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себя рубеж девяностых и девятисотых российских годов, — то комната Лозовского возникла и консервировалась в лета от тысяча девятьсот седьмого до девятьсот шестнадцатого. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, — стены затянуты были коврами и висели на коврах картины, второй сорт с выставок «Мира Искусств». Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой, красивою женщиной, — крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал,

дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, — и, прежде чем пойти умываться, в пижаме и лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате, убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, — вазу с печеньем поставил на книжный шкаф, на нижнюю полку, — перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги. Воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник кофе, женщина спала, и видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь:

— Милый, — открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день, снег на деревьях, — поднялась с постели, сложила молитвенно руки, счастливо крикнула: — Милый, — первый снег, зима, милый...

Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе, сказал:

— Да, да, зима, — весна моя, ландыш мой...

В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку, — «да, да, вас слушают». — В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль.

Профессор ответил:

— Да, да, пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины — пожалуйста, — тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам. —

Профессор повесил трубку и сказал женщине, радостно, с гордостью:

— Ландышек, одевайся, за мной зайдет машина, я тебя прокачу и отвезу к тебе домой. Спеши! — И он обнял женщину, положив голову к ней на плечо. Обнял женщину и положил голову так, как делают это очень счастливые люди.

Было уже без четверти восемь. Мужчина и женщина, поспешая, счастливые, одевались. Профессор, одеваясь, налил в китайские чашечки кофе. Женщина, улыбаясь счастливо, застегивала ему запонку накрахмаленной манишки. Перед тем, как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон: всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь тридцать-сорок проводов, — он звонил в кабинет дома номер первый; почтительно он спрашивал, не будет ли каких-либо новых распоряжений; твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал: «всего хорошего, будет сделано», — поклонился перед трубкой и не сразу повесил ее. — Машина уже рявкала перед подъездом.

В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах, — но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал:

— Прочти, Алеша, у Толстого в «Отрочестве» насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо. — Хорошо старик кровь чувствовал! — Это были последние слова перед смертью, которые улышал от Гаврилова Попов. —

Попов шел домой в шелестах морозной рассветной тишины, — пошел не по главной улице, — вышел в переулок к обрыву, за которым открывался заречный простор, там на горизонте умирала за снегами в синей мгле луна, — а восток горел красно, багрово, холодно; Попов стал спускаться к реке, чтобы полем пройти в город, — за ним горел восток. Гаврилов стоял в тот миг у окна, смотрел на заречье, — видел ли он Попова? — В больничном халате — в ванной у окна стоял человек, орехово-зуевский ткач, имя которого обросло легендами войны, легендами тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, стоящих за его плечами, — легендами о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, голода, холода, гололедиц и зноя походов, — о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, —

о кострах в ночи, о походах, победах и бегствах, вновь о тысячах и смерти. Человек стоял у окна в ванной, заложив руки назад, смотрел в небо, был неподвижен, — протянул руку, написал на запотевшем стекле — «смерть, клизма, не ком-иль-фо» — и стал раздеваться.

Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, шептались, бесшумно суматошились. — Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок, — такой гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили последний раз. — В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портках и рубашке (у рубашки вместо пуговиц были завязки), в больничных за номером туфлях на босу ногу (белье на Гаврилове переменили в последний раз, надели на него стерильное), — пришел в операционную побледневшим, похудевшим, усталым. — В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. — Операционная была очень большой комнатой, сплошь — пол, стены, потолки — выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный белый — операционный — стол. Здесь Гаврилова встретили Кокосов и Лозовский. И Кокосов, и Лозовский, в белых халатах, надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах. — Гаврилов с хожалкой вошел в комнату. Покойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку.

Лозовский спросил у Кокосова шепотом:

— Приступим, Павел Иванович? —

— Да, да, знаете ли, — ответил Кокосов.

И профессора пошли мыть — еще и еще раз — руки, поливать их сулемой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек.

— Товарищ Гаврилов, приступим, — сказал Лозовский. — Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите.

Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку, — она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, — и быстро лег на стол, поправив под головой валик, — закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс, — и полил маску хлороформом, — по комнате поплыл сладкий вяжущий запах хлороформа. Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну, молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пеаны, кохеры, пинцеты, иглы, шелк. Хлороформатор подливал хлороформ. В комнате застыла тишина. — Тогда больной замотал головой, застонал.

— Нечем дышать, снимите повязку, — сказал Гаврилов и лязгнул зубами.

— Повремените, пожалуйста, — ответил хлороформатор.

Через несколько минут больной запел и заговорил.

— Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я, девчонка, влюбилась, — пропел командарм и зашептал: — а ты спи, спи, спи. — Помолчал, сказал строго: — А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо. — Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: — Не отступать! — Ни шагу! — Расстреляю... Алеша, брат, — скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое револю-

ция, какая это сила. И мне не страшна смерть. — И опять запел: — За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой...

— Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать? — спросил тихо Гаврилова хлороформатор.

И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил:

— Ничего особенного, нечем дышать.

— Повремените еще немного, — сказал хлороформатор и подлил хлороформа.

Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его. Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию, — Гаврилова усыпляли уже двадцать семь минут. — Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. — Хлороформатор озабоченно прошептал Лозовскому:

— Быть может, отставить хлороформ, — попробовать эфир? —

Лозовский ответил:

— Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно.

Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали. — Гаврилов окончательно заснул на сорок восьмой минуте. — Тогда профессора в последний раз протерли спиртом руки. Хожалка обнажила живот Гаврилова, на свет выглянули худые ребра и подтянутый живот. Поле операции — подложечную область — широкими мазками, спиртом, бензином и йодом протер профессор Кокосов. Сестра подала простыни, чтобы прикрыть простынями ноги и голову Гаврилова. Сестра вылила на руки профессора Лозовского полбанки йода. Лозовский взял скальпель и провел им по коже. Брызнула кровь, кожа расползлась в стороны; из-под кожи вылез желтый, как на баранине, лежащий слоями, с прослойками кровяных сосудов, жир. Лозовский еще раз порезал человеческое мясо, разрезал фасции, блестящие, белые, прослоенные лиловатыми мышцами. Кокосов пеанами и кохерами — неожиданно ловко для его медвежества — зажимал кровоточащие сосуды. Другим ножом Лозов-

ский прорезал пузырь брюшины. — Лозовский оставил нож, — стерильными салфетками стер кровь. В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил руку в кишки, повернул желудок, обмял его — —

На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва, — белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука, — был рубец, — указывающий, что язва уже зажила, — указывающий, что операция была бесцельна —

— Но в этот момент, в этот момент, — в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лозовского —

— Пульс! Пульс! — крикнул хлороформатор.

— Дыхание! — казалось, машинально поддакнул Кокосов

и тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лозовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый. — У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, и холодали ноги. Это был сердечный шок: организм, не принимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что человек никогда уже не встанет к жизни, — что человек должен умереть, — что — искусственным дыханием, кислородом, камфарой, физиологическим раствором — окончательную смерть можно отодвинуть на час, на десять, на тридцать часов, не больше, — что к человеку не придет сознание, — что человек, в сущности, — умер. Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножом, на операционном столе. — Профессор Кокосов повернул к хожалке свое лицо, сунул его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки, — профессор крикнул:

— Откроите окно! Камфары! Физиологический наготове! —

Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструмент,

молчал. Лозовский также склонился около Кокосова.

— Павел Иванович, — сказал шепотом и злобно Лозовский.

— Ну? — ответил Кокосов громко.

— Павел Иванович, — еще тише сказал Лозовский, теперь уже никак не злобно.

— Ну? — громко ответил Кокосов и сказал: — продолжайте делать операцию!

Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга, у одного два глаза срослись в один, у другого глаза вылезли из волосьев. Лозовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу, глаз его раздвоился, заблуждал, — потом слился еще четче, острее, — Лозовский прошептал:

— Павел Иванович! —

и опустил руки на рану: он не зашивал, а сметывал полости, он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал:

— Освободите руки, — искусственное дыхание!

Огромное окно в операционной было открыто и в комнату шел мороз первого снега. Камфара в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх, заставлял искусственно дышать. Лозовский штопал рану. — Лозовский крикнул:

— Физиологический раствор! —

и ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиною почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца тысячу кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине, полиловели губы.

Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему, как, быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфаренное и искусственно просоленное сердце, когда он — через тридцать семь часов — был оставлен камфарой и врачами — и умер: — быть может — потому, что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и се-

стры, но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова, — случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате, точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там в палате лежал заживо мертвый человек, прокамфаренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом, — и эту палату так тщательно охраняли профессора потому, что умирал командарм, герой гражданской войны, герой великой русской революции, человек, обросший легендами, тот, который имел волю и право посылать людей убивать себе подобных и умирать.

Операция тогда началась в восемь часов тридцать минут и — на столе с колесиками — вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый, — и опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лозовский пошел к телефону. Лозовский ожидал звонка из дома номер первый. В телефоне прозвучало: «милый, я соскучилась по тебе», — и у Лозовского на минуту ощерились зубы, он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал, бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела тридцать — сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать. — Наверху в коридоре, между операционной и палатой больного, где утром суматошились и шептались люди, не было теперь ни души.

Гаврилов умер, — то есть профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию, — скончался в час семнадцать минут.

Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые три генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма, — те самые три человека, для которых Гаврилов, — рулевой той громадной машины, которая зовется армией, — был человеком, командовавшим их жизнями; теперь они пришли командовать трупом командира. — В этот час в деревнях поют вторые петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться, луна. В этот час в крытом «ройсе» профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый; «ройс» бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, — часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом на стене ротой во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете, — неизвестен, — но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета — из подъезда — со двора — очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел покачиваясь, точно он был пьян; улицы были пустынны в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лозовским. —

Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским. Лозовский — Гофманом — вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. — Человека оторвали от его формул и бумаг. — И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: — «беговую, открытую». — Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в трой-

ке первых, — голос его был слаб: — «Андрей, милый, — еще ушел человек, — Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик, — мы виноваты, я и Потап». —

Шоферу негорбящийся человек сказал: — «в больницу». Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошилась луна — и, как хлыст, стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть. Негорбящийся человек — черными коридорами — прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату, — там на кровати лежал труп командарма, — там удушливо пахло камфарой. Все вышли из палаты, — в палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. — Человек долго сидел около трупа, — склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал:

— Прощай, товарищ! Прощай, брат!

И вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: — «форточку там открыли бы, дышать нельзя», — и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы. В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек — молча — сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился, — человек сказал: — «за город — на всех скоростях». — —

Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, кинула огни, — пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари, — фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбегались овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и зем-

ля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались: и в колоссальном этом мчании, когда все мчалось, — неподвижными стали идущими рядом, стали — только луна за облаками, да эта машина, да человек, покойно сидящий в машине.

У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: — «стоп!» — и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, — остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса — несколько ночей назад — был Гаврилов. Человек слез с машины и — молча и медленно — пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из лесу вернулся не скоро. Возвратясь, садясь в машину, сказал:

— Поедем обратно. Не спешите. —

К городу машина подошла, когда уже рассветало. Красное, багровое, холодное на Востоке подымалось солнце. Там внизу — в лиловом и синем — в светлом дыму — во мгле — лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в небе — в этот час — осталась мало заметная, тающая ледяная глышка. В снежной тишине не было слышно рокота города.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медные военного оркестра, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих, и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, — Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо, плакала Наташа. Попов склонился над дочерью, взял ее на руки, поносил по комнате. В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова, та последняя за-

писка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано: —

«Алеша, брат. — Я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка и знаешь ты ее двадцать лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе, женитесь, что ли. Детишек растите. Прости, Алеша». —

Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел: она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее.

— Что ты делаешь, Наташа? — спросил отец.

— Я хочу погасить луну, — ответила Наташа.

Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться.

Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно, один, два, три, много, — сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною.

Москва
на Поварской, 9 января 1926 г.

МАТЬ СЫРА-ЗЕМЛЯ

Посвящается А. С. Яковлеву

Крестьянин сельца Кадом Степан Климков пошел в лес у Ивового Ключа воровать корье, залез на дуб и — сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесчик Кандин доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел «гражданина самовольного порубщика». Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климкова. Климков стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Кандин, когда стаскивал Климкова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климков покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин-товарищ, глаза-те вытекли у меня, без остачи.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду: — то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.

Климков остался ночевать в лесничестве, спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча, про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолвствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, — старец определил, что глаз Степану Климкову не вернуть — ни молитвой, ни заговором, — но надо прикладывать подорожник, «чтобы не вытекли мозги». — —

— — ...Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины — Ирины Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) — глав-

ный герой — волчонок, маленький волчонок Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта женщина, так нелепо погибшая и мерившая — этим волчонком — погибшим за шкуру — столь многое. Он, этот волчонок, был куплен за несколько копеек в Тетюшах-подлинных, а не в тетюшиных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной. На Пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.

Он только-только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разило псиной, — она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, — он, маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, волчьей своей таинственностью. Мальчишка, продавший волчонка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, — мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрели на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волчонковых братишек умерли от голода, он один остался жив. — Волчонок не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах — по мандату — соску, такую, какими кормят грудных детей, — и кормила волчонка из этой соски, — она шептала волчонку, когда кормила его:

— Ешь, глупыш мой, — соси, Никита, — расти!

Она научилась часами — матерински — говорить с волчонком. Волчонок был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостишко, — и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли — оттуда, из темноты — каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, — и когда глаза их встречались, глаза волчонка, немигающие, становились особенно чужими — смотрели с этой треугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, — но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных, тоже острых, ушей, — был глуп, никак не страшный. И от волчонка страшно пахло псиной, все прокисало его духом — —

— — Есть в волжской природе — арсеньевских плесов — какая-то пожухлость. Волга — древний русский

водный путь — текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава, пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, — и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, сосну не рассадишь силой, спокойствует лишь татарский неклен, нет цветов, и костры на горах — не смешаешь их со сполохами — видны с Волги на десятки верст сквозь пыль астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена — кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Справа — горы в лесах, за горами — на горах — леса, слева — займища, за займищами — степи. Вдали во мге за Волгой видны нерусские колокольни: немецкие «колонки».

Когда-то, кажется, император Павел дал князю Кадомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано:

> — ...«Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу, в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Медынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту гору и все, что глаз Вашего Сиятельства увидит, — твое — —»

— — на Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на семьдесят верст по берегу, возникли Медынские леса, возрос строевой — сосновый — лес, — дубы, клены, вязы, — заросли, пущи, раменья, саженцы — тысячи десятин. У Медынской горы в лощине стал княжий дом, оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего, кроме лесных сторожек да кордонов, в лесах не было, деревня и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. — Лесничий Некульев так писал друзьям в губком о дороге к нему: — «...пароходом надо добраться до села Вязовы; в Вязовых надо найти — или полесчика Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на телеге, по лесам, по горам и буеракам, — или рыбака Василия Иванова Старкова (надо спрашивать Васятку-рыбака), и он отвезет — на себе — вверх по Волге двенадцать верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях: в наших местах это тоже практикуется, — Старков впряжется в ляму, сын его сядет к рулю, ты в лодку, — и бечевой, как триста лет назад, на себе, по очереди, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить: — «сколько у вас в Вя-

зовых коммунистов?» — ответит: — «коммунистов у нас мало, у нас все больше народ, коммунистов токмо два двора». — А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? — Он скажет: «народ — знамо: народ! — Народ вроде, как бы, большевики».

Леса стояли безмолвны, пожухли. — Но если б было такое большое ухо, которое слыхало бы на десятки верст, — в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услыхало бы многие трески падающих деревьев, спиленных воровски, дзенькание пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики и пальбу в небо полесчиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, — далеко по росе стелется дым; — страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. — Дни в лесах — в июле — всегда просторны, и пахнут леса татарским некленом. Лесные люди — лесничие, полесчики, лесники — убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников, и на — «граждан самовальных порубщиков» — —

— — Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовых полесчика Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский Совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, черт подери, — башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, — что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. — В сельском Совете, в мушиных тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, — председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. — Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно: утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, — слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских вре-

мен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, — рассказал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам, — все стремились всунуть в рояль, но не всунули и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге, — рояль и до сих пор висит на обрыве, застряла в тальнике; — а охота в этих местах царская, — ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно за зиму набрать шкур штук сто, — только, конечно, не дело это для ружейного охотника, — наоборот, позор. — Кузя приехал на шарабане, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фрунт, руки по швам, зарапортовал — честь имею явиться... — Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, так что, лучше нам заночевать здесь, а то — гляди — пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.

Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:

— Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? — Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это — чтобы тронуть? — Да я вас до Ивова Ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича — наган, у тебя — винтовка, у меня — винтовка, сыну велю идти вперед, двустволку дам. Да мы их всех перестреляем! Это чтобы большевиков трогать, — на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.

Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная, как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку, и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку — сурки, — Кузя слез с шарабана, повел лошадь под уздцы, сказал, что

сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго, лошадь ногу сломает. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, — грома не докатилось. — «Гроза будет», — сонно сказал Цыпин. — И опять распахнулось небо, так же безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тарахтение колес гулко, — показалось, что кузнечики стихли, — и огромная половина неба, от востока до запада, порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности, рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы, — и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бессчетно, все небо рвалось молниями в лоскутья и все небо стало кегельбаном, чтобы веселыми стихиями катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надоть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак неохота». —

Гроза, просторы, громы, молнии — показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь, — этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! — До пастушьей землянки не успели доехать: заметался по степи ветер во все стороны, молнии метались и громы гремели со всех сторон, — дождь окатил шагах в стах от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся вмиг, ручей потек в землянку. Крикнул кто-то испуганно: — «Какой черт еще тут ходит?» — Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке, — и в кромешном дождевом мраке покатился в лужу. В громах услыхал рядом разговор: — «Ты, Потап? Это я, Цыпин». — «Спички у нас вымокли. Тебя что, на охоту понесло, что ли?» — «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего». — Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальчонка в землянку, — сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: — «Тятянь, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая стоит, чужая, возле ней!» — Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном, — Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли

влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял, стряхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво подматерщинивая. — «Сел под шарабан, как светанет молонька, — каак маханет сивый на плетень, — как только затылок цел остался?!» — «Дурак, это волки!» — «Н-ну?» — Стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин: — «Ты, Кузя, мостом не издий, лошадь ногу сломат. Тута у моста, — пояснил он Некульеву, — барина-князя мужики убили». По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись, — седоки слезли. Стали подталкивать шарабан, — влезли на полгоры и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния и увидели — наверху на краю овражка, шагах в десяти, рядком сидела стая волков. Сказал Цыпин: — «Надоть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают». — Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. — Некульеву все время было очень весело. —

Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и брызги с ветвей — в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев, недоумевая, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив. —

— Когда князя-барина мужики порешили убить, — этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: — «Так и так, уехать вам надо, громить вас будут, порешили мужики убить». — Князь лакею: — «Приказать заложить тройку!» — А Цыпин ему: — «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим, как они теперь народные!» — Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у кучера взял, картуз и на шею красный платок, — жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку, — а у мосточка им навстречу Цыпин: «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил». — Дал ему князь монету, рубль с серебром, — и кто убил князя — неизвестно. —

Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.

— А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович, — начал не спеша и напевно Кузя. — А у него была жена-красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать — Аннушка. А село было большое, и в нем, заметьте, три церкви разным богам... И вот пошла Аннушка к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка! — а потом в сторонку: — Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком, на зорьке?» — «Чтой-то вы, батюшка?» — ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка! — и опять в сторону: — Так и так, Аннушка, не антиресуешься ли ты со мной переночевать?»

— Ты это про что говоришь-то? — спросил недоуменно Некульев.

— А это я сказку рассказываю, — очень все любят, как я рассказываю — —

— — И еще был бодрый солнечный день, — день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одури пахло — и лесною и земною — благодатью. Легкие бухнули, как губка от воды, — хорошо пахнет, когда неклены топятся солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснутся его, зрелые падали капли дождя. Волга под обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. — Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, вмазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, — дом будет попрежнему исправен, все пустяки! — И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхом шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска — «контора», — вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, — красавец, кольцекудрый, молодой. Пенсне перед глазами сидели как влитые, — совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе,

скучной, как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом — зеленое сукно было залито чернилами и стеарином многих ночей и писак, — и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя, руки по швам; — и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах, в бесцветной от времени рубахе, неподпоясанной и с расстегнутым воротом; — и были у Кузи огромные бурые — страшные — усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:

— Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики, — лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. — Допустить? —

— Пускай всех!

— Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.

— Пускай всех.

На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; — кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком — разобрать возможности не было; объездчики выстроились по-солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко:

— Леса теперь наши, сами хозяева!

— Как ты, товарищ, сам коммунист, — желаем пилить в Мокром буераке, как он кадомский!

— Немцы из-за Волги, — ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломам!..

— Татары вот тоже, либо мордва.

— Ты, товарищ-барин, рассуди толком, — мы пилили и желам продать в Старов по сходной цене!

Сказал Некульев весело:

— Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист, — это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая!

Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку, — Некульев сказал:

— Ну, что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!

Мужик смутится, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил:

— Чай здесь изба, образа висят!..

Попарно, не спеша и покойно, вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские.

— Können Sie deutsch sprechen? — спросил немец.

Мужики загалдели о немцах, — вон, наши ляса! — Некульев сел за стол, вытянул вперед ноги, покачался на стуле, заговорил деловито:

— Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли, — давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу и пилы и топоры верну, — не в этом дело. А лесов без толку пилить нельзя, посудите сами — — и заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца.

Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора шапки, все же, понадевали, — последним сказал Некульев дружески: — «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, — а вы как хотите!..» Некульев любил быть «без дураков».

Кузя выстроился во фронт, сказал:

— Честь имею доложить, — яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету, — Маряша в колонку к немцам сплават.

— Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, — давайте есть вместе. — Яиц купите — —

И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам, глупорожий Кузя, — когда вошла в контору Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеаринами и чернилами. —

— «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат, — корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов» — и на мандате вправо вверху «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», — и на документах, на членской книжке — прекрасные обоим слова — Российская Коммунистическая Партия. — «Ваш предшественник убит? — князь убит?» — «Мужики кругом в настоящей крестьянской войне с лесами». — Разговор их был длинен, странен и — бодр, бодр, как бодрость всего солнца. — У одного — там где-то — лесной институт в Германии,

российские заводы и заводские поселки; быть революционером — это профессия; в заводских казармах, в коридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по каморам будило («вставайте, вставайте, — на смену, — гудок прогудел!»); — а мир прекрасен, мир солнечен, потому что — через лесной институт, через окопы на Нароче от детства на Урале, от книг в картонных переплетах (долины под горою, — а за горою, в дебрях, где, кажется, и не был человек, медведи и монах в землянке) — твердая воля и твердая вера в прекрасность мира — «без дураков»: — это у Некульева; — и все шахматно верно: и здесь в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на уральских заводах. — И у нее: — Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, — по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту — чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья; — и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги; и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет, и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу), и отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовой за печкой, и черти; — и тринадцати лет в третьем классе гимназии — уже оформилась под коричневым платьицем грудь, — и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка-женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки, как потолки родного дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой комнате надо было изводить клопов, — но все же потолки после них — дома, когда умер отец, — показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напомнил таинственное детство; — она вошла в дом — как луна в ночь, старший приказчик — бульдогом — принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатили крысами, шарили, шуршали, арестовали за Петербург, — ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко право дала красота, и тюремные коридоры стали петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: — эхо у Арины Арсеньевой, — и тоже все шахматно верно, и кожевенные заводы (ими пахнет

детство) нужны для Красной Армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунностью: семнадцатилетняя обильность к тридцати годам — тяжелое вино, когда все время было не до вин. — «И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно» — —

На солнце от зелени некленов свет зеленоват, расплавляется воздух, — Некульев заметил: в зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть — и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. — В контору вошли трое: мужик, баба, паренек-подросток. Мужик неуверенно сказал:

— Честь имею явиться, второй после Кузи лесник, с одиннадцатого кордону, Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.

Лесника перебила жена, заговорила обиженно: — «Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей исть хочешь. Как хотишь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже, чай, Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломошный, грызь у него, мы из Кадом. — Как хотишь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал мала меньше, а нас всего трое». — Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. — Некульев сказал: «Ступайте с Богом, буду знать». — И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева — тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:

— Вы знаете, когда «влазины» бывают, — влазины, это так называется новоселье, — ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди, и надо — по поверью — входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка-баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается — —

ГЛАВА ПЕРВАЯ — НОЧИ, ДНИ

Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора — расскажут.

— В лесах по суземам и раменьям живет леший — ляд. Стоят леса темные от земли до неба, — и не обе-

решься всевозможных Маряшиных фактов — темной стеной стоят леса. Человек по раменьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь рядом с молодой порослью стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гробяною парчою мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит, — если же со степей найдет ветер, тогда старцы-дубы трутся друг о друга, скрипят, сыплют гнилыми ветвями, трухой. — Кузе, Маряше, Катяше, Егору — здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На раменьях издревле поселился тот черт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость черта: красный кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.

Белый дом в лощине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным некульевским глазам — на глаза попадалась — битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, — песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленоватое стекло колб. Днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пятиминутки он тратил на них. Некульев любил быть без дураков, он не замечал, что у него — помимо сознанья и воли — каждый шорох в доме, каждый глупый мышиный пробег — покрывают гусиной кожей его спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казался по соседству кто-то — не то третий, не то седьмой какой-то, — и каждая ночь была, как все.

Была луна и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебряными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Окна Некульев тщательно закрыл, но окнах не было стекол. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и под-

пер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового Ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы проехать на телеге, если же проберутся сюда, то — секретной дверью, оставшейся от помещика-князя и случайно найденной, — он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там — ищи, свищи!.. — Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешены. — Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому; — на кухне он попил из ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушивался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, — подпер дверь колом; — и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы, — Некульев стал пересыпать песок, — склонил кудрявую голову к мутно-стеклянным колбам.

И тогда — нежданно застучали в окно там, где была лампа, — неуверенный голос окликнул: — «Эй, кто тама, выходите. Милиционер требует!» — Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: — «Ты кто такой?» — Паренек обрадованно заговорил: — «Иди, тебя требует милиционер!» — «Ты почему с багром?» — «А это я от собак. Собак-от нетути? — Милиционер на берегу, в лодке!»

Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и

саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:

— Вы что же, черти, спите, когда лес воруют?! — Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника самогонщиков поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой Горы, а с горы, с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна, — лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным, — уйду — разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал!.. Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..

Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщикам, — мужики впряглись в ляму, потащили бечевой дощаный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно, и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники — скрылись за косой.

Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине.

Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками наперевес, мчали к Мокрой Горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке, — вышли к Волге.

Волга, горы, тишина, — прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то, — тишина, — и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатилось вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Некульев пошли под обрывом, — в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами. Еще сорвалось с вершины бревно, — и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, — и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень, — Некульев толкнул его — вперед — коленом, перезамкнул замок винтовки и — твердо пошел к дощаникам, — толкнул на воду пустой и навалился, чтоб столкнуть нагруженный, — сверху выстрелили из винтовки, — пуля шлепнулась в воду. — «Кузьма! иди, толкай!» — на отвесе наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку — сейчас же — выстрелил Некульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, лешай?! Не трожь дощаники!»

Некульев сказал:

— Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!

Луна потекла с весла. С берега кричали: «Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники!»

Некульев сказал:

— Эх, черт, лошадей как бы не украли!

Кузя ответил:

— Пошто, — мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.

Подплыли к Мокрой Балке. К дощанику — трое — подошли мужики, — вязовские, в слезах, один из них с винтовкой, — замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя — тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впряг их в ляму, — тогда строго заявил:

— Лес воровать, сволоча! Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!..

Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:

— На что их брать? Куда мы их денем?

— Ничего, постращать не вредно!

Лошади шли берегом по щебню, медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным — пред днем — небо, похолодело в рассвете, села на рубашку роса.

— Сказочку вам не рассказать ли? — спросил Кузя.

Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. — (Через два дня — ночью — эти дощаники исчезли, кто-то украл) — —

И опять в ночи задубасили в окна, — «Антон Иванович, — товарищ лесничий, — Некульев, — скорей вставай!» — и дом зашумел боцами, шорохами, шепотами, свечи и зажигалки закачали потолки, — «у Красного Лога — потому как ты коммунист, мужики из Кадом — всем сходом с попом поехали пилить дрова — по всем кордонам эстафеты — даны — полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!»

У конного двора, против людской избы, стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), — яркая

звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?), и рядом под деревом горит иванов червячок. Кузя вывел лошадей, — но ему лошади не досталось, и он побежит пешком.

— Ягор, ты винтовку-то пока повези, чего тащить-то? —

На лошадей и карьером в горы, в лес, — «эх, черт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!»

Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, — в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат незнакомые какие-то птицы — («эх, прекрасны волжские ночи!»). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.

— Эх, и сволочь же мужичишки! Ведь не столько попользуются, сколько повалят и намнут! — Сознательности в мужике нет никакой! Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, — сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой — на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!

Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:

— Ягорушка, теперь ты побежи, а я поеду, отдохну малость.

Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:

— Вот бы теперь хоровую грянуть, как разбойники! — и свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом: захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица.

...На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь; — отбыла та минута, когда — на минуту — и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы — затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле; — из леса на опушке вылетела сова, пролетела безмолвно, и тогда прокричала в лесу незнакомая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. — Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до

опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес, скрипы колес, тарахтения ободьев, конские храпы, человечьи шепоты, плач грудного ребенка, — стали рядом, уперлись в лес. — Два древних дуба у проселка на просеке — у самого корня подпилены, — только-только толкнуть — упадут, завалят, запрудят дорогу.

Тогда из мрака строгий объездчичий окрик:

— Э-эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад! —

И тогда от обоза — сразу — сотнеголосый хор и хохот, слов не понять и непонятно: — люди ли кричат, иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу; — и обоз ползет все дальше. Тогда — два смельчака, мастеровые, Кандин и Коньков — последнее усилие, храбрость, ловкость — валят на дорогу колоды древних двух дубов; и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана — бессмысленно, по лесу — полетели наганные, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол-обоза стало, лошади полезли на задки телег. — «Сворачивай!» — «Верти назад!» — «Пали!» — «Касатики, вы бабу задавили!» — «Попа, попа держи!» — Лес темен, непонятен, — на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. «Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!» — Непонятно, кто стреляет и зачем? —

К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в стороне под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище дикого становища. Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроенно и шепотом заговорил:

— Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять арестовать, отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться подобру-поздорову, чтобы мужики ра-

зобрались сами собой, чтобы наши концы в воду, — но тут уже не было возможности сдержать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие... —

У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:

— Фу ты, черт, какая ерунда!

Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:

— Барин, кормилец, касатик! — Отпусти Христа ради. — Больше никогда не будем, научены горьким опытом!

Некульев заорал, — должно быть злобно:

— Встать сию же минуту! Черт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано — лесов грабить не дам, ни за что! — и недоуменно, должно быть: — а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальчонка?!. Все село телеги перепортило, эх!

— Отпусти Христа ради! — Больше никогда не будем!..

— Да ступайте, пожалуйста — человека от этого не вернешь, — поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески! — и злобно: — а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, — расстреляю! Идите, пожалуйста, куда хотите.

Коньков, коммунист, приехавший с Некульевым хранить леса, спросил — со злобой к Некульеву:

— А попа?!

— Что попа?

— Попа никак нельзя отпускать! Его, негодяя, надо в губернскую чеку отослать!

Некульев сказал безразлично:

— Ну, что же, шлите!

— Чтобы его, мерзавца, там расстреляли!

Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.

И опять была ночь. Безмолвствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах — Некульев увидел — вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел, и четко чокнулась в потолок пуля, посыпалась известка. — Стреляли по Некульеву — —

И бодрое было солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух само-

гонщиков. Егор тащил на загорбке самогонный чан. — Приехал из Вязовов Цыпин, передал бумагу из сельского Совета, — «ввиду постановки вопроса об урегулировке леса, немедленно явиться для доклада тов. Некульеву». — Цыпин был избран председателем сельского Совета. — Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. — И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни, и от самой страшной — самосудной — смерти, когда его разорвали б на куски, когда оторвали б руки, голову, ноги, — его спасала только глупая случайность — человеческая глупость. — В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред Советом толпились парни и девки, и яро наяривал вприсядку паренек — босой, но в шпорах! — Некульева шпоры эти поразили, — он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: — да, именно шпоры на босых пятках, — и лицо у парня неглупое. — А в Совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В Совете нечем было дышать. В Совете стала тишина, когда вошел Некульев, — Некульев не слыхал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, — и Некульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:

— Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, — приехал! А еще коммунист! Пущай говорит, что знает — —

Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпоры, шпоры спутали мысль. Некульев заговорил:

— В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад — —

— Ляса теперь наши, жалам их по закону разделить по душам!..

Перебили:

— По дворам!

Заорали:

— Нет, по душам!

— Нет, по дворам!

— Нет, говорю, по душам!

— Да что с ним говорить, ребята! Бей лесничего своем судом!

Некульев кричал:

— Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад... Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что — помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы — помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам — —

— Мужики! Теперь все наше! Пущай даст ответ, почему кадомские могут воровать, а мы нет!.. Откуда он взялся на нашу голову?!

— Жалам своего лесничего избрать!

— Бей его, робята, своем судом!

Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистью на него. Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. — Некульев кричал почти весело:

— Товарищи, к черту, тронуть себя я не дам, — вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу! — Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.

Завопил Цыпин:

— Минька, беги за берданкой, — посмотрим, кто кого подстрелит!

— Стрели его, Цыпин, своим судом!

Некульев закричал:

— Товарищи, черти, дайте говорить!

Толпа подтвердила:

— Пущай говорит!

— Что же вы — враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на места, я сяду, поговорим — Некульев тот день говорил обо всем, — о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине, — он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что — что, мол, говорить, бей его своим судом! — и у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова.

Цыпин давно уже сидел на пороге в дверях с берданкой. День сменился стрижиными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать — говорить, говорить обо всем, что влезет в голову. —

Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания «союза фронтовиков», молодежь, пьяным-пьяна, с гармонией; их коновод — должно быть председатель — влез на стол около Некульева; он был бос, но со шпорами: — осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:

— Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон — Рыбин орет более всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет?! — Нет! — Судить могут только которые попадались на порубках, а которые не попадались — катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках его в холодную, — леса нам в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с им, как он ему первый помощник и сам леший!

Стрижиный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. — Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор: «Вре!» — «Правильно!» — «Бей их!» — «Цыпина лови, старого черта!» — И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, захряскал тяжелый кулачный бой. — Некульева забыли. Некульев — очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг — подобрался к окну и — стремительною кошкой бросился в окно. — Никогда так быстро, так стремительно — бессмысленно — не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке — —

(В сельском Совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, — и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а наутро уже много баб говорили, что видели своими глазами — вот провалиться на этом месте, если врут — как потемнел Некульев, на-

тужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен вроде чернозема, — натужился — и провалился сквозь землю, колдун) — —

И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал объездчик, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на Зеленый остров пилить дрова. Некульев со своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать леса. Зеленый остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, — был бодрый день, — пошли к немцам, чтобы уговорить, — но немцы встретили лесных людей правильнейшей военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, — от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патрон и стали пред дилеммой: — или сдаться, или убегать на дощанике; — но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, — лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. — Немцы взяли в плен лесных людей. Немцы отпустили всех, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. — Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его — по непонятным для него причинам — выкупил Вязовский сельский Совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентера). — Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовах: — вязовские мужики заявили немцам, что — ежели не отпустят они Некульева, — не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадется немец — убьют: немцам необходимо было отправлять на пароход масло, мясо, яйца, — немцы Некульева отпустили — —

ГЛАВА ВТОРАЯ — НОЧИ, ПИСЬМА И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Му-

жик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал:

— Мне бы провожатого, господин-товарищ, — глаза-те у меня вытекли.

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, — пустые глазницы уже затянулись. Шапку мужик держал в руках, — и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом. —

Дом был чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника: — дом был враждебен этим лесам и степи: Некульеву надо было здесь жить. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, — отбросил часы от себя — и они разбились, рассыпался песок...

Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и Заволжье, и там горько пахло полынью. — Некульев вышел из дому, прошел усадьбой — у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них — Егор и Кузя, — и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по-летнему в кафтане, и в лаптях с белыми обмотками. — Некульев вернулся с горы поздно.

У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и некленом, — Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта, и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.

— ...ну вот, шасть Аннушка — да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: — «Так и так, здравствуй, Аннушка! — а потом в сторону: — Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?» — Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда. Неминуемо — заметьте — рассказала мужу. А муж Илья Иванович, человек рассудительный, говорит: «Иди в церкву, жди, как поп от обедни пойдет, и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему — и так и

далее. А сама помалкивай». — Пошла Аннушка, поп идет из церкви: — «Ну, как же, Аннушка, насчет зорьки?» — «Приходите, батюшка, вечерком в половине десятого, — муж к куму уйдет, пьяный напьется». — И второй поп навстречу: — «Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?» — Ну, она, как муж, и так и далее... — Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает — заметьте — из-за пазухи бутылку, белая головка. — «Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать». — А она ему: — «Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком», — ну, кстати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядком уселся, руку за пазуху к ей засунул, — стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась — «ахти, мол, муж!». — Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: — «Уж и не знаю, куда спрятать? — Вот нешто на подоловке муж новый ларь делает, — в ларь полезай». — Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, — стук-стук в окно. — Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друге, шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать — стук в калитку, муж — кричит вроде выпимши — «жена, отворяй!» — Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: — «В ларе?» — Аннушка отвечает: — «В ларе!» — Ну, тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, в кураж вошел. — «Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!» — Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре, попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, — попы жирные, девятипудовые, — не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу! Да... — Кузя до-

стал кисет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, — собрался было рассказывать дальше.

Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами — Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка:

— Гляи, — пошел, Антон-от! Опять пошел — отправился. Костры сжигать... Груня вязовская, знающая бабочка, баит — колдун и колдун. Я ходил, подозревал: наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и — гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла, на носу-то, горят, как угли, — а сам травинку жует... Очень страшно!.. — А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде, как ничего.

— И к бабе своей ездит, — сказал Кузя. — Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать... Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели — ну, в двух шагах от меня, никак не дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуну говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят, — а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: — «Извините меня, Антон Иваныч, мошка заела!» — Она как вскочит, на него — «это что такое?» — сердито так. — Мне он ничего не сказал, как бы и не было...

— Надоть идтить часы стоять, — пойду я, до свиданьица, — сказал старик в кафтане.

— И то ступай с Богом, спать надоть, — отозвалась Маряша и зевнула.

Кузя высек искру, запалил трут, раскурил цигарку, осветились его кошачьи усы. —

— Так, стало-ть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно? — строго спросил он, — ни молитвой, ни заговором?

— Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надоть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, — сказал старик. — Прощевайте! — старик

поднялся, пошел не спеша, с батогом в руке, вниз к Волге, светлели из-под кафтана белые обмотки и лапти.

Вслед ему крикнула Катяша: — «Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!»

Заговорил напевно Кузя: — «Да-а, вот, кстати сказать, выходит, хотел Илья Иваныч над попами потешаться, а вышло совсем наоборот...»

— Я тебе яичек принесла, Маряш, — сказала, перебивая Кузю, Катяша. — Для барина. Ты почем ему носишь?

— По сорок пять.

— Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.

— У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба? — спросил Кузя.

— Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет, — сам ворует. В смысле хлеба — табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: — «Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю, — а мне продавать никак некогда». Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму, — осталось всего три пуда. Тут его и сцапали, брата-то, — милиция. Мука-то, выходит, ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. — «Где вся мука?» — «Не знаю». — «Где взял муку?» — «На базаре, у кого — не припомню». Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал; три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился, — а он на него: — «ах ты, пятая нога, ворованным торговать?! — в ноги кланяйся, что не выдал!» — «А деньги?» — «Все, брат, отобрали, Бога надо благодарить, что шкура цела осталась»... — Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставлял... А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит — прямо с неба свалилось счастье. — Егор помолчал. — Яйца у меня в картузе восемь штук — возьми, Маряш.

— Лесничий, кстати сказать, как приехал — прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень вострый, заметьте, — сказал Кузя.

— И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца, — прямо господская жизнь! — оживленно заговорила Маряша. —

Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют, — варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое, — а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает: — «Вы ее с мылом моете», — а я ему: — «что-о-те мыло, баю, у нас почитатца поганым!..»

В избе вдруг пролетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный цыпленок, закудахтала курица, — на пороге появился мужик, тот, что ослеп, — с протянутыми вперед руками, в белой рубахе, залитой кровью, — бородатая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. — Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:

— Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!.. — упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.

— Вперед лыка не дери, — успокоительно сказал Кузя. — Видишь, отца звали, сказал, ничего не выйдет.

Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: — «Потух костер-от, идет, значит, назад. Спать надоть, — зевнул и перекрестил рот. — Отдай тогда яички, сочтемся». Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; — побежали по столу тараканы. На постели, на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел), — стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку, — кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок, — в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку — и, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух.

Наутро и у Кузи, и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову; бегали по дво-

ру за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая — единственно говорившая — Женька, тащила мать за подол, кричала «аря-ря-ря, тяптя, тяптя» — просила молока. Корова переходила, молока давала мало, — Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу, купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей, — Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту, — и со свирепым лицом — «кыш вы, озари!» — стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и — в подоле — восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: — «Стараисси? Спать с собой скоро положит!» — Маряша огрызнулась: — «Ну-к что ж, что ж, — мене, а не тебе!» Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела она сорокалетней, высока и худа была, как палка. — Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.

Кузя поутру ушел в лес; винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы; шел не спеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, посматривал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места, совсем забытые и заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник, — стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку, — картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере.

Кузя окликнул:

— Есть, что ли, кто? Андрей, Васятка?

Вышел парень, сказал:

— Отец на Волгу пошел, сейчас придет.

Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда:

— Может, хочешь стаканчик свеженькой?

Кузя ответил:

— Не.

Замолчали, — из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин.

Кузя сказал:

— Варите? — Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины справлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Доставь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше.

Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень, сказал:

— Кузь, дай бабахнуть!

Кузя передал ему винтовку, ответил:

— Пальни!

Парень выстрелил, — отец покачал сокрушенно головой, сказал:

— В дизеках ведь ходит, Василий-то...

На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: — «например, раз сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: — «пить тебе сегодня водку!» Я ему отвечаю: — «ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?..» — Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица — она премудрость Божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; — я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг налоя посолонь надо ходить или против солнца? — А он мне в ответ: — ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы налой вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. — Отпалил, да-а! — А я ему: — «А как же, например, раз, Исус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?..» И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками... А табак — это верно, чертова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть, мед табаком пропах...»

Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем, — лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев, — поехали в леса.

Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отправить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа — из красного дерева — кивот, и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге», с золотым соколом посредине: — Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник — влазины; Некульев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике, — на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул, — садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить, — невесть что. Плюнул направо, налево, в Катяшу (та утерлась покорно), и началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, — поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, — одну свечу дал Егору, другую — Катяше: сам же стал что-то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекосилось лицо: — и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе: — Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза — так показалось в темноте и Егорушке, и Катяше — налились кровью, закричал:

— Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков, вытяни у него жилу живота на тридцать три сажени!

Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что жить «в новом дому» они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье «через темное число дней, и ночей, и месяцев», — ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. — Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, — свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом дому подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и попалить столб, а потом с зажженной свечой пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сгорели свечи дотла и потухли б сразу, — первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, — и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы.

Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот — «Пиво Сокол на Волге», «Пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из-под монпансье сахарный песок, — слюнил палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, — потом облизывал палец; на окне лежали зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут недолго, — попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой, — взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; — лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички, — Егорушка всех их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и ноги, и сказал: — «Ну что, которые там, лесокрады! — Выходи!..» — В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; — вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот «в Соколах на Волге», и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки — одна с черным петухом (выменянным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влазин), — и сун-

дук с Катяшиным — еще от девичества — добром; — и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогонку, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала «саратовскую», — «шарабан мой, шарабан»... — Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо; Катяша смолкла, покрестилась; покрестились и Егор, и Маряша, и дети; — Катяша сказала: — «Трогай с Богом!» — Попросила Маряшу: — «За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи!..» — Поехали; Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: — «Шарабан мой, американка, а я девчонка-шарлатанка!..» — —

При Некульеве единственное было собрание рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые-коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехались с вечера, — дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на «подторжье», чтобы столковаться перед торгом рабочкома, — кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и — о воровстве, о небывалейшем воровстве в лесах, — говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечой, в зале; Некульев лежал на диване; — сказал тоскливо Коньков: — «Расстреливать надо, товарищи, — и первым делом наших, лесных людей, чтобы была острастка. Что получается? — мы воюем с мужиками, а кто похитрее из мужиков — идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, — и лесник отпускает ему, что только тот захочет, — получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязывался ко мне шиханский мужик, — дай ему лесу на избу, — день, другой, — я сижу голодный, а он и самогону, и белой, — я так ему морду избил, что отвезли в больницу, — не стерпел!» — Ответил Кандин: — «Я морды бил, прямо скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратно, надо рассудить: — получает лесник жалование, на хлеб перевести, — полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо по необходимости, — ты смотри, как живут,

свиньи у бар чище жили. В лесном деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому — воруют от нужды. А если больше ворует, — значит, от озорства, — тогда, обратно, можно расстрелять. Святых нет, — а дело делать надо!» — Говорили о рабочкоме. — Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, — ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести наутро заседание рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. — В парке запели песню и стихли, Некульев пошел к остальным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по-разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях всполошенное костром воронье. Некульев присел к огню, стал слушать.

Кузя говорил:

— ...И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь — лежат три попа друг на друге, и все мертвые и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, — пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат... Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и — хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже закоченели, — взял одного попа, поставил его около клети, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в тарктир и, заметьте, прихватил с собой бутылочки, которые попы не допили, там гармошка играт, народ сидит, — и у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: — «Пей!» — дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал, — ему Илья Иваныч и говорит: — «Дал бы еще, да некогда. Надо иттить — ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, надо его в прорубь на Волгу отнести». — Ну, Ванюша вцепился: — «Давай я отнесу, только угости!» — А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: — «Ну, уж коли что, из-за дружбы, — отнесешь, придешь в

избу, угощу!» — Ванюша прямо бегом побег. — «Где утопленник?» — «Вона!» — Ванюша попа схватил, на плечо и прямо к воротам, — а Илья Иваныч к нему: — «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь». — Положили, заметьте, в мешок. Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в избу: — «Ну, где выпивка?» — А ему Илья Иваныч: — «Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал, — он опять вернулся». — «Кто?» — «Утопленник». — «Где?» — вышли на двор. Стоит поп у клети. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: — «Ах ты, такой-сякой, не слушаться!» — схватил второго попа и побег к проруби, — а Илья Иваныч ему вслед: — «Ты как будешь его в воду совать, скажи — упокой, Господи, его душу, — он в воду и пойдет!» — Это, чтобы помолиться все-таки за попа. — Только Ванюша со двора, — Илья Иваныч третьего попа ко клети, — прибегает Ванюша, — а Илья Иваныч ему выговаривает: — «Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести, — ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься». — Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч, — спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: — «Ну, все-таки ты, Ванюша, потрудился, пойдем — угощу!» — Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл, как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. — Вот и сказке конец, а мне венец, — сказал Кузя.

Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, — пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному... — Сказка показалась ему нехорошим вещанием.

Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи, — но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили — по-военному — в козлы. Избрали президиум.

От этого собрания остался нижеследующий протокол:

СЛУШАЛИ:	ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад тов. Конькова о международном положении[1].	1. Принять к сведению.
2. Доклад тов. Кандина о плане работ рабочкома. а) Культурно-просветительная работа. б) Средства рабочкома и расходные статьи.	2. Ввиду разбросанности лесных людей по лесам культкомиссии не избирать; выписать коллективно на каждую сторожку по газете[2]; расходы — 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3) суточные.
3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устроению памятника революции в Москве.	3. Отчислить однодневный заработок.
4. Донесение председателя Кадомского сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал объездчик Сарычев. — Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью председателя Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.	4. Ввиду несообразности донесения на самого себя — направить дело к доследованию, отослав копию в Угрозыск.
5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиками и лесниками с 7 кордона; из племхоза был взят плембык за круговой порукой, — бык был убит и съеден, а в племхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.	5. Ввиду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Синицына и Шавелкина и объездчика Усачева удерживать ежемесячно 3-х-дневный заработок и направлять его в кассу племхоза.
6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям[3].	6. Утвердить.
7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.	7. Оставить вопрос открытым[4].

[1] В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия — географически в разных материках.

[2] Выяснилось, что половина лесников безграмотны. Кузя шептал, голосуя, Егорушке: — «Ничего, выкурим!»

[3] Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: — «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелам, чтобы собрание рабочкома не делали в воскресенье, потому, как гражданины самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймаешь, — а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией».

[4] Товарищи, Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП — вопрос совести каждого, — Сарычев обиделся на него,— говорил: — «...а если вы думаете, что кадомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, — так он сам первый жулер, а которые фамилии были подписаны, — так они люди странние, теперь уехали домой, на Ветлугу. — —

Первое письмо, которое написал Некульев с Медынских гор, было такое, — он не докончил его:

«...у черта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцати верстах, а железной дороги — в ста, — в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня, — в жаре и делах, поистине чертовщинных! — живу я Робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас — 16 верст, но под обрывом идет — «великий водный путь», и я часто толкую с теми, кто бечевой идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; — так вот дней пять тому назад тащил бечевой мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три черта, один под сердце, другой в «станову жилу», третий — под мышку, — а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять, — так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике, — сообщил, что черти изгнаны. — Люди, с которыми я живу, — это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы; — но это не главное, а главное то, что, прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью — для домового, а жена его — голая — обегала дом, чтобы «отворотить глаз». У него заболел бычок, заслезились глаза, — ветеринар уж не так далеко, в Вязовах, — но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик — арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить, — я и не полагал, что он колдун, — мужик, как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что-то про Коперника), — так знахарь бычка осмотрел, нашептал что-то, снял (!) какую-то пленку (!) с глаз у бычка, посыпал солью, — и бычок ослеп! — тогда Катяша, жена Егора, достала «змеиной выползины», высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной — лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей; сначала я ее звал Машей, — она сказала

мне: — «И что-е-те как вы зовете меня? Меня все зовут Маряшей!» — Детей у нее трое, лет ей 23, — моей «жисти» она завидует до слюней: — «и-и-иии, и все те с маслом, и молока сколько душа жалат!» — Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю, — если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею, — а она молоко оставит на масло и творог — и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая-то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя, — и ни одного ребенка не принимала у нее даже — знахарка-бабка: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, — черт знает, что такое! — Ко мне отношение такое. — Вчера приходил немец из-за Волги, предложил масла; я спросил: — почем? — «Как раньше брали, по 25». — А с меня Маряша, и Кузя, и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им — как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи, — ведь я же по-товарищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать, — этакое лирическое нравоучение прочел им! — Не сморгнули: — «Мы понарошку зато, нарочно мы, то есть!..»

«А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: — «это мы тебе в подарок!» — Послал я их к черту со стерлядями. Я для них: — барин и больше ничего, — я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, — барин; заставлю я ходить их на четвереньках — пойдут, заставлю вылизать пол — вылижут, и сделают это на 50% из-за рабственного страха, а на 50 — из-за того, что: — может, барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, что делаем мы, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов, — сделают все что угодно, — но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть

может, излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня «Бог послал» Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я — честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция!.. — Это весь народ, который я вижу вокруг себя, но кроме них есть еще невидимый — это те сотни, а может, и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, — хоть, впрочем, забыл: — я же сам был украден немцами, и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. — Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей чесотке, — сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и — было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, — а мясо, там, масло, яиц — никогда не видят... А вот Мишка — пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по-человечески говорит с трудом, — нашел в лесу землянку, уже развалившуюся, в овраге, в глуши, — землянка в гору вросла, — и в землянке полуистлевшая псалтырь; — спасался, должно быть, какой-то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю — «Арендателю» — чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человечьей головой, — телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, — но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог вожделеть к коровам — это пусть лежит на его совести». — —

Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где расклады-

вал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, отекали стеарином, — лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг, Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, — первый раз осознал эти привычные мурашки, — поспешно ощупал револьвер, — вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, — и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:

— Товарищ Антон! Илья Кандин — убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — О МАТЕРИ СЫРОЙ-ЗЕМЛЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЛЮБВИ

Расспросить мужиков о матери сырой-земле, — слушать человеку уставшему, — станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики — старики, старухи, — расскажут, что горы и овраги накопали огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами — в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила — она же мать сыра-земля — человека, мужчину и женщину, — манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают — любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырою-землей — как смертью и любовью — клянутся мужики. Мать сыру-землю — опахивают заговорами, и тогда, в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова: все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть — матерью сырой-землей. — А сама мать сыра-земля — поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, повой — — Мать сыру-землю можно — иль проклинать, иль любить. — —

У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу сщемили, щемили. Волгу спасали Медыни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залогах — в десятках мест — грузились баржи с дровами, лесами, осмериками, двенашниками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходы, — ночами сыпали пароходы костры искр, — брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, — шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь, — жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир, — и все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслились, как рабочие блузы. — Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было — во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом — —

...Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли, и Коньков сказал шепотом, как заговорщик: — «Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!» — — Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе — с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. — Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и вмиг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, — и в комнату вошел матрос,

покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры.

— Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. — Документы!

— Вы коммунист, товарищ?

— Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход.

Земля сворачивала уже в осень, и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке выли бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огней. Сели, поплыли. Кузя подсел к Некульеву:

— Это что же, расстреливать нас везут? — Помолчал. — Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву...

Крикнул матрос:

— Не шептаться!

— А ты куды нас везешь, за то? — огрызнулся Кузя.

— Там узнаешь куда.

Ткнулись о пароходный борт.

— Прими конец.

— Чаль!

Пароход гудел человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым.

— Веди в рубку!

В рубке толпились вооруженные люди; у одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валила с ног.

И выяснилось: —

Седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; карта лежала в рубке на столе: — вверх ногами; Седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, — и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, — с ним спорили, не доверяя. — А потом всю ночь сидел Некульев со штабистами — матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел

выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен. Коньков сказал, что он останется на пароходе. Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их — —

— — И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу, к Седьмому (и Первому и Двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина — —

...Такие люди, как Некульев, — стыдливы в любви: — они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни, они лгут, — это не есть ложь и лицемерие, но есть веселая хитрость; — с собою они целомудренно-чисты, прямолинейны и строги. — Тогда, в первый медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро: — и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал — всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим — «люблю, люблю!», — чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахли липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье — драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. — У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в петербургскую прямолинейность, — и она возрастала обильно — матерью сырой-землей, — как тюльпанная (только две недели по весне) степь, — кожевенница Арина Арсеньева, женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть), стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волчонок. Но за домом и за заборами — дом стоял на краю села — была степь, по-прежнему жухлая, одиночащая, в увалах и балках, — такая памятная лунными ночами еще от детства. А каждая женщина — мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны — на митингах в

селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о гольье, о бахтарме, о дерьме, о золении, о дублении, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьем помете), — и надо было иной раз рабочих обложить — в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором были низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка; строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов; стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, — а сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо — не надо было склоняться вечерами над волчонком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему и вдыхать его — горький лесной запах! — И вот в солнечный бодрый день — всею матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, — полюбила, полюбила! — И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал — «люблю, люблю», — остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему — девушка — женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. — Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волчонком; но волчонок был враждебен ему: волчонок забивался в угол, съеживался, и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего не опускающие, — и волчонок скалил бессильную маленькую свою морду, и от волчонка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека... Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Некульев не замечал, что всегда Арина кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина — удосуживалась, все же! — пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, — кожей, что ли. — Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнца подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали непод-

вижно, стражами, сурки, — поднимались на другую сторону балки, — и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой-землей, — Некульев думал, что в руках его солнце. — У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) — потому, что у них были любовь и счастье.

И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. — Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.

Некульев приехал днем. В мезонине был только волчонок. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал:

— Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченых, — пошла туда Арина Сергеевна.

Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких потухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, — и там увидел — — На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их, как дуги); лошади походили на ужасных нищих старух; лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь, — хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню, — четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь идти убиваться, — вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы, и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая — живую еще — кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул:

— Арина, что вы делаете?!

Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву:

— Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется.

Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, — рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, — лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице.

Некульев понял; здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, — повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» — в степи он шел, как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волчонка.

Больше Некульев не видел Арины — —

Леса лежали затаенно, безмолвно, — по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, — горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо — оно услыхало бы, как перекликаются дозорные, как валятся деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услыхало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. — Лежала в лесах мать сыра-земля. — Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. — Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:

— Товарищи. Нам надо решить, как мы поступим. Кругом идет бой. Остаемся мы или уходим — —

Кузя помолчал, спросил Егора: — «Ты как понимаешь, Ягорушка?» — Егор ответил: — «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак, к примеру, нельзя, все растащуть, — я лучше в деревню убегу». — Кузя за обоих ответил — руки по швам:

— Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!

Некульев сел к столу, сказал: — «Ступайте, я тоже остаюсь. Будем отстреливаться. Что останется от меня, разделите поровну, если меня убьют. Кузьма, приди через час, я дам тебе письма, отвезешь». — Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.

Некульев начал писать, медленно:

«Ирине Сергеевне Арсеньевой. — Арина, прости меня. Я был честен — и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером». — —

. . . .

Но он не дописал письма, потому что вдруг вся кожа на теле покрылась гусиными мурашками, все запахло тухлыми кожами, табачным медом, — задрожали руки, зашевелились на голове волосы: пришел страх, ужас. Ночь мутнела, вдалеке лиловел восток, вдалеке рвались снаряды, рядом было тихо. Некульев присел за столом, прислушался, глаза его были сумасшедши; — он на цыпочках побежал к двери: там было тихо; он потушил на столе свечу, замер, крикнул: — «Уйдите!» — тогда бросился к окну, распахнул его, выпрыгнул в него, — побежал безумно, стремительно, в горы. Гусиная кожа все больше обрастала тело, — кольцекудрые волосы, должно быть, седели, шевелясь на голове — —

Кузя утром нашел на столе только эти три строчки начала письма и понес их по адресу — —

О ВОЛЧОНКЕ

Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина возвращалась из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе псы; село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, — поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине — рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась над волчонком, зашептала: — «Милый мой, звереныш, ну, пойди ко мне!..» — Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост, и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волчонка, немигающие, стали особенно чужими, враждебными навсегда. Ирина нашла волчонка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним, как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть, — но навсегда волчонок чувствовал

себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, — они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала — он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами, — «ешь, ешь, голубчик, — ну, ешь же, все равно я не уйду отсюда!» — волчонок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и был неподвижен, не смотрел на миску, — пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задирал вверх ноги, — но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно-внимательных глаза — — Ирина поставила свечу на полу и села против волка на корточки, сказала — говорила: — «милый мой, звереныш, Никитушка, — ну, пойди ко мне, — у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» — Свеча коптила, мигала, — мир был ограничен — мир Ирины и волчонка — спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг на друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волчонка — и волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, — впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей, Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, — на руке, — волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, — и сейчас же по-прежнему сел волчонок в углу: и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно-внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала — не от боли, не от крови стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия — как ни люби волка, он глядит в лес, — Ирина была бессильна пред инстинктом, — вот пред маленьким вонючим пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, — и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ею, — что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том

увале, где отдавалась она Некульеву; — и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волчонка, тем злее был он с ней) больно ударила она волчонка по голове, по глазам, и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастии. Свеча осталась около волчонка — —

Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, — и за окном крикнул подавленный голос:

— Товарищ Арсеньева! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли, — казаки в селе, скорей! — Айда в леса! — и за окном послышался поспешный топот копыт — от села к степи, к лесам — —

...Степь в осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из вороту выехали три казака и слились с остальными, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе-коммунистке, доставшейся им на случайную ночь... А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. — На дворе, на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина — Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета донага. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее — красавицы — было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводской двор.

Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и двор были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь все было разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечой, и смотрели из-за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух, сам себе: — «Убили, что ли? Либо подранили, — и тут громили, значит, черти!» — Потом остановил свое внимание на волчонке, осмотрел, усмехнулся, сказал: — «А говорили, что волчонок,

ччудакии! Это лиса!» — Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, — взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, — взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман и пошел вон из комнаты.

Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не вытknет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками, — о лешем он и не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.

Кузю, должно быть, поразила история с волчонком, потому что он помногу раз рассказывал Егору и Маряше и Катяше: — «А говорили, что волчонок, ччудаки, а это — лиса! У волчонка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть и, заметьте, — уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю». —

По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волчонок оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух — —

Москва, на Тверской.
20 ноября 1927 г.

Рассказы

СТОРОНА НЕНАШИНСКАЯ

I

Бог: перерекламлен, переболтан, никто не верит, стащили за многое с неба на землю, смотрят, как у реки чужого утопленника. — Утопленник посинел: — солнце июльское, но кажется, что утопленнику холодно, точно сорок мороза; — качнули, положили на тачку, и из ушей, изо рта хлынуло зеленое: — и, все же, в июле, в зное, страшновато, потому что вот тут, рядом никогда не понятная *смерть*, — и январский холодище бежит по лопаткам: *смерть!*

Монастырь: мужской, домовитый, с подвалами для капусты, с маковками, как лук для небес. Монахов разогнали вместе с Богом: кто в коммунхоз, кто в конокрады; двое при колокольне, один за нотариуса, другой за медика: нотариальная контора и амбулатория в колокольне, в каморке за сводами. В монашьих кельях — караульная команда, песни, митинги.

Город: вокруг монастыря камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода, мухи; — вот-вот сорвется кто-то с цепи от скуки и побежит благим матом — поюродствовать с горя.

Люди: с горя живут, с горя родились, его величество обыватель, купец, мещанин, — и те, кто не продает и не шьет сапог, кому продают и шьют и кто чем-то мучится, где-то заседает, строит новую Россию, голодает — этот к городу не относится. У купцов, со скуки возникших, для этой скуки такие перины, что мозг должен расплавиться.

Годы: идут.

Год: 1925. —

II

Земотдел снял (и домовито поступил, хорошие) подвалы в монастыре для коммунальной капусты. Десятник Дракин их очищал от мусора, приводил в порядок с помощью двух слободских девок; — девки — слободские, Дракин — жуковский, первый в трактире «Европа» человек. Около все время тискался монашенка (бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе не выспался).

Девки таскали сор, и на дне в подвале (был август, жара) в углу увидели доски, доски подгнили, девки сели отдохнуть, девка вместе с доской провалилась в яму, — Дракин полез осмотреть. В яме были сундуки, в сундуках была церковная утварь, серебро и золото и чудотворные иконы.

Дракин яму вновь завалил, досками уклал, а девкам — по пять золотых, чтобы молчали. Девки купили себе новую обужу-одежу: в земотделе отбоя не было от слободских баб, — просились на службу: хорошо платят в земотделе!

Вот и все для начала.

Прошел год, — то есть: зима, когда надо купцу спать по двенадцати часов, дуреть от сна и постели, от экономии пребывая в лампадках; весна, когда купцу надо чертогонить, чтоб не умереть от тоски по прекрасному (у каждого веснами есть такая тоска) и, чертогоня, чертогонить свою душу; осень, когда надо на зимнюю спячку и еще рассчитаться с летними подлипками и чаями за палисадом.

И купчиха Лардина побила стекла купчихе Посудиной, обе так называемые нэпманши: за мужа. Орала на улице непристойности, потому что у нее был муж, которому она не потакала, а Посудина была женщиной обильной, доброй, муж был безногий, тихий, и жене потакал, и жена ему потакала, когда он пьянствовал с Лардиным.

Стекла были побиты, и Посудина, обсудив вопрос с мужем и Лардиным, подала на Лардину в народный суд — за срам и за колотые стекла.

Лардина на суде держала себя не тихо. Говорила не по сути дела, но в корень вещей. Орала:

— Я женщина, измываться над собой не позволю. Этот безногий черт — чего глядит? — или золото да самогон глаза застят? — Это нешто правильно от жи-

вой жены к чужой бегать? — А то и пусть бегает, не нуждаемся, своего заведем хахаля, — а вот он вещи мои ей таскает, а у меня дети. А то вот скажу суду, как церковное золото продавали в Москву, на какие деньги открыли торговлю, кампанию...

Суд, хотя она только грозилась ему рассказать, дело о золоте воспринял живо.

Судебным следователем был (потом только это бросилось в глаза!) — бывший студент Башкин, то есть родной брат Посудиной. — Лардину отправили в Москву на предмет психического испытания (потом только узналось, что ездила она по адресу, куда сплавлялось золото!) — испытание установило ее сумасшедшей, — бумагу представили судебному следователю и студенту Башкину, и Башкин направил дело к прекращению.

Дело пошло в зимнюю спячку.

Узналось же дело — вот каким путем.

Десятник Дракин попал в тюрьму — по совершенно самостоятельному делу: — по обвинению в «краже с убийством», по обвинению в соучастии. Взяли его прямо из трактира «Европа».

Ну, и вот этот самый Дракин, по русско-щедринскому обычаю, топясь, решил топить и все, что можно, — и рассказал, что там-то и там достали они с купцами (сиречь нэпманы) Лардиным и Посудиным двадцать один фунт золота и шесть пудов серебра, переливали все это из церковной утвари в слитки в бане у Лардина, а продавали — и прямо в Москву и местному еврею Молласу, а остатки спрятаны в бане у Посудина.

Вот и все.

III

Тюрьма: на главном в городе месте, вокруг каменная стена и там белый дом, — и в доме только в первую ночь страшно, потом узнают имя-отчество начальника и имена сторожей и приучиваются, как прятать деньги, спички и карты, как коротать время, и свои появляются клопы будней. В тюрьме коридоры, от них за волчками двери. Утром подметают сор, и поднимается солнце, и идут за кипятком, и шутят, и здороваются, — кто знает, как прошла ночь, каким горем и болями какими? —

Девок, что таскали из подвала сор, выпустили через неделю; неделя в тюрьме у них прошла так: первые

сутки они выли вместе в один голос, а через двое суток арестанты по их — если не инициативе, то безмолвному согласию — и в их пользу — устроили публичный дом, в очередь, в мужской камере. Потом их отпустили за их бестолковость.

Купчих Лардину и Посудину посадили вместе, и они очень сдружились, жили мирно, изводили клопов далматским порошком, а надзиратель Петр Игнатьевич разрешил им иметь при себе керосинку, чтобы готовить самостоятельно от арестантов себе и мужьям и дежурному ключнику. Одеяла они принесли собственные, перин не допустили. Они и донесли на слободских девок, потому что и их мужья стали интересоваться мужской камерой.

В тюрьме было очень тепло, топили хорошо. Еврея Молласа посадили вместе с монахом (долго искали монаха «бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе, точно спросонья»; таких монахов нашли несколько, никак не могли установить, который из них тискался у подвала, и посадили первого попавшегося).

Следователь Башкин, он же некогда студент второго курса юридического факультета, в давние времена перешедший на второй курс по инерции, две недели сидел покойно, потом, вспомнив туманно, что в тюрьмах объявляют голодовки, как требование, плохо поняв, в чем тут дело (ибо рассуждал, что от голодовки выигрывает только тюрьма — меньше идет пищи), — все же объявил голодовку, не ел шесть дней, требовал, чтобы его признали невиновным и отпустили на свободу, к виновным же приплетал явно неподходящих, — но в тюрьме смотрели на дела так же, как и он; и решили: пусть ломает дурака, самому же скучно не есть, а государству доход, не ест — значит, кается!

Потом нескольких из них перерасстреляли, — тут же за тюрьмой, на церковном дворе тюремной церкви.

Годы: идут.

Город: камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода Люлин (и) К°, мухи; вот-вот сорвется пожарная каланча и побежит благим матом — от тоски, от одури, от горя, от смердяковщины — запляшет в народном суде и по всему небу разведет такую матерщину, что небу станет жарко!..

Москва, на Поварской.
Дата утеряна.

СТАРЫЙ ДОМ

I

На террасе в этом доме, на косяке у двери были многие карандашные пометки, с инициалами против каждой пометки и датою; каждый раз (раньше, когда дом не был еще разрушен), когда ремонтировался дом, всегда отдавались распоряжения не закрашивать эти даты, — и до сих пор еще хранятся пометки: «К. М. 12 апр. 61 г.», «К. М. 29 апр. 62 г.,» — каждые две буквы, хранящие за собою имя, с каждым годом шли вверх. Потом на двадцатипятилетие исчезали года и появлялись вновь в самом низу двери. Инициалы К. М. — Катюша Малинина, прабабка Катерина Ивановна, возросли высоко: высока была и стройна в молодости правительница дома Катерина Ивановна. И каждая первая в роде, так случалось, возникая через каждое двадцатипятилетие внизу двери: дорастала до Катерины Ивановны. И последние даты, «Н. К. 11 апр. 924 г.» — достигли зарубок шестьдесят второго года Катерины Ивановны, появившись у пола 7 мая (когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой) тысяча девятьсот восьмого года. Н. К. — Нонна Калитина, последняя в роде, даты ее и зарубины возрастали в годы — 914, 917, 919, 920—924.

Катерина Ивановна, в девичестве Малинина, потом Коршунова («Коршунихой» она и померла), — чтобы роду потом перейти к Калитиным, — Катерина Ивановна померла: двадцать пятого октября старого стиля тысяча девятьсот семнадцатого года.

Этот дом, по плохой памяти того, чьи даты появились на рубеже восьмидесятых и девяностых годов,

был приданым Катерины Ивановны. Жили тогда на Большой Московской (ныне Ленинская), где была торговля; только на лето приезжали сюда, как на дачу, на берег Волги, — совсем же переселились сюда, когда разорились и умер муж Катерины Ивановны, — и пометы на двери делали веснами, когда после зимы впервые выходили на террасу.

Терраса стояла на столбах, высотой сажени в две. Под террасой росли тополи, белые акации и сирень, и на десяток саженей — до забойки, до Волги — шли лесные склады, бревна, восьмерики, двенашники, тес, дрова, — этим жили Коршуновы-Калитины, — и за забойкой была Волга, просторная и вольная каждую весну и в песчаных мелях каждую осень. С террасы в Волгу можно было бросить камнем и выкинуть тоску. И от улицы отгораживали террасу каменные лабазы, в которых раньше хранились соляные — для всего города — запасы, а потом, когда появился керосин, хранился керосин, вначале называвшийся фотогеном, потом фотонафтелем и только в самом конце керосином. Перед четырнадцатым годом, после разорения, в лабазе хранили рогожи и уголь, — придаток к лесной пристани, где торговали пятериками. И, если на дом взглянуть с улицы со взвоза, — потому что дома строятся по ватерпасу, — казалось, что дом стоит покачнувшись: слева земля подходила под окна, справа под рядом этих окон был этаж кладовых и квартиры для сторожей, а лабазы были уже трехэтажные. К двадцать третьему году обвалился лабаз, и было похоже, что дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу — охренный дом — до крови красных кирпичей, да так и замер в своем скачке на дыбах, сдвинувшись, вжавшись в землю для прыжка. Но дом был каменен, громоздок, глух, приданое Катерины Ивановны.

Первое, что сохранилось в памяти об этом доме, — это как умирал дед, муж Катерины Ивановны. Это было в годы, когда пометы этого поколения на дверном косяке только что появились, — и в памяти осталось, что дед умирал медленно, в мучительной болезни, и в полутемном (всегда занавешены были окна) его кабинете удушливо пахло судном красного дерева, похо-

жим на трон деда, — дед не мог ходить, лежал на подушках высоко, и под подушками у него лежали конфеты: вот сладость этих конфет в удушьи судна и осталась навсегда в памяти, — и, если бы где-нибудь в хламе на базаре, встретился этот красного дерева трон судна — через десятилетия — его нельзя было бы не узнать... Но под террасой, на взвозе, на бульварчике наверху так буйно каждую весну цвели белые акации и сирени, — так буйно под террасой и под двенашниками, под забойкой разливалась Волга, несла простор, баржи, пароходы, пароходные гуды, штормы, песни, «дубинушку», людей, бурлаков, мать — русская река. Тогда веснами (весной умирал старик) нельзя было не понять всего буя и вольности земли, вот этой спешащей, дурманящей черемухами, сиренями, акациями, песнями, толпами бурлаков, гудами. По дому ходила, плакала по муже громко и при всех, а в город ездила с зонтиком и в «капоте» (так называлась шляпа) парой в дышлах, учитывала векселя, писала закладные, — а на пристань, к приказчику Михаилу Арсентьевичу, спускалась с тростью — Катерина Ивановна Коршунова-Коршуниха.

Что это: сохранила память, или создали домыслы? — что в этом доме бывал Пугачев, что под домом в подвалах (под домом большие были подвалы, и были они засыпаны) — в подвалах жили разбойники и фальшивомонетчики и шли там подземные ходы. И мальчишкам — им все равно было, что бабушка ездит в государственный банк и в сиротский суд — мальчишкам, тем, чьи даты возникли в девяностых годах, необходимо было раскопать подвалы, самим застревать там так, что их надо было раскапывать, подкарауливать с кухонными ножами ночами (пока не заснут на посту) фальшивомонетчиков у дверей в кладовую и обдумывать, как бы снова изобрести Пугачева и каждому стать у него Хлопушей (память о Пугачеве крепко тогда жила на Волге, и мальчишки ее почерпали от бурлаков на забойке). Катерина Ивановна, возвращаясь из государственного банка, плакала на террасе об умершем муже и о том, что все дела он оставил на нее, — и мальчишек она наказывала — зонтом и тем, что сажа-

ла их в кладовую. В кладовой было темно и сыро, окна были с решетками, и была кладовая о двух этажах; в кладовой лежали сундуки с добрами, в кладовой стояли банки с вареньями и сушеньями, висели весы, на которых можно было качаться, в бочке был квас, — и в кладовой, качаясь на весах, мальчишки не скучали: ели варенье, пили квас; иной раз (от Пасхи) оставались откупоренные, заткнутые хрустальными пробками вина, — тогда пили вина и заедали их цукатами; когда вместе с мальчишками оказывались и девчонки, было плохо — девчонки наказание выполняли обязательно, плакали и не позволяли (под угрозой пожаловаться) есть и пировать. Мальчишек и девчонок было много, потому что у Катерины Ивановны было одиннадцать, а возросло семь человек детей, — и мальчишки держались поодаль от девчонок; но сыновья и дочери Катерины Ивановны разлетелись в те годы по всей России (и даже за границу), слетались только к весне, чтобы оставить на лето своих детей; — и бывало, когда совсем исчезала ребятня из дома, — оставшиеся тогда не различали различия полов, — и память сохранила быль о том, как Борис и Надя травили повариху Андреевну (о Наде — потом еще потому, что это была первая любовь Бориса). Опять была весна, когда красили на улицах дома, когда дымили на перекрестках в городе асфальтом и буйствовала сирень за загородями палисадов, — и Борис с Надеждой порешили стать малярами, красить синькой стены; Борис ходил в коротеньких штанишках, с прорехами с боков, без карманов, — и он отправился промыслить синьки в кухне, где было царствие Андреевны; он синьку с полки взял, но на кухню в этот миг вошла Андреевна; он синьку спрятал в прореху у штанов, но Андреевна потребовала, как требовала бабушка, — «руки показать!» — и синька вывалилась из-под штанины; Андреевна не жила в содружестве с Борисом, она сказала, что бабушке расскажет обо всем. Борис ушел позорно к Наде, которая его поджидала с тазом и водой, где надо было краску разводить. Борис сказал:

— Прогнала — Андреевна, дура.

Бабушки не было дома, — самое ужасное, когда не осуществлен проект, — и вскоре говорил Борис:

— А Андреевну мы отравим. Она страдалица будет и попадет в рай, — ей все равно, а нам — выгода, не будет жаловаться бабушке и синьку мы достанем.

И потому, что бабушка уехала в сиротский суд с приживалкой Дарьей Ермиловной, а слово с делом не расходилось, — вскоре обсуждал Борис конкретно, как лучше отравить Андреевну и убеждал Надежду, что это выгода для всех. У бабушки была темная, строгая спальня со всяческим множеством всяких прекрасных вещей, и была там полочка, где хранились лекарства и яды — от живота, от простуды, от зубной боли, от запоя, от перепоя, от мигреней и нервов (хоть сама Катерина Ивановна «нервов» не признавала, как не признавала, что шар земной есть шар, а она на нем «как вошь на голове»). Борис пробрался в этот шкаф, и план был так задуман: какой-то пузырек с таинственными каплями был опрокинут в сахарницу, а сахар на полке в кухне у Андреевны. Андреевны в тот миг на кухне не было. Борис залез на печку, где спал Иваныч — кучер (какие сказки там рассказывал Иваныч про лошадей и Пугачева, и поговорка у Иваныча: «А ты, ребенок, не замай!»), Борис увлек и Надю на печь, чтоб посмотреть, как будет травиться и помирать Андреевна. Судьба предопределила жизнь Андреевны у печки, и печь ответила Андреевне огнем, вот тем, что разлился по роже у Андреевны синею — почти — волчанкой; Андреевна вошла на кухню, — ребята знали, что Андреевна пьет сто стаканов чаю в сутки; Андреевна взяла коробку с сахаром, открыла, — ребята замерли на печке; Андреевна крикнула сердито:

— Нюшка, дрянь, ты что плеснула мене в сахар?

Нюша — горничная ответила из коридора:

— И вовсе сахара мы вашего не брали.

Тогда Андреевна заворчала себе под нос, из куба в кружку налила кипятку, к столу присела, все ворчала; и взяла огромный кусок сахара, тот как раз, что был обмочен больше всех. Борис на печке замер, у Нади выросли глаза — удвоились от слез. Андреевна сахар понесла ко рту. И тогда заплакала и запищала Надя:

— Андреевна, милая, не ешь, умрешь! — не надо в рай, ты с нами поживи!..

Оторопелою волчанкой рожи Андреевна крикнула зловеще:

— Што-о?

— Мы у бабушки на полке взяли яд, — не ешь, умрешь!.. Ты синьки не давала...

Надя плакалала. Разоблачение по-странному воспринял Борис: он перевалился на спину, задрал к верху ноги и завизжал в блаженстве!.. Случилось так, что в это время из сиротского суда вернулась Катерина Ивановна, — и Надя и Борис, прошед сквозь зонтик бабушки, сидели долго в кладовой: Борис уписывал варенье, а Надя, выполняя наказанье, каялась и плакала...

Там, дома, в тишине больших комнат, затихала усталость дня, только на террасе горели свечи под стеклянными колпаками, и около них вились серые бабочки, и сидела одиноко у самовара — бабушка — Катерина Ивановна, и стояли у двери, как раз там, где даты возрастаний, или кучер Иваныч, или повариха Андреевна. Те, даты коих возрастали сейчас же после «К. М.», отцы, разметались по всей России, инженер, фабрикант, столичный адвокат, — революционер и революционерка — оперная актриса, — два сына ушли под забойку, в галахи, в оборванцы, в горькие пьяницы... Тот, чья дата стала расти третьим уже поколением, Борис, только кусками помнил этот дом, смертью деда, веснами, кладовой, фальшивомонетчиком; — короткие детские штанишки на длинные серые — гимназиста — он сменил в городе, легшем далеко, за тысячу верст отсюда, там, где коротал его отец свои земские дни, полулегальным революционером, всегда забывающим и — при воспоминаниях — строго судящим тот дом на Волге... И вновь приехал этот, теперь в длинных гимназических штанах и в курточке, новой весной, когда буйничала вновь сирень, топились котлы с асфальтом и гудела просторами и бурлаками Волга. И из другого какого-то города, из другого конца бескрайной России приехала туда же — не девочка в платьице в уровень штанишек с двумя косичками, вечный враг заседаний в кладовой, — а подросток с длинными косами, на пол-аршина поднявший свою зарубь на двери в год, в коричневом платьице — гимназистка Надя. Борис ей сказал, что он

социал-демократ, она сказала, что она — эс-эрка, и Борис подарил ей стихи Тана, книжку с золотым тиснением, потом оба они зачитывались «Рудиным» Тургенева, и Борис грустил над Рудиным, а Надя — над Наташей. Они играли в крокет, и бывало, когда им приходилось быть в разных партиях: — случайно ли получалось так, что у Бориса срывался молоток и Надин — противника шар катился на позицию. Они играли во мнения: — и случайно ли Борис всегда угадывал, кого выбирала Надя. Взрослые тогда часто ездили на лодке за город, на Зеленый Остров, там пили молоко, покупали у рыбаков стерлядь, варили на костре уху, пели песни у костра и спорили (тогда, мимо дома, мимо бабки Катерины Ивановны, мимо первой этой детской любви проходил девятьсот пятый год), — Надя и Борис сидели в лодке, разговаривали так, что разговор не остался в памяти, ногами болтали в воде (все разувались, даже взрослые, чтобы ходить по песку), — лодка накренилась, Надя качнулась и оступилась в воду — неглубоко, по колено, — но Борис, не думая, бросился в воду, стал там по пояс, поднял Надю и понес ее на песок: все это было моментально, глаза Нади были удивленны и испуганны, и смотрели в небо, — и Борис не заметил, как приблизил губы свои к щеке Нади, как поцеловал — и понял лишь, когда стал погибать, навсегда, бесповоротно, сгорая от стыда и горечи и раскаяния.

В доме внизу, там, где были лабазы, кладовые, подвалы, в полуземле были еще какие-то, похожие на тюремные, ширококаменные, за решетками — как их назвать, — квартиры, каморы, — там на зимовки становились водоливы, — там в одном из таких сводчатых подвалов жил с семьей столяр Панкрат Иваныч, бастовал и голодал, — у Бориса был рубль, серебряный, подаренный ему вместе с кошельком, бабушкой, чтобы копил, — Борис заказал Панкрату Ивановичу — за рубль — полочку для книг... Борис и Надя сидели в зале, держась за руки, — прошла мимо бабушка Катерина Ивановна; Борис пошел вечером с Надей к забойке посмотреть луну, тишь и Волгу, они сели на бревна, — Боря взял Надину руку, — над забойкой возникла грузная фигура Катерины Ивановны: — и

наутро Надя собиралась ехать к родителям, ей не позволили даже проститься с Борисом, — а бабушка, в зале, под портретами дедов, стуча палкою о пол, говорила Борису непонятные и гнусные слова о кровосмешении, о том, что они не дети, и о том, как прожили она свой век с мужем, с дедом (с тем самым, о котором память сохранила вкус конфет в удушьи его умирания), как никак не жили и только дважды виделись они до свадьбы...

...Потом Борис виделся с Надей — через десять лет, когда оба они носили уже отчества — в Москве, на Николаевском вокзале, где шли толпы людей, лежали чемоданы и приходили и уходили поезда. У Нади на руках был ребенок, она ехала к мужу в дальний город, где он, офицер, раненый лежал в лазарете, — Борис издалека узнал Надежду и увидел, как высока, красива и стройна она. Вуалька на черной шляпе у нее была спущена. Она подняла вуальку, чтобы поцеловаться с родственником, и заговорила о мелочах, о носильщике, о чемодане в багаже, — и тогда Борис услышал, что в голосе ее звучат слова так же, как некогда они звучали у бабки. Они сели на извозчика и поехали по Каланчевской и мимо Красных ворот к Нижегородскому вокзалу.

...Там, на Волге, — каждую весну буйничали Волга, воды, сирени. Дом стоял на взвозе и внизу, под забойкой буйничала человечья толпа, в пудах, штуках, тюках, в визге свистулек, в зное небес, облитых глазурью, как свистульки. Двое сыновей Катерины Ивановны, Петр и Константин, скатились со взвоза туда за забойку, в рвань, в беспробудное пьянство, в водку, которую можно достать там воловьим трудом, коий, надо потратить, чтобы таскать восьмипудовые кули с солью и воловые кожи, — тем соленым трудом, коий, кроме пота и водки и горькой жизни, дает еще воблу; один из них погиб без вести, другой: — о другом присылала полиция, после розысков, справку, что убит он или не убит, но скрывается где-то в Николаеве на юге, ибо пойман был с шайкой воров и грабителей, но отстрелялась шайка, оставив троих неопознанных убитыми? — и Катерина Ивановна не знала, как записать Константина в толстой своей поминальной в коже и с крестом книге: за

здравие или за упокой... Другие дети ее пошли со взвоза — по тогдашним понятиям — в гору: один строил мосты, путеец-инженер, к двадцати семи годам отрастил живот, и худенькая его жена писала в письмах, что изменяет ей с певицами из кафе-шантана, но деньги выдает на месяц аккуратно. Второй, уехав за границу учиться немецкой философии, вывез оттуда патент, открыл под Петербургом химический — красок — завод, был он любимцем Катерины Ивановны, и потихоньку от всех, за долгами и процентами по векселям, посылала ему она «на обзаведение» тыщенки; — его жене, ничего не писала, кроме поздравлений и благодарностей на Рождество и Пасху. Третий стал адвокатом в Москве, по веснам ездил за границу, добряк и шутник, — это его дочь была Надя, — и жена его писала свекрови, что жить так, как живет она, свекровь, некультурно, невозможно питаться так жирно, нужно главным образом вводить в организм белки, — что капиталистическая форма жизни изживает себя и жить рентами с капиталов нечестно, и что они едут в этом году в Карлсбад... Была одна из дочерей у Катерины Ивановны, которая навсегда осталась с ней, выехав только однажды, повенчавшись, к мужу, на два года, чтобы вернуться опаленной и с дочерью на руках, Нонной, — Катерина Ивановна умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. — Последние заметы на косяке двери на террасе — «Н. К.» — Нонна Калитина — возникли у пола 7 мая (когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой) и возрастали в годы — 914, 917, 918, 919 — 924...

II

Годы четырнадцатый и пятнадцатый прошли занавесью перед действом осьмнадцатого, двадцатых годов. В семнадцатом году пошли в переселения все правды и все народы, и манеры жить россиян: страшная гололедная гроза прошла по России, все размела, даже тех, кто жил в старом доме, все развеяла, все переморозила и перегрела в жарах и гололедицах. Катерина Иванов-

на Коршунова умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Тех, кто вторым поколением возрастал после Катерины Ивановны, их разметало по всей земле, не только русской: одни вспоминали старый дом где-то в Алжире; один рассказывал о нем в городе Петербурге, в Америке, Надежда Сергеевна вспоминала безразлично о нем в Благовещенске, в Восточной Сибири, куда занесли ее — ее муж и осколки колчаковских армий. Двадцать первый год, когда в старом городе людоедствовали, был распутьем для этих людей: как из огромных глетчеров, когда они тают, текут ручьи и несут с собой все, что замерзало в них, иной раз так, что замерзшее, консервировавшееся холодом, текло таким, каким оно было вчера; — так из ледников осьмнадцатого — двадцатых потек двадцать первый. Третье после Катерины Ивановны поколение, кроме Надежды, оставшееся в России, не думало о старом доме в старом городе: для него революция не была ледниками, металось по России в делах и строительстве, в проектах дел и в строительстве проектов; и все же, должно быть, годы глетчеров заморозили их так, чтоб в ручьях потом отогрелось и такое, что осталось от доледникового памятования... Годы двадцать второй — четвертый много хранили в себе печали для этих людей; в эти годы сыскивали люди друг друга, и приходили письма, как из-за гроба, из Алжира, из города в Америке Петербурга, написанные одновременно — и на разных языках и по-русски; а у себя надо было сразу перепроверять все, прожитое и изжитое в эти ледниковые годы, чтобы перестраивать — если не наново (потому что в жизни человека новым бывает все только один раз), то к лучшему — —

. . . .

Был апрель тысяча девятьсот двадцать четвертого года, когда сумерки зеленоваты и когда сумерки воруют покой.

И был апрель в деревушке под Москвою, и были сумерки. Тот, чьи даты возникли на косяке двери третьим поколением, написал в эти сумерки:

«Через три-четверти часа я пойду на станцию. Я приехал вечером, и еще с улицы увидел Катюшу.

Мальчишки у околицы выстроились в ряд передо мной, пропустили сквозь свою шпалеру, закричали понятное им. И было очень больно, вот в этих мальчишеских взглядах понялась моя отчужденность от этого дома, где прожиты все эти нелегкие годы, которые имели не одну только горечь. Детей любишь, как землю — и горькою болью было прижать их к груди. Жена рассказала, как Анатолий просил написать мне письмо: проснулся утром и спросил, где папа, потом захотел, потребовал, чтобы папа был дома, сейчас же сказал, чтобы написала письмо, продиктовал:

— Написы, — плиеззай сколей, дологой!..

«Жена заплакала, рассказывая. Анатолий сидел на своем высоком стуле, «Конька-горбунка» он присвоил себе, — Кате пошел Сойер; Анатолий рассматривал картинки, Катерина пошла спать, я подсел на ее кроватку, она рассказывала мне, как 1-го Мая они будут кататься на автомобиле. Анатолий не хотел уходить от меня, — мать ему сказала, чтобы шел — «иначе папа опять уедет», он заплакал и покорно пошел, — «только не уехывай»... И утром, в одной рубашке, голопузый, Анатолий прилез ко мне в постель, лег рядом, вставил в рот незажженную папиросу и «курил». Утром я ходил на село, принес конфет, — детишки встретили на улице: Анатолий взял конфетку и пошел с ней спать...

«Это очень страшно — дети. Их любишь, как землю, как себя, как жизнь. Горькая любовь: у меня сейчас, когда я собираюсь уходить, так же на душе, как должно быть у человека, который захворал раком и может с карандашом в руках высчитать, через сколько недель, часов и дней он умрет... Я хожу по дому, говорю, делаю и ем: не верно это, я здесь чужой... Горькая любовь — дети!..»

Потом этот человек шел полями и лесом, шарил его ветер и закутали туман и тьма, — и там в тумане и мраке пахнуло черемухой и пели соловьи. И из тумана на полустанке выполз поезд. Тогда думалось о — о человеческой лжи и правде, о том, что никогда, никогда человек не может высказать, понять и рассказать себя так, чтоб сам же мог утвердить, что это правда, — а в эти горестные дни расхождения с женой ни он, ни она

не сумели сказать друг другу — правды, такой правды, которая свою беду, как чужую, по пословице, руками, руками бы развела, — правды, которая есть и, если была бы сказана, принесла бы покой и оправдание... — Поезд пошел в туманы, и было хорошо, что в вагоне не зажигали огня.

А Москва, которая от дней в этих последних днях апреля несла уже летнее удушье, встретила огнями, шумом тротуаров, смешками в переулке. Трамвай, тоже возродившийся из ледников, тащил медленно, поскрипывая. Дома отпер французским ключом дверь, — комната пахнула нежилым, книги покрылись пылью, хлеб на окне зачерствел. Пришел швейцар, принес пачку писем, — и среди них было одно, денежное, из того старого города, о котором не думалось, забылось, — звал некий антрепренер прочитать там лекцию. Вспомнилось детство, — подумалось, что за все эти годы ни разу не вспоминалось о том городе и доме, — и вот сейчас неизвестно, кто там, — есть ли там кто из родных, уцелел ли дом. В тот же вечер пошла телеграмма о согласии приехать, а через два дня поезд понес к степям, на Волгу, в старый город.

В поезде, в международном вагоне, который шел по разбитым шпалам и мимо по-ледниковых станций иностранцем, — было просторно, неспешно и одиноко, и в одиночестве приходили мысли о бренности жизни, о проходящести ее, о детях, как земля, — вспоминалось детство, набережная на Волге за забойкой, где подслушаны были разговоры о Пугачеве, те разговоры, мечту о коих воплотил во плоть дней и будней тысяча девятьсот семнадцатый год, — и опять думалось о земле и детях, о годах и пыли лет. За окнами в поезде с каждым десятком верст становилось все степнее и просторнее, — поезд шел в места, где было людоедство: и когда поезд подходил к старому городу, на полустанке мальчишки продавали ландыши, белую акацию и сирень, как в детстве.

Тот, чьи даты сохранились или не сохранились на косяке двери старого дома в этом городе, — не поехал в этот дом, а направился в гостиницу, снял номер и, потому что от гостиницы до старого дома было далеко и

неизвестно, кто там живет, не пошел туда в этот вечер, — ходил по бульварчику и смотрел оттуда на Волгу и на волжские далекие просторы под горой,

Утром он пошел в старый дом. Он шел переулками, где когда-то бегал мальчишкой и где проезжали раньше от набережных громовые ломовые, — теперь здесь было пусто, росла трава из камней, а за палисадами, за полуразрушенными воротами и заборами буйничали сирень и белая акация. Людей здесь не было, и каменные лабазы и амбары для муки стояли без дверей, разинутые и пустые, в прошлогодней белене и полынке. От старого собора (как раз того, около паперти которого валялась пушка Пугачева) широким платом размахнулась Волга, вольная и буйная, как каждую весну. И Волга, как переулки у старого собора, была пустынна, безмолвна, — там, где стояли баржи и толпились тысячи, ничего не было, и забойку размыло водой. А когда он, человек, стал опускаться со взвоза, он услышал, как буйно гудит Волга лягушечьим криком, никогда здесь не слышанным раньше, и где-то рядом, забыв про день, шалый от ночи пел соловей. Мостовая на взвозе разбилась, выветрилась.

А дом стоял, показалось, по-прежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и посыпалась в Волгу; а потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его: не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи пятериков, уступами шедший к Волге, полег залишаевшей собакой, серый, в белене и полыни. С террасы была сорвана крыша, — но от террасы шло отдохновение: сирени и акации под ней разрослись, выползли оттуда на двор, полонили пустое пространство, буйно, по-весеннему весело. У парадного входа ступеньки крылечка были разбиты и парадная дверь повиснула в воздухе, — он, человек, пошел задней лестницей.

И там, на лестнице в холодке встретился старичок, сапожник за своим ремеслом, с валенком в руке.

— Кто здесь живет? — спросил он, пришедший.

Но старичок не успел ответить: навстречу вышла девушка, очень высокая, сильная, с ведром в руке, — и она сразу напомнила и старый портрет Катерины Ива-

новны и Надю, — Надю тогда, ту, в юности. Пришедший понял, как бьется его сердце, — пришедший вспомнил Надю и детство, — пришедший не понимал, кто стоит перед ним. Девушка поставила ведро и, легко через ступеньку, побежала навстречу.

— Здравствуй, — мы тебя давно уже ждем, мы читали афишу, — сказала она, и голос был — Надин и бабушкин. — Где твои вещи, давай, я принесу.

— Нонна, — приехал? — крикнули сверху.

...На террасе уже не было крыши, не было шума за забойкой, — росла, буйствуя под террасой, сирень и еще просторнее шла Волга. В доме — в главных комнатах жил столяр Панкрат Иванович, переселившийся сюда из подвала, — жили сапожник, телефонная барышня, два грузчика, две студентки. И в дальних комнатах, где раньше никто не жил или жили приживалки Катерины Ивановны, домирала дочь Катерины Ивановны, та, которая уезжала из дома только на два года, чтобы опалить любовью свои крылья, — и с ней жила ее дочь, Нонна. На весну Нонна выехала из этих комнат, — устроила себе жилье на лестнице, под террасой, откуда из окна видна лишь Волга, — с ней там жила подруга, ушедшая от своих, от отца и матери. Там у Нонны было занятие и странно, точно это были конструкции театров тех лет: на перегибе лестнице была прикреплена кровать, как птичье гнездо, пол — остальной — шел широкими ступеньками лестницы, амфитеатром, чтобы можно было не иметь стульев; на стенах Нонна повесила портреты, старые, дедов, — бабка Катерина со стены — в молодости — смотрела Нонной, четвертым поколением; Нонниn туалетный столик повиснул над отвесом ступенек; раскрытым лежал том Плеханова, и рядом с ним кастрюля с пшенной кашей...

Та дверь на террасе, где делали пометы возрастаний, и самые эти пометы сохранились. Этот, третье поколение, нашел свои пометы, последнюю свою помету, — стал под нее и стало больно на минуту: он снизился в росте вершка на полтора. Нонна ушла с ведром, — запела вдруг, весело, частушку о «миленке», — вернулась быстро, поставила ведро.

— Меришься? — сказала. — Я тоже каждый год мерюсь. Ну-ка. — Стала к двери, выпрямилась, краса-

вица: и выяснилось, что выросла еще на вершок, — на два вершка обогнала последнюю, шестьдесят второго года заметку Катерины Ивановны, — сказала:

— Самая высокая в роде!

Вошла Ольга, мать Нонны, — Нонна ушла с ведром, запела незнакомую песню. Ольга села к барьеру террасы, тот стал лицом к Волге.

— Хорошо поет Нонна, — сказал он.

— Да, недурно, — учится в консерватории... еще учится в вузе, на фоне, слова-то какие собачьи, — сказала вяло Ольга.

— Как жили?

— Что же, у нас тут людоедство было, говорить не о чем, как жили... Нонка та не унывает, поет, учится, — упорная девушка, в бабушку. И вот чего не пойму: или молодость это, или время такое — вроде коммунистки она — все новое нравится, все на собрания ходит, вот и тебя слушать билет купила... Как жили?.. лучше не поминать. С Нонной я все ругаюсь...

— От бабушки ничего не осталось?

— Ничего... Так рухлядь.

— Старинные вещи были, бисерные вышивки, посуда, утварь, книги, — ничего?

— Ничего, все размело. Нонка вон, что-то подбирает, спроси у нее... Я тебе жаловаться на нее буду, нехорошо она со мной, не слушает, — хорошо еще померла мать, прокляла бы... Комсомолка она, слова-то!..

Вошла Нонна с самоваром, сказала:

— Отмериться-то я отмерилась, а не зарубила. Надо зарубить.

Тот встал и пошел по комнатам, все было и по-старому и по-новому одновременно, — в комнате Катерины Ивановны, где была полочка с ядами, жил сапожник. Снова вернулся на террасу. Ольга говорила Нонне:

— Опять к Панкрашке ходила?..

Нонна сказала:

— Знаешь, с нами теперь живет Панкрат Иваныч, — так мама все ругается со мной, зачем я к нему хожу, не может забыть, что он жил у нас в подвале.

Стало скучно, буденно, вернулись свои мысли, — замолчал и стал пить чай...

...Вечером Нонна приехала за ним на лодке, повезла на острова, говорили о пустяках, Нонна рассказывала о своих делах и знакомых, о экзаменах, о студенческих комкомах, — Волга была просторна и благостна, гребла Нонна.

— Ну, как же студенты смотрят, понимают? какие песни поют?

— Песни поют старые, все по-прежнему о прекрасном, — студенты хорошие ребята, и всем нам приходится все наново строить, все разрушено... Я стараюсь быть все время в университете: дома мертвь, тоска, развал, все в прошлом, шипение, — вот я и хожу по этому дому только к Панкрату Иванычу, о чем он мечтал всю жизнь, приходит. Но я пойду по другому пути. Ты знаешь, как мы жили? — кем я не была, — и торговкой, ездила за мукой и бараниной, и за керосином, по Волге, и на пароходах, и артельно на лодках, бечевой по берегу, — была дровосеком, месяц в году по осени жила в лесу, дрова рубила на зиму, была грузчиком — разгружала вагоны и баржи, — контрабандой носила из-за Волги от немцев муку, туда шла девушкой, оттуда — беременной бабой, и окопы рыла... Жили упорно. Вот эта жизнь меня и научила понимать ее, жизнь: никогда и нигде я не пропаду!.. Вот, я учусь петь, на фоне юридические науки изучаю, — а мне бы командиром парохода быть!.. Мать рушится, как дом... а я могу Волгу переплыть, четыре версты...

— Да, дом разрушился...

— А знаешь, что я чуть-чуть было не сделала? — хотела было прошлой весной взять дом в аренду, у меня есть приятели — артельно отремонтировать его своими руками, конечно, — выгнать всю шантропу прошлогоднюю, как летошний снег, чтобы дом не рушился... Да я его еще возьму. У меня к нему странная привязанность, к дому, — я вот собираю все, что в нем осталось, какие-то старые тряпки, ненужные книги, вещи, — нашла где-то щипцы, которым лет сто, для оправления сальных свечей, берегу их, это остатки какой-то культуры, которой у меня нет... Дом я возьму в свои руки, только торговой пристани там уже не будет, — я все дворы засажу листвою, пусть растет, и так засажу, чтобы ни одной тропинки, запутайся, глаза выколи!..

Нонна зачерпнула за бортом горстью воду, попила из горсти.

— Зачем ты сырую воду? —

— Пустяки, то ли бывает, —

и запела незнакомую песню, очень дремучую.

— Что это ты поешь? —

— А это разбойничья песня, сложена по преданию, при Пугачеве... Я о Пугачеве реферат писала, хороший был человек, люблю таких...

— А ты, должно быть, очень на бабку похожа, только времена другие, бабка бранилась — «уу, бурлак, Пугач!»

...Приехали уже поздно. Нонна привязала лодку, вышли из-под забойки, выпрямилась, поправила голос, — и вдруг опять стало ясно, что это Надя, когда-то давно, вот здесь же на забойке, когда на другой день бабушка говорила о кровосмешении... Нонна пошла вперед, привычно, крепкой походкой, красавица, силачка. Домой не заходили, пошли в гостиницу взять вещи, извозчика нанять Нонна не позволила, понесла чемодан на плечах. У дома во мраке кто-то лежал и хрипел. Нонна поставила чемодан и пошла туда, оттуда послышался голос бабушки:

— Э-эх, негодяй, опять надрызгался? Вставай!

Кто-то завозился во мраке, и Нонна появилась не одна: за шиворот она поддерживала сапожника, что жил в спальной бабки, другой рукой взяла чемодан и опять пошла вперед. Ночь была темна. За террасой Волга лежала простором мрака, безмолвием, чуть-чуть лишь плескалась вода у разбитой забойки.

И вспомнилось: — —

...Каждую весну, когда слетались все в дом к бабушке, пометы на двери росли на четверть вверх, и росла под террасой сирень и буйничала Волга за забойкой. Там, за забойкой на просторе вод, стояли сотни барж, косоушек, рыбниц, росшив, дощаников, пароходов, — под Часовенным взвозом на баржах была ярмарка, и Катерина Ивановна сама водила туда внучат, в прелести ветлужских крашеных деревянных баб, свистулек, ложек, чашек, коньков (тех самых по Клюеву — «на кровле конек есть знак молчаливый, что путь наш да-

лек!»). От барж рыбьими усами шли канаты якорей, к забойкам от барж и росшив положены были сходни, на которых так хорошо было качаться, — и тысячи людей — бурлаков, голахов, баб, — таскали на спинах тюки с мукою, лыком, пеньками, — крепко пахло там воблой и волжской водой и просторами. Под забойкой бабушки стояли ветлужские баржи с лесом и дровами, таскали голахи и бабы на носилках и катили на тачках один за другим, вереницей — дрова на берег, строили на берегу из них пятерики, целые фантастические домины, где хорошо и с риском быть заваленным, прятались, играя в прятки. Под забойкой все вместе кричали лягушками и визжали, мужчины и женщины, купаясь в мутной воде, и, выкупавшись, обсыхая, ели воблу, поколотив ей сначала по тумбе иль камню. В пивных на берегу и в лавчонках торговали бубликами и — пиво ведь горькое — кислыми щами. На забойке, под террасой буйничала сирень. И вот над этой блестящей водой, над комнями взвозов, над домами и лачугами, над тысячной толпой полуазиатского города — каждое утро поднималось солнце, палящее, золотое, которое раскрашивало небо точно такою же глазурью, какой были залиты глиняные ветлужские свистульки, похожие на петушков. Тогда вместе с солнцем там, под забойками, возникал человеческий гул, кричали грузчики, перекрикивали их разносчики и торговки:

— ...сбитень, сбииитень холааодныай!.. — луку, луку зеленогооо!.. — гудели пароходы и кричали истошно с барж непонятное в рупоры. — А ночами, когда стихала вода и небо размалевывалось по-новому, сначала медленной красной зарей, а потом звездами, — за забойками, в дровах, на земле отдыхали люди и говорили — говорили, каким разбоем привалило счастье денежное Рукавишниковым и Бугрову, рассказывали сказки, говорили — об Имельяне Иваныче Пугачеве (пушка Пугачева валялась рядом на горе у Старого Собора), и казалось иной раз, что Пугачев, Имельян Иваныч, был — вот совсем недавно, ну в позапрошлом годе, — вон там, за Соколовой горой он объявился, позвал пристанского старосту и сказал ему:

— Признаешь ты меня, Иван Сидоров, или нет? —

— Не приходилось мне тебя видеть, батюшка, никак не признаю, — говорит Иван Сидоров.

А Имельян Иваныч тогда — бумагу из кармана и говорит:

— А есть я убиенный царь — император Петр III, — и в бумаге о том написано.

Ну, Иван Сидоров первым делом — в ноги, потом ручку целует и говорит:

— Признал, признал, батюшка, — глупость моя, старость, слеп стал. —

Ну, Имельян Иваныч первым делом говорит:

— Встань на ноги, Иван Сидоров, не подобно трудящему человеку в ногах валяться, —

а потом:

— А теперь сделай ты мне реляцию, кто здесь идет против трудящего народа? —

— Барин у нас, помещик, против трудящего народа, — говорит Иван Сидоров. — Живет он в своем дому и кровь нашу пьет.

— Подать сюда барина, — говорит Имельян Иваныч.

И барина привели, плачет барин, не охота с жизнью расставаться, сладка, вишь, жизнь была. А Имельян Иваныч ему:

— Жалко мне тебя вешать, потому жизнь в тебе все-таки человечья, а ничего не поделаешь, приходится, как ты — барин и помещик. — Сдвинул брови Имельян Иваныч, взглянул соколом, да как крикнет: — Господа енералы, вздернуть негодяя на паршивой осине!..

Поднимался иной раз месяц в ночи, туманил просторы волжские, холодил волжской вольной водой, — с горы сползал запах белой акации, роса пробирала лопатки, и страшновато тогда было подниматься через кубы дров, затаившие в себе дневное тепло, потому что думалось, что — вот сейчас придет Имельян Иваныч, станет и скажет...

...Вошла Нонна и села на барьер, скрестила руки. И тогда тот, чьи даты возникли на этой террасе тридцать лет тому назад, вдруг почуял, что к нему пришла та правда, которая все разводит, как пословица, руками,

облегчающая правда: он понял, что жива жизнь жизнью, землей, тем, что каждую весну цветет земля и не может не цвести, и будет цвести, пока есть жизнь — и острою болью захотелось, чтобы здесь на террасе — именно на этой террасе, в забытом городе, в забытом доме, оторванные жизнью, и все же родные, единокровные, — стали его дочь Катюша и сын Анатолий, стали к косяку двери и отмерились бы, и мерились бы так, пока не возрастут, — пусть не будет его, пусть идет новая жизнь!.. И тогда стало на минуту, в этой бодрой отреченченской радости, — больно, потому что все проходит, все протекает.

Под террасой, как и при бабке, буйничала сирень, пахнула так, что могла заболеть голова, — и к запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу выливали помои.

8 июля 1924.
Сторожка в Шихановском лесничестве на Волге.

ЛЕДОХОД

Река разлилась ночью, с вечера думали, что можно еще будет перейти ее на рассвете, по заморозку. Но заморозка не было, стемнело быстро, звезд не появилось, воздух был влажен и к полночи пошел дождь, — и тогда слышно было, как закряхтели, завозились, поползли во мраке льды. В избах спали плохо, и на берегу скоро возникли молчаливые люди, слушали ледоход, — прислушивались, должно быть, к себе, к тому, что в ледоходы людям всегда не по себе, и ледяные панцири рек созвучествуют несуществующим и все же ощутимым панцирям, кои как-то в поте, буднях и смутности сковывают души человечьи. И быт есть везде.

Наутро стали видны: туман, зеленая муть воды, льды на воде, уже освобожденные, родившиеся к смерти, поплывшие в море. На бурых холмиках над рекой разметался городишко, точно такой же, как Миргород у Гоголя, и свиньи по чернозему сползали к воде. Повстанцы водили лошадей на водопой. Хатки грелись в туманном тепле, — и слышнее всего были собаки и петухи, — собаки, которые еще не свыклись с пришедшими.

Идти возможности не было — надо было перековать льды, те, что распотрошило ледоходными льдами. Был дан приказ стать здесь на отдых.

Это была — одна сторона. И такой же приказ дан был — там, за рекой, в займищах. И в заполдни на соборной площади на церковной паперти — перед папертью на просохшем месте играли в бабки и городки — пели солдаты песни, тягучие и сиротливые, как русские разливы — о том, как «засвистали козаченьки» и о том, как «вниз по матушке по Волге».

Вечер пришел собачьим лаем, дымом в хатах, редкими выстрелами на реке, сейчас же за хатами (это стрелки подкарауливали уток).

Ночь хрустела льдинками под ногами и звездами в небе, месяц поднялся ледяной, — и лай собачий тоже казался хрупким, как лед. В ночи долго не стихали песни, ползали по городку и по займищам. У собора на виселице за ночь повисли двое, с высунутыми языками, — толпа была невелика, когда их вешали.

К ночи батько был пьян. Из штаба, где он был ввечеру, он перешел в гимназию, где жил. По гимназическим коридорам валялась всяческая военная рухлядь, — седла, винтовки, конские потники, шинели, и пахло здесь конюшней больше, чем людьми. Людей было мало — все ушли слушать, как идет, командует весна, когда надо зимние панцири, сломанные ледоходными, перековывать. Батько зажег свечу в учительской, — по стенам были книги, на столе четверть водки; на походной кровати спала жена, вон та, что подобралась, прибилась к отряду неделю назад, страшная женщина, красавица, — на полу около нее валялись ее галифе, гимнастерка и сапоги, а из-под подушки свешивались ремешки от кольта. Батько сел к столу, опустил голову на руки, задумался — думал вот об этой женщине, имени которой он не знал наверное, которая звала себя Марусей, анархистка. Она пришла перед боем, попросила коня и была в строю первой, а потом расстреливала пленных спокойно, не спеша, деловито, как не каждый мужчина. А ночью она пожелала быть женою батько, и батько никогда не видал более неистовой женщины.

Теперь она командовала полком, и полк был отчаяннейший... Батько взглянул на нее тоскливо, длинно — встал и растворил окно. Вошел вестовой, сказал.

— Поймали двух евреев из подозрительных. Что прикажешь?

Батько ответил:

— Вешать надо жидов! — Помолчал. — Вешать надо эту нацию!.. Ты, братушка, налей нам по стаканчику, — спирт заводский... И еще надо вешать баб!

Выпили по стакану спирта, и вестовой ушел. За окном стояли тополи, небо было до неестественности синим. Рядом выла собака, и рядом же пели песню. Батько налил еще стакан, выпил. И тогда на него напа-

ло веселье, он взял гармошку и пошел на улицу. У полисада толпились повстанцы, — батько раздул меха гармоньи и засеменил вкруг иноходью, пиликнул на гармонике залихватски, тряхнул кудрями, — ему навстречу выплыл партнер по плясу. Запели «Яблочко»... Батько поглядывал вокруг самодовольно и наивно. Повстанцы благоговели.

Ходили долго по улицам с песнями и гармошкой, разыскивали спирта, — хоть батько и не пил больше, пьяный от ночи. И ночь поистине была прекрасна, когда неминуемо каждый должен чувствовать себя весенним и ледоходным. Река с каждым часом прибывала на аршины, уходила из берегов, шумела деловито рыболовами, перелетными птицами, рыбьим плеском. У реки батько плакал, втаптывал в землю свою шапку, бил себя в грудь и орал о прекрасной жизни, об анархизме, о «щирой Украине», о добрых запорожских сечевых временах.

К утру в городке начался еврейский погром, всегда страшный тем, что евреи, собираясь сотнями, начинали выть страшнее сотни собак, когда собаки воют на луну, и гнусной традиционностью еврейских перин, застилающих пухом по ветру улицы.

Батько вернулся домой на рассвете. Жена сидела за столом, ноги на стул, — писала поспешно что-то в тетрадь, брови были сжаты жадно. Батько, как требовали запорожские традиции, свалился спать на потник, подсунув под голову свой же полушубок.

Вскоре пришли часовые, сказали, что явился иностранец, хочет говорить с батько. Маруся приказала ввести. В этих ростепельных полях, в проселках, в бунтах, в деревенской вольнице — непонятно как мог возникнуть американец, в кепи, в круглых очках, в широком сером пальто, — и желтые его ботинки блистали, точно они были только что с магазинного прилавка. Но иностранец этот был невелик ростом, неказист, смугл и сразу напоминал какого-то очень знакомого, хоть и редкого зверька. Он снял кепи и шаркнул ногой.

— Мне надо батько по очень важному делу, — сказал он. Маруся оторвалась от дневника, взглянула строго, присмотрелась внимательно, взгляд ее стал сосредо-

точенным. Она ответила нескоро, вновь опуская голову к дневнику:

— Батько работал ночь, он спит. Присядь, братушка. — Иностранец спокойно сел. Молчали долго. Тогда Маруся спросила, не отрываясь от дневника:

— Вам по какому делу? Вы откуда?

— Из Америки.

— How do you do? — спросила по-английски Маруся.

— Thank you very much. Вы говорите по-английски?

— Да. Вы по какому делу?

— Я анархист из Америки, из Нью-Йорка. Мне очень важно повидать батько. У меня научная работа.

— Это еще что за работа? — спросил батько, поднимая голову с тулупа. — Марья, дай квасу!

— Вы проснулись, батько? Вы мне очень нужны. Я ради вас приехал из Америки, из Нью-Йорка, — сказал иностранец. — Я русский эмигрант, моя фамилия — Волин. Я...

Батько потянулся, зевнул, сказал скучливо:

— Докладывай, в чем твое дело. Выпей водки.

— Спасибо, я не пью. Мое дело должно заинтересовать вас...

— Бабе можно остаться?

— Да, пожалуйста... Я уже отвык говорить по-русски, а она говорит по-аглицки, — она поможет.

— Ты по-английски говоришь? — спросил удивленно батько.

— Говорю, — нехотя ответила Маруся.

— Ну, говори твое дело, братушка.

— Я, видите ли... — Но то, что говорил и делал анархист Волин... будет концом этого рассказа о половодьях...

Бывают по веснам утра: солнце во мгле и нет холода после ночи, только сырость, туманность, над миром тишина, тревожный полусон, мир притих, и только грачи кричат; это ночь (и зима) борются с днем (и весной) и стали на бивак в борении. Такая пустынность в мире! Этими биваками побеждает тот, кто идет вперед, — и все же в такие утра бывает б е с п о м о щ н о, нет другого слова: кто ты? что ты? зачем?

...День шел лентяем, пословицей: «весенняя пора, поел да и со двора». И скоту и людям так приятно

было, в лености, неспешности, месить сапогами грязь. Потом петухи откричали заполденный уповод, помычали к вечернему водопою и весенней воле коровы, — и зачертили к вечеру небо вот-вот только что прилетевшие стрижи. Воздух, время и мысли развеивало далеко за околицы. И за околицей стоял красноармеец, тульский, степенный, в мочальной бороденке. Он стоял на часах. И когда из-за земли пополз ледяной осколок месяца, красноармеец стал изредка постреливать в него из винтовки, долго и пристально целясь. Мимо из поля прошел другой красноармеец, он сказал:

— Ты что, товарищ, расстреливаешь народное достояние?

Первый ответил:

— А это я, товарищ, панику пущаю!.. — и опять нацелился в месяц.

Днем по селу развешивали вывески — волисполком, штаб энной дивизии, на школе — «изба-читальня»; на многих воротах висели приказы, воззвания и еще афиши о большом митинге-концерте. Рано утром к штабу приваливала толпа — вот этих, местных, не туляков и рязанцев, в папахах, иные с чубами, безбородых и длинноусых. Они заламывали шапки на затылки, потрясали винтовками. Их оратор кричал комиссару дивизии:

— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печенка, гроб)!.. Не жалам!..

Тогда заматерщинила вся эта сотня людей, залилась сизой кровью рож, запотела, загрудилась быками у боенных ворот. Подъехала тачанка, оратор влез на нее, усатый, немолодой, злоборожий (хоть в обыденках, должно быть, добрейший человек), махал своей овчинной шапкой — и, если б был здесь посторонний зритель, он усмотрел бы в этих людях, в их лицах, одеждах и рожах, — хороший материал к картине из времен Запорожской Сечи...

Опять кричал оратор:

— Мы на фронтах кровь проливали (мать, мать, мать), — а оны в вагонах ездили (мать, мать, бог, печенка, гроб)... Не жалам!..

И тогда рядом с ним возник человек, молодой, — в красноармейском шлеме, с револьвером в руках, — у

этого лицо было крепко обтянуто кожей, глаза были острые и дерзкие и, должно быть, он был интеллигент. И он сразу начал, — возведя в небывалейшую степень, — с селезенки, гроба, бога, оставив мать, как малодействующее средство:

... — Гроб, печенка, ствол, слон, — вы проливали кровь, а мы в поездах ездили, гроб, ствол, слон? — вы, гроб, проливали, ствол, кровь, слон!..

Усатый посмотрел удивленно, сотня смолкла в восхищении, — рожа усатого стала добреть, рожа усатого стала восхищаться, усатый опустил в восхищении шапку, — молодой все навинчивал гробы, слоны, стволы, усатый стал пригибаться, стал сползать в восхищении на корточки. И вот усатый выпрямился, шапку бросив в тачанку, — усатый ударил себя в грудь, и усатый сказал краткую речь:

— Братушки, — он — наш мать-перемать!.. Братушки, возьмем его к себе в комиссары?... Братушки, он — наш!..

Вскоре сотня ушла к своему куреню со своим комиссаром, приходившая потому, что она не желала коммуниста-комиссара и ушедшая потому, что коммунист-комиссар перематерщинил ее командира... А этот комиссар, вернувшись к вечеру от своего куреня в штаб к товарищам, первым делом прошел в сортир, чтобы, при помощи двух пальцев, вытошнить из себя самогон; потом он лег спать, не заметив, должно быть, весны, — и лицо его — юношеское — за момент до сна состарилось в страшную боль...

День шел лентяем.

В сумерки был митинг-концерт и трубы играли Интернационал, а потом от него в переулки потащилось «Яблочко». К вечеру привезли газеты, центральные «Известия», — к вечеру, пообвыкшие уже ко всему, девки собрались на холме у реки. В школе была изба-читальня; дверь на блоке охрипла от суматохи, и люди входили и уходили, — в школе навсегда укрепились крепкие духи махорки, пота, овчины, и дым стоял столбом.

У двери на полу сидели трое: один объяснял другим фокус, как, имея рублевку (он и демонстрировал

серебряной рублевкой) и имея обязательство отдать ее вот сейчас, все же с этой рублевкой остаться? — выяснилось так, — он говорил:

— Вот у меня, то-есть, цалкаш, а я его должен отдать тебе, потому как я у тебя занимал. А ты должен отдать ему, как ты у него занимал. А он должен мне цалковый, как занимал у меня. Вот, значит, я никому ничего не плачу, а цалковый остается у меня!

Собеседники его не поняли; сидели они на полу, чуть в сторонке от прохода, на корточках, тихо, никуда не спешили, и лица у них были скучливы. Фокусник начал снова, экспериментально:

— Вот руб. Я его тебе должон. Отдаю. (Отдал соседу)... Теперь ты должен ему, — отдай (тот отдал недоверчиво). Теперь он должен мне, я ему давал в заем, — отдай мне. (Целковый вернулся к фокуснику.) И выходит — никому я теперь не должен, а цалкаш у меня.

Все трое внимательно и удивленно посмотрели на старый, стертый рубль и громко захохотали. Потом смолкли и стали закручивать собачки.

На партах играли в шашки и в домино, — это домино возникло от тех времен, когда красноармейцы брали греческие хутора и город Одессу. Над каждой парой игроков свисало по десятку наблюдателей, молчаливых и внимательных. И тут же на партах, мусоля карандаши, писали письма на родину, — один склонился над другим и диктовал: «Во-первых строках моего письма кланяюсь низко»... и потом, дальше: «...мы, красные орлы, все гоняемся за бандитами, все никак не можем изловить, все население здесь бандиты. В пятницу на той неделе мы стали на ночовку в селе Х, всю ночь переночевали, а утром узнали, что в соседней хате стоял бандитский штаб, так всю ночь вместе и ночевали, а утром пошла пальба, не приведи»... — красноармеец хотел было продиктовать: не приведи Бог, но замялся, сказал: Постой, погоди... — подумал, спросил: как там написано? «не приведи?»... Пиши: «не приведи Совласть... Как начали они палять из-за углов, ну и мы тоже. Я находился на дворе, чистил лошадь, — схватил винтовку, вижу — бежит один за пунькой, — приложился — бац, подбежал бандит, и на нем трое часов,

одни оставил себе, золотые, а пару сдал в народное достояние... И еще при нем пулеметная лента с патронами, а в кармане бутылка самогону... Самогону здесь сколько хочешь».

На помостках в другом конце класса, которые служили всем властям театральными и митинговыми подмостками, где теперь повисли красные знамена и плакаты, стоял древний рояль; к роялю подошел паренек и заиграл на нем о свадьбе в доме Шмеерзона, — был, должно быть, самоучка и был, должно быть, очень талантлив. Запел, — запели: «его жена, курьерша финотдела, вся разрядилась в пух и прах. Фату мешковую надела и деревяшки на ногах»...

Уже стемнело, в окна шел зеленый свет, мутнело томительно, и махорка совсем пережгла воздух. Вошел комиссар и крикнул громко:

— Товарищи, в этом классе начинается урок грамоты, — учеников прошу остаться, а остальных выйти вон. Потом будет устная газета. Иные пошли к двери, иные сели прямо у школы на землю, — в классе расселись по партам мужики, иные с бородами, поставили сзади себя винтовки, вынули из-за пазух замусоленные тетради, буквари — на парту по одному — роздал комиссар. Махорка погасла и стала покойным столбом. Комиссар сказал:

— Приступаем, товарищи! Что я написал на доске?

И класс полсотней мужичьих глоток прочитал:

— Ежжж!!..

У школы наружи сидел на земле паренек лет двадцати двух, добродушнорожий, лицо его было расстроено, он ковырял прутиком землю и бессмысленно матерщинил одно и то же:

— Мать-мать-мать-мать...

Сосед спросил:

— Ты што блажишь?

Тот ответил:

— Да-а, — блажишь!.. блажишь, тоже!.. Я неделю в разведках таскался, от дивизии отстал, а учитель теперь не пускает меня в грамоту на занятия, говорит, — отстал ты от группы... Бла-ажишь!.. — и он обиженно стал вновь ковырять землю.

День ушел, отцвел линялыми полотнами, повиснул на несколько минут многажды смытой плахтой на западе — и хаты засветились лучинами, а у тачанок, у пушек и у пулеметов заполыхали костры. Чаще стали слышны выстрелы, должно быть, тех, кто «пущал панику».

Вечером привезли центральные «Известия», — они доходили сюда редко, иногда их не было месяцами, — и многие десятки людских куч собрались — под лучиной, у костров, в штабе и школе под передвижной, стащенной с сахарного завода, динамо, даже под фонарями автомобилей, — чтобы прочесть, скороговоркой, по складам, что думает Стеклов о французах, что думает Луначарский о театре, — какой формулой, вот, совсем оторванной от этих сельских, красноармейских будней, мчит планета РСФСР, в газете точная, как сказка и — как пулемет. Газета кидала всему миру — и миру этих солдат — головни вер, пусть эти веры оторваны, как всякая вера, вот от той земли, где стоят эти тачанки...

А ночью (нельзя спать, когда разбережена птичьим перелетом душа, когда развеивает землю воздух и ветер весенние) — ночью многие ходили смотреть человека, вот уже двадцать лет прикованного на цепи в хате к стене, в том месте, где всегда на зиму ставят телят. В избу входили не спрашиваясь, толпой, несли на ногах грязь; внимательно — сквозь лучинный свет — смотрели за печку, на человека с цепями на руках. У светца, оправляя лучину, стояла девка, молодая, покойная, она поясняла голосом не только покойным, но и довольным.

Человек тот, что был на цепи, весь оброс волосами, сидел на корточках, под ним была солома. Только потом становилось страшновато, что человек одет, как ребенок, без штанов, — что глаза его прекрасны и сумасшедши, что изо рта у него течет, по-детски, нехорошая слюна. Девка говорила одно и то же:

— Они мой батюшка... Они то ничего, совсем как умные, — а то находит на них, находит, находит, находит, — бегают ото всех, огнем балуются и кур, петухов, телят там режут, режут и смотрят, как кровь течет, — а как побежит петух без головы — нет им большего удо-

вольствия. Два раза село поджигали, у всех на глазах, — ну общество порешило его посадить на цепь, — как я родилась, он уж сидел...

На этом месте ее рассказа каждый раз острили, что-нибудь такое:

— Эге, матка, значит, к нему под цеп лазила, — и девка откликалась спокойно:

— Матушка моя умерли, когда мне десять лет было. С батюшкой они дружно жили.

Человек тот, что был на цепи, давно, должно быть, утерял все человеческое; он сучил под себя ноги, прекрасными своими глазами смотрел бессмысленно и безразлично. Те, что пришли его смотреть, осматривали внимательно, серьезно, не спеша, как рассматривают новую лошадь, или плуг, прежде чем составить о них мнение, — потом молча уходили.

...Над землей проходила ночь, шла, как день, лентяем, — и была добродетельна, как задремавшая в возу на ярмарке девка — хорошая будет ярмарка! Лаяли над селом собаки, не видно было в темноте протоптанных троп, и тонула нога сладостно и неизбытно в грязи, как резина. Месяц не был уже ледяным, не был леденцом и стал простою медовою сладостью: та добродетельная девка пред ярмаркой должна уметь хорошо смеяться!..

ВТОРАЯ ЧАСТЬ РАССКАЗА, СМЕЩАЮЩАЯ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ РАССКАЗА

...Из Босфора корабль вышел с тем расчетом, чтобы принять лоцмана (пилота по-английски) на рассвете и рано утром прийти в порт Одесса. У Золотого Рога с корабля сошли все, кто был в котелках, французы и англичане, — в котелке на корабле остался один американец, в круглых очках, заморенный, похожий на ученого и обезьяну одновременно (что, быть может, потому, что все ученые всегда изобретают обезьян, прародивших человека, что, конечно, прекрасно). Корабль шел со спущенным флагом и без огней, капитан не сходил с мостика, не околачивался в фюмерне и мало пил вис-

ки. Матросы на кубрике собирались кучками, как грачи в России перед отлетом, толковали весело о новой земле, где они побродят, покутят и повеселятся. День был синь, просторен, и море и берега изливали изумруды, — а корабль был — вот эти сталь, дерево, канаты, краски, свинченные и ползучие по воде, — был, как всегда, будничен и сер, и безразличен, куда ему ни идти и где ему ни грузиться и ни ремонтироваться. А к вечеру похолодало, сначала показались звезды, а потом облака, — а потом к заполночи на корабле загудела сирена, — от воды за бортом струйками, а вдали полчищами стариков поползли туманы. И лотом измерили глубину морскую, чтобы знать, на каких цепях кинуть якоря. Имя кораблю «Speranza». Ни одного русского на корабле не было.

Вечером на кубрике собрались матросы, в мрак полетели искры их трубок, в матросских — с кубрика — разговорах — о той таинственной земле, о прекрасной земле, что лежала в пяти часах хода отсюда, — там в тумане, о прекрасной земле, где революция. Потом матросы говорили о любви и о любовях всего мира, и когда говорили, каждый ощущал свой кошелек с шиллингами в правом кармане брюк. Матросы сожалели, что никто из них не говорил по-русски.

В фюмерне, как все дни, сидел над бумагами американец, читал, писал и чертил диаграммы, — и потому что шепотом — никто не подозревал, что говорил он по-русски. Он был молчалив, он, когда не сидел над бумагами, подолгу стоял на спардеке, смотрел вперед и смотрел так, что глаза его ничего не видели, — тогда голова его влезала в плечи, он боялся, что мысли его задавят, и черные английские усики бегали, как тараканы, в несказанных речах.

В туман американец пришел на кубрик. Матросы предложили ему сесть на канаты, это было лучшим местом. Матросы лежали на железе палубы. Матрос говорил:

— Мне надо знать только несколько слов — «сколько стоит», «любовь», «здравствуйте», «как пройти», «спасибо» — и я чувствую себя в чужой стране, как на родине. Я имею все — любовь, путь, и я вежлив. Но в

России я должен еще знать слово — «брат», «братья»... — Матрос говорил по-английски.

И американец сказал:

— Я могу научить вас этим словам. Я умею говорить по-русски, о, я хорошо знаю по-русски... И вот через часы, когда растает туман, на холме мы увидим прекрасный город. И нас встретит красный маяк, он все время умирает, умирает и возрождается вновь. Прекрасно... Слушайте о России, — она огромна, она победит мир, в ней свобода и в ней живут мужики, — это совсем не то, что наши американские квакеры. И любовь там — слово любовь — это самопожертвование, это подвиг, это страдание. Надо ставить опыты, опыты анархизма, чтобы ими взорвать мир... — американец заговорил надолго, первый раз на корабле, матросы-джентльмены слушали не перебивая; но когда американец задержался на минуту, матрос сказал вежливо:

— А позвольте тогда узнать слово, которым определяется та любовь, ну, словом, в публичном доме. Вы должно быть, русский?

Американец поднялся с канатов, голова его ушла в пальто, он молча пошел к лесенке с кубрика, поспешно на ходу сказал:

— Такого слова на русском языке нет! В России за любовь убивают и умирают!

...Корабль простоял полсуток в тумане, и был закат дня, когда отгремели якорями цепи и стихла сирена. Корабль прогудел, радио кинуло весть о широте и долготах, капитан вышел на свой мостик. Американец сидел за бумагами, он не спал ночи.

И не перед рассветом, а к ночи пришел катер с лоцманом, — и не в рассвет, а ночью пришел корабль в порт Одесса. И долгие часы мигал кораблю красный огонь маяка, умирающий, умирающий и возгорающийся вновь, бередящий, непокойный в своем покойствии. И рассвет встретил корабль и матросов — портом и тихой провинцией, как (матросы не знали этого городка) — как Стерлитамак Симбирской губернии в досках своих тротуаров.

Только этот корабль, да еще итальянец, стояли на рейде. Потом их отвели к молу под Николаевским бульваром, справа над ними стали колонны Воронцов-

ского дворца, где коротал одесские дни Пушкин, — простор Николаевской лестницы шел к памятнику Ришелье и в город, слева город построился зелеными домами, суровыми, как бастионы. И над всем веял Стерлитамак, пустыня, мертвь, спящее забвение.

Вскоре к кораблю пришли биндюжники, какие-то пятые, седьмые и двадцать третьи «руки», — люди в штанах и рубахах из мешков всех национальностей и все красавцы и силачи на подбор. Кто-то покатил футбол, крепко прокатилась первая батарея матерщины, — потом стали крепить сходни и вокруг корабля поставили солдат в зеленых фуражках войск ГПУ (все же в городе в этот день появились английские сигареты). Американец на извозчике проехал в Лондонскую гостиницу, в тишину гулких коридоров и окон на море в туманной мгле, на маяк, на мертвый порт, — американцу отвели номер 14, — где останавливались многие министры, где провела несколько дней и ночей прекраснейшая в мире женщина — Айседора Дункан, испивавшая свою жизнь простою, почти самогонною русскою водкой, мировая актриса, которая всюду возила с собой граммофон и, одна, днями плясала под этот граммофон... Американец подошел к окну и долго смотрел на маяк и море, потом он позвонил, потребовал теплой воды, стал бриться, о чае он забыл.

Вскоре он вышел из дома, прошел на Пушкинскую улицу (мельком взглянул на памятник Пушкину), мимо оперы он вышел на Ришельевскую, потом на Дерибасовскую, — у милиционера он спросил, не знает ли он, где можно найти старика, музееведа и этнографа и потомка основателя Одессы, генерала Дерибаса; милиционер не знал; тогда он спросил (все на чистом русском языке), где адресный стол; милиционер не знал, посмотрел косо и сказал:

— Отделение милиции вот тут за углом!..

...Матросы со «Speranz'ы» утром же ушли в город. На Греческой улице они заходили в кафе, где греки молчали и сражались в домино с внимательностью шахматистов и где был слышен лишь шум костей — костяной мертвецкий шум, — и где — оттого, что молчали люди и потрескивали кости — возникали в памя-

ти скелеты: — матросы ушли отсюда скоро. На греческом базаре рядом, у развалившегося дома с колоннами, на камне греясь под солнцем, сидели оборванцы и пили водку, — один из оборванцев заговорил по-английски: матросы разбились на две группы, и трое остались с оборванцами. Оказалось, что в этом разваленном доме с колоннами ютились проститутки, и эти трое матросов заходили туда на четверть часа. Была пятница. После этого дома с колоннами матросы с оборванцами пошли на Привоз (так называется в Одессе базар). Там они видели страшнейшее и отвратительнейшее из всего, что можно видеть в мире. На этом грязном базаре они зашли в резню кашерной птицы, — туда, где к еврейской субботе режут кур; два библейских еврея, один рыжий и другой черный, с бородами пророков, на ларях потрошили кур, свет шел сверху, текла вода и куриная кровь была не красной, а розовой; но страшны были не эти евреи. Что Гойя! — там, куда проникал только полусвет, на ящиках сидели еврейские старухи, которые щипали кур, — свет был серым, старухи были страшны старостью, вокруг старух валялись куры и куриный пух; старухи вымокли в куриной крови, они привыкли к крови так же, должно быть, как живописец к кра́ске, — кровь промочила их одежды, и на одежды налипнул на руки, на лицо около глаз и губ, и под носом, где старухи касались лица, пух на кровь; их одежды уже не гнулись от высохшей крови и стояли колобом; старухи, чтобы согреться, жгли куриные перья и от них пахло кровью, куриным пометом и горелыми перьями, — и около них был полумрак, серый и зловонный. Старухи очень проворно щипали кур, — и около них дожидались этих кур еврейки в шляпках. У них шел свой разговор, и старухи называли евреек в шляпках «мадамами», «богатыми мадамами», которые не забывают бедных старух и которых не забудет еврейский бог. Куры ободранные, которые в полумраке казались лиловыми, лежали на грязном, в пуху полу. Библейский еврей, который резал кур, приходил сюда к старухам отдохнуть, и они говорили о городских новостях... Что Гойя... Отсюда, с Привоза, матросы пошли в «Гамбринус», в погребок, в котором перебывали все матросы,

бывшие в Одессе, и многие русские писатели, Горький, Куприн, Бунин; там в «Гамбринусе» подавали четвертями плохое бессарабское вино, бездельничали проститутки, и случайные греки играли в кости... В «Гамбринусе» матросы пробыли до сумерек, до вечера.

Вечером в «Гамбринус» пришла компания грузчиков, «биндюжников», — и матросы с удивлением завидели, что среди этой компании был и их американец, в мешочных штанах и рубахе, в шапке с чужой головы. Он был грузчиком с «шестой руки»...

Другая часть матросской компании зашла в грузчицкий клуб, в «Местком номер 3», — и там матросы видели, — они не знали, что здесь почти до копии точно повторилось то же, что описано уже в этом рассказе, что было за две сотни верст отсюда, в разливах, в избечитальне, — матросы видели, как в полуразваленном и наскоро оправленном доме под горой, у порта, где кругом были только каменные развалины от боев и мятежей, а рядом шипело море, такое, которое всегда вселяет в человека сознание его ограниченности, — на деревянных ступеньках, только что сколоченных, сидела девушка (собственно, бабища из степных раскопок, где каждый мускул заказан был Богом на десяток женщин и на пятерых обыкновенных мужчин) — сидела девушка лет семнадцати от роду, и она плакала, и ее спросили, о чем она плачет, и она ответила:

— Да меня задержали не по своей вине, а учитель меня выругал, что опоздала... Да-а!..

А в прокуренной комнате на скамьях, которые ночью служат нарами, у длинных столов сидели мужчины и женщины, иные уже здорово изборожденные всяческими морщинами, и у них были листки бумаги, и они, огрызками карандашей, очень неприспособленными для их рук, писали на этих лоскутках: «ма-ма», «па-па»... В другой комнате шло собрание, где грузчики обсуждали свои профессиональные нужды и толковали, как наладить им транспорт, как стейлорить их труд, как удобнее их горбами грузить на корабли российский хлеб и российские леса... А в зале, где была сцена, трудно было пройти от человеческих тел, лежали и сидели на полу и на нарах, всюду, иные спали, иные гово-

рили тихо, иные играли в домино и шашки, — кучей слушали в углу газету, читаемую по складам, — один другому диктовал письмо, а на сцене красавец грузчик играл на пианино и пел, и ему десяток глоток подпевал:

В Алексеевский попал
Чум-чуура, чум-чу-ра!..
Пару кошек сболтовал,
ку-ку!

Пару кошек сболтовал,
Чум-чуура, чум-чу-ра!..
За семнадцать их загнал,
ку-ку!..

Потом пел о том, как:

Ужасно шумно в доме Шмеерзона,
Такой гевалт, что прямо дым идет.
Он женит сына Соломона,
Который служит в губтрамот!..

В каменных развалинах «Месткома номер 3» было полутемно, душно и сыро, а над землей шло солнце и веяли ветры. Матросы взяли по кружке чаю, по куску ситного и вышли наружу, к развалинам, сели на пустынной мостовой, на солнышке, — пили чай, грелись и — невольно, должно быть, смотрели на море. Море было пустынно, сине, и гудел все время пароход, — гул пароходный, как море, бередит душу: что гудит он? куда собирается? в какие страны пойдет он? как избороздит земной шар, — Константинополем, Кардифом, Токио?.. Как хорошо гудят пароходы!.. И море, как пароходный гуд, всегда вселяет сознание ограниченности человечей, — никогда не исчерпаешь всех морей... Около моря надо стоять тихо, смотреть вдаль и молчать. Матросы на солнышке смолкли... На площади перед ними, у бульварчика, того, что разбит под портовым забором, кто-то удумал срезать с деревьев лишние сучья, сучья валялись на земле, и древний, библейский

еврей собирал эти сучья в корзиночку, еврей был в сюртуке, спина его иссохла, походила почему-то на собачью, и у него было такое древнее, такое замученное лицо, спрятанное под огромный козырек картуза...

...Вечером, к ночи, все матросы собрались в «Гамбринусе». Там было тесно, многие четверти стояли уже под столами, и платили всяческими деньгами мира, — долларами, шиллингами, лирами, пиастрами, — и многие матросы и грузчики тоже были уже под столами. По стенам были разрисованы всяческие виды и люди, и люди в подвале, живые, и люди на стенах, мертвые, и проститутки, и четверти — все смешалось. Американец — теперь грузчик с «шестой руки» — кричал, и на глазах у него были слезы, и никто его не слушал:

— Я спросил вот у нее, я спросил, и она говорит, что на время она стоит три рубля, трешницу! Рубль за комнату и два — ей! Человек стоит трешку!..

Раздвинули столы, стали между столов плясать Русскую, остервенело, шумно, хлопали в ладоши. Люди на стенах тоже плясали, заплясали под столами четверти, уже опустошенные. Пришли скрипачи, заиграли про Шмеерзона. Новые на новые четверти посыпались шиллинги, доллары, лиры...

...Потом матросы, два грузчика и американец, все уже друзья по гроб, обнимаясь по-русски, по-русски слюняво, шли в притон. Их было семеро. Была ночь. Облака и луна в облаках стали над портом. У памятника Пушкина, развалинами, они спустились к порту. Под горой вошли в совсем разбитый переулок. В угольном, разваленном доме окна были заколочены досками.

Вода плещется в порту, чуть шумит и блестит под луной. Никого нет, тишь... И вот из дома с заколоченными окнами — слышны звуки скрипки, придушенная песня. Американец услыхал это первый, — приложил ухо к корявым доскам окна, — услыхал громкий разговор, веселье. Нашли щелочку, — увидели свет... Тогда трое стали на углу, двое на другом, двое пошли в разведку. Стали. Луна. Тихо плещется море... И вот, спустилась ставня в окне, и в окно, как в дверь, вышли три негра в шляпах и пиджаках, ушли в город. Потом пришли два итальянца-матроса, с шарфами на шее, в щуплых

пиджачках и кепи (а морозит, и лужи затянуло ледком), — прошли мимо, посвистали, скрылись... Тогда слышно было, как стихло за досками окон, с двух сторон пришли разведчики и какой-то грек... Разведчики ничего не нашли, а грек заюлил, завертелся, заклялся, за руки потащил в сторону, обещал свести в другой притон, в другую «малину», как здесь назывались притоны. Откуда-то вновь появились негры, прошли мимо, и два итальянца пошли вдалеке сзади. Вновь полезли развалинами, грек хватал всех за руки, щупал руки. Шли около портового забора, наверху помертвели на луне белые колонны Воронцовского дворца, — опять полезли развалинами. Грек шел впереди, — и вот шедший за греком уперся в стену: — сырость, мрак, зеленый свет луны, дороги вперед нет; подошли остальные.

— Куда идти?

— Где грек?

Грека не было. И дорогу назад в развалинах трудно было найти. Вышли в новое место, на пустыри. Моря не было видно. Долго выискивали путь, чтобы прийти в знаемые места. Оказалось, что они в другом конце города...

Так притона той ночью они не нашли. Вышли ко дворцу Воронцова, смотрели, как умирает, умирает и возгорает красный огонь маяка. Ночью моря не видно — видны одни огни маяка, и они, огни, прекрасны и зловещи, — а днем море огромно — и незаметен, ненужен маяк, — это жизнь!...

...Потом в Лондонской гостинице сидели трое, в обыкновенных своих костюмах, американец, матрос с английского корабля, — и еще один, в полувоенной форме, этот тоже был в притоне и тоже выдавал себя за грузчика. Все трое, они были не очень пьяны, они говорили друг другу «ты», и говорили по-русски — сначала они говорили о том, как избежать половодье, распутицу — и как использовать ее.

Все же потом у них было вино, и теперь они пили, чтобы напиться, уже попросту — по-русски. Американец часто тушил огонь на столе, — тогда видны были огни на море и — красный, мигающий — на маяке, — тогда молчали, стояли у окон и дыхания их были ровны. Потом опять зажигали свечи, пили и говорили. Луна

ушла с моря на землю... Поздно ночью, перед рассветом, они трое вышли из гостиницы; они пришли к памятнику Пушкина. Луна ущерблялась, — и все же ее смутный свет мылил бронзу и гранит памятника, Пушкин смотрел в море. И тогда американец залез на памятник, прислонил голову к бронзовой — пустой, должно быть, груди Пушкина, послушал что-то и прошептал злобно:

— Слышишь, Сашка?!. Слышишь!?

...Грузчик, который был в компании этих гуляк, когда их бросил грек, пошел ночевать к себе домой, в ночлежку. Это было где-то около Привоза. В огромной комнате под потолком чадила и задыхалась лампочка, — дышать было нечем не только людям, но и ей, но она была не человек, который ко всему привыкает, и поэтому она тухнула. Казарма была велика, и в ней было очень жарко. В ней спало несколько сот человек, мужчин. Они, совершенно голые, потому что у них не полагалось нижнего белья и потому, что здесь было душно, и еще потому, что надо же что-нибудь подстилать под себя, лежали, спали на полу. Нар не было, и не было такого, на что можно было бы повесить что-либо, либо повеситься, и на полу не было свободного от человеческих тел пространства. Грузчик снял с себя все, расстелил на полу, растолкал своих соседей, втиснулся в них, лег на спину, посмотрел на потолок, крепким пальцем соскреб с груди вошь, — и быстро захрапел...

...Утро пришло в тумане, моря не было видно, и весь день на маяке выла сирена. Бывают по веснам утра: солнце во мгле и нет холода после ночи, только сырость, туманность, — над миром тишина, мир притих и только грачи кричат. Это ночь (и зима) борются со днем (и весной) и стали на бивак в своем борении. Такая пустынность в мире.

. . . .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАССКАЗА

Этот рассказ был написан в весну тысяча девятьсот двадцать четвертого года и закончен на первых днях Пасхи, когда в России умирала религия.

Той весной в газетах писали о том, что над землей есть кора из льдов азота и что, стало быть, с земли никуда не соскочишь, не разбив себе затылка об эти азотистые льды; в газетах же писали, что четвертого июля в тот год будут стрелять в луну и надеются через некоторое время отправить туда и людей; и еще писали в газетах, что на землю, на те места, где на земном шаре Россия, надвигается ледниковый период, потому что в межпланетных пространствах возникла межпланетная пыль, несущая извечный холод; обо всем этом человеку было гордо думать, — в Москве на съездах хирургов и терапевтов докладывались доклады, что наука дает теперь право пересадить руку матери — ребенку и руку ребенка — матери, — что опять подняты завесы над анабиозом, над живой смертью, и можно будет замораживать живого человека до ста градусов ниже нуля, и тогда уйдет в предания память о тифах, о сифилисе, о всех позорных и заразных болезнях, ибо ни одна бактерия не вынесет того холода, в который будет опущен человек, и холодом сгонят с земли эти болезни...

Рассказ задуман в Одессе, куда безденежье и беспутство закинули меня и моего друга, сбродягу и сописателя Всеволода Иванова. Той весной у нас было две весны — в Одессе и в Москве, а в страстную субботу тогда опять пришла зима, октябрь, распутица, и пасхальную заутреню встречали в метелицу. Там, в Одессе, я и Всеволод, мы переодевались грузчиками (с «шестой руки») и ходили по притонам, читали лекции рабфаковцам и ночи проводили в Лондонской гостинице в обществе Макса Ольшавца, Золотарева, Стаха (коммунист и последний отпрыск литовских королей) — и прекраснейшей женщины — Айседоры Дункан; в вестибюле Лондонской гостиницы стоит медведь, — Дункан говорила, что она помнит его еще пятнадцать лет назад; Дункан — царицей — коммунистка приходила к нам в прокуренную комнату, и мы на средину комнаты вытаскивали софу, чтоб дать место царице, — а вино продается в Одессе четвертями, — и я знаю — Макс Ольшавец — один из прекраснейших людей, прекраснейшая человеческая особь, редкостная. Да, и мы часто тушили электричество, чтобы видеть огни на море и — красный,

умирающий, умирающий и возгорающий вновь — огонь маяка, — тогда, в эти минуты, когда мы глядели на маяк, надо было молчать, и мы молчали. И это из нашей компании лазил к бронзовой груди Пушкина — вот в этом тысяча девятьсот двадцать четвертом году — в лютой тоске, коммунист, в прекраснейшей человеческой тоске прижимал голову — горячий висок — к холодной бронзе Пушкина и кричал истерически:

— Слышишь, Сашка, — слышишь?

И не надо комментировать, почему так кричал и делал он: ясно. И это я в «Месткоме номер 3» видел девушку-девкищу! — которая плакала потому, что опоздала на урок грамоты, и слезы эти мне не забыть, как не забыть шума моря, ночью, за портом, за молом, морского шума, который нельзя не слушать, но от которого так одиноко и так остро чувствуешь тщету всего себя и всех своих, моих, пильняковых, дел... Однажды Всеволод не ночевал дома, пропал на ночь, и пришел только утром, в руках у него была связка баранок, — в Одессе Всеволод был одет в зеленое английское пальто, в желтые башмаки, на носу у него были круглые очки, — он подсел ко мне, дал баранку, — и я не добился от него толку, где пробродил он эту ночь, и только узнал, что ночью он оказался уже перед рассветом — в пекарне, где нашел друга на этот рассвет...

Да. Так. Н-но... надо кончать рассказ.

И этого охоты уже нет делать, ибо мною же разрушена та «правда», что была в рассказе, «правдою» выписки обо мне и Всеволоде и того, откуда взялся этот рассказ... вот пример, что нету единой, абсолютной правды на этом свете!

...Командарм Эйдеман — это я заканчиваю рассказ — в одном из боев с Махно захватил дневники жены Махно, — вот выписки из этого дневника:

«Сегодня воскресенье. День ясный, теплый, людей на улицах много, все повыходили смотреть на приехавших, а приехавшие, как скаженная орда, несутся на лошадях, налетают на невинных людей и ни с того, ни с сего начинают бить их, приговаривая: «это тебе за то, что не берешь винтовку!» Двоим хлопцам разбили го-

ловы, одного загнали по-подмышку в реку, в которой плавали льдины. Люди перепугались, поразбежались...

«Мы въехали в село и на дороге увидали кучку людей, которые сидели на земле, а некоторые стояли и раздевались. Это были пленные. Их раздевали для расстрела. Кругом них крутились на конях и пешие наши хлопцы. Когда они пораздевались и поразувались, им велели связывать руки один другому. Все они были великороссы — молодцы, здоровые хлопцы. Отъехав немного, мы остановились: на дороге под откосом лежал труп. Немного дальше у ворот больницы лежал еще труп. Селяне смотрели, как сначала раздевали пленных, а потом как стали выводить по одному и расстреливать. Расстреляв таким образом несколько пленных, остальных выстроили в ряд и чесанули в них из пулемета. Один бросился бежать, его догнали и зарубили.

«Встретили Лашевича. Встреча была очень радостная. Все с ним целовались, расспрашивали, как он бежал от коммунистов... Стали говорить о делах. Дело в том, что Лашевич завез с собой четыре с половиной миллиона общественных денег. Спросили у него про них. Он замялся, говорит: «я расскажу вам, куда я их дел». В это время в штаб стали приходить бывшие партизаны греки, с воодушевлением рассказывали, какое разгульное житье вел Лашевич. Раздавал деньги, как хотел, устраивал балы, делал богатые подарки своим любовницам...

... Лашевича арестовали, приставили караул. Скоро приехал батько и другие. В центре собралась толпа. Лашевичу связали руки и повели на площадь расстреливать. Гаврик сказал ему: «за что»? — прицелился и взвел курок. Осечка. Другой раз — тоже осечка. Лашевич бросился бежать. Тогда за ним погнался Липотченко и пулями из нагана сбил его с ног. Когда он упал, Липотченко подошел, чтобы пустить последнюю пулю, — он повел глазами и сказал:

— «Зато пожил!!»

«Подвыпив, батько был очень болтлив и высказывал себя увлеченным чистотой и святостью повстанческого движения. Бродит пьяный по улицам с гармошкой в руках и танцует. Вот-то забавная картина!..

На каждое слово отвечает срамной руганью. Наговорившись и натанцевавшись — уснул.

«... Перед обедом вышла погулять, пошла к речке... Повернулась идти домой, как вдруг вижу из-под сморщенных листьев распустился голубенький цветочек, а дальше второй, третий... Мы стали собирать эти первые весенние цветочки, — у нас они зовутся брандушами. Сразу стало как-то легче на душе и веселее на сердце...

«... Печальный сегодня день. Поднялись под выстрелы из ружей. Быстро собрались и приготовились. Ночью на Полог приехали красные и стали наступать. Еще ночью враги захватили двоих наших повстанцев и перестреляли человек двадцать кавалеристов...» — это выписки из дневника жены Махно, подлинники. Командарм Эйдеман рассказывал мне, как они, эти дневники, были взяты в бою, — и в этом бою была убита эта женщина, в благостные земные дни, — эта женщина, неизвестно (я не знаю, и этого мне достаточно) откуда и как пришедшая, ничего не принесшая миру и благостным его дням, ничего, кроме этих дневников...

... Да. Но рассказ должен закончиться разговором троих.

И был рассвет в дни ледохода, когда ледяные панцири рек разворачивают, ломают несуществующие и все же крепко чуемые панцири человеческих душ.

Пришли часовые и сказали, что явился иностранец, который хочет видеть батько. Маруся приказала его ввести. В этих ростепельных полях, в проселках, в бунтах — непонятно, как мог возникнуть американец, — и желтые его ботинки блистали — точно они были только что с магазинного прилавка. Был невеселый, туманный рассвет. Батько, как требовали запорожские традиции, спал на потнике, на полу, под голову подложив свой же полушубок. Маруся сидела с ногами на стуле, голову оперла левой рукой и правой писала в тетради. Никто не подумал тогда о том, что у тетради лежали голубые цветочки, те, которые называются брандушами. И было невесело в гимназической учительской комнате, где по стенам стояли шкапы с книгами первоначальных знаний, а на столе мутнела четверть со спиртом.

И батько сказал, позевнув, потянувшись, не вставая со своего потника:

— Докладывай, в чем твое дело. Выпей водки.

— Спасибо, я не пью. Я думаю, мое дело должно заинтересовать вас.

— Ну, тогда налей мне полстакана. Бабе можно остаться?

— Да, пожалуйста...

— Ну, говори свое дело, братушка. Может, моих полковников позвать?

— Нет, не надо.

— Ну, говори!

— Я приехал из Америки специально, чтобы повидаться с вами, у меня большая идея, вы — анархист, единственный в мире, который действует, я — теоретик анархизма, но у меня нет материалов под руками, нет человеческого материала, на котором я мог бы проверить и установить законы моей теории... Весь мир раскалывается в грандиозных революциях, весь мир — вулканом, и надо перепроверить все законы мира и людей. Я отменяю законы собственности, власти, любви... — Американец говорил долго; американец говорил о своих теориях, которые неважны для рассказа; американец говорил о революциях всего мира; американец говорил о невероятных любовях; американец говорил хорошо, о единственности в мире их двоих, его и батько. Батько слушал внимательно, восхищенно, пил малыми глотками водку, восклицал:

— О!..

Раз пять батько сказал удовлетворенно и веско:

— Это ты правильно про нас, я тоже так понимаю... И что же — все Европа знает?!. О!..

И американец закончил — это и есть ключ рассказа — заявлением, чтобы батько отдал ему в володение уезд, в полное его правление, дабы мог он на людях, практически проверить свои анархические, крепко выверенные в Америке, законы.

Вот и все. Батько сказал: — О!.. — выпил стакан водки и крикнул в коридор: — Вестового!

Потребовал карты, бумаги, писаря. На картах отметили границы нового — не государства, а... кабинета

для научных изысканий анархизма. Батько был очень бодр и весел. День был пасмурен.

. . . .

К о н е ц, — рассказу конец.

Он очень прост. Это — факт. Махно отдавал целый уезд анархисту Волину на предмет изучения анархизма. Этот уезд надо было бы назвать — к а б и н е т с к и м ... И еще факт: анархист Волин, приезжавший к Махно из Америки, был убит Марусей — неизвестно почему...

Бывают по веснам утра: солнце во мгле и нет холода после ночи, только сырость, туманность, — над миром тишина, тревожный полусон, мир притих и только грачи кричат, — это ночь (и зима) борются с днем (и весной) и стали на бивак в борении, — точно так же, как огонь на маяке в Одессе виден только ночью и тогда невидно море, — днем же море огромно, и неприметен, ненужен маяк.

Москва, в Долгом, 16.
29 апр., 924.

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ

Жизнь очень напряженна. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов: иначе польется через край; и огромное счастье не иметь на столе блокнота, где записано: «рукописи в «Круг», позвонить курьеру», «в пять А. Б., приготовить книги», «в два позвонить Дикому», «предупредить Всеволода». Дома все знают, что до четырех «нет дома, кто спрашивает?» — потому, что я сижу за столом, иначе невозможно, — надо прятаться даже от звонков. Но в семь всегда надо выходить из дому — для встреч, для театра, для заседаний и споров, — это счастье, если ляжешь спать в два. И это несчастье, если надо днем пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге, — день погиб: время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно беременеть и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться, и поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что «нету дома, снимите телефонную трубку!» — Чтобы писать — надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растет все больше, по полкам книг уползаешь все выше, где все начинает одиночествовать, — да ползешь и по полкам лет, волосы уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех, однообразие.

Приехал из Питера Замятин. Обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции (приезжал смотреть, как ставят во Втором МХТ «Блоху») заезжал в Современник, привез оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции (когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников, с ним давно мы затеяли переписку с Хлеб-

ного на Поварскую, причем Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская на Шпицберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетенную в гофмановский переплет последней — прекрасной — Любви); Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом; Замятин и я, мы пошли в Художественный на «Ревизора», в антракте Евгений пошел за кулисы, а я остался, чтоб прочесть письмо.

Вот оно:

16/XI-24 г.

Читала Вашу книгу «Былье» и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с Вами. Помните телячий вагон, Вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами. Вы, кажется, не знали моего имени и называли меня Тезкой. Помните Ваши настойчивые и упорные желания, которые я не хотела исполнить. Вначале я ведь ни капельки не боялась Вас, и мы бродили далеко, далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на Вашей шинели. Вы мне рассказывали о чем-то красиво, красиво, и мне хотелось бесконечно слушать. Обратно ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного... Вы же, надеясь, верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорней настаивали...

С тех пор прошло пять лет. Я изменилась так, что Вы едва ли, встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что Вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила Вас. Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило Вам приложить побольше усилия, чтобы оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю.

Теперь у меня просьба к Вам: укажите возможность достать «Голый год». Я искала и в К. и в Я., но нигде не нашла, здесь книжные рынки очень бедны, и из Ваших книг, кроме «Былья», ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале Вы сотрудничаете. Видела Вашу фамилию в «Русском современнике», но это было еще летом, так что теперь не знаю в какое издательство писать.

Простите за непоследовательность мыслей и фраз. Но я пишу между делом — тороплюсь на поезд. А потом, вообще, человек страшно непоследовательный. Если надумаете написать, то вот мой адрес.

Чувствую, что надоела Вам, а потому спешу кончить.

Валентина-Тезка

P. S. А все ж таки напишите мне, я буду ждать».

Прочитал и вспомнил девятнадцатый год, шпалы, степные ночи, рыжую девушку со стремительными движениями. У меня в кармане лежал документ: «рабочий-наборщик Коломенской типографии», — липовый документ, — но я ехал с коломенскими рабочими; тогда откупались целые вагоны и они аргонавтили по степям за пудами ржи в войнах с заградительными отрядами, — и соседним аргонавтским кораблем был вагон иваново-вознесенских ткачих; я был уполномоченным нашего вагона, уполномоченной ткачих была рыжеволосая девушка, и вскоре узналось, что она такая же «ткачиха», как я «наборщик»: она только что окончила гимназию, собиралась — или в Москву на курсы, или в село в учительницы. В памяти моей не сохранилось, чтобы я добивался ее так, как написала она в этом письме, мы все тогда были в полубреде и за гомерическими матерщинами в борьбе за кусок хлеба, за мешок муки (под тяжестью которого до слез больно подгибались ноги этой рыжеволосой девушки), а мы только двое в этом человеческо-волчьем бреду были одинаковы по происхождению и культуре... Прочитал письмо, думал, как далеко ушел от меня девятнадцатый год, когда я в безвестности писал первые свои рассказы и жил рядовым мешочником, — решил, что этой девушке напишу письмо, правда, решил чуть-чуть спровокатить, чтобы вызвать ее на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину, он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин, предположил, что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далекому, о себе и что у нее какие-то горести. Мне приятно было так думать, как думал Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал

рыжеволосую девушку и думал о девятнадцатом годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моем «разнообразии» бытия, в том «кувшине», который нельзя опрокинуть, — и очень большое однообразие, и всегдашняя радость все расплескать.

Наутро я писал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собрались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки, он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтоб на утро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марселя Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы; там он встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолетная связь, он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж; она мечтала о нем всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит ее, которого любит она, — эта любовь скрашивала ее годы и ее жизнь, у нее было оправдание буден, и она могла жить ожиданием... А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошел мимо, не заметив и не узнав ее...

Я написал этой девушке:

«Тезка, здравствуйте.

Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню Вас, Тезка, Ваши рыжие волосы, Вашу особливость от всех, — тот пригорок у шпал, где в синей ночи мы караулили тишину и звезды.

В Вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки: говорю правду, никогда там в этом нашем «шпальном» прошлом ни на минуту не хотел сделать я Вам больно и нехорошо, — впрочем, годы заставили Вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины и о чем вообще трудно говорить, — я не принимал наши отношения такими, как показались они Вам.

Мы встретились на минуту, в далеком прошлом, на шпалах, — Вы написали искренно и просто — и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят... Хорошо?

Вы пишете, что я был великодушен, — Вы пишете, что «на свете столько зла и насилия» и что Вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли эти ее пять лет, какие обиды и какие радости принесли они, самое главное — в чем? Я знаю, как трудно писать о том, о чем не пишут, — так Вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками, — мне все будет дорого от Вас. В Вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли, — да — «человек страшно непоследователен». Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути, и те дни с Вами, и Вас.

Что же сказать о себе? Буду ждать Вашего письма, чтобы знать, что Вы хотите знать обо мне, все расскажу, как есть, как было. Что же, я — писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явью. Быть может, Вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве, — тоже и у меня многое унесли эти годы, ударило мне тридцать, пришло мужество, — те далекие шпалы мне кажутся путем и преддверием к тому, что вокруг меня.

Всего хорошего Вам. Письма Вашего жду. Руку Вашу целую крепко. — Вы написали, что благодарите меня, потому что я «поступил великодушно», и сейчас же противопоставляете этому зло: — почему?

Такое письмо написал я. Федя (он же Давид Кириллович) отослал мои книги с препроводительным письмом, «многоуважаемая», «ваш покорный слуга».

И я получил ответ:

3/XII-24 г.

«Прежде всего искренне, от души благодарю Вас за книги. Вы мне доставили громадное удовольствие. Их

я еще не прочла. Хотя если б и прочитала, едва ли бы написала свое мнение о них. Это было бы, пожалуй, немножко смешно и нелепо. Мне ли, посредственной и обыкновенной женщине, давать отзывы о произведениях, когда о них говорит Троцкий и другие известные и влиятельные личности. Еще раз благодарю, большое, большое спасибо за них. Теперь о письме. Его я получила, прочла и то, что не совсем поняла, прошу объяснить Вас. Мне хотелось бы знать, что Вы в письме своем называете «главным»; разве то, о чем Вы сказали «трудно говорить», есть самое главное? Может быть, оно могло быть главным для меня, для других, а разве Вы физиологическое влечение полов считаете главным? А разве Ваша работа, занятия, общественная жизнь не есть самое главное? Может быть, я не так поняла, тогда объясните. Потом скажите, почему Вы думаете, что женщины вообще трудно говорят об этом. Разве? Я лично смотрю на вещи проще и шире и не нахожу, что было бы трудно иль неудобно говорить о чем бы то ни было, тем более с мужчиной, да еще в письме.

Теперь о себе. — Через полтора года после поездки за хлебом я встретилась с человеком, с которым суждено было разделить самые красивые, высокие и в то же время обыкновенные переживания. Впрочем, оговорюсь, у нас они были, может быть, слишком необыкновенными; так как по темпераменту оба слишком эксцентричны. Это было в Плесе, природа, молодость, красота переживаний, — ну, чего бы еще надо. Казалось, любили друг друга безумно. — Однако вышло не так, как у всех: часы волшебных снов сменились ужасными часами нечеловеческих мучений. Мучили друг друга до исступления, до сумасшествия и отчаяния. Мучили без всяких причин и поводов. Дело доходило до того, что у меня отнимали из рук яд и считали за психически больную. Несколько раз собирались разойтись, но разве могли это сделать, когда что-то было настойчивее и сильнее нас обоих. И снова часы мучений сменялись сладостными часами безумной страсти... Так прошло более двух лет. Красивые переживания стали терять свою остроту, да и характеры стали более уравновешенными. Стало скучно. Я чувствовала, что так продолжаться не может; знала, что, если останется

в таком положении, будет сплошная неудовлетворенность, апатия, скука. Собралась и уехала. Вот теперь живу в К., муж мой близ Я... Когда делаемся необходимыми друг другу, — я езжу туда, так лучше, красивей и полней течет жизнь. Мне здесь хорошо. Я учусь — получаю специальное образование, а какое — скажу в другой раз.

Пока всего доброго, славный мой попутчик.

Пишите.

Тезка».

Письмо принесли утром, за работой. Прочитал и понял, что с этой попутчицей мои пути — никогда уже больше не сойдутся, что и Ольга, и Замятин, и Федя, и я — плохие мы психологи, — что не так уж страшно, что растут мои полки лет и книг и что скучно бывает беречь кувшины мозгов... А рыжую девушку — из того шпального девятнадцатого года — простит Бог!

И тогда я думал — вот о чем:—

— — мой товарищ, писатель, старик, одинокий человек, оторвавшийся от этих наших дней, донашивающий пальто, сшитое в девятьсот десятом году, небритый; в его комнатке, бывшей ранее мастерской художника, на чердаке, горько пропахло старческой псиной, от девятнадцатого года застряли в комнате нищета, убожество, грязь, сбитые валенки, махорка, — как в нем, в человеке, застряла от того же девятнадцатого года — старческая чудаковатость, придурь. Его, этого моего друга, все забыли, — я остро присматривался к нему.

И вот было сентябрьское утро, моросил дождь. Он проснулся и встал со своей койки, пропахшей человеческой нечистотой» еще до рассвета, в тот час, когда люди, недосыпа, всегда чувствуют себя несчастными. На спиртовке он вскипятил себе чаю, пил не спеша и потом, надев свое многолетнее пальто, пошел вон с чердака. Он никогда не спешил, переулочками он вышел к трамваю и с первым трамваем, 4-м номером, поехал на Ярославский вокзал. На первом дачном в мутном сиротстве сентябрьского утра он приехал в Лосино-Островскую. Там прошел он дачные поселки, перешел речушку, прошел деревней, — ушел в лес... И там в лесу он раскладывал костер, сырые сучья горели медленно, дымили, чадили, убожествовали. Там в лесу против ко-

стра стоял высокий старик, небритый, нечистый, в пальто, посеребревшим от времени на локтях и у карманов, — стоял очень долго, неподвижно, сгорбившись, руки в карманы, смотрел упорно в огонь, — пробовал было сесть у костра, но земля была сыра и холодна. Мимо проходили мальчишки, что собирали грибы, он не замечал их, они кричали:

— Эй, старик, ты что — колдун, что ли?

Постояли, посмотрели и пошли, — и, когда они уже скрылись, он, старик, сказал, полагая, что говорит им; — сказал тихо, любовно и хорошо:

— А я, детишечки, думаю, выдумываю... Так-то, ребятки...

Лес был помят сотнями тех, кто перебывал здесь за лето и годы, валялись консервные коробки, и у самого костра поблескивало бутылочное разбитое дно, деревья — ельник — стояли мокрые, затихшие, серые, дождь то переставал, то закапывал вновь, облака уничтожили небо и просторы. Костер горел скверно, не мог разгореться, коптил.

Старик вернулся домой в сумерки, опять медленно шел переулочками, и дома, у себя на чердаке, не спеша растапливал железку, не спеша грел чай и вчерашнюю кашу. Пообедав, он лежал на кровати, прикрывшись тем же — промокшим — пальто, в котором был весь день, на ноги надел разбитые валенки, — читал старую толстую книгу: единственная электрическая лампочка на длинном шнурке с потолка была приспособлена так, что она вешалась и над кроватью, и над столом, и у железки. Это был седьмой этаж, где жил старик-писатель, и сюда не доходили уличные шумы.

К полуночи он отложил книгу, перевесил лампу от кровати к столу, с одного гвоздика на другой, вынул из стола толстую папку, разложил рукописи на столе и на новом листе, где наверху в углу стояла цифра страницы — 437, — стал писать, продолжать свой роман, почерк его был старчески крупен и неразборчив.

Он писал:

«... была весна. День шел к вечеру. В лесу не смолкли еще кукушки, но запел уже соловей. Из лесу пахло ландышами. Под горой протекал Днепр. Анатолий приехал на челне из-за Днепра и поднялся на гору, ког-

да вдали за горами уже поднималась огненная луна. На условленном месте Лизы не было. Анатолий сломил старое дерево, разложил костер и лег около него. Костер загорелся быстро, палевыми огнями, в черное небо полетели золотые искры. Днепр потонул во мраке. Анатолий лежал против костра, смотрел на огонь и думал — о весне, о молодости, о Лизе... Надо было сегодня встретиться во что бы то ни стало, челн ждал под обрывом. И тогда неслышно к костру подошла Лиза, в белом платье, сама молодая, как весна. Красные отсветы костра делали ее смуглое лицо» — —

Написав этот абзац, старик задумался, опустилась рука с пером, глаза стали пустыми так же, как днем в Лосино-Островском лесу, — пустыми и беспредельно-добрыми, милыми, всепрощающими, — а рука с забытым в пальцах пером была старческой, морщинистой, неопрятной, с грязными ногтями и с грязью, въевшейся в поры. Под дешевой электрической лампочкой на столе, рядом с рукой и рукописью, лежал черствый огрызок черного хлеба. Этот старик, мой друг, писатель, не был талантливым писателем, революция его не печатала, — он писал только для себя, в стол для смерти...

... Вечером я прочту этот мой рассказ Ольге и Феде, и пусть они скажут мне, правильно ли сделал я, расплескав мое тесное время этим рассказом. Я же — сказал уже, что словами — беременею я и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности найти темного угла, чтобы разродиться — —

24 дек. 1924.

ГРЕГО-ТРИМУНТАН

I

Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно сказать о людях, что они просты, — и никогда нельзя говорить, что просты люди. Эти люди были строги, молчаливы, медленны, — были просты — как просто море. Они знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты — сухие, — что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат. Они умели их водить по морям, по ветрам и против ветров — от тримунтана на ливант, от острии на пунентий. И очень знали, когда с Азии дует широкко, а с Европы маистра (так называли они осты, зюйды и норды, — и ветры с этих сторон). Они очень знали соль моря. Знали, что значит «в море», сиречь в шторм, когда надрывается гупошлеп, сиречь ветер, — что значит тогда лазать по вантам и путаться в такелаже. По той земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины шли только в море.

За поселком от моря шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом, — таким, каким обрывается в море Великая российская равнина. Туда к морю, в каменистую бухту, вела каменистая тропинка, — и этой тропинкой уходили молодые в море, чтобы почти никогда — стариками — не возвращаться назад этой тропинкой, могилы себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети, — да изредка в греческой кофейне пили водку моряки, — те, кто или уже навсегда сменял воды моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на время из рук руль и тросы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив на бе-

регу, — и еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне те, кто с моря пришел богатым, — пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает, гуляет, нового ждет счастья и моря. Женщины оставались в поселке. Женщины перед закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву, — и их обдувал ветер, они козырьком прикладывали руки к глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не мешало уходящее солнце, — и смотрели в море, туда, где шли их капитаны, штурмана, подшкиперы, боцманы, юнги.

II

Их было двое — два шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшиеся крестами в бурю, в час, когда вместе они гибли. Они одновременно увидели — в детстве — солнце, поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море, — и вместе они сошли в смерть.

Им одинаково задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги, — потому что у них были красивейшие жены и были хорошие дети: потому что у них была удача и крепко сидели головы на крепких плечах (Николай женился пятью годами позже Андрея). Это были два друга, обменявшиеся крестами в гибели, чтобы обменять жизнь одного за жизнь другого: тогда там, в море, в снегу и ветре, в месяце декабре у берегов Сулина их трепал грего-тримунтан, они оба стояли у руля, в ночи, в ветре, в снегу — без компаса, без парусов, без мачт, — им не было страшно от той красноватой в свете фонаря воды, которая забегала на мостик, — и страшно было только лишь то, что руки окоченели и не было сил держаться за руль, разжимались пальцы; — тогда они обменялись крестами, на рассвете, когда их шхуну выбросило на берег.

Одного из них звали Николаем, другого — Андреем.

...Всегда о жизни каждого можно сказать, что она проста, — и никогда нельзя говорить так. У Андрея

была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка, — вольная, как море и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын.

Андрей ушел в море, в синь Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, Порт-Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за валапеей, за термаламой, за фигами, за коврами. Николай пришел с моря, с деньгами, с шалями, с маслинами. Николай, тою походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в море, надвигая на глаза картуз, — и тогда он говорил значительные фразы о Стамбуле, о Чапаке, о Мителене, о смирнских тавернах, о том, как созвездие, называемое Поясом Иакова, ночами на Средиземном море, только на кварту поднимается над горизонтом и опять уходит в море, в какие-нибудь двадцать минут; как запрыгивают на палубу летучие рыбы, — и как много сини в Эгейе — синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с ребенком за руку; море обдувало ее платье, косынка билась парусом; глаза ее были сини, глаза скифки, и скифски своевольно были сложены ее губы, просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии, Мария укладывала сына, и потом они пили вместе вечерний чай, в мелочных разговорах.

И поздно ночью, когда давно уже были убраны на ночь рыбачьи лодки и даже собаки полегли спать, — однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял кругленький столик, в турецкой расшитой скатерти, — перед диванчиком в подушечках. На столике лежали альбомы Афин и Стамбула, были кружевца под альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков, в рамках, уже засиженные мухами. Николай сидел на диванчике, Мария была рядом в кресле. Мария заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью.

И тогда заговорил растерянно Николай.

— Маня, — сказал он, — я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю, потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга, у меня в портах на берегу и в море на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу против моего друга, хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня, этого никогда не будет, и мы станем с тобой друзьями, как были до сих пор, и я буду приходить к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга.

Как передать этот ночной их разговор, — об этой, должно быть, настоящей любви Марии, — когда Мария твердо сказала Николаю, что, если он не пойдет по ее воле, она солжет, наклевещет, скажет мужу, расскажет мужу, что он, друг мужа, Николай, добивался Марии, добивался ее чести.

— Маня, — говорил Николай, — не надо так поступать, — пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу очень большое горе, потому что он тебя любит. Лучше, Маня, давай забудем эту ночь и никогда не будем говорить об этом: я знаю, ты женщина молодая, и с кем греха не бывает... А я завтра опять приду к тебе чай пить.

Море дуло на берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни, перекатывало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил пить чай и шепотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастья людей, о том, что масло есть вещь масляная, и о том, как Пояс Иакова ночами в Средиземном море поднимается только на несколько минут, и как танцуют смирнские танцовщицы.

Андрей пришел с моря. Его бриг остался в порту, на боте он пришел в поселок В тот час, когда окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И, по обычаю моряков, в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с женой. Наутро Николай пришел к другу.

Два шкипера поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский мундштук, бочонок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария. Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленна в движениях, как бывает с женщинами после страстной ночи.

— Маня, — сказал Николай, — почему ты не посидишь с нами?

— Друзьям надо побыть одним, — ответила Мария и ушла к сыну.

Андрей и Николай выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли и турецкие пиастры, и греческие лепты, и английские шиллинги, и французские франки, и он, Андрей, только что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков-сбродяг по морям; Андрей был в новом пиджаке и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца Хайфе.

III

Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай, — стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке «тихого плавания и бурной гавани», — но иной раз держали и бурное море.

У Марии родилась дочь, ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунша, и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестной матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту возрастило то же море. Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом, — эта же

ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? — на берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест, и замирает предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.

Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой, и долго прикалывали ей флердоранж, цветы померанца. В церкви пел хор, невеста ступила первой на коврик. — И после венчания, в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена, — сказала, утвердила, спросила — о том, что дочь Марии — Мария — обоих их крестная дочь — есть дочь Николая, — что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, — что Мария поклялась ей, — и молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне, — и Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтоб рассказать ей чистую правду обо всем, что было год назад, — чтобы — вот, в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несуразицы.

Свадебный пир был в кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили па пороге со стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая, и тихо сказал:

— Николай, ты мне — брат. И я тебе — брат!

IV

Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на

жизнь, — за тою синью, которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт Кардиф, — дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти.

И тогда умерла Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Ивановичем, — ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай — Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.

Андрей Иванович сказал:

— Коля, ты поухаживай за Маней.

И Николай Евграфович сел над постелькой Марии.

Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутыль вина. Выпили. Молчали.

Тогда заговорил Андрей.

— Десять лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. Правда, что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что, раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей.

И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, — о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга и его жены. — Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на кры-

лечке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, — о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви.

— Должно быть, она любила тебя, — сказал Андрей.

— С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом, — ответил Николай. — Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?

— Должно быть, она любила тебя, — повторил Андрей.

— Тогда той ночью она сказала мне, — сказал Николай, — что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи, — но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви.

— Она любила тебя! — сказал Андрей.

Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в мире. Не шумело даже море.

V

И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать, — собою она повторила мать: как некогда мать, запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у Николая Евграфовича посеребрились виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем, — возникли полнота и медленность движений; они носили теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя нараспашку, фуражки, прошитые золотым позументом, — капитаны дальнего плавания, — разменивали пятый десяток своей жизни.

Человеческое время идет рождениями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток шел морями шесть месяцев, — в это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай Евграфович пароход

Тихим океаном, Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии; — чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество, — что не выйдут к нему навстречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка, — сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня, и постель будет пуста.

...О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.

Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матросы вытащили бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье, в белой косынке, — она быстро бежала по каменистой тропинке.

— Дядя Коля, это ты? — спросила женщина.

Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню, — на белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:

— Что же, тебя прислал отец?

— Нет, я пришла сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.

Николай Евграфович ничего по ответил, повернулся, постоял в двери, — опять повернулся, — неловко, потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб, — и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. — А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в сал-

феточках, так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки, и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины накладывала, хозяйничала — Мария, и за чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно, пил, ел, посматривал, ни о чем не спрашивал.

После чая Николай Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к нему плечом. Ночь была черна и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые прожили трудную, в сущности, жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить, — жизненный опыт их родит консерватизм, они предуказывают всегда всем правила, которыми будто бы сами прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю Шерстяную Ногу, — что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и лимонами, — что бригантины хуже трембак потому, что в шторм вооруженные мачты с реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно.

Тогда Николай Евграфович поднялся, чтобы пойти спать.

Он лег на опустевшей своей двуспальной постели́. Мария легла в комнате рядом, в бывшей детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку на столик около кровати, взял книгу — приложение к «Ниве», полученное без него. Из комнаты Марии не долетало ни одного звука. Капитан потушил свет, тогда стали во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии.

— Маня, ты не спишь? — спросил Николай Евграфович.

— Дядя Коля, можно прийти к тебе? — ответила Мария.

Мария не дождалась ответа, скрипнула дверь, капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую по-ночному, с шалью на плечах, со свечою в руке. Свеча потухла,

и Мария села около капитана на кровать, руки ее и голова упали на грудь к капитану, и Мария зашептала:

— Дядя Коля, папа, — мама мне говорила перед своею смертью, что ты мой папа и просила у меня прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя, — и взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить и всю жизнь буду заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было десять лет, когда я узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом.

Капитан, как многие старики, был ригористичен и любил ставить точки над «и», любил доказывать, что масло вещь есть масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии, — сейчас он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь — и неправда может быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно положила голову к нему на грудь.

Старик-капитан отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой жизни, — заплакал в удивлении от непостижимости того, что несет иной раз человеческая жизнь, — от любви к своей дочери, от забот о ней, — заплакал от старости, — заплакал, оплакивая ушедшее...

Ночь была черна, глуха так, что не выли даже овчарки.

VI

...Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты, — и никогда нельзя так говорить.

...Тримунтаны, грего, ливанты, пунентии, маистры — так называют моряки ветры — дуют с моря: и

они же дуют в море — маистры, пунентии, ливанты, гарбии, острии. По той земле, где родился и жил капитан Николай Евграфович, некогда прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь на этом каменистом берегу, откуда мужчины шли только в море: здесь были и греки, древние и теперешние, и левантийцы, и турки, и славяне, и молдавы; они говорили на языке, окрашенном украинскою речью, — но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марселя у них был иной язык, вроде такого:

— «Ту моргэ паране — море, и треба ми твэнти — един хлиб».

Ветры иной раз дуют до свиста: но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и просвистываться серьезному человеку.

Эгейское море,
3 ноября 1925 г.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЕТЕР

I

Десять лет человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера: все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые десять лет уходит с земли из жизни — одна пятая всех живущих на земле людей, десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей; впрочем, в эти же каждые десять лет и приходят в жизнь миллионы людей, родятся, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами, покойствуют эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями — — И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая комната имеют свой запах — точно так же, как имеют свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетья скрещиваются иной раз — очень часто, и — за эпохами, за событиями городов и стран — ему, этому, данному человеку — морщинки у глаз, запах комнаты — существенней, многозначимей, чем событья эпох.

Над каждой страной дуют свои ветры.

У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер, тот, что пахнет человечьим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги и никогда не менялось сукно: это был письменный стол, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, пепел нельзя было сдуть со

стола. И за низкими окнами в саду рос бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человечьим жильем, — и этот ветер застрял в его комнате.

И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний, промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечиной: это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, — что — «люблю, люблю, навсегда, навсегда!» — были обвалы рассветов, когда в рассветном мире были — солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце, — о н а , заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны всем прекрасным материнством мира, — в сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку: ребенок тогда спал, новый Иван. — Все это было. — И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле от удушья человечины.

Это не был вечер: это была полночь. За окнами лил осенний дождь и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не менялось. У нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола. Она стояла у дверей.

Она говорила:

— Иван, пойми, это все ложь, прости. Это было наваждение. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили друг друга.

Иван Иванович наклонился к свече и читал медленно, по складам, сотню раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею: — «Николай, это наваждение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к одиннадцати, когда все уснут»...

Иван Иванович клал руку с лоскутком к себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по складам:

— Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я наваждениями не занимаюсь. И наваждение тут тоже ни при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели. — Ступай вон!

— Иван! — у нас же ребенок, у нас же сын!..

Иван Иванович сострил:

— У нас же-ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя были жеребцы. — Ступай вон!

И тогда у нее исчезли морщинки у глаз, остались одни глаза, полные ненависти, прозрения и оскорбленности. Она прошептала ему, тоже по складам:

— Не-го-дяй! И люблю, и люблю — *его* люблю, а не тебя!

Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверью. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень унизительно и жалко:

— Аленушка — —

Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь.

Потом наутро баба принесла записку: — «Иван Иванович, будьте добры!» — в записке просилось с посланной отослать вещи — ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их целый день, баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чай и обедать; он не думал о еде, и когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывезти тележку на улицу, на улице он жал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия и она рассудительно говорила, оттягивая руку: — «Мне што, — велят, я принесу, чай у меня ноги свои». — Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из этого города — куда-то по железной дороге, со всеми вещами, должно быть навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве, — через три он узнал, что у нее родил-

ся новый ребенок, мальчик по имени Николай. Фамилия у мальчика была его, — Ивана Ивановича Иванова, — Николай Иванов.

За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков.

Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль, — в сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоинство; такие любови неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких любовях нет строительства. — Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую любовь можно отобразить образом: и жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около ночных, загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развилась, упала — и упала она в очень мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с матерью, потом она отдала его в приют. Семи лет от роду сын Николай узнал муку падучей, там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну, — просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей: впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевшей родить ребенка (и еще впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой)...

И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях, и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен падучей, — она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все, положенное ей на жизнь, она отжила.

Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана, из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле. Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дортуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранила память о святом — о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось четырнадцать лет и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае (или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться): Николай замечтал об отце. Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся прятаться в приютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану длинно и нежно: Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему — —

(Надо в скобках сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в великую русскую революцию.)

III

Десять лет человеческой жизни — недолгий срок. И десять лет человеческой жизни — громадный срок!..

У Ивана Ивановича Иванова, отца, все больше и больше копилось за продавленным кожаным диваном окурков, — и все по-прежнему лежал город с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Не важно, кем был и мог быть Иван Иванович, преподавателем ли гимназии или земским статистиком: над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем. — И там, в десятилетии, в годах, Иван Иванович помнит письмо от

сына Ивана. Его принесли утром, первая строка там гласила: — «Здравствуй, дорогой мой папа», — и в тот день Иван Иванович помолодел на десятилетие, запомнил солнце, помнил бурьяны рассветов, половодье лет, — и чуть-чуть лишь помнил страшную ночь, тот момент, когда он шел от одной открытой двери к другой, до калитки, когда он крикнул во мрак на улице: — «Аленушка», — и в этот день ему все время вновь хотелось так же крикнуть, только громко, только окончательно всепрощающе, только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом. — И тогда же, скоро пришло другое письмо, от Николая, — и оно начиналось теми же словами, что и письмо Ивана: — «Здравствуй, дорогой мой папа», — и всей кровью, всей ненавистью, всей той промозглой ночью, пропахшей человечиной, ему захотелось крикнуть, опять, опять: — «вон! вон! к своим жеребцам! — мне ублюдков не надо!»

...И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах и когда очень рано надо зажигать свечи (это было время, когда уже отгромыхала революция). На дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой прошумел по лесенке сенц. Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо:

— Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов?

— Да, я здесь, — ответил Иван Иванович.

В комнату вошел невысокий человек, с палкой о резиновом набалдашнике, какие носят калеки. Плечи его были подняты. И в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось очень бледным, очень усталым. — Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу. — Он, этот человек, шагнул в комнату, и нерешительно и радостно остановился у порога. Он сказал:

— Вы — Иван Иванович?.. — и протянул вперед руки (палка упала на пол). — Папа, — это я... твой... ваш сын Николай!

Иван Иванович стоял у стола (у того самого стола, на котором перецветилось сукно), — и он не подал руки, он отвернулся от Николая, — он почуял, как сразу вся та ночь из десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо:

— Садись. Чем могу служить?

Николай ничего не ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери.

— Чем могу служить?! — громче сказал Иван Иванович.

Николай не понимал вопроса, не успел ответить.

— Чем могу служить! — закричал, завизжал Иван Иванович.

— Простите, я не понима — —

Иван Иванович потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз.

— Простите, не знаю вашего отчества, — заговорил шепотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз. — Не знаю вашего отчества, — повторил он громче. — Извините. Нам надо объясниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию по недоразумению. Я не знаю, кто ваш... — Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы: — Простите, вы курите? — нет?.. Так! — Простите, я не имею чести знать, кто ваш... батюшка!

Николай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала: Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат.

— Да, да, — простите! Не имею чести! Я здесь ни при чем!.. Не имею чести!.. Не имею чести знать, с кем... с кем приспала вас ваша матушка!

Николай не слушал больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на правую ногу, в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей.

— Да, да, — не имею чести! Не имею чести! — кричал вслед Иван Иванович.

...Братья Николай и Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел

Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил коридорного, — где брат? — Коридорный ответил: — «Они никуда не выходили-с». — Тогда Иван увидел на полу, за столом, человека. Человек обнимал спинку стула. Иван, сильный человек, запутанный в ремни от сабли и револьвера, поднял человека на руки.

— Николай, голубчик, что ты? — спросил он тревожно. — Припадок?

Николай ответил покойно:

— Нет, никакого припадка нету. Я здоров. Я был... — Николай затомился словами. — Я был у Ивана Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была... что он не знает, кто мой отец, с кем приспала, так сказал он, меня моя мама.

— Что?.. наша мама — —

На столе в номере горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы проваливались во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек сидел рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два человека, никогда не видевшие друг друга, но с первых дней своего сознательного детства знавшие все друг о друге, — они говорили о маме, которую один из них помнил. И для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них было сухое слово — *негодяй,* — негодяй, который осмелился посягнуть на память матери — —

...В уездных городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в грязь, — тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку, Ивану Ивановичу Иванову, жизнь которого пропахла человечиной, выпало еще раз пережить ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери: была ночь наваждений, тех наваждений, которые некогда, там, за годами, увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки и ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах «Москва». И Иван Иванович-отец кричал в темноту: — «Иванушка!» — Сын Иван не пришел к отцу. — И наутро отец Иван видел сына, — тоже, в сущности, единственный, последний раз, — на вокзале. Он,

отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один, опирающийся на палку с резиновым набалдашником, и этого хромого вел высокий, здоровый военком, запряженный в ремни от сабли и от револьвера, белокурый, румяный, здоровый, покойный человек. И отец увидел: глаза его были небывало похожи на глаза матери, на те озера, в которых некогда он мог топить мир и солнце. — Поезд ушел очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер. — По улицам, по деревянным тротуарам шел дряхлый, седой человек — —

Дома в сенцах запахло человечиной.

IV

Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой.

Москва,
сентябрь, 1925 г.

ЖУЛИКИ

Письмо и повестка пришли одновременно, привезли их вечером. — Пусть прошло семь лет с того июльского дня, когда в селе, — в сенокосном удушьи они, она и он, ходили в церковь венчаться, и поп все посматривал в окно — не пойдет ли дождь, не опоздать бы ворошить сено; тогда он настаивал на церкви, и она, стоя под венцом, все хотела собрать мысли и перевспомнить всю свою жизнь — и не могла, следила за батюшкой и за тучей на горизонте: и, правда, пошел дождик, и батюшка из церкви побежал в поле, копнить... — пусть прошло семь лет — пусть сейчас вечер: не могли не поникнуть и руки, и голова, и вся она, — именно потому, что время идет, время уносит, ничего не вернешь, все проходит. У женщины в тридцать семь любовь, многое — позади: у мужчины в тридцать семь — только разве замедлились чуть-чуть движенья дней и вечеров.

Решить надо было б правильно и просто — так, что письма и повестки из суда, где стоит казенное слово «ответчица», не было: — все кончено без судов, кончено временем, и его правом сильного, и ее гордостью, — и надо было бы вновь взять ведро и пойти к колодцу за водой, и полить рассаду (огромная радость сеять в земле и видеть, как возрастает тобою посаженное!): — заспешила, вспомнила, какие тряпки в чемодане надо отобрать, что взять с собою... — пусть стрижи за окном летают, обжигают воздух так же, как каждую весну: все — пусть!

Что же, у нее есть труд, у нее есть труд впереди, есть заботы, у нее будут вечера, — надо жить: н а д о ж и т ь !

Сторож Иван, — он же кучер, он же дворник, он же: — ну, как каждый день не ругать его, когда ему говоришь про Фому, а он отвечает Еремой?! Он сказал, что

пароход проходит теперь на заре, надо выехать с полночи. И в полночь Иван потащил по грязям на телеге — полями, просторами, непокойным рассветным ветром; рассвет отгорел всем земным благословением; а на берегу узналось, что пароход будет только к вечеру: Иван покряхтел, помотал головой, и уверив, что скотине дома никто без него толком не задаст, уехал обратно. На воде, у берега стояла мертвая конторка, на горе прилепилась изба. На пороге избы сидела баба. Бессонная ночь вязала движенья и нельзя было додумывать мыслей.

Баба от избы покликала, сели рядом, на пороге.

— Вы, что же, сторожами здесь живете?

— Муж мой лесным сторожем служит. Сами мы дальние. Детей у меня четверо, четыре сына.

И так и запомнился этот день — пустой, с пустой конторкой, с избой над рекою, — и со счастливой женщиной. К полдням все уже зналось, — что эта баба счастлива, что она и ее муж хохлы (так сказала она), киевляне, — что муж ее тихий и добрый человек, двадцать лет служил у немца-колониста, и немец любил его за доброту (немец иной раз и бивал мужа, но муж был добрый, незлобивый, — не сердился, а немец любил: даже корову собственную разрешал держать), — что на Украине у нее дочь, замуж вышла, детей народила, внучат; старший сын ее теперь тоже лесником служит, женился было, да неудачную жену себе взял, все с другими мужиками бегает, — собирался было разводиться, пошли в волость расписываться, но в волости затребовали рубль шесть гривен: — так и не развелись, денег жалко; остальные три сына при отце живут, один комсомолец, — а жалования муж получает, слава Богу, восемь рублей на своих харчах. Была эта баба морщиниста, как старый гриб, ходила в красном платке, и была, была счастливой безмерно, всем на этом свете довольной: комсомолец, сын ее, теперь ходил на раскопки, рыли курган, вырывали гроба из веков, — платили ему тридцать копеек в день, дуром валились деньги, — и нельзя было исчерпать бабиного счастья. В избушке на горе было по-малороссийски чисто, выбелено известью, — от русской печи сидеть там было душно и мухи донимали: сидели все время на пороге. Приходили в заполдни муж и сыновья, обедали, посадили и гостью за

стол, ели из общей миски щи из свежей крапивы; мужчины были молчаливы, поели, покрестились и легли в тени у дома спать; и гостью отвели спать — в сарай на сено; разбудили к чаю: самовара не было, кипятили воду на костре, у костра и попили чаю; отец взял винтовку, пошел в лес, сыновья пошли по своим делам; и опять старуха говорила о счастьи, о том что муж незлобивый, ему и в морду можно дать. Послеобеденный сон скомкал время, баба говорила тихо и внимательно, и казалось, что изба эта, и эта баба, и ее дела, и сыновья, и муж — известны с испокон веков, и не было сил — хотя бы внутренне бунтовать против этого бабиного счастья: все было все равно.

И в этом безразличии отсвистел пароход, потащил мимо сумеречных берегов, в соловьином крике, в плеске воды под колесами. И безразлично прошел уездный городишко в пыли, где надо было пересаживаться с парохода на поезд. На минуту странным показалось на утро, что вчера поля и деревья были зелены, а нынче здесь, где мчал поезд, было еще серо. И вечером была Москва. Ничто не заметилось.

И новой ночью в номере на Тверской опять логически ясной стала нелепость приезда: были, любили, разошлись, ей никак не нужна выпись из постановления суда о том, что — «такой-то районный суд слушал и постановил» — быть ей свободной от прежних морозов и зацветать для новой любви, — новой любви у нее не было; новая любовь была у него, — но и о ней она ничего не знала, ибо его не было около нее вот уже три года. Что ей? — что же, она агроном, она горда!.. — и она горько плакала этой ночью, первый раз за эти дни.

В суд надо было явиться в 11, и она пришла без пяти одиннадцать. Он встретил ее в дверях, пошел навстречу, улыбнулся дружески, сказал:

— А я думал, что ты не придешь, стоило по пустякам тащиться, я бы прислал тебе выпись... — и замялся, и сказал, о чем писал уже в письме: — мне неприятно было посылать тебе повестку, это глупое слово «ответчица», словно ты подсудимая. Ну, как поживаешь, как дела?

Ответила:

— Конечно, глупо было приезжать, но у меня скопились еще дела по службе. Живу по-прежнему, много работы.

— Ты где остановилась, когда приехала?

— На Тверской, в гостинице. Приехала вчера вечером.

— Почему же ты не приехала прямо ко мне? Сейчас же после суда поедем, я перетащу твои вещи. Ведь мы же друзья, ведь никто не виноват, Аринушка, милая...

Она ничего не ответила. Он понял, что она не может быть искренней. Но она делала все усилия, чтобы быть простой.

Судья спросил: сколько лет, как зовут, что вы имеете против? — какую фамилию вы хотите носить? — Он, «истец», сказал: — «Я бы хотел, чтобы ты оставила мою фамилию». — Она не думала об этом, она залилась кровью, ей показалось, что ее оскорбляют, — она сказала растерянно:

— Да, я хочу оставить фамилию мужа.

Судья попросил расписаться, объявил, что за выписью из постановления суда надо придти завтра.

— Можно идти? — спросила она судью.

— Да, все уже кончено, — ответил муж. — Поедем к тебе за вещами.

Они выходили из суда, мимо них провели за штыками арестованных.

— Я поеду сейчас в наркомат, — ответила она. — У меня будет очень занято время. Ты возьмешь завтра выписку, тогда пришли ее мне в деревню. Всего хорошего, — и она протянула руку.

Он не взял руки, он заволновался.

— Послушай же, ведь мы любили друг друга, мы останемся друзьями. Невозможно расстаться так.

— Не забудь прислать выписку, она мне очень нужна. Ну, конечно, у нас нет поводов ссориться. Я просто буду очень занята, — она улыбнулась, тряхнула бодро рукой. — Давай руку.

— Что же, все кончено? — спросил он.

— Выходит так, — ответила она. — Прощай, я спешу.

Она поехала на городскую станцию купить билет.

И в этот же день вечером она ехала обратно. С ней в купе, в полупустом поезде сидел старик в чесучевом пиджаке, кряхтел, ел колбасу из корзиночки, отрезая мелкими ломтиками, приносил на станциях в чайнике воду. На ночь они оба забрались на верхние полки.

И поздно ночью в купе пришли двое, забрызганные грязью, в сапогах, в кожаных куртках, с портфелями, — от них пахло распутицей, бессонницей, напряженной работой, бодростью, табаком. Ехали они, должно быть, недалеко, — не раздевались, открыли окно, закурили, разговаривали.

Разговаривали они о кооперации, были, должно быть, кооперативными работниками, — говорили о неудачах и победах кооперации, о ее буднях, о ее практической работе, о том, что русская кооперация еще не созрела, чтобы торговать обувью и одеждой, что не удается так же кооперативная торговля мясом, — говорили просто, буднично, чтобы убить время. Потом надолго заговорили о служащих в кооперации, о приказчиках, кассирах, весовщиках, сторожах. Большой процент неудач кооперации они возлагали на неподготовленность кооперативных служащих. За предпосылку, правильную, как аксиома, они брали правило, что каждый приказчик, заведующий лавкой, кассир — жулик, и обсуждали, как этого избежать, или как сделать, чтобы жульничали меньше. Слова жулик они не употребляли, оно вытекало само собою; они говорили, что каждый служащий берет себе и своей семье бесплатно мясо, масло и вообще все, чем торгует (мясная торговля не удается именно потому, что никак нельзя проконтролировать, сколько вышло фунтов разных сортов мяса из данной туши), что даже у членов правлений есть обычай «христа славить», то есть «завертывать» себе по фунтику того и другого. Один из собеседников рассказывал, что иной раз приказчики проворовываются явно и тогда неизвестно, как с ними поступать: рассчитать, отдать под суд? — во-первых, огласка, а во-вторых, на его место придет второй такой же, а отданный под суд потянет за собой и всех остальных и надо налаживать дело вновь. Второй доказывал, что прогонять не надо, разве уж в очень редких случаях, — а лучше приказчика держать на такой грани, чтоб он чувствовал, что догадываются, что он жульничает: никому не охота прослыть вором, — ну, его и держать на этой грани в страхе, как бы не ославился он вором.

Потом они ушли, эти два кооператора, — в ночь, в деревню, на полустанке. Когда поезд тронулся, старик на полке поднялся, свесил ноги, посидел так недолго, слез, чтобы закрыть окно, и вновь сел на полку.

— Не спите? — спросил он. — Слышали, как разговаривали? О том, что у человека честность может быть, — об этом ни слова не сказали. Так, стало быть, и есть на самом деле. Мне вот что непонятно, уж и не знаю почему, — только чужого я никак не возьму и всегда не понимал, как это делается. Слышали, как разговаривали? — не о людях, а о номерах, — об инструментах плохого качества.

И тогда она поняла, что самое существенное в ее поездке — убогое счастье бабы над рекой и этот ночной разговор. Да, жизнь каждого человека связана так, что — не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью, — связанную государственностью, трудом, куском хлеба, — тою же любовью. И, быть может, счастье на самом деле в том, чтоб быть связанным так, когда нет рубля шестидесяти копеек на гербовую марку при разводе, как связана та баба над рекой, — как не связана она. Ей было оскорбительно слушать тех здоровых, что пришли и ушли ночью, от которых пахло весенней распутицей и здоровьем. Жизнь человека — большая обязанность, никак не в его воле, всячески связанная...

Старик напротив, проснувшись уже окончательно, заговорил, хотел поговорить подольше, спросил куда едет, где работает, — обрадовался, узнав, что она агрономом, сообщил, что он уездный врач. За вагонным окном возникал рассвет. Она заговорила с ним, первый раз заговорила за эти дни, — хотела говорить.

Врач рассказал: ездил в Москву, там его дочь выходит замуж за инженера такого-то. Эта была фамилия ее мужа.

Она спросила:

— За Григория Андреевича?

— Да, за него, — ответил врач. — А вы его знаете?

Она ответила односложно и легла на полке лицом к стене, сделав вид, что хочет спать. Он — этот старик — врач — стал врагом: он — вор, он украл...

Когда она слезла с парохода, она увидела, что избы над горою нет, там торчала одна лишь обгорелая печь да несколько недогоревших бревен. И ей рассказали о

событии: в этой избе жила семья разбойников, грабивших на дорогах, убивавших людей, семья выселенцев-малороссов, отец, четыре сына, мать. Когда пришла милиция их арестовывать, они стали отстреливаться, стрелял и одиннадцатилетний младший сын и старуха мать; в перестрелке убили отца и четырех сыновей: тогда старуха подожгла избу и умерла в огне.

Иван, говоривший всегда про Ерему, когда с ним заговаривали про Фому, всю дорогу рассказывал подробности перестрелки, ставшие уже легендарными, и всячески поносил разбойников.

Гаспра.
Май 1925.

БЕЗ НАЗВАНЬЯ

I

Очень трудно убить человека, — но гораздо труднее пройти через смерть: так указала биология природы человека.

...Перелесок осиновый, сумерки, дождик. Дождик капает мелкий-мелкий, серый, сырой. Осины пожелтели, шелестят иудами, сыплют мокрые листы. Дорога идет из овражка, в овражке сломанный мост, мочежина. Поле подперло к перелеску, развороченное картошкой. Дорога прошла осинами, колеи набухли грязью, дорога вышла в поле: на горизонте торчит церковная колокольня. Перелесок упирается в настоящий лес, этот треугольник иудиных виселиц. Сумерки, мелкий-мелкий моросит дождик. Облака, должно быть, цепляют за вершины осин. По мосту, по дороге в осиннике, по картофельному полю — не пройдешь: нога вязнет в грязи по колено. Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, тушевым мраком, и ничего не видно...

И через десятилетия, через многие годы всяческих дорог — навсегда в памяти остался этот перелесок в сумерках и дожде, проваливающийся во мрак, в котором н и ч е г о н е в и д н о: навсегда осталось в памяти такое, где ничего не видно. Вечерами, после улицы дня и после рек московских удиц, надо подниматься лифтом на третий этаж первого дома Советов, того, что на углу Тверской и Моховой. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИКа плещется красное знамя: знамени не видно, виден только багровый этот красный цвет в черном небе. И миллионный город несет в этажи Первого дома Советов осколки своих рокотов...

II

Все это было двадцать лет назад.

Героев в этом рассказе — трое: он, она и тот третий, которого они убили и который стал между ними.

Этот третий — был провокатором. Этот третий был человеком, продававшим за деньги людей на виселицу, продававшим революцию, ее идеи и ее честь. Он и она вызвались убить этого человека, для которого не было иного имени, кроме мерзавца. Это были дни разгрома революции 1905 года, — и суд над негодяем должен был быть жестоким: побеждаемым не о чем было разговаривать, когда их же брат продавал головы на виселицы, груди под пули и годы человеческих мук на тюрьмы и ссылки, — и разговоров не было.

Она никогда не видела в лицо этого провокатора. Из подполья она поехала в деревню к деревенскому своему отцу — дьякону. Был июнь месяц. Он — имя его Андрей — приехал к ней в качестве жениха. Всего этого не знал третий, провокатор, не знавший легального имени Андрея. Третий должен был приехать на станцийку, лежавшую верстах в пяти от дьяконовой деревни, для связи, и встретиться с Андреем в лесочке, что первый направо от шпал, за овражком.

Был июнь месяц. Как, какими словами рассказать о первой любви? — любви, белой, как ландыши, и тяжелой, в весенности своей, как гречневый цвет, той тяжестью, которой можно перевернуть мир, — любви, не знавшей ничего больше рукопожатья и общих — на мир — вперед — глаз, — любви (и он, и она знали об этом, выверив это двадцатилетием) той, которая бывает (и навсегда остается) единственной. Был сенокосный июнь в коростелиных сумерках: развевались аржаным ветром аржаные ее волосы, и обдувал ветер белое ее платье, чуть тяжелеющее от вечерней росы, — и широко был расстегнут ворот вышитой его рубахи, и непонятно, каким образом держалась у него на затылке мятая его фуражка. Дьякон в палисаде, после сенокосного дня, глупейшие нравоучения читал о семейной жизни и в наивной хитрости расхваливал, как купец товар, качества своей дочки. При дьяконе весело они играли во влюбленных. Дьякон уходил в сарай спать. Они шли в поле. И, сколь при дьяконе нежно руку клала она ему

на плечо, — в поле здесь шли они на аршин друг от друга, в любви, как мартовские льдинки под ногою, и в разговорах — не ниже, чем о Бокле, хоть старый Бокль тогда уже и устарел.

Ни разу не говорили они о том, что они должны убить.

И пришел день, когда в сумерки он сказал, что сегодня ночью они: должны пойти. В этот день они легли спа́ть с курами, — и через час после того, как улеглись они спать, встретились они за овинами в сосняке. По-прежнему на затылке была его фуражка, — из мрака возникнув в белом платье, синея во мраке, подошла она в белом платочке, монашески повязанном. В руках у нее был узелок.

— Что ты несешь?

— Взяла хлеба на дорогу.

И тогда он поправил фуражку на голове, ничего не сказав. Она взглянула на него, наклонив к нему свое лицо. Она выпрямилась, медленно развязала платочек и бросила в сторону в кусты куски хлеба. Он ничего не сказал.

Сказала она:

— Пойдем.

И они пошли лесною тропинкой, молча. Лес пахнул медами июня, кричал вдали филин, тесною стеною стояли деревья. Они шли рядом, плечо в плечо, молча. Подавал иной раз он ей руку, чтобы помочь, и доверчиво брала она его руку. Надо было спешить к ночному поезду, и они шли торопливо, ни на минуту не приходили к нему мысли о том, что он — тем револьвером, что лежит у него в кармане — должен через час убить человека, потому что он знал, что он должен пристрелить гадину, переставшую быть для него человеком. Что думала она — он не знал, как не узнал никогда. Она шла рядом, его единственное, его любовь, его гречишневые тяжести, — голова ее в белом платочке была упрямо наклонена, так же, как тогда, когда вызвалась она пойти убить провокатора. — Из леса они вышли в поле. Вдалеке в поле возникли огни станции, и быстрее заспешили они, — он шел впереди, и шаг в шаг шла она за ним. Они подошли к осиновой косе. Шелестели иудинно осины, черной стеной стал за осинами сосновый лес, пахнуло с поля картофельным

цветом, — горели в вышине блеклые звезды на пепельном российском июньском небе.

Здесь они остановились. Здесь, в этой осиновой косе, должна была остаться она, он должен был пойти к соснам. Вдали прошумел поезд, отошел от станции. Было еще свободных десять минут. Он сел на траву, около осины. Покорно села она рядом.

— А правда, неплохо было бы съесть кусок хлеба, — сказал он.

Она ничего не ответила.

— У тебя револьвер в порядке? — спросил он.

Она молча протянула руку, в руке зажат был револьвер.

— Ты будешь стрелять, если мне не удастся убить. Если я буду тяжело ранен, ты дострелишь меня, — сказал он.

Она наклонила голову в знак утверждения, ничего не сказав.

Больше они не говорили. Он закурил папиросу, выкурил ее в кулак, крепко отплюнулся, поправил фуражку и встал. Она тоже встала.

Он протянул ей руку. Она слабо сжала его руку, потянула ее к себе — и покойным девичьим поцелуем поцеловала она его в губы, первый и последний раз в их жизни. Вновь поправил он фуражку, круто повернулся и пошел во мрак осин. Прошед уже много шагов, он взглянул назад: он увидел белое платье, ее, побежавшую от опушки вниз в овражек, к мосту, к ольшанику, бежала она широкой решительной побежкой. Он пошел дальше, к соснам. Кричали в поле коростели, и глубоким покойствием шла ночь.

С насыпи в туман овражка, к соснам пошел третий, человек в соломенной шляпе, в пальто. Этот третий пошел к соснам. Этого третьего встретил Андрей.

— Это ты, Кондратий? — спросил третий Андрея.

— Да, это я, — ответил Андрей. — Пойдем.

Они пошли рядом. Андрею показалось, что этот третий идет так, чтобы все время быть сзади Андрея, а когда Андрей клал руку в карман, тот подходил вплотную.

— Что с тобою, Кондратий? — спросил третий.

Андрей ничего не ответил, — отступив шаг назад, выхватил он из кармана револьвер и в упор в грудь выстрелил в провокатора. Тот улыбнулся и сел на зем-

лю, беспомощно подняв руки вверх, в правой руке у него был браунинг. Андрей выстрелил второй раз в это улыбающееся лицо. Человек мешком муки повалился навзничь. Андрей пошел прочь крупными шагами. Так он прошел шагов сто. И тогда вернулся к трупу, наклонился над ним, толкнул его ногой. Труп поправил неестественно подогнувшуюся ногу, лицо мертвецки улыбалось. Андрей еще раз толкнул его и осторожно, как люди, боящиеся заразиться, стал обыскивать его карманы. В это время к соснам подошла она, осмотрела внимательно убитого и Андрея, отошла к опушке, стала спиною к соснам.

Андрей подошел к ней, она молча пошла вперед. Так они и шли: она впереди, он сзади. Все версты они шли, не отдыхая. Над землею возникал рассвет, багровой зарею покрывался восток, месяц, поднявшийся к рассвету, новую посыпал росу. Восход солнца предупредил торжественность тишины. Ни слова не сказали они друг другу за всю дорогу. Бесшумно они прошли в дом.

III

Никогда больше ни слова не сказали они друг другу с глаза на глаз. Наутро тогда веселым смехом она разбудила его, добродушнейшие глупости говорил дьякон за картофельным завтраком, нежной невестой ластилась она к жениху. Дьякон ушел, — они остались одни, — и они замолчали. Так прошло три дня, тогда, когда пережидали они, чтобы замести следы, но за эти три дня даже вести не дошли до их села, — и на четвертый день дьякон отвез их на станцию, перецеловал крепко обоих на перроне, перекрестил, благословил, — и в Москве с вокзала пошли они в разные стороны, ни слова не сказав друг другу.

...Навсегда остались в памяти проселок, перелесок осенний, мост в овражке, картофельное поле. Осины пожелтели, шелестят иудами, сыплют мокрые листы. Все разбухло от осенней грязи, и грязь налипает на сапоги по колено... Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, и все провалилось во мрак, в котором н и ч е г о н е в и д н о... — Этот осенний осиновый иудин перелесок остался в памяти не от той ночи, ког-

да он убил здесь человека, ибо тогда был сенокосный, медовый июнь, — но от той, когда он, по странному закону природы, повелевающему убийце прийти на место убийства, — черными осенними сумерками пришел прокоротать ночь на том месте, где он: убил любовь.

...Осенний перелесок, сумерки, дождик, — и потом мрак, в котором ничего не видно... Вечером, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом на третий этаж первого дома Советов. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, — и в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИКа плещется красное знамя, — то, ради которого погребен в памяти осиновый перелесок.

Узкое,
7 ноября 1926.

КОММЕНТАРИИ

МАШИНЫ И ВОЛКИ

Впервые роман появился в Государственном издательстве в 1925 году, в Ленинграде. Материалы, отрывки и их варианты публиковались ранее в различных периодических изданиях. Роман неоднократно переиздавался и входил в восьмитомное Собрание сочинений писателя (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930).

«Гранью между первым и последующими периодами творчества Пильняка может служить роман «Машины и волки», — писал критик А. Пинкевич в предисловии к Собранию сочинений. — Здесь выдвигаются на первый план пролетарии — работники машины, поется слава машине. И в то же время, что очень характерно, во всей повести чувствуется резко отрицательное отношение к крестьянину, к «мужику». <...> Писатель по-прежнему убежден, что наряду с этой организующей волей пролетариата существует и другое: и бунт Стеньки Разина, и разгул, и удаль по лесам и по разбою, и «бей коммунистов, — мы за большевиков», но завод, но пролетариат организует это во имя того, что впереди <...>» (Пинкевич А. Предисловие. // Пильняк Б. Собрание сочинений в 8-ми тт. М. — Л.: Госиздат, 1929—1930).

ПОВЕСТИ

Третья столица. Впервые появилась в альманахе артели писателей «Круг» (М. — Пг., 1923. Кн.1). Печаталась также под названием «Мать-мачеха». Вошла во все Собра-

ния сочинений и в сборник «Никола-на-Посадьях» (М. — Пб.: Круг, 1923), отдельные главы публиковались в книге «Рассказы» (М.: Никитинские субботники, 1927).

Повесть писалась сразу же по возвращении из Берлина (март, 1922), в Коломне. В ее основу легли впечатления от поездки за границу. В письме к М. М. Шкапской (24 июня 1922) он так расценивал свою работу: «Я в Коломне, в лете, в жаре, в белых штанах, балдею за столом, — пишу (заканчиваю) повесть, в 5 листов, — *единственное* настоящее, что мною написано, о загранице, о России, о мире, — «Третью столицу» («Мать-мачеху»)» (Пильняк Борис. Письма. 2002. С. 178).

Повесть вышла с посвящением А. М. Ремизову, у которого Пильняк жил в Берлине. В предисловии к книге он писал: «“Третью столицу”» читали многие до напечатания, и она вызывала неожиданные недоразумения. В каждом рассказе есть печка, от которой танцует автор, — так вот об этой печке я и хочу сказать. Я писал “Третью столицу” сейчас же по возвращении из-за границы, — по сырому материалу, писал, главным образом, для Европы, — поэтому моя печка где-то у Себежа, где я смотрел на Запад, не боясь Востока (на Востоке, как известно, восходит солнце)» (30 октября 1922 г.).

Повесть вызвала широкий резонанс и многочисленные толкования. “«Третья столица» — вся в противопоставлении нашей рассейской, народной, разиновской революции — Европе, перекультурной, умирающей, разлагающейся, — писал об этой повести Полонский. — Критика отметила, что над «Третьей столицей» витает тень Шпенглера. Это правда. <...> «Третья столица» — вещь большого недоумения и великого колебания, оттого так красноречив вопросительный знак: «Европа или Россия?» <...> На вопрос этот не отвечает повесть, странная и смутная, в которой все сдвинуто, отстранено, все планы перемешаны, где четырнадцатый век въезжает в двадцатый, где повествование перепутано, тысяча сюжетных линий, самых разнообразных, не связана в клубок, где все мотивы перерваны и клубятся туманы, словно умышленно напускаемые автором, чтобы замести следы, запутать, сбить с пути. Он уверяет нас: «я верю». Но почему

вера его не внушает доверия?" (Полонский В. О литературе. М., 1988. С. 134—135).

Повесть непогашенной луны. Повесть впервые была напечатана в журнале «Новый мир» (1926. № 5), но света не увидела — весь тираж журнала из-за повести был конфискован. Новый пятый номер «Нового мира» вышел уже с другим произведением, а Пильняку было запрещено печататься в центральных изданиях. 13 мая 1926 года состоялось заседание Политбюро, посвященное публикации в «Новом мире» «Повести непогашенной луны», на котором было заслушано сообщение секретаря ЦК Молотова и объяснения редакторов «Нового мира» И. И. Скворцова-Степанова и В. П. Полонского, а также А. К. Воронского и начальника Главлита П. И. Лебедева-Полянского. Было принято постановление (см.: Динерштейн Е. Политбюро в роли верховного цензора (к истории одной публикации) // Новое литературное обозрение. 1998. № 4 (32). С. 391—397).

Достоверность описанного Пильняком события подтверждена опубликованными в наши дни мемуарами (см.: Фрунзе М. Воспоминания друзей и соратников. М., 1965; Фрунзе. Неизданное. М., 1990; Фрунзе М. Неизвестное и забытое. М., 1991 г.). Друг Фрунзе, старый большевик И. К. Гамбург, писал: «Я убеждал Михаила Васильевича отказаться от операции, поскольку мысль о ней его угнетает. Но он отрицательно покачивал головой — Сталин настаивает на операции, говорит, что надо раз и навсегда освободиться от язвы желудка» (Гамбург И. К. Так это было. М., 1965). См. также предисловия сына писателя Б. Б. Андроникашвили-Пильняка к сборникам Б. Пильняка «Повесть непогашенной луны» (М., 1989) и «Расплеснутое время» (М., 1990).

До читателей повесть дошла лишь в 1987 году (Знамя, № 12). Хотя за границей повесть выходила и ранее. Впоследствии вошла в состав сборников писателя «Человеческий ветер» (Тбилиси, 1990), «Повесть непогашенной луны» (М., 1989, 1990) и др.

Мать сыра-земля. Впервые повесть появилась в альманахе писателей «Круг» (1925. Кн. 4). Входила в восьмитомное Собрание сочинений, в сборники «Мать сыра-земля» (М. — Л.: Круг, 1926), «Рассказы» (М.: Федерация, 1932), «Повесть не-

погашенной луны» (М., 1990) и др.. Вяч. Полонский в статье о Пильняке писал: «Пильняк превосходно ощущает звериную подоснову человека. Оттого-то животные процессы занимают такое видное место в его творчестве. В человеке он видит зверя, а зверь для него прекрасен — молодой, сильный, хищный. Хорошо все, что от природы, и прекрасней всего весна «буйная, обильная», с веселым половодьем желаний — «непреложное», «самое главное»" (Полонский В. Шахматы без короля (О Пильняке). // Полонский В. О литературе. 1988. С. 129).

РАССКАЗЫ

Сторона ненашинская. Впервые появился в журнале «Огонек» (1924. № 2), а также в журналах «Шквал» (Одесса, 1925. № 27) и «Красная нива» (1926. № 1). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений, в сборник «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927).

Старый дом. Впервые опубликован в художественно-литературном альманахе «Пролетарий» в 1926 г. Вошел в восьмитомное Собрание сочинений и в различные прижизненные сборники писателя. Рассказ автобиографичен. В нем описывается дом родителей Пильняка в Саратове и его детские годы, проведенные в нем. Саратов проходит через всю жизнь писателя, там написаны «Наследники» (1919), «Дело Смерти» (июнь 1927), там он регулярно бывал. К волжским городам и впечатлениям тех лет он вернулся и в последнем романе «Соляной амбар».

Ледоход. Впервые появился в третьем номере журнала «Русский современник» за 1924 год. Входил в восьмитомное Собрание сочинений (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930), в сборники «Мать сыра-земля» (М. — Л.: Круг, 1926), «Повести и рассказы» (М., 1991), «Романы, повести и рассказы» (Челябинск, 1991).

Расплеснутое время. Впервые появился в журнале «Новая Россия» (1926. № 3). Вошел в восьмитомное Собрание

сочинений (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930), сборник «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927) и др.

Грего-тримунтан. Впервые появился в еженедельнике «Шквал» (1925. № 32), а затем в журнале «Новый мир» (1926, № 1). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930) и в сборники «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927; М, 1990), «Рассказы» (М.: Федерация, 1932), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), «Повесть непогашенной луны» (М, 1990) и др.

Человеческий ветер. Впервые появился в еженедельнике «Шквал» (1925. № 10). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930) и сборники «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927; М., 1990), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), «Человеческий ветер» (Тбилиси, 1990), «Повесть непогашенной луны» (М., 1990).

Жулики. Впервые появился в журнале «Огонек» (1925. № 29). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М. — Л.: Госиздат, 1929—1930) и сборники «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927; М., 1990), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), «Повесть непогашенной луны» (М., 1989; М., 1990).

Без названья. Рассказ впервые появился в газете «Вечерняя Москва» (1926. 18 декабря, под названием «Сильнее любви»), а затем в приложении к «Красной газете» (Литературные среды. 1927. № 24). Одновременно он вышел в сборнике рассказов Б. Пильняка «Расплеснутое время» (М. — Л.: Госиздат, 1927). Рассказ «Без названья» — об убийстве провокатора. Как вспоминает Галина Воронская, рассказ «был навеян рассказом отца о провокаторе Мирре, впоследствии описанной им в книге "За живой и мертвой водой"» (Галина Воронская. Воспоминания. // Время и мы. № 116. 1992. С. 235—266). Разбирая вошедшие в сборник «Расплеснутое время» произведения, рассказ «Без названья» критики обошли молчанием, не удостаивая его даже упоминани-

ем. В маленькой истории был поднят такой сложный нравственный вопрос, являющийся ключевым пунктом революции, что он был не только сложен для литературоведов, но и опасен.

Больше этот рассказ при жизни автора нигде не переиздавался, но был целиком использован им в романе «Соляной амбар».

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ПИЛЬНЯК

Собрание сочинений
в шести томах

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *О. Замшева*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *З. Овчинникова*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд № 0203064
Подписано в печать 25.02.03 г.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая
Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 28,55.
Заказ № 0302790

ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

